



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

HD WIDENER

HW XR25 U

play 5067.8.33(1)

Harvard College
Library



BOUGHT FROM THE
GIFT OF

Charles Richard Crane
OF NEW YORK
1938

10



E. Prentiss

СОЧИНЕНИЯ
Е. П. ГРЕБЕНКИ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

(СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.)

(1836—1840.)

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНИЕ КИЕВСКАГО КНИГОПРОДАВЦА С. И. ЛИТОВА.

1862.



E. Geddes

СОЧИНЕНИЯ
Е. П. ГРЕБЕНКИ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

(СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.)

(1836—1840.)

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНИЕ КИЕВСКАГО КНИГОПРОДАВЦА С. И. ЛИТОВА.

1862.

~~Slav 5066.3.53~~

✓ ~~Slav 5067.8.3~~ (1)

MARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE GIFT OF
CHARLES RICHARD CRANE
APRIL 29, 1938

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный
Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.

С. Петербургъ. 7 февраля 1862 года.

Цензоръ В. Бекетовъ.

Въ типографіи Императорской Академіи Наукъ.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Согласно желанию издателя предлагаемаго нынѣ публикъ полнаго собранія сочиненій Евгения Павловича Гребенки, я принялъ на себя редакцію этого изданія, то-есть собраніе и подготовку матеріаловъ и распределеніе ихъ по томамъ.

До сихъ-поръ было всего одно изданіе сочиненій Гребенки. Оно было предпринято самимъ авторомъ въ 1847 году, подъ названіемъ: «Романы, Повѣсти и Рассказы Евгения Гребенки» и выходило въ теченіе двухъ лѣтъ малецкими томиками, въ 16-ю долю листа. Но и это единственное собраніе сочиненій покойнаго писателя, куда вошла едва четвертая часть его произведеній (одинъ романъ, 6 повѣстей и 11 рассказовъ), прекратилось, за смертью автора, на восьмомъ томикѣ. Такимъ-образомъ, почти три четверти сочиненій Гребенки оставались до сихъ-поръ несобранными

и затерянными въ периодическихъ изданіяхъ и альманахахъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Имя покойнаго Гребенки хорошо извѣстно русской публикѣ, и полное собраніе его сочиненій необходимо для исторіи русской литературы. Поэтому, предпринимая подобное изданіе, я прежде всего долженъ сказать, что въ немъ собрано все, какъ напечатанное самимъ Гребенкою въ теченіе своей восьмнадцатилѣтней литературной дѣятельности (съ 1831 по 1848 годъ включительно), такъ и изданное послѣ его смерти, съ пріобщеніемъ одного стихотворенія («Въ альбомъ женъ»), еще небывшаго въ печати. Къ послѣднему разряду можно причислить и повѣсть «Зaborовъ». Она хотя и была напечатана въ «Иллюстрированномъ Альманахѣ» на 1847 годъ, но такъ-какъ этотъ альманахъ не выходилъ въ свѣтъ и, слѣдовательно, вовсе неизвѣстенъ публикѣ, то и повѣсть можетъ-быть названа появляющеюся здѣсь въ первый разъ.

Что касается порядка, въ которомъ выходятъ теперь сочиненія Гребенки, я старался, по возможности, размѣстить ихъ такъ одно за другимъ, какъ они появлялись при жизни автора. Такимъ образомъ, въ первыхъ четырехъ томахъ, заключающихъ въ себѣ романы, повѣсти и рассказы,

помѣщено: 2 романа, 17 повѣстей и 26 разска-
зовъ, расположенныхъ по годамъ, въ хронологи-
ческомъ порядкѣ. За тѣмъ пятый томъ распа-
дается на шесть отдѣловъ: 1) Стихотворенія, 2)
Типы, 3) Очерки, 4) Театральныя впечатлѣнія,
5) Мелкія статьи и 6) Малороссійскій отдѣль.
Въ первомъ изъ этихъ отдѣловъ помѣщены: одна
поэма и 40 мелкихъ стихотвореній, во второмъ—
три типа, въ третьемъ—два очерка, въ четвер-
томъ—три статьи о театрѣ, въ пятомъ—шесть
мелкихъ статей разнаго содержанія и въ шестомъ,
малороссійскомъ отдѣль—одна поэма, 32 мел-
кія стихотворенія (въ томъ числѣ 26 *приказокъ*)
и двѣ статейки въ прозѣ.

Относительно ореографіи, считаю нужнымъ
сказать слѣдующее: Гребенка печаталъ свои про-
изведенія почти во всѣхъ періодическихъ изда-
ніяхъ и альманахахъ его времени, причемъ, само
собой разумѣется, каждое изданіе держалось при
ихъ печатаніи своей собственной ореографіи. При
новомъ изданіи лучше всего было бы возстано-
вить правописаніе автора, но отъ этой мысли
пришлось отказаться, такъ-какъ въ бумагахъ по-
койного рукописей не оказалось. Поэтому, для
сохраненія единства, я придерживался, при печа-
таніи предлагаемаго изданія, правописанія «Оте-

чественныхъ Записокъ», такъ-какъ въ этомъ жур-
налѣ была помѣщена цѣлая третья сочиненій Гре-
бенки, въ томъ числѣ оба его романа: «Чайков-
скій» и «Докторъ».

И. ГЕРВЕЛЬ.

30 мая 1862 года.

С. Петербургъ.

Е. П. ГРЕБЕНКА.

Евгений Павлович Гребенка родился 24-го января 1812 года, въ отцовскомъ помѣстье — Убѣжище, въ шестнадцати верстахъ отъ города Пирятина, Полтавской губерніи.

Отецъ его служилъ смолоду въ Елисаветградскомъ гусарскомъ полку; но рано вышелъ въ отставку, поселился въ деревнѣ и посвятилъ себя домашней жизни и хозяйству съ своими пятидесятью душами. Первая жена его жила недолго, и отъ нея осталась у него только одна дочь. Во второй разъ онъ женился на Надеждѣ Ивановнѣ Чайковской, тоже пирятинской дворянкѣ, и вторымъ сыномъ этого брака былъ Евгений Павловичъ.

Война 1812 года вызвала отставнаго гусара изъ деревенскаго уединенія. Онъ поступилъ опять на службу — въ малороссийскіе казаки, и отправился въ походъ, оставивъ Евгения въ деревнѣ двухмѣсячнымъ ребенкомъ. Только къ концу войны, въ 1815 году, снова снялъ онъ съ себя военный мундиръ и возвратился въ свое Убѣжище.

Раннее дѣтство Евгения Павловича прошло подъ домашнимъ кровомъ. Впечатлѣнія дѣтскихъ годовъ, проведенныхъ посреди патріархального сельскаго быта, по-

среди прекрасной природы, въ сближеніи съ народомъ, богатымъ самородною поэзіей, отразились на многихъ произведеніяхъ Гребенки. Вѣроятно, не одна изъ народныхъ былинъ, не одно изъ преданій, пересказанныхъ имъ впослѣдствіи, были слышаны имъ дома и заставляли сильно биться его дѣтское сердце. Семейные воспоминанія указываютъ, какъ на первый источникъ, питавшій живое воображеніе ребенка, на разсказы нянечки, которая ходила за Евгениемъ. Разсказовъ у нея были неистощимые запасы, и она передавала ихъ охотно и съ любовью. Евгений былъ очень привязанъ къ старухѣ, часто потому, въ зреілые годы, вспоминалъ ея теплые заботы о немъ, и, будучи уже на службѣ въ Петербургѣ, принялъ, въ память этихъ заботъ, сердечное участіе въ судьбѣ ея сына, котораго самъ пристроилъ въ столицѣ.

Непосредственно за этою первой воспитательницей Евгения слѣдуетъ назвать домашняго учителя, который приготавлялъ мальчика къ ожидавшему его общественному воспитанію. Учитель этотъ былъ Павелъ Ивановичъ Гуслистый; онъ впослѣдствіи издалъ, говорить, какое-то сочиненіе о воспитаніи, но оно не попадалось мнѣ въ руки. Евгений Павловичъ, по словамъ людей, близкихъ къ нему въ годы дѣтства, былъ обязанъ многимъ въ развитіи своемъ вліянію Гуслиста.

Ребенокъ развился довольно быстро. Домашняя изустная хроника, сохранившая обыкновенно разныя черты понятливости умныхъ дѣтей, разсказываетъ, что Евгений, будучи пяти лѣтъ, любилъ чертить мѣломъ на полу разныя фантастическія буквы и изображенія, а шести лѣтъ уже очень порядочно читать.

«Въ бытность мою въ домѣ г. Гребенки», рассказывается г. Кудрицкій, смѣнившій Гуслистаго въ званіи домашняго наставника дѣтей Павла Ивановича: «Евгений, раздѣвши съ и легши въ постель, не могъ заснуть безъ книги. Мать, любившая его преимущественно предъ всѣми дѣтьми, страшилась за его здоровье, которое, по ея мнѣнію, разстроивъ онъ чтеніемъ въ постели, соболѣзновала и совѣтовалась съ другими, какимъ бы образомъ привычку его измѣнить, но онъ оставался съ нею до выѣзда моего. Павелъ Ивановичъ имѣлъ особое уваженіе къ ученымъ и всегда твердилъ, при гостяхъ и въ семейномъ быту, что единственное желаніе его увидѣть Евгения профессоромъ; для военной службы онъ назначалъ третьяго сына, Аполлона, который совершенно похожъ былъ на него, а Евгений похожъ былъ на мать. Павелъ Ивановичъ опредѣлилъ для Евгения верховую лошадь, но не позволилъ ему вѣдти до извѣстнаго времени; на 14-мъ году его возраста подарили ему ружье, изъ котораго первый опытъ сдѣлалъ онъ 29-го юна 1824 года, въ день именинъ отца, застрѣливъ горлинку, которую отецъ приказалъ изжарить; во время стола принесли ее и отецъ съ самодовольнымъ видомъ произнесъ: «подобаетъ прежде дѣлателю вкусити отъ плода». Вообще, Павелъ Ивановичъ заботился объ извѣстности Евгения въ дѣствѣ. Въ одно время онъ просилъ, пріѣхавшаго къ нему, приходскаго священника отца Іоанна Яцуту, прислать «Дѣянія Апостольскія», чтобы Евгений съумѣлъ прочитать изъ нихъ въ церкви, во время обѣдни, для доказательства крестьянамъ и другимъ простолюдинамъ, что сынъ его уже грамотный. «Безъ этой гласности — говорилъ онъ — народъ смотрѣть на него безъ вниманія». Впослѣдствіемъ

Евгений не стыдился уже читать въ приходской церкви. Память покойного Евгения была счастливая: онъ изучалъ скоро и рассказывалъ уроки всегда своими словами. Любопытство его было невѣроятное. Часто уроки начинались и оканчивались его вопросами, а моими отвѣтами. Его особенно занимали славяне, малороссійскіе гетманы, Котляревскаго «Энеида», повѣрья о волшебницахъ, вѣдьмахъ и прочее и прочее.

Въ сочиненіяхъ Гребенки мы находимъ нѣсколько страницъ, въ которыхъ, не смотря на вымышленную форму, ясны черты изъ его ранней поры. Такъ, не вдаваясь въ подробные указания, упомянемъ, для примѣра, разсказъ о выливаніи сурковъ въ степи, въ бывшемъ *Двойникѣ*, и теплые строки, посвященные описанію перехода отъ мирной домашней жизни къ школьному ученію, въ повѣсти: *Записки Студента*.

Въ 1825 году Евгений оставилъ родное Убѣжище и поѣхалъ съ отцомъ въ Нѣжинъ, для поступления въ Гимназію Высшихъ Наукъ Князя Безбородко, впослѣдствіи лицей.

«Экзаменъ оконченъ сегодня — и я вступаю въ новую жизнь (говорить герой повѣсти: *Записки Студента*, въ которомъ ясны на этотъ разъ черты самого автора). Миръ праху твоему, добрый человѣкъ, основатель лицея! Благословляю память твою...

«Давно ли я былъ еще ребенокъ? Какъ сегодня, помню день моего отѣзда въ лицей».

Мы пропускаемъ нѣсколько подробностей сбора, въ которыхъ нельзя навѣрное отличить автобіографическія черты отъ вымысла.

«Послѣ обѣда мы съ папенькой выѣхали изъ дома (продолжаетъ студентъ). Прощаясь, маменька уговари-

вала меня не грустить, обещала пріѣхать ко мнѣ, дала мнѣ коробочку конфектъ — и я утѣшился...

«И вотъ я въ лицѣ. Меня ввели и оставили въ этомъ огромномъ зданіи. Все незнакомыя лица; все та-кія страшныя, классической физіономіи профессоровъ; все такъ сухо, такъ важно! Папенька уѣхалъ.

«Я подошелъ къ окошку: оно было въ третьемъ эта-жѣ; внизу краснѣли крыши одноэтажныхъ домиковъ, далѣе стройно вытянулась улица, за нею стояла бере-зовая роща, а тамъ — Боже мой! гладкое поле... На немъ змѣилась дорога на мою родину!»

Студентъ разсказываетъ дальше, какъ одинокое и испуганное сердце его нашло сочувствіе въ такомъ же одинокомъ сердцѣ одного изъ его товарищѣй.

«Онъ (товарищъ этотъ) говорилъ, что лицей непре-мѣнно долженъ сгорѣть, потому-что въ немъ много не-счастныхъ, намъ подобныхъ; а когда онъ сгоритъ, мы опять поѣдемъ по домамъ. И какъ эта глупая мысль восхищала меня! Я цѣлый мѣсяцъ ложился спать, на-передь хорошенъко увязавъ всѣ свои книги и платье, чтобы сейчасъ же бѣжать, когда начнется пожаръ. Вся кровь, бывало, бросится въ голову, когда услышишь запахъ дыма, или кто пройдетъ ночью: все ждешь — вотъ загорится, вотъ будетъ тревога, вотъ разольется огонь по комнатамъ... Но угрюмо дремали во мракѣ каменныя стѣны огромнаго зданія; изрѣдка гдѣ-нибудь хлюпнетъ незатворенное окошко, или въ дальнемъ кор-ridorѣ простонутъ тяжелые шаги старого инвалида, и опять все тихо... такъ и захочется спать!»

Евгений Павловичъ былъ записанъ въ лицей съ фа-милиею *Гребенкинъ*. Такъ звали его во все время сту-денчества, такъ подписался онъ и подъ первыми напе-

читанными стихотворениями своими (на малороссийскомъ языке) въ 1831 и 1833 годахъ. Только съ 1834 года онъ сталъ подписываться именемъ, которое пріобрѣло известность въ нашей литературѣ.

Изъ числа «странныхъ, классическихъ физиономій», пугавшихъ ребенка, непривычнаго къ официальнымъ формамъ школы, многіе смотрѣли на него потомъ съ теплымъ сочувствіемъ.

Учитель латинскаго языка въ лицѣ, И. Г. Кулжинскій, съ которымъ Гребенка перекидывался иногда письмами и въ свою зреющую пору сохранилъ намъ въ добродушномъ разсказѣ о своихъ отношеніяхъ къ лицѣю свѣтлой отроческій обликъ своего ученика.

Вотъ этотъ разсказъ:

«Вѣчно веселый, вѣчно смѣющійся, вѣчно любимый всѣми, и товарищами, и учителями, съ открытою, умною и доброю физиономіей, Евгений Павловичъ (какъ его честили даже наставники, разумѣется, шутя) учился хорошо; даже притворялся, будто любить латинскій языкъ; старался всякому угодить, отъ всякаго заслужить благосклонность.

«Страсть къ русской литературѣ проявилась въ немъ очень рано, когда ему еще не было четырнадцати лѣтъ.

«Нѣжинский лицей построенъ въ предмѣстьѣ города. Эта патріархальная часть Нѣжина, именующаяся *Мазерки*, состоитъ изъ низенькихъ домикомъ, большую частью подъ соломеною крышею, отдѣляющихся одинъ отъ другаго плетневыми заборами. Въ одномъ изъ такихъ домикомъ жилъ я, а透过 плетень, въ другомъ домѣ, квартировалъ Гребенка.

«Не помню, какъ онъ сблизился со мною, но это малое, веселое дитя сдѣгалось моимъ любимцемъ, и не

проходило того дня, чтобы Гребенка черезъ плетень не перелѣзть ко мнѣ. У меня онъ бралъ читать журналы и альманахи, рассказывалъ мнѣ о своихъ занятіяхъ и наконецъ началъ показывать мнѣ свои стихи.

«Я любовался атимъ кудрявымъ, веселымъ мальчикомъ, и называлъ его *соплощеннойю юностью*».

Въ лицѣ, какъ и въ большей части общественныхъ учебныхъ заведеній, воспитанники, чувствовавшіе склонность къ литературнымъ занятіямъ, не разъ принимались издавать для кружка товарищей рукописные журналы. Одинъ изъ такихъ журналовъ издавалъ Гребенка, наполняя каждый еженедѣльный номеръ его почти исключительно своими стихами и своею прозой. Стихи были большею частью сатирические, и цѣлью ихъ остроть и насмѣшекъ служили преимущественно студенты-математики. Потомъ Гребенка былъ главнымъ сотрудникомъ другаго журнала, выходившаго подъ редакціею товарища его (впослѣдствіи профессора университета св. Владимира), В. Ф. Домбровскаго, подъ хитрымъ миѳологическимъ заглавіемъ: *Аматузія*.

Бойкій, живой характеръ мальчика часто проявлялся въ веселыхъ и остроумныхъ шуткахъ. Одну изъ нихъ сыгралъ онъ разъ съ профессоромъ русской словесности.

Профессоръ этотъ былъ, можетъ-быть, человѣкъ и почтенный, и когда-то, въ цвѣтущее время свое, считался даже ученымъ, но въ пору преподаванія своего въ лицѣ онъ давно забросилъ занятія наукой и вполнѣ довольствовался тѣмъ запасомъ свѣдѣній, который пріобрѣлъ многіе годы тому назадъ.

«За хлопотами жизни (рассказываетъ г. Кулжинскій, сохранившій намъ и характеристической анекдотъ о мо-

лодомъ Гребенкѣ) онъ отсталъ отъ современнаго состоянія литературы, остановился на Херасковѣ и Державинѣ; Карамзину только изъ милости давалъ мѣсто въ исторіи русской литературы — да и то уже послѣ изданія имъ первыхъ томовъ «Исторіи Русскаго Государства» — а на Пушкина, Козлова, Дельвига и вообще на *всю эту молодежь* смотрѣть съ видомъ негодованія и сожалѣнія, которое доказывалъ тѣмъ, что вовсе не читалъ ихъ».

«Вотъ у какого профессора словесности (прибавляетъ г. Кулжинскій) учились Гоголь и Гребенка!»

Мы передадимъ его же словами неизлюбивую шутку, которую разыгралъ Гребенка надъ своимъ отсталымъ наставникомъ.

«Однажды этотъ профессоръ приказалъ ученикамъ написать стихи на произвольную тему.

«Когда такие стихи были потомъ разсмотрѣны и поправлены профессоромъ, вотъ Гребенка (рассказывается г. Кулжинскій) послѣ обѣда перелѣзъ черезъ илетенько мнѣ, и послѣ разныхъ разговоровъ, сопровождаемыхъ дѣтскимъ смѣхомъ, сказалъ:

— А показать вамъ штуку?

— Покажи, другъ мой.

— А никому не скажете?

— Что жъ это такое? Разумѣется, если можно, никому не скажу.

— Пожалуста, не говорите никому.

«Съ этими словами Гребенка вынуль изъ кармана и подалъ мнѣ, смѣясь, стихи, которые онъ представлялъ профессору для исправленія, какъ свое собственное сочиненіе.

«Это были известные стихи Козлова:

«Вечерній звонъ, вечерній звонъ!
Какъ много думъ наводить онъ!» и проч.

«Профессоръ, не читавши ничего новаго, ужасно переправилъ эти стихи, почитая ихъ произведеніемъ ученика пятаго класса Гребенкина; не осталось ни одной строчки непоправленной, и въ заключеніе всего профессоръ написалъ похвалу: *изряднеконочко*.

«Я хотѣлъ-было бранить Евгения за его продѣлку, но удержался, и самъ началъ хохотать съ нимъ. Признаюсь, мы хохотали до слезъ.

«Впрочемъ, Гребенка, посмѣявшись, увѣрялъ меня, что онъ сдѣлалъ эту *штучку* совсѣмъ безъ злаго намѣренія: всталъ поздно; звонокъ ужъ прозвонилъ въ классъ; надобно было нести стихи, а стиховъ своихъ не приготовилъ; вотъ онъ взялъ да и переписалъ — изъ *Спиральныхъ Цельтовъ*, кажется — готовые стихи Козлова для подачи профессору».

Въ одно время съ Гребенкою воспитывались въ лицѣ Гоголь и Н. В. Кукольникъ; но оба были въ высшихъ классахъ. По словамъ Н. В. Кукольника, онъ зналъ только, что есть въ низшихъ классахъ мальчикъ, по фамиліи Гребенкинъ, но и не подозрѣвалъ, что этотъ мальчикъ занимается литературой. Вѣроятно, и Гоголю былъ онъ извѣстенъ не больше. Съ г. Кукольникомъ Гребенка сошелся потомъ, по окончаніи курса, въ Петербургѣ, уже какъ собрать по литературѣ, а не какъ однокашникъ. Съ Гоголемъ онъ, кажется, и впослѣдствіи не былъ ни въ какихъ сношеніяхъ, кромѣ, можетъ быть, встрѣчъ у общаго ихъ знакомаго, товарища и пріятеля Гоголя, Н. Я. Прокоповича, да развѣ еще у П. А. Плетнева.

Еще въ лицѣ, какъ мы уже упомянули, началъ Гре-

1*

бенка заниматься литературой. Большею частью первые опыты его были на малороссийскомъ нарѣчіи. Ко времени студенчества относится, между прочимъ, его малороссийскій переводъ *Полтавы* Пушкина. Не знаемъ, была ли переведена поэма вся въ лицѣи или только начата, но одинъ отрывокъ изъ перевода былъ напечатанъ въ «Московскомъ Телеграфѣ» въ годъ выхода Евгения Павловича изъ лицея, именно въ 1831 году.

Въ 1833 году былъ напечатанъ второй отрывокъ изъ перевода *Полтавы* въ «Утренней Звѣздѣ», а также и двѣ малороссийскія басни Гребенки, которыя вошли потомъ въ отдельное изданіе басенъ его (*Малороссійскія Приказки*), выпущенное имъ въ свѣтъ въ 1834 г.

Къ этому же году относится появление въ печати и первого стихотворенія Гребенки на русскомъ языке. Эта довольно-слабая пьеса (*Курганъ*) была помещена въ тогдашнемъ «Сынѣ Отечества».

Воспоминанія о городѣ, где воспитывался Евгений Павловичъ, не разъ мелькаютъ въ его позднѣйшихъ произведеніяхъ. Такъ онъ написалъ стихотворную легенду: *Нижинъ-Озеро*, такъ избралъ Нижинъ мѣстомъ дѣйствія въ повѣсти своей: *Нижинскій Полковникъ Золотаренко*. О прекрасной природѣ Малороссіи вѣздѣ говорить онъ съ горячей любовью...

Гребенка окончилъ лицейскій курсъ дѣйствительнымъ студентомъ, съ правомъ на чинъ четырнадцатаго класса, въ 1831 году, и тотчасъ же поступилъ на службу въ резервы 8-го малороссийскаго казачьяго полка; вскорѣ вышелъ въ отставку и около 1834 года перѣѣхалъ въ Петербургъ. 1-го февраля этого года былъ оѣ опредѣленъ въ число канцелярскихъ чиновниковъ Комиссіи Духовныхъ Училищъ.

Въ Петербургѣ Гребенка началъ усердно заниматься литературой. *Малороссійскія Приказки* его имѣли успѣхъ и были изданы въ другой разъ, въ 1836 году. Въ этомъ же году надѣлъ онъ и свой малороссійский переводъ *Полтавы*, съ посвященіемъ Пушкину.

Посвященіе это познакомило его съ нашимъ славнымъ поэтомъ. Пушкинъ, съ извѣстною добротой своей, принялъ теплое участіе въ начинавшемъ литераторѣ. Вѣроятно, съ его одобренія были напечатаны въ «Современникѣ» на 1837 годъ два стихотворенія Гребенки. Есть даже свѣдѣнія, что малороссійскія басни молодаго писателя такъ нравились Пушкину, что одну изъ нихъ онъ перевелъ на русскій языкъ (именно *Воскъ и Оюнъ*); но извѣстія этого мы не принимаемъ за фактъ, а предлагаемъ его на утвержденіе или опроверженіе болѣе знающимъ.

Извѣстный уже въ литературныхъ кружкахъ, Гребенка все еще не былъ знакомъ публикѣ. Первые труды его на малороссійскомъ языкѣ имѣли кругъ читателей слишкомъ ограниченный; русскими стихотвореніями, къ которымъ перешелъ Гребенка, было трудно обратить на себя вниманіе въ то время, какъ еще дѣйствовалъ Пушкинъ и вся окружавшая его плеяда даровитыхъ поэтовъ. Нужно было обладать силой и самобытностью Кольцова, чтобы привлечь къ себѣ избалованый слухъ публики; а стихотворенія Гребенки только легко читались, другаго достоинства за ними не было. Онь и вслѣдствіи не переставалъ писать стихи; но они были у него только междудѣльемъ: воядѣтельность его была посвящена поэтической прозѣ. Справедливость требуетъ, однакожъ, сказать, что между стихотвореніями Гребенки есть нѣсколько очень грациозныхъ, какъ, напримѣръ: *Почтамъ* (въ «Рус-

ской Бесѣдѣ», смирдинскомъ альманахѣ 1841 г.), *Пльсня* («Молода еще девица я была»... въ «Отечественныхъ Запискахъ» того же года) и нѣкоторая изъ «Украинскихъ Мелодій», которая не что иное, какъ переводы или подражанія малороссійскимъ народнымъ пѣснамъ.

Нѣкоторая извѣстность Гребенки въ публикѣ нача-
лась съ изданія имъ въ свѣтъ въ 1837 г. небольшой
книжки, подъ заглавіемъ: *Разсказы Пирятинца*. Всѣ
заимствованные изъ быта и преданій Малороссіи, раз-
сказы напоминаютъ и содержаніемъ своимъ, и мане-
ромъ повѣствованія «Вечера на Хуторѣ близь Диканьки»
Гоголя. Несомнѣнно, что повѣсти геніального товарища
по школѣ заронили въ Гребенку мысль его *Разсказовъ Пирятинца*, несомнѣнно, что и слогъ, и языкъ, и
образъ, выраженія въ «Вечерахъ» сильно поразили своею
новостью, свѣжестью и свободой молодаго Гребенку, и
положили свою печать на его манеру. Но несправедливо
было бы обвинять Гребенку въ исключительномъ под-
ражаніи Гоголю. Если на *Разсказахъ Пирятинца* и на нѣкоторыхъ позднѣйшихъ повѣстахъ и рассказахъ
Гребенки есть слѣды вліянія Гоголя, то на нихъ есть
слѣды и другихъ вліяній — Марлинскаго, напримѣръ,
Загоскина... Никто, перечитывая теперь повѣсти Гре-
бенки, не назоветъ его слѣпымъ подражателемъ ма-
неръ Гоголя, какъ не назоветъ подражателемъ Марлин-
скаго или Загоскина, а только отнесетъ его къ извѣст-
ному литературному periodу, который наложилъ на не-
го свою печать, какъ на человѣка, необладавшаго са-
мостоятельнымъ талантомъ, пролагающимъ новые пути
въ литературѣ... Гребенка принадлежалъ къ числу тѣхъ
посредствующихъ дарованій, которые являются въ из-
вѣстную пору цѣлыми группами, какъ связующая нить

между геніями, создающими эпоху, и публикой. Можно ли же стать имъ внѣ всякаго вліянія? Развѣ не видимъ мы и на самомъ Гоголѣ вліянія даже столь второстепенного писателя, какъ Марлинскій?

Поэтому намъ кажется вполнѣ несправедливымъ рѣзкій отзывъ Гоголя о подражательности Гребенки.

П. В. Анненковъ, въ «Воспоминаніяхъ» своихъ объ авторѣ «Мертвыхъ Душъ», такъ передаетъ намъ этотъ отзывъ, сдѣланный Гоголемъ въ Римѣ, въ 1841 году.

«Разъ онъ (Гоголь) обратился ко мнѣ (говорить г. Анненковъ) съ весьма серьёзнымъ, настоятельнымъ требованіемъ, имѣвшимъ вмѣстѣ съ тѣмъ юмористической оттѣнокъ, удивительно граціозно замѣшанный въ его слова. Дѣло шло о покойномъ Гребенкѣ, какъ о подражателѣ Николая Васильевича, старавшемся даже иногда поддѣлаться подъ его первую манеру разсказа.

— Вы съ нимъ знакомы, говорилъ Гоголь: — напишите ему, что это никуда не годится. Какъ же это можно, чтобы человѣкъ ничего не могъ выдумать? Непремѣнно напишите, чтобы онъ пересталъ подражать! Чѣмъ жь это такое, въ-самомъ дѣлѣ? *Онъ вредитъ мню.* Скажите просто, что я сержусь и не хочу этого. Вѣдь онъ же родился гдѣ-нибудь, учился же грамотѣ гдѣ-нибудь, видѣлъ людей и думалъ о чѣмъ-нибудь. Чего же ему болѣе для сочиненія? Зачѣмъ же онъ въ мои дѣла вмѣшивается? Это неблагородно — напишите ему. Если уже нужно ему за другимъ ухаживать, такъ пусть выберетъ кто поближе къ нему живеть... все же будетъ легче. А меня пусть оставить въ покое, пусть непремѣнно оставить въ покое.

«Но въ голосѣ и въ выраженіи его было такъ много комического жара, что нельзѧ было не смеяться».

Можетъ-быть и самъ благодушный Евгений Павловичъ посмѣялся бы этимъ рѣчамъ, какъ ни черство, какъ ни колко были направлены онъ ему^т прямо въ сердце. Намъ кажется, что рѣзкія слова Гоголя гораздо ярче рисуютъ раздражительное до болѣзnenности само-любіе его самого, нежели достоинства скромнаго бельлетриста, никогда неизѣшаго завоевывать себѣ славу, а тихо трудившагося по любви и увлеченію, приносившаго посильную пользу и никому *невредившаго*.

Со времени изданія *Разсказовъ Пирятинца* имя Гребенки начинаетъ все чаще и чаще появляться подъ "повѣстями, рассказами, очерками и стихотвореніями въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ. Вскорѣ ни одинъ почти журналъ, ни одинъ альманахъ или сборникъ не обходились безъ какого-нибудь произведенія Гребенки.

Повѣсти, явившіяся въ 1837 году, были частью заимствованы изъ малороссійской жизни (*Мачиха и Панночка и Вотъ кому зозуля ковала*), частью изъ петербургскаго быта, съ которымъ начинала понемногу знакомиться Евгений Павловичъ (*Лука Прохорычъ*). Въ этомъ же году напечаталъ онъ отрывокъ (первыя страницы) изъ своей повѣсти: *Записки Студента*, которая явилась въ печати вполнѣ только чрезъ два года. Стихотворенія, которыхъ потомъ рѣже попадаются съ подписью Гребенки, теперь еще занимаютъ его сильно: онъ пишетъ даже цѣлую поэму изъ малороссійской исторіи — *Богданъ Хмельницкій*.

Въ ноябрѣ 1838 года Евгений Павловичъ оставилъ службу въ Комиссіи Духовныхъ Училищъ и былъ определенъ старшимъ учителемъ (третьаго рода) русскаго языка и словесности въ Дворянскій Полкъ.

Вся служба Гребенки съ этихъ поръ ограничивается преподаваніемъ въ военно-учебныхъ заведеніяхъ. Въ 1841 году былъ онъ переведенъ изъ Дворянскаго Полка въ учителя словесности во Второй Кадетскій Корпусъ. Въ послѣдніе годы жизни преподавалъ онъ тотъ же предметъ, въ Институтѣ Корпуса Горныхъ Инженеровъ и въ офицерскихъ классахъ Морскаго Кадетскаго Корпуса.

Намъ не разъ случалось слышать отъ бывшихъ учениковъ Гребенки теплые, полные любви и участія рассказы о ихъ покойномъ преподавателѣ. Всѣ были согласны другъ съ другомъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Такъ же добръ, такъ же кротокъ и симпатиченъ былъ Евгений Павловичъ и въ роли учителя, какъ въ своей домашней жизни или въ кругу своихъ знакомыхъ. По любви къ литературѣ, онъ поощрялъ учениковъ своихъ къ литературнымъ занятіямъ — разумѣется, тѣхъ, въ комъ замѣчалъ способность и любовь къ дѣлу. Въ урокахъ своихъ онъ не былъ педантомъ. Часто случалось, что онъ не умѣлъ сдержать желанія подѣлиться съ юными слушателями своими какою-нибудь замѣчательною литературною новостью и, оставляя разсказъ о прежнихъ судьбахъ русскаго слова, или какія-нибудь грамматическія объясненія, съ одушевленіемъ читалъ или новое стихотвореніе или прозаической отрывокъ. Такъ были прочитаны имъ не одна изъ пѣсенъ Кольцова, не одно изъ стихотвореній Лермонтова, не одинъ отрывокъ изъ Гоголя.

Какъ примѣръ терпимости и кротости Евгения Павловича, слѣдуетъ упомянуть, что онъ никогда не бранилъ шалуновъ въ своеиѣ классы и никогда не жало-

вался на нихъ начальству. Онъ обыкновенно обращался къ ученику только съ слѣдующими тихими словами:

«Вы нездоровы: вамъ надо бы въ больницу».

И слова эти дѣйствовали лучше всякихъ угрозъ и наказаний, затрогивая въ мальчикѣ чувство совѣстливости, но не раздражая его.

Жизнь Гребенки такъ небогата проицествіями, что на долю бiографа достается почти исключительно его литературная дѣятельность, и потому мы прослѣдимъ въ хронологическомъ порядкѣ появление въ печати его произведеній, обращая вниманіе на особенно замѣтныя. Мы остановились на разсказѣ: *Лука Прохорычъ*.

Каждый годъ, начиная съ 1838-го, стало являться по иѣскольку повѣстей и рассказовъ Гребенки. Малороссія, исключительно вдохновлявшая его въ первыхъ произведеніяхъ, теперь уступаетъ часть своего вліянія Петербургу и столичному быту. Почти всѣ повѣсти Евгенія Павловича распадаются съ этого времени на два отдѣла: въ однихъ описываетъ онъ родныя мѣста, въ другихъ — Петербургъ.

За *Лукою Прохорычемъ* въ 1839 году появились: *Такъ иногда люди женятся*, повѣсть (въ «Утренней Зарѣ») и *Бывальщина*, разсказъ (въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду»). Послѣдній — пустенький анекдотъ, разсказанный, впрочемъ, довольно-весело. Повѣсть слишкомъ эскизна, чѣмъ вообще грѣшать небольшіе разсказы Гребенки; но въ подробностяхъ ея много жизни и юмора.

Въ 1840 году Евгеній Павловичъ напечаталъ повѣсть *Братья* (въ «Утренней Зарѣ»), разсказъ *Путешествия Записки Зайца* (въ «Литературной Газетѣ»), который былъ перепечатанъ потомъ отдельно книжкой

въ 1844 году, повѣсть *Вѣрное Лекарство* (въ «Отечественныхъ Запискахъ»), и повѣсть же *Горевъ Николай Федоровичъ* (въ «Пантеонѣ»).

Въ *Вѣрномъ Лекарствѣ* болѣе всего видно влияние Гоголя, именно его «Записокъ Сумасшедшаго». Время появленія этой повѣсти заставляетъ предполагать, что ее-то и имѣлъ въ виду Гоголь, отзываясь съ такою жосткостью о подражательности Гребенки. Нельзя, однажды, не признать за этою повѣстью замѣчательныхъ достоинствъ: она исполнена истинно-комическихъ чертъ; самое положеніе героя повѣсти богато юморомъ. Главная ошибка автора заключалась въ томъ, что онъ избралъ форму, въ которой послѣ Гоголя уже трудно было создать что-нибудь самостоятельное. Въ *Вѣрномъ Лекарствѣ* разскѣзъ ведется отъ лица главнаго дѣйствующаго лица, въ формѣ дневника, а это лицо — сумасшедшій. Какъ же было не заслужить упрековъ въ подражательности послѣ записокъ Поприщина?

Въ слѣдующемъ году Гребенка напечаталъ пять повѣстей: *Кулакъ* (въ альманахѣ Владиславлева «Утренняя Заря»), *Записки Студента* (въ «Отечественныхъ Запискахъ»), *Сказание о Горохѣ и Женихѣ Василия Ивановича, что почти все равно* (тамъ же), *Перстень и Дальний Родственникъ* (въ «Литературной Газетѣ»).

Къ этому же году относится изданіе *Ласточки*, сборника на малороссийскомъ языке, составленнаго Евгениемъ Павловичемъ и въ которомъ помѣстилъ онъ нѣсколько своихъ стихотвореній и статеекъ въ прозѣ.

Въ *Ласточки* была, между прочимъ, напечатана и повѣсть Г. Ф. Квитки (известнаго подъ псевдонимомъ Грицка Основьяненка): «Сердечная Оксана». Въ бума-

Часть I.

II

гахъ Квитки сохранились три письма Евгенія Павловича изъ Петербурга, по поводу этой повѣсти и одного несостоявшагося литературнаго предпріятія. Письма эти приводимъ мы здѣсь цѣликомъ изъ монографіи г. Давилевскаго «Основыяненко».

14 сенлѣбря 1838.

Давно, дуже давно я васъ знаю, добродію; не одынь разъ я одводывъ душу, балакаючи зъ вами, не разъ плакавъ видъ щирого серця, слухаючи вашихъ казокъ, або реготавсь, якъ той казавъ, до не змогу — отъ що! А вы ёго й не знаете! Що недавно отце я вамъ казавъ, та й не я одинъ, а вси наши — превелике спасиби за *Козырь-дивку*; зъ биса десь була гарна дивчина! Я читавъ ваше такежъ рукописне, у цензури; прочитавъ, та ажъ облизавсь! Тай подумавъ: Господы мій милостивый! якъ то народъ пише гарно по нашему, и чомъ отъ у тіи журналы ничего такого не беруть? А дали згадавъ, що и у мене є зо дви, чи зо три приказокъ, та є знаемый чоловикъ Котляревскій, та ще може зо два такихъ, що пишуть христіанською мовою, тай кажу соби: а нехай я поклонюсь добрымъ людямъ, та сберу невелычкій *Сборникъ*, нехай соби ходыть по билому свитови, хай потиша православныхъ? Эге, такъ? Такъ я до васъ зъ прошенiemъ: будте ласкави, пане Грицьку, пришлите якій небудь казень — люблящому и почитающему васъ землякови

E. Гребинци.

P. S. Не можете ли достать чего малороссійскаго у Гулака-Артемовскаго?

2 октября 1838.

А мабуть то мало и я зрадовавсь, якъ получивъ видъ васъ одвить, мій коханый паночку! Бо бачите, я хоть и мавъ васъ за доброго чоловика, та все таки не

знатъ вашої натуры, думавъ и такъ и сякъ, и тое и сее. Жду и не диждусь *Оксаны!* И отбою нема одъ нашихъ хлопцівъ; а ихъ таки тутъ є зъ московскій десятокъ! Якъ я имъ сказавъ, то тилько й речи: «а що, пріїхала?» Я й гримну на нихъ, та кажу, що ни! адв'яжитця видъ мене! То вони й пидуть сердешни, носы повисивши, мовъ тії лелеки, далеби що правда! — На ваше предложение обѣ изданії «Литературныхъ Прибавленій» на малороссійскомъ языке я говорилъ съ журналистами, и согласиль Краевскаго издать четыре «Прибавленія» въ годъ при новомъ журналѣ, съ 1839 года: *Отечественныя Записки.* Всѣ литераторы, которые имѣютъ въ себѣ довольно гордости и не могутъ подчиниться деспотизму Сенковскаго, будуть въ немъ участвовать: всѣ порядочные люди. Редакція поручила мнѣ пригласить васъ участвовать и на русскомъ языке. — До зобачення же, мій коханый пане; нехай видъ васъ одмахуютъ крыльцями Божи янгелы усяку напастъ; нехай ваша доля насыпа ваши коморы борошномъ и киши золотомъ; нехай ваша жинка и диточки цвітуть, якъ макивочки: сёго щира бажа васъ дуже кохаючій

E. Гребинка.

P. S. Не здивуйтесь, що погано пописано! Така має вдача: не вивчили добри люде краще писати.

18 ноября 1838.

Добре, добре, паночку! Хиба жъ я коли видъ дила цуравсь? Я й самъ свыту знявъ бы, та робывъ бы, абы було що! — Издание «Прибавленій» должно быть подъ моимъ смотрѣніемъ, бо я трохи тмлю чолови-ческу мову... Мы мусимо зробыть четыри книжки: першу у марта, другу у конци мая, або у іюня, третю къ Семену, або къ Воздвиженю, а четверти у Пили-

пивку, геть туды къ Ризду, писля Савы, або Зачатія. А що тутъ е у мене одинъ землякъ Шевченко, що то за завзятый писать вирши, то нехай ёму сей та той! Якъ що напише, тильки цмокни, та вдарь руками объ полы! Винъ мини давъ гарныхъ стихивъ на сбирникъ. А отти бандуристы, що вы прислали мини, щось не тее! Ноты, коли хочете прислати, то враще зъ басомъ, бо басъ у музыци, якъ чоловикъ у семи, не дуже то высивиуе, але дає усёму порядокъ — винъ голова... Уже, якъ хочете, а я вамъ признаюсь, паночку, що люблю вашу жинку, зроду не бачивъ, а чуючи, що вона дуже стало-быть мудрая. Краевскій чрезвычайно радъ видѣть вашего «Халявскаго» (*)... Въ 1 № будеть Марлинскаго: «Записки Зачумленнаго Офицера» — объяденіе! Изъ письма вашего вижу, что вы знаете Аѳанасьеву (**); где онъ пропадаетъ? Дайте ему мой адресъ и попросите написать ко мнѣ. Бувайте здоровы, зъ жиночкою!

Изъ этихъ небольшихъ писемъ ясенъ добрый и веселый нравъ Евгения Павловича; кроме того, они показываютъ снисходительный до безразличности взглядъ его на литературу: онъ въ восторгѣ и отъ Основьяненка и отъ безобразнѣйшей повѣсти Бестужева. Этотъ добродушный взглядъ объясняетъ какъ нельзя лучше ту легкость, съ которой Гребенка поддавался разнымъ литературнымъ вліяніямъ, чередовавшимся во время его писательской дѣятельности. На сочиненіяхъ Евгения Павловича отражались поочередно и юморъ Гоголя, и остроуміе барона Брамбеуса, и фразерство Марлинского, и распывавшаяся чувствительность и легкость въ

(*) Романъ *Панъ Халявскій* Основьяненка былъ напечатанъ въ «Отечественныхъ Запискахъ».

(**) А. С. Аѳанасьева-Чужбинскаго.

литературныхъ приемахъ Загоскина. Когда, въ замѣнъ смиренныхъ помѣщиковъ, и благородныхъ, возвышенныхъ, а потому страдающихъ героинь, литература стала обращаться къ народной средѣ, Гребенка пробовалъ свои силы въ изображеніи крестьянской жизни; у него найдутся даже историческіе анекдоты, рассказанные томъ такихъ же анекдотовъ Булгарина и Масальскаго. Главный недостатокъ, который не позволилъ, при несомнѣнномъ таланѣ, выдвинуться Гребенкѣ изъ ряда второстепенныхъ писателей, заключался въ неразвитіи автора въ уровень съ современными требованиями. Вездѣ усвоивалъ онъ только форму, не давая себѣ труда или не чувствуя способности проникнуть въ смыслъ каждого литературнаго направленія, къ которому поперемѣнно примыкалъ. Въ основѣ его образованія не лежало того сознанія, которое не позволяетъ писателю увлекаться то тѣмъ, то другимъ литературнымъ движеніемъ, и следовать безразлично тому или другому, или обоимъ вмѣстѣ. Гребенка примыкалъ къ разряду людей, которые смотрѣть на искусство и на слово глазами дилеттантѣ, и видѣть въ литературѣ не выраженіе задушевнѣйшихъ упованій и насущнѣйшихъ потребностей общества, а какую-то пріятную игрушку. Вліяніе въ этомъ отношеніи Гоголя, впервые рѣшительно двинувшаго нашу литературу на настоящій путь, не отразилось на Гребенкѣ вовсе. Издавая собраніе своихъ повѣстей, онъ взялъ эпиграфомъ къ нимъ два извѣстные стиха Кантемира:

«Знаю, что правду пашу — и именъ не значу;
Смѣюсь въ стихахъ, а въ сердцѣ о злоравныхъ плачу».

Повѣсти Гребенки были впервые собраны и изданы какъ разъ въ то время, какъ литература наша, полная

вліяніемъ Гоголя, хорошо характеризовалась двустишіемъ нашего первого сатирика. Выставляя двустишие это въ чель всего, что было имъ написано, Гребенка, казалось, хотѣлъ пріурочить себя тѣмъ къ современному движению. Строго говоря, онъ не принадлежалъ къ нему, и стихи Кантемира къ повѣстямъ доброго Евгения Павловича нейдутъ. Самые возмутительные общественные недостатки не волновали его на столько, чтобы голосъ его возвышался до громкаго клика негодованія или до горькаго сатирическаго смѣха. При появленіи въ свѣтъ собранія повѣстей Гребенки, одинъ изъ журналовъ нашихъ, справедливо укоряя его въ недостаткѣ глубины взгляда, приводить въ примѣръ повѣсть *Записки Студента*, очень слабую по своей поверхностности и по самому исполненію, "хотя въ основѣ ея лежитъ богатая мысль. «Довольно сказать (говорить рецензентъ), что эта мысль разработана впослѣдствіи времени въ двухъ лучшихъ русскихъ романахъ, въ *Обыкновенной Исторіи* г. Гончарова и въ эпизодѣ о смерти Покровскаго, въ *Бѣдныхъ Людяхъ* г. Достоевскаго: тутъ тоже «молодой человѣкъ, жаждущій благородной дѣятельности», какъ молодой Адуевъ, но только бѣдный, какъ Покровскій. Оба эти романа могутъ показать, какъ легко проскользнулъ взглядъ Гребенки по предмету, въ которомъ другіе нашли — одинъ столько близкихъ для всѣхъ настѣ вопросовъ жизни, другой — столько трагического величія!... Въ этомъ же заключается причина, почему слабы физиологические очерки Гребенки. Онъ опишетъ внешность какого-нибудь типа, но не дастъ ключа къ пониманію и разумному освѣщению этой внешности — ключа, скрывающагося въ свойствахъ человѣческой природы вообще и выражающейся въ извѣстной формѣ подъ

вліяніемъ различныхъ статистическихъ и историческихъ обстоятельствъ». Съ этимъ отзывомъ нельзя не согласиться, какъ вообще и со всею статьей «Современника», изъ которой мы выписали приведенные строки. Да-ляе мы приведемъ изъ нея еще отрывокъ.

Теперь же возвратимся къ письмамъ Евгения Павловича къ Квиткѣ, и по поводу ихъ скажемъ нѣсколько словъ о томъ, какъ Гребенка познакомился съ Основьяненко. Первое знакомство было по письмамъ.

«Проѣздомъ чрезъ Україну (рассказываетъ г. Данилевскій въ монографіи своей, изъ которой заимствовали мы три письма Евгения Павловича), онъ (Гребенка) вернулся на Основу (*) , и съ извощикомъ проговорилъ объ Основьяненкѣ всю дорогу. Его радовала эта известность. Подъ окномъ домика, где жилъ Основьяненко, Гребенка спросилъ у старика, читавшаго книгу: «А чи дома панъ Основьяненко?» и вслѣдъ за тѣмъ вскрикнулъ, вглядѣвшись въ него: «Здоровъ, батьку Грицьку?» Основьяненко (это былъ онъ) медленно оставилъ книгу, переклонился изъ окна и спросилъ прерывавшимся отъ радости голосомъ: «А чи не Гребиничка?» Молодой літераторъ встрѣтилъ полное радушіе у гостепріимнаго своего «учителя» по литературѣ, проѣстилъ у него нѣсколько дней и былъ потомъ самымъ ревностнымъ ходатаемъ по литературнымъ дѣламъ Основьяненка въ Петербургѣ, и поддерживалъ съ нимъ потомъ долго переписку».

Мы уже говорили, что въ повѣстіи «Записки Студента» есть автобіографическія черты. Кромѣ описанія дѣтства, въ ней находится и еще много взятаго авторомъ

(*) Помѣстие Квитки близъ Харькова, отъ которого и псевдонимъ Основьяненка.

изъ жизни. Такъ, опредѣленіе въ военную службу и скорое оставленіе ея напоминаетъ поступленіе Евгенія Павловича въ малороссійскіе казаки и его краткое служеніе въ полку. Въ исторіи переѣзда въ Петербургъ, начала гражданской служебной карьеры и ея непріятностей, замѣтны личныя впечатлѣнія и воспоминанія. По словамъ людей, близкихъ къ автору, самая завязка повѣсти заимствована изъ его собственной жизни. Повѣсть эта едва ли не болѣе всѣхъ другихъ произведеній Гребенки имѣла успѣха въ публикѣ. Въ ней точно много страницъ теплыхъ и задушевныхъ, но въ цѣломъ она неудовлетворительна и не лишена вѣкоторой слезливости въ тонѣ. И здѣсь замѣтна, кромѣ того, небрежность и краткость очерковъ, та эскизность о которой мы упоминали выше и отъ которой Гребенка сталъ отыскать только въ послѣднее время. Можетъ-быть, кромѣ того, многое въ *Запискахъ Студента* принадлежало и къ первой порѣ дѣятельности Гребенки: вспомнимъ, что еще за три года до появленія повѣсти вполнѣ, изъ нея былъ напечатанъ отрывокъ.

Къ числу лучшихъ и наиболѣе выдержаныхъ повѣстей Гребенки принадлежитъ *Кулики*: въ немъ есть и довольно-хорошо обрисованные характеры и довольно-удачно помѣщенные сцены.

Въ 1842 г. явились три повѣсти Гребенки: *Водесль въ Частной Жизни* (въ «Утренней Зарѣ»), *Сеня* (въ «Отечественныхъ Запискахъ») и *Нижній Полковникъ Золотаренко* (въ «Литературной Газетѣ»).

По поводу первой повѣсти, которая сама-по-себѣ вовсе незамѣчательна, у насть есть въ рукахъ смытной документъ, сохранившійся въ бумагахъ Евгенія Павловича. Въ этомъ случаѣ намъ приходится имѣть дѣло съ

бывшимъ наставникомъ бывшаго лицеиста, посыпившимъ ся, послѣ отставки, въ Москвѣ. Письмо написано въ апрѣлѣ 1842 года, изъ Москвы, вскорѣ послѣ свиданія достопочтеннаго профессора со своимъ бывшимъ ученикомъ. Мы приведемъ изъ письма этого отрывокъ, который объяснитъ все лучше нашего разсказа. Предварительно слѣдуетъ только замѣтить, что Гребенкою былъ написанъ очеркъ *Іерусалимъ*, для изданія г. Кукольника: «Картины Русской Живописи», гдѣ онъ и помѣщенъ въ 1846 году, и что въ то время ежегодно выходилъ альманахъ покойнаго Владиславлева: «Утренняя Зара», который ни разу не являлся безъ имени Гребенки подъ какимъ-нибудь стихотвореніемъ или прозаическою статьей.

Вотъ отрывокъ изъ помянутаго письма, очень характеризующій человѣка, бывшаго когда-то наставникомъ Гребенки:

«При свиданіи моемъ съ Вами въ С. Петербургѣ (пишетъ профессоръ), Вы мнѣ говорили, что альманахъ г. Владиславлева на будущій годъ будетъ религіозный и что вы на свою долю взяли написать въ него статью о Іерусалимѣ. Не прослушалъ ли я того, что этотъ альманахъ будетъ на слѣдующій 1843 годъ? Ибо, по приѣздѣ моемъ въ Москву и при наступленіи новаго года — этого 1842-го — былъ мнѣ принесенъ альманахъ г. Владиславлева однимъ изъ воспитывавшихся въ Гимназіи Высшихъ Наукъ Князя Безбородко, по содержанію вовсе другой. Но это стороннее; самое же дѣло вотъ въ чемъ: я нашелъ въ немъ Вашу статью: *Водевиль въ Частной Жизни* — разумѣется, нѣжинской или около нѣжинской. Но и это еще не настоящее дѣло, о которомъ говорить намѣренъ; а вотъ имен-

но въ чём оно: Вы, помѣщеннымъ тутъ эпиграфомъ, и меня къ этой статьѣ прилагали. Не ошибаюсь, ибо самъ очень хорошо помню, что я говорилъ подобнымъ образомъ о древности Нѣжина и происхождении его названия. Очень радъ и очень благодарю Васъ, что Вы помните о моей службѣ; но сожалѣю, что Вы настоящій, истинный мой смыслъ, мною говоренное—не только много измѣнили ко вреду его, но даже еще и обезобразили вовсе несвойственнымъ мнѣ произношеніемъ (гм!), постоянно употребляемымъ только одними закалленными въ ябедѣ крючками да отчаянными пьяницами. Ссылаюсь на Васъ, на Вашихъ бывшихъ товарищѣй, на бывшихъ до Васъ въ томъ заведеніи и послѣ Васъ, что таковое произношеніе вовсе чуждо мнѣ. Зная добрѣйшую Вашу душу, я никакъ не могу допустить себя думать, чтобы Вы это сдѣлали съ намѣреніемъ, а приписываю это Вашей поспѣшности въ помѣщеніи ея (?), и лумаю, что Вы и сами послѣ пожалѣли объ этомъ; ибо даже чуждый этого, а только принесший мнѣ этотъ альманахъ, понимая и помня, къ кому относится такой эпиграфъ, измѣненный въ своемъ смыслѣ и какъ-будто въ насмѣшивомъ тонѣ помѣщенный, посовѣтился, какъ онъ мнѣ послѣ сказать, прямо дать мнѣ въ руки, а передать его чрезъ другаго, тутъ же бывшаго. Теперь я хладнокровенъ къ этому; но по прочтеніи его, признаюсь, былъ очень неравнодушенъ, тѣмъ болѣе, что и безъ того имѣю враговъ», и пр.

Эпиграфъ, который такъ возмутилъ бывшаго профессора Евгения Павловича, былъ слѣдующій и, по видимому, вовсе необычайный:

«Не думайте, господа, чтобы Нѣжинъ происходилъ отъ нѣги, гм! то-есть отъ нѣжности или изнѣженности

сти: думать подобнымъ образомъ болѣе или менѣе не-
основательно. Напротивъ, отъ низкаго своего положенія
назывался городъ Низенъ, впослѣдствіи Ниженъ, да-
лѣе Нишенъ, наконецъ и вышло — Нѣжинъ».

(Изъ профессорской лекціи.)

Два послѣдующіе года, 1843 и 1844, были самыми
плодовитыми въ дѣятельности Гребенки. Кромѣ двухъ
романовъ: *Чайковскій* и *Докторъ* (въ «Отечествен-
ныхъ Запискахъ»), онъ напечаталъ девять повѣстей и
разсказовъ, именно: *Прудъ* (въ «Утренней Зарѣ»),
Искатель Мѣста, *Первый Концертъ Рубини*, *Ма-
скарадный Случай*, *Калифъ на Часъ*, *Странная
Перепелка*, *Злой Человѣкъ* (въ «Литературной Га-
зетѣ»), *Ирокъ и Быль не Быль и не Сказка* (въ
«Библіотекѣ для Чтенія») и поэму *Богданъ* (тамъ же),
изъ которой печаталъ сначала отрывки въ разныхъ
періодическихъ изданіяхъ.

Замѣчательнѣйшее изъ всѣхъ этихъ произведеній —
романъ *Чайковскій*, который есть въ то же время и
вообще лучшее произведеніе Гребенки. Содержаніе его
заимствовано изъ семейныхъ преданій его матери. Вы-
ше привели мы отрывокъ изъ прекрасной рецензіи «Со-
временника», мнѣнія которой совершенно совпадаютъ
съ нашимъ взглядомъ, и хотѣли еще возвратиться къ
ней. Вотъ что говорить рецензентъ о *Чайковскомъ*,
переходя отъ сужденія о лиризмѣ, замѣчающемъ въ боль-
шей части произведеній Гребенки:

«Лирическаго элемента нельзя выпускать изъ виду,
говоря о Гребенкѣ. Этотъ элементъ ему врожденъ; онъ
у него тотъ же, что вѣтъ въ малороссійскихъ пѣсняхъ,
а въ талантѣ Гребенки большая аналогія съ этими пѣс-
нями. Онъ совершенно не тотъ, когда говоритъ о своей

родинѣ, разсказываетъ о бытѣ минувшихъ племенъ, приводить преданія старины о славѣ запорожцевъ. Въ этихъ рассказахъ — онъ дома. Онъ не острить съ чужаго голоса, а острить *характерно*, и остроты его изображаютъ понятія и образъ мыслей тѣхъ лицъ, въ уста которыхъ они вложены. Онъ, не маскируясь приличіями свѣтскаго человѣка, предается всей живости впечатлѣній и этой богатой природы юга и этихъ людей; онъ сочувствуетъ ихъ прекраснымъ качествамъ, свойственнымъ еще неиспорченной натурѣ, и не скрываетъ отъ васъ ихъ недостатковъ, но изображаетъ ихъ съ любовью художника, то-есть съ любовью не къ самымъ недостаткамъ, но къ своему произведенію, по мѣрѣ того, какъ эти недостатки помогаютъ ему рисовать болѣе вѣрную картину старины, людей и ихъ быта. Этой неподдельной теплоты, знанія старины, обычаевъ и нравовъ такъ много въ его романѣ *Чайковскій*, что о недостаткахъ его, право, и говорить нечего. Нѣкоторые не хотятъ признавать въ *Чайковскомъ* всѣхъ его достоинствъ, потому-что Гоголь написалъ «Тараса Бульбу», гдѣ изображены тѣ же, и еще полнѣе, элементы казачества; но изъ того, что Гомеръ написалъ «Иліаду», а Орфей — «Походъ Аргонавтовъ», развѣ не читали греки съ удовольствіемъ другихъ поэтовъ, обработывавшихъ эпизоды изъ тѣхъ же событий и изображавшихъ тѣ же лица? Признаемся, въ «Медеѣ» Аполлонія Родійскаго и мы находимъ такія красоты, которыя нисколько не заставляютъ сожалѣть времени, употребленаго на прочтение этой поэмы, а въ свое время пѣвецъ ея пользовался великой славой, хотя и повторилъ стаинную сказку о кораблѣ Арго, приписываемую Орфею...

«Мы не намѣрены разсказывать содержанія романа

Чайковский. Онъ былъ прочтенъ и будетъ читаться съ большинствомъ удовольствиемъ; скажемъ, что некоторые характеры, особенно полковника Ивана, казака Никиты Прихвостия и Касьяна, очень хорошо обрисованы авторомъ; въ другихъ лицахъ много исторической вѣрности; интрига очень занимательна, хотя мѣстами авторъ впадаетъ въ мелодраму, особенно при изображеніи женщинъ; впрочемъ, женщины въ казачествѣ играли неважную роль; есть сцены эффектныя, а главное — весь романъ рисуетъ бытъ и обычай, и образъ мыслей запорожцевъ.

«Вообще (повторяетъ далѣе рецензентъ) стародавній бытъ Украины прекрасно отразился въ *Чайковскомъ*; самъ авторъ одушевляется, говоря о дѣлѣ, припоминая разсказы старииковъ и изъ нихъ возставляя картины минувшей жизни этихъ странъ. Онъ самъ наконецъ возвышается до паѳоса очевидца, сочувствуя своему предмету, какъ-бы раздѣляя казацкую удаль и принимая горячо къ сердцу страданія южной Руси отъ ея степныхъ сестрѣй — хищныхъ татаръ».

Перечислимъ вкратце произведенія Гребенки за послѣдніе четыре года его жизни.

Въ 1845 году явились повѣсти: *Петербургская Сторона* (въ изданіи Н. А. Некрасова «Физіология Петербурга»), *Чужая голова* — темный лѣсъ (въ «Иллюстраціи»), *Иванъ Ивановичъ* (въ «Финскомъ Вѣстникѣ»).

Изъ нихъ *Иванъ Ивановичъ* принадлежитъ къ числу удачнѣйшихъ произведеній Гребенки, хотя и здесь, къ сожалѣнію, автору повредилъ его легкій взглядъ: онъ скользнулъ только по поверхности факта, представлявшаго много глубокихъ и потрясающихъ сторонъ, которыми грѣхъ не воспользоваться художнику.

Въ числѣ послѣдующихъ повѣстей и разсказовъ Гребенки не было ни одного особенно замѣчательнаго. Кромѣ того, появленіе многихъ новыхъ яркихъ талантовъ вообще отодвинуло Гребенку на второй планъ.

Въ 1846 году онъ напечаталъ двѣ статьи въ изданіи г. Кукольника: «Картины Русской Живописи», именемъ: *Иерусалимъ и Разсказъ*, и повѣсти: *Черта изъ частной жизни Боченочка* (въ смиринскомъ альманахѣ «Новоселье»), *Питта* (тамъ же), *Лысничий* (въ «Финскомъ Вѣстникѣ») и очеркъ *Пропинціалъ въ Петербургѣ* (тамъ же).

Въ 1847 г. явились: *Приключения Синей Ассигнаціи*, повѣсть (въ «Санктпѣтербургскихъ Вѣдомостяхъ»), *Хвастунъ*, физіологической очеркъ (въ «Финскомъ Вѣстникѣ») и *Газетное Объявленіе, листокъ изъ хроники добраю города С. Петербурга* (въ «Московскомъ Городскомъ Листкѣ»); въ 1848 году были напечатаны повѣсти: *Сила Кондратьевъ* (въ «Современникѣ»), *Зaborовъ* (въ «Иллюстрированномъ Альманахѣ», изданномъ редакціе «Современника»), и *Полтавскіе Вечера* (въ «Библіотекѣ для Чтенія»).

Въ это же время Евгений Павловичъ принялъся за собраніе и изданіе всѣхъ своихъ бельетристическихъ произведеній: первые четыре томика вышли въ 1847 году, еще четыре въ 1848 году. Смерть Гребенки прекратила это изданіе, въ которое вошло только семнадцать повѣстей и разсказовъ и одинъ романъ изъ числа пятидесяти, написанныхъ Гребенкой. Гребенка во всемъ, что ни писалъ, является честнымъ и чистымъ писателемъ, что не малая заслуга въ такое время, когда колебались и отступали отъ прямой дороги писатели выше его цѣлою головою и по силѣ вліянія.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ о характерѣ и частной жизни Евгенія Павловича.

По пріѣздѣ въ Петербургъ, у него образовался довольно-обширный кругъ литературныхъ знакомствъ, чemu, конечно, способствовало участіе его почти во всѣхъ литературныхъ предпріятіяхъ того времени. Особенно близокъ и друженъ былъ онъ съ В. Г. Бенедиктовымъ, П. А. Ершовымъ, авторомъ «Коняка Горбунка», съ Прокоповичемъ, съ семействомъ вице-президента Академіи Художествъ графа Ф. П. Толстаго, и съ В. И. Далемъ, съ которымъ два раза ѻздили въ свою малороссійскую Ревню.

Натура Евгенія Павловича была одна изъ самыхъ симпатичныхъ; благодушіе его располагало къ нему съ первой встрѣчи. Узнавъ ближе, нельзя было не полюбить его отъ всей души. Всѣ сходившіеся съ Гребенкой, вспоминаютъ о немъ съ особенною теплотою. Разговоръ его былъ пріятенъ и дышалъ веселостью, съ тѣмъ легкимъ оттенкомъ юмора, какой замѣчаемъ мы въ его сочиненіяхъ. Вообще, Евгений Павловичъ былъ самый милый собесѣдникъ и всегда гость ко времени. Дома Гребенка былъ радушный хозяинъ. Вечера, на которые собирались къ нему его друзья и знакомые, отличались задушевностью и простотой. Нечего, разумѣется, и говорить о хлѣбосольствѣ: Гребенка былъ малороссъ, а хлѣбосольство одно изъ главныхъ свойствъ малороссійского характера.

Какъ черту радушія и доброты Евгенія Павловича мы приведемъ встрѣчу его съ старымъ наставникомъ, Кулжинскимъ. Вотъ какъ разсказываетъ о ней самъ г. Кулжинскій:

«Гребенка и возмужавши оставился все прежнимъ

веселымъ и вѣчно смѣющимся. Лѣтъ чрезъ пятнадцать послѣ продѣлки его со стихами Козлова, позднимъ вѣчеромъ въ іюнѣ 1843 года, я, утомленный дневною работою, пошелъ прогуляться по нѣжинской мостовой отъ лицея къ монастырю. — На углу около монастыря у насть продаются булки и бублики. Подходя къ этому мѣсту, я услышалъ громкій смѣхъ какого-то знакомаго мнѣ голоса. Продавщицы бубликовъ вторили этому добродушному смѣху своимъ смѣхомъ и звонкими голосами. Я подошелъ ближе. Смотрю — и самъ себѣ не вѣрю.

— Евгений Павловичъ! ты ли это?

Гребенка бросилъ бублики, купленные имъ, и прыгнулъ ко мнѣ на шею.

Онъ тогдаѣхалъ изъ Петербурга къ матери и везъ съ собою свою сестру, кончившую курсъ ученія въ Патріотическомъ Институтѣ.

Оставивши сестру на почтовой станціи приготовить чай, самъ онъ пошелъ купить булокъ; сперва заговорился съ булочницами, потомъ увлекся разговоромъ со мною, провелъ меня до моей квартиры, зашелъ ко мнѣ и просидѣлъ у меня до втораго часа ночи.

— Ба! а сестра моя ожидаетъ меня съ бубликами! сказалъ онъ, прощаюсь со мною.

— Какая сестра? Чѣмъ это ты говоришь?

Тогда только я узналъ отъ него, что онъ єдетъ съ сестрою, которая ожидаетъ его съ чаемъ на станціи»

Замѣтки наши о характерѣ Гребенки покажутся похожими на панегирикъ; но всѣ, знавшіе Евгения Павловича, такъ согласны въ своихъ сужденіяхъ о немъ, которые мы передали здѣсь, что никакъ нельзя усомниться въ ихъ правдивости. Мы даже нарочно разспрашивали о недостаткахъ Гребенки, зная, что нѣть человѣ-

ка безъ слабостей; но видно слабости Евгения Павловича были такъ мелки, что даже для самыхъ близкихъ друзей и знакомыхъ его достоинства заставляли не замѣтить этихъ слабостей. Къ сожалѣнію, намъ не удалось лично знать Гребенку; но изустные разсказы, слышанные нами отъ многихъ лицъ, достойныхъ всякаго вѣроятія, возсоздаютъ въ нашемъ воображеніи такой прекрасный добрый обликъ, что нельзя не желать, чтобы лица, знаяшія лично и помнящія Гребенку, описали свои отношенія къ нему. Хорошо было бы издать и переписку его, если только письма его еще сохранились. Судя по тому, что мы знаемъ о Гребенкѣ, полное изображеніе его милаго и прекраснаго характера было бы не только интересно, но и поучительно даже въ такомъ случаѣ, еслибъ онъ не написалъ ни одной строки для печати.

Какъ ни незначительны были средства Евгения Павловича по переѣздѣ въ Петербургъ онъ выписалъ къ себѣ младшихъ братьевъ своихъ Михаила и Николая (нынѣ архитекторъ), держалъ ихъ сначала у себя, а по томъ опредѣлилъ первого въ Дворянскій Полкъ, а втораго въ З-ю Петербургскую Гимназію.

Онъ былъ женатъ на дочери отставнаго штабс-капитана Растверга, Марѣ Васильевнѣ (нынѣ Масловой), и отъ этого брака, заключеннаго по чистому и постоянно, до смерти Евгения Павловича хранившемуся чувству, у него осталась дочь Надежда, находящаяся теперь при матери.

Послѣдняя болѣзнь Евгения Павловича, которая свела его въ могилу, служить новымъ подтвержденіемъ общихъ отзывовъ о безграничной добротѣ его и готовности на всякое доброе дѣло. Чувствуя себя уже очень

дурно, онъ рѣшился, однажды; выѣхать изъ дома по дѣлу одного знакомаго, и при переѣздѣ черезъ Неву (Евгений Павловичъ жилъ на Васильевскомъ Острову), простился, слегъ въ постель и уже не вставалъ болѣе. Онъ умеръ въ декабрѣ 1848 года. На отпѣваны его, кроме знакомыхъ, друзей и литераторовъ, присутствовало много бывшихъ учениковъ его изъ военно-учебныхъ заведеній. Тѣло Гребенки перевезено въ Малороссію, которая была ему всегда такъ мила и дорога.

РОМАНЫ, ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

ЧАСТЬ I.

РАЗСКАЗЫ ПИРЯТИНЦА.

I.

ДВОЙНИКЪ.

БЫТЬ.

I.

Ни холодно было, ни душно,
А самое такъ якъ въ сирякахъ;
И весело и такъ не скучно,
На великолыхъ мовъ святкахъ.

И. Котляревский.

Праздникъ, праздникъ! кто тебя не любить? Не самъ ли Богъ назначилъ человѣку день для отдохновенія? и это быль вѣнецъ творчества. Шесть дней кипѣли силы природы по волѣ святаго Зиждителя и въ седьмой юная земля, какъ невѣста, засверкала, въ алмазной коронѣ горь, объискренная лучами солнца, обвитая зеленью лѣсовъ и синевою моря. Все было чисто, свѣтло, спокойно. Земля имѣла царя-человѣка, и Великій Зодчій смотря на свое твореніе, съ улыбкою отдохнулъ отъ трудовъ. Это былъ первый праздникъ міра; чтѣ можетъ

*

быть святыне наяла его? Говорять, въ ской семинарии написано много пудовъ хрій, и *порядочныхъ* и *превращенныхъ*, о пользѣ труда, и ни одной строчки о прелести успокоенія. Очень хорошо! прекрасно! но ради чего вамъ угодно, господа писатели хрій, не представляйте нашу жизнь аспидною доской, исчерченной съреньими цифрами. Вездѣ математика, работа уму — и ничего сердцу! Утѣшительна мысль о будущей жизни: тамъ мы, усталые путники, положимъ свой посохъ и пошу . . . отдохнемъ.

Я люблю Италию за ея *dolce far niente*, уважаю на Востокѣ одинъ кейфъ и, какъ уроженецъ Малороссіи, могу ли не обожать праздниковъ? Только я не люблю ихъ въ шумномъ городѣ, гдѣ какой-нибудь бѣднякъ на занятыя деньги нанимаетъ извощика, надѣваетъ лучшее платье и, подъ дождемъ и стужею, съ самой зари отправляется бороздить уличную грязь въ возможныхъ геометрическихъ направленахъ, съ улыбкою на губахъ и досадою въ душѣ, записываетъ въ переднихъ свое имя, которое никто не читаетъ, или проговариваетъ зарученные поздравленія, которыхъ никто не слушаетъ. Не правда ли, это нисколько не весело?

То-ли-дѣло праздникъ въ деревнѣ! поутру благочестивые собираются къ обѣдни; обѣдня кончились и всѣ гуляютъ, какъ кому хочется, какъ задумается. Тамъ не косится на меня, что я приѣхалъ въ черномъ галстухѣ; тамъ я смеюсь громко и еще громче спорю о чёмъ мнѣ угодно. Удивительно-хороша жизнь на-распашку.

Къ моему дядюшкѣ, бывало, въ праздникъ наѣдетъ, Боже мой! сколько добрыхъ людей: близкий нашъ со-сѣдъ съ женою, наша соѣдка съ своимъ мужемъ, отставной полковникъ, трехфутовая фигурка, вѣчно за-

шитая въ мундирный сюртукъ; бывшій засѣдатель Иголочкинъ, подлинно прямой человѣкъ — во всю жизнь я ничего не видывалъ подобище аршину — еще кто-то въ шалоновомъ сюртукѣ, еще кто-то въ бѣлой жилеткѣ, еще и еще... да ихъ всѣхъ и въ день не описать!

А воть видите ли въ углу старика, съ крестомъ на шеѣ? Съ нимъ не шутите: онъ смотрить въ землю, а далеко кругомъ видить; «онъ дока», говорять мои земляки, не имѣя ничего, дослужился до чиновъ и крестовъ и благопріобрѣлъ въ вѣчное и потомственное владѣніе славную деревеньку, съ лугами и лѣсами, и мельницами, и рыбными ловлями, и прочая — такъ написано въ крѣпостномъ актѣ. Прочтите, когда не вѣрите; это должно быть въ архивѣ. Говорятъ злые люди *якобы* онъ продавалъ... ну, продавалъ все, что можно продавать... Да это чистая ложь: посмотрите, какой онъ смиренный!

Воть новоиспеченный помѣщикъ Евсей Кузьмичъ Носковъ. Онъ служилъ подпоручикомъ въ пѣхотѣ и носилъ подъ мундиромъ отчаянныя манжеты. Укравши, назадъ годъ и два мѣсяца, въ нашемъ уѣздѣ себѣ невѣсту, онъ вышелъ въ отставку и сдѣлался помѣщикомъ. Впрочемъ, онъ добрый малый и въ большихъ связяхъ: въ Петербургѣ его короткій пріятель въ какой-то канцеляріи служить журналистомъ. «Можетъ», говоритъ Евсей Кузьмичъ, «онъ теперь заважничаетъ; а прежде мы съ нимъ жили душа въ душу».

Воть еще Иванъ Ивановичъ, Петръ Петровичъ, Федоръ Федоровичъ — рекомендую: препорядочные люди; не смотрите, что они такъ неловко кланяются — не столичные!

А дядюшку и забыть-было! не того дядюшку, у которого гости, этотъ самъ-по- себѣ, а другаго дядюшку,

прелюбезнаго человѣка! Видите, въ сѣромъ казакинѣ съ отложнымъ воротникомъ и въ сапогахъ съ острыми китайскими носками, смеется-себѣ мой дядюшка. Экой проказникъ! Совѣтую съ нимъ познакомиться: у него ростуть славные арбузы.

Сѣли за столъ. Между-тѣмъ какъ, хозяйка убѣдительно просить отвѣдать и борщу съ перепелками, и жареной индѣйки, и кануна подъ лимоннымъ сокомъ, хозяинъ предлагаетъ прохладительное:

— Петръ Петровичъ, не хотите ли рюмочку сливающи? Василій Васильичъ, вы одотникъ до рабиновки: это препомезная настойка. Я ее предпочитаю золотысячнику. А вы какую предпочитаете, Евсей Кузьмичъ?

— Чужую-съ.

Гости хохочутъ.

— Но чѣмъ же вы больше пьете?

— Хмѣльное-съ.

Всеобщій смѣхъ. Кузьмичъ и въ полку слыгъ острякомъ.

Отобѣдали. Дамы удалились въ гостиную, гдѣ, на стодикѣ, покрытомъ синею ярославскою скатертью, ихъ ожидали плоды и варенье.

Мужчины закурили трубки. Разговоръ сдѣлался шумнѣе.

— Святая старина, басиль сосѣдъ съ орденомъ: — теперь не то чѣмъ было; молодежь стала просвѣщаться, мечтать, всѣ — разсуждать...

— Смѣю доложить, сказалъ Иголочкинъ: — мы имѣемъ свои формы...

— Да и какъ прежде учили! перебилъ сосѣдъ: всѣ великие люди, небойсь, скажете изъ нынѣшней молодёжи?...

— Объ этомъ-то я вамъ и докладывалъ.

— Чтобы у меня не взошла рожь къ назначенному сроку! кричалъ Носковъ: — а на чѣ палки растутъ? Я поставлю на-своемъ! Охъ, это хамово племя! Громъ не грянетъ — мужикъ не перекрестится.

— Но вѣходы зависятъ не отъ прикащика, а отъ погоды, замѣтилъ кто-то.

— Въ службѣ чѣ за отговорки!

Нѣкто въ шалоновомъ сюртуке плюнулъ и понюхалъ табаку. Нѣчто, въ бѣломъ жилетѣ, сидя въ уголку хотало до упаду, закрывъ лицо пестреньkimъ платочкомъ. И къ чему это? подумаешь; какъ-будто лицо что-нибудь запрещенное? Я полагаю это такъ, странность.

— Да не такъ давно, въ семилѣтнюю войну, не отретирайся Апраксинъ, мы бы дали нѣмцамъ *того оно какъ его*, пищаъ, подбоченясь маленькой полковникъ. — Вотъ, напримѣръ, подъ Грос-Эгерндорфомъ я приказалъ моимъ кирасирамъ готовиться къ атакѣ да какъ крикну *того! и ну его* во весь карьеръ...

Разговоръ дѣмался шунинѣ. Слова и рѣченія, противорѣчившія другъ другу, мѣшались, сталкивались и отражались въ ушахъ, какъ цвѣтныя стекла въ калейдоскопѣ.

Я предложилъ моему пріятелю N. прогуляться; мы подошли къ дверямъ. У самаго порога стояла наша со-сѣдка* и, крѣпко держа за полу своего мужа, спрашивала:

— Куда ты идешь?

— Я имѣю надобность.

— Какую надобность?

— Да такъ, душечка, право такъ.

— Охъ этотъ мнѣ *такъ!* Ты вѣчио не бережешься,

сего-дня выпилъ два стакана холодной воды! Такъ совсѣмъ можно охолодить себя. Что со мною будетъ тогда?...

Тутъ мой пріятель затворилъ дверь и мы очутились на свободѣ.

Это было весною, подъ свѣтлымъ небомъ Малороссіи. День вечерѣль. Зеленые берега рѣки трепетали въ золотыхъ отливахъ; бѣлыя, пушистыя вѣтви цвѣтушихъ черешень, разрумяненная послѣдними лучами солнца, стыдливо выглядывали между темныхъ вѣтвей дуба; кудрявая яблоня наполняли воздухъ ароматомъ; спокойная рѣка, какъ перламутръ, мѣнялась въ радугахъ; рѣзвущіе-рыбы сновали по ней; яркія серебряные нити или прихотливыми всплесками брызгали жижкимъ золотомъ. А небо—Боже мой! какъ было хорошо это чистое небо!... Ни одной тучки, ни одного пятнышка. Только въ вышинѣ вился бѣлый голубь; какъ алмазъ горѣлъ онъ въ безграничной синевѣ, все выше и выше и... свѣтлою искрою угасъ въ зенітѣ.

Люблю я тебя, милая родина! Роскошна твоя природа, чистъ и иѣженъ воздухъ твой; не земнымъ сладострастіемъ онъ наполняетъ грудь мою!

На зеленомъ лугу играютъ поселяне. Тамъ пестрая толпа дѣвушекъ: онѣ поютъ и вытягиваются длинною цѣпью, свиваются въ вѣнки, развиваются, живою вереницею мчатся по лугу, то, разсыпаясь, ловятъ другъ другу; звонкія пѣсни ихъ оглашаютъ окрестность.

Далѣе, парубки играютъ въ мячи. Присутствіе *жоханокъ* одушевляетъ ихъ; съ какимъ стараниемъ одинъ хочетъ *попятынать* другаго! какія употребляютъ хитрости и неправды, чтобы крикомъ *наша взяла* привлечь вниманіе пары черныхъ глазъ. И въ деревнѣ для

улыбки, для ласковаго слова человѣкъ старается унизить ближняго. Бѣдные люди! вѣрно такова ваша природа...

Игра въ мячи шла превосходно. Тутъ бытъ *мат-кою*, судовой паничъ, изъ ближняго города. Какъ чертовски играеть онъ! Какъ теперь гляжу: онъ скидываетъ свой свѣтлозеленый нанковый сюртукъ и остается въ панталонахъ цвѣта яичнаго желтка, въ красномъ мериносовомъ жилетѣ и въ огромному галстухѣ; бережно кладеть на землю kleенчатый картузъ; поплеваль на руки, взялъ палку, взмахнулъ — и послушный мячъ летить высоко - высоко, чуть видимо! Грѣхъ сказать, судовый паничъ мастеръ своего дѣла.

Согласитесь, нельзя не любить эту игру. Сколько мыслей приходить въ голову, глядя на нее! Не похожъ ли человѣкъ на мячъ? часто я думаю, и судьба, какъ судовой паничъ, по прихоти своей заставляетъ его летѣть то выше, то ниже; во всякомъ случаѣ впереди одинъ финаль — паденіе.

Мы подошли къ гулявшимъ.

Старики не участвовали въ играхъ, а, собравшись въ кружокъ, вспоминали свое молодечество. Старухи, глядя на парубковъ и дѣвушекъ, мысленно ихъ сватали и мечтали о будущихъ свадьбахъ. Молодёжь существенно наслаждалась настоящимъ. Всѣ были веселы, довольны, счастливы. Чего жь болѣе?

Я смолоду любилъ сельскую жизнь и посвятилъ не одну слезу чувствительному Геснеру. Беззаботная радость поселянъ очаровала меня; я началъ идиллически вѣрить въ земное счастіе людей, какъ дитя вѣрить сказкѣ няни о безбрывомъ оборотнѣ, какъ невинная дѣвушка вѣрить клятвамъ своего любовника; но случай такъ жестоко уничтожилъ мои мечтанія!

Выливали ли вы сусликовъ? Вѣрно иѣть. А я-такъ выливалъ. Послушайте. У меня во время оно, бывъ учитель-семинаристъ, высокій, тощій философъ, въ длинномъ голубомъ сюртукѣ на заячьемъ мѣху, съ неразрѣзными полами, и въ полуботфортахъ. Онъ назначить, бывало, мнѣ урокъ изъ латинскихъ вокабуль, а самъ ходить по комнатѣ, закинувъ на спину руки; ходить долго, ходить и нюхаетъ табакъ, еще ходить и свистить; потомъ береть картузъ, береть ведро и отправляется на охоту выливать сусликовъ.

Латинъ для меня пахла гнилью. «Отчего же», подумалъ я, «мнѣ нельзя охотиться?» бросилъ книгу подъ столъ, промыслилъ ведро воды — и вотъ я уже въ поль.

Приволье жить въ степи! Вышелъ за дворъ: вправо волнуются, шумятъ богатыя нивы; влѣво яркимъ ковромъ раскинулся душистый сѣнокосъ, вверху звенить жаворонокъ, а внизу такъ и шныраютъ между травою мои непрѣятели — суслики.

Я скоро нашелъ норку этого звѣря и началъ лить въ нее воду; вода заурчала и наполнила норку. Я притаялъ дыханіе. На поверхность воды взбѣжалъ пузырь и лопнулъ, за нимъ другой и тотъ лопнулъ, и вслѣдъ за этимъ показалась мокрая головка суслика. Увидя меня онъ попятился назадъ; назади вода — враждебная стихія; впереди я, человѣкъ — существо страшное. Бѣдный звѣрёкъ остался неподвиженъ. Уже жадная рука моя была протянута схватить его и — опустилась: передо мной, со всею педагогическою важностью, стоялъ учитель; видъ его былъ грозенъ, лицо пылало, полы сюртука играли съ вѣтромъ и указательный перстъ былъ поднятъ кверху...

— Чѣдъ ты здѣсь дѣлаешь? спросилъ учитель.

- Выливаю суслика.
— Какъ ты могъ смыть это дѣлать?
— Я у васъ выучился.
— Э-э-э! Знаешь ли ты: *quid licet Jovi non licet bovi* (*). Понимаешь?...

И, договаривая эту пословицу, онъ уже тянулся меня довольно-невѣжливо домой. О проклятая латынь! Я не понималъ ее, но изъ дѣла подозрѣвалъ въ ней что-то недоброе; варварскія риѳемы *Jovi* и *bovi* непріятно отзывались въ ушахъ моихъ. Этого мало: у насть были гости. Сколько насмѣшекъ вытерпѣль я при чужихъ людяхъ отъ злого педагога! сколько слезъ мнѣ это стоило!... Богъ съ ними, и врагу моему не совѣтую трогать сусликовъ; пусть они живутъ въ своихъ норкахъ.

Много лѣтъ прошло послѣ этого приключения. Давно уже мой учитель сочетался законнымъ бракомъ; уже его дѣти бѣгло склоняютъ *cognitum*; но я живо помню бѣднаго мокраго суслика, съ его испуганною мордочкой, съ его глазами, устремленными на меня въ какомъ-то глупомъ недоумѣніи.

Увеличьте этого суслика аршина въ два съ четвертью, одѣньте въ лохмотья, поставьте на заднія лапы — это будетъ вѣрный портретъ человѣка, который попался намъ на дворѣ. Равнодушно смотрѣль онъ на игры, называя что-то вполголоса и, казалось, не замѣчалъ насть.

— Здравствуй, Андрей, сказалъ N., подходя къ незнакомцу.

— Здравствуйте, отвѣчалъ онъ, поворотя на насть свои оловянные глаза.

— Отчего ты не идешь гулять?

(*) Чѣдѣ прилично Юпитеру, то неприлично быку.

— Гулять?... гм!...

Глупая улыбка искривила лицо Андрея; онъ почесался въ затылкѣ.

— Развѣ ты не хочешь?

— Андрей не хочетъ: его не любятъ люди, а онъ ихъ боится.

— И нась боится?

— Васъ?... Онъ пристально посмотрѣлъ на нась и опустилъ голову, какъ-бы стараясь что-то припомнить, опять бѣгло взглянулъ и побѣжалъ, повторяя: — страшно Андрею!

— Чѣдѣ это за чудакъ? спросилъ я N.

— Сумасшедшій.

— И по всему замѣтно. О какомъ Андреѣ говорить онъ?

— Это его двойникъ. Недавно перестали говорить въ здѣшней деревнѣ о приключеніи, которое лишило ума этого несчастнаго. Если тебѣ будетъ пріятно, я готовъ разсказать.

— Да какъ это можетъ быть, непріятно? Слушать приключеніе, въ концѣ котораго человѣкъ сходить съ ума, это — верхъ блаженства въ нашъ вѣкъ ужасовъ! И ты, обладая такимъ сокровищемъ, скрывалъ его!...

Странный человѣкъ N. Глядя на него, вы никакъ бы не подумали, что онъ знаетъ хоть одно подобное происшествіе! Я самъ, клянусь вамъ, не подозрѣвалъ этого, а вышло противное!

Мы сѣли на траву и N. началъ говорить.

II.

Хиба уже бидному любыты не треба?

Малор. пъсня.

Нѣсколько лѣтъ назадъ, не было въ С* казака краше Андрея, да и богатствомъ онъ не уступалъ самому выборному: у него было два плуга воловъ; всякое лѣто отправлялъ онъ нѣсколько огромныхъ возовъ въ Крымъ за солью, или на Донъ за рыбою. Чего, бывало, не навезутъ оттуда! тарани, чабака, сельдей и всякой всячины; почти вообразить невозможно сколько! А коровы какія у него были! а овцы! а кабана, бывало, кормить къ Рождеству какого! Я самъ былъ у него въ саду: что за прелесть! Въ саду стоитъ будка, въ будкѣ сидить дѣдъ-сторожъ—гроза сосѣднихъ мальчишекъ. У этого-то дѣда прошу отвѣдать фруктовъ!

А въ хатѣ чего-то не было! Въ переднемъ углу, какъ въ цвѣтнике, между засушенными гвоздиками и васильками, стояли два образа, писанные на кипарисныхъ доскахъ, а кипарисъ, какъ известно, дерево пахучее, у насъ не ростеть. Андрей на-славу заплатилъ за нихъ два съ полтиною и фунтъ воску сузdalскому разнощику, и то разнощикъ по дружбѣ уступилъ такъ дешево. Добрые люди эти сузальцы.

На полу красовался длинный строй мисокъ, настоящихъ изъ Ични, съ глазурью, съ лапчатыми узорами. Вся печь была исписана клѣточками, звѣздочками, точками красными, черными, желтыми. Хохлатые голуби ворковали подъ печкою; на печкѣ мурлыкалъ сѣрый котъ. «Обиліе въ дому Андрея!» говоривалъ, облизываясь, нашъ приходской дьячокъ. Да какъ и не сказать этого?

Будь дуракъ да богатъ — назовутъ умнымъ. Такъ мудрено ли, что Андрей, малый неглупый, при своемъ богатствѣ, взялъ верхъ надъ вѣми^{*} молодыми людьми въ деревнѣ? Гдѣ онъ, тамъ веселье и пѣсни и хохотъ. Парубки старались подражать ему; девушки по немъ вздыхали. Да не только въ С*, а въ цѣломъ околоткѣ.

Напримѣръ, въ Крипицѣ на ярмаркѣ народу, можетъ быть, тысяча слишкомъ бываетъ: и купечество, и духовенство, и дворянство, и даже самъ засѣдатель — Андрею все тринь-трава! Какъ разгуляется — чтѣ твои запорожцы! Найметъ скрипку да бубень — и пошелъ по ярмаркѣ... Шапка на немъ сивыхъ смушковъ; свитка синия перетянута крыснымъ поясомъ; шаравары полосатой пестряди; сапоги юфтовые.

Быть одинъ только отставной капралъ, нейшлотскаго карабинернаго полка, который могъ танцевать съ Андреемъ. Гдѣ собрадась кучა народу, тамъ, вѣрно, они тѣшатся. Капралъ вытянется въ струнку, какъ передъ начальникомъ, руки по швамъ, глаза направо; только ноги пишутъ разные узоры. Андрей станетъ противъ него, заложить большие пальцы за поясъ, наклонится впередъ, взглянетъ на сапоги — и пошелъ выдѣльывать такие хитрые вензеля! ударить трепака — земля трясется! а какъ начнетъ косить въ присядку — Господи Боже, чтѣ за удаль! Теперь нѣть такихъ танцовъ.

Вдругъ Андрей пересталъ танцевать, пересталъ гулять: все грустить, молчить, все думаетъ; товарищи не узнаютъ его: вѣрно его сглазили, или изурочили. Разно говорили объ этомъ, разно думали, и никто не могъ догаться; а Андрей, просто, влюбился, да еще какъ! Оно бы ничего, да лукавый попуталъ Андрея: онъ влюбился въ паничку!

Тамъ, подъ горою, стоять домъ Фомы Фомича, моего двоюроднаго дѣдушки; одна сторона дома спряталась въ садъ, а другая безжизненно смотрить своими битыми окнами на широкій дворъ; этотъ дворъ теперь заросъ травой, а прежде, при жизни дѣдушки, экипажи сосѣдей не давали ей показываться изъ земли; нерѣдко и коляска маршала гордо катилась по немъ и, стуча и хлопая ветхими членами, останавливалась передъ крыльцомъ. Хозяинъ дома, въ нанковомъ сюртукѣ, съ косою и очаковскимъ крестикомъ, умѣль достойно принять имени-таго гостя, глубокомысленно разговариваль о губерни-скихъ новостяхъ и убѣдительно доказывалъ, отчего въ гербѣ его пѣтушій хвостъ и роза, а не другіе цвѣты.

«Фома Фомичъ человѣкъ сильно-мнительный, какъ по книгѣ говорить», нѣсколько разъ повторялъ одинъ мой знакомый, прѣѣзжая отъ дѣдушки. Слѣдовательно, по крайнему моему разумѣнію, у него, должно быть, довольно-скучно; а между тѣмъ и старики и молодые и судовые паничи и офицеры скаго полка, всякий день являлись къ Фомѣ Фомичу, щли его хлѣбъ-соль, въ глаза свидѣтельствовали ему нижайшее почтеніе, за глаза смѣялись надъ нимъ и не сводили глазъ съ его дочери, милой Уляси. Это былъ магнитъ.

И правда, Уляся стоила вниманія: семнадцатая весна только-что образовала роскошныя ея формы... Но я не хочу, не стану описывать пластической красоты: обѣ этомъ и безъ меня много говорили и писали. Да и можно ли сказать: мнѣ нравится дѣвшка, потому-что у нея черные локоны, тонкая талия, маленькая ножка? Нѣть; такъ можно хвалить лошадь, можно хвалить охотничью собаку, но отнюдь не прекраснѣйшую половину прекраснаго созданія божія — человѣка. Есть особая прелестъ,

неудовимая, невыразимая для языка, но понятная для сердца, которую можно чувствовать, но не объяснить, и эту прелесть имѣла Уляся. Какъ мило краснѣла она, когда майоръ Хворостинъ, подсѣвши къ ней, начнетъ, бывало, рѣчь о погодѣ! длинныя рѣсицы ея опускались на пламенныя глаза и косынка сильно подымалась на груди.

Майоръ, *знатокъ въ женщинахъ*, какъ называли его товарищи, толковалъ это въ хорошую сторону.

Бѣдный майоръ захотѣлъ формально сочетаться за-
коннымъ бракомъ съ Улясею и, по командѣ, адресовал-
ся къ отцу ея. Что жь, вы думаете, сказалъ мой двою-
родный дѣлушка?

Онъ просилъ жениха разскажать свое родословное
дерево, а это не шутка! Майоръ потѣль, водилъ паль-
цемъ по лбу и никакъ не могъ доказать своего дворян-
ства далѣе первого колѣна по восходящей линіи. Тогда
Фома Фомичъ восплеменился благороднымъ гнѣвомъ,
вычислилъ по пальцамъ шесть дюжинъ своихъ пред-
ковъ и, въ заключеніе, важно поправляя очаковскій кре-
стикъ, сказалъ:

— Итакъ, знайте, милостивый государь мой, что
скворцы въ орлиныя гнѣзда не летаютъ.

Хворостинъ сѣялъ грязь; лицо его сдѣмалось краснѣе
общеармейского воротника; онъ пренеловко поклонился,
скорыми шагами вышелъ изъ комнаты и поскакалъ на
квартиру, оглашая дорогу различными междометіями
во славу геральдики.

Бѣдный денъщикъ, говорять, много вытерпѣлъ при
встрѣчѣ своего начальника. Это неудивительно. Согла-
ситесь сами, вѣдь, надобно жь на комъ-нибудь вымѣстить
свою досаду, чтобы не испортить здоровья? Но когда

ныль гнѣва прошелъ, майоръ опять сталъ такимъ, какъ и прежде; выправлялъ рекрутъ, циль пуншъ изъ заграничнаго стакана, волочился за управительницу, пригонялъ амуницию и въ занятіяхъ по службѣ забыть, или почти забыть, Уляю. Только не могъ онъ произнести имени Фомы Фомича безъ какого-нибудь кудряваго украшенія и, разумѣется, нога его болѣе не была въ домѣ моего двоюроднаго дѣдушки. Въ итогѣ вышло:

Майоръ не женился на Уляѣ.

Уляя осталась дѣвушкою.

И въ эту-то Уляю влюбился Андрей! Весьма спра-ведливо нашъ уѣздный лекарь, прехитрый нѣмецъ, нарисовалъ амура съ завязанными глазами.

Андрей былъ человѣкъ скрытный и никому не говорилъ гдѣ и когда онъ влюбился. Впрочемъ, намъ до этого нѣтъ дѣла. Мало ли есть людей влюбленныхъ? и вѣрно и всякая интрига имѣла начало отъ какого-нибудь случая. Иной влюбляется на тротуарѣ, тотъ — въ маскарадѣ, нѣкоторые — Господи, прости! смотрѣть на дѣвушекъ несътымъ сердцемъ въ церкви божіей и, кажется, нашъ Андрей принадлежалъ къ числу послѣднихъ. Гдѣ ему лучше можно было видѣть паниочку, какъ не въ храмѣ? тамъ люди нѣкоторымъ образомъ уравниваются; тамъ и панъ и мужикъ — христіане, хотя все-таки существо въ фризовой шинели морщить рожу и подвигается на полвершка впередъ, когда дерзкая свитка поровняется съ нимъ. Впрочемъ, сказать рѣшительно, что какой-то де казакъ Андрей, токого-то мѣсяца, дня и числа воспыпалъ законопреступною любовью къ дочери вельможнаго пана, имярекъ не могу: боюсь девятой заповѣди.

Андрей любилъ — въ этомъ нѣтъ никакого сомнія, и любилъ со всею страстью души пылкой, свободной, не-привыкшей подчинять свои дѣйствія голосу холода го разсудка. Ему нравилось видѣть Улясю, и онъ безот-четно глядѣлъ на нее, какъ на радость, какъ на утѣху. Но когда взоръ ея встрѣчался съ его взоремъ, онъ чув-ствовалъ, какъ эти черныя очи жгли казацкую душу; онъ потуплялъ глаза; въ ушахъ у него шумѣло; горячая кровь такъ и переливалась въ сердцѣ.

Придетъ, бывало, Андрей въ церковь, становиться подъ стѣною и все смотрѣть на панночку. Народъ молится, онъ все смотрѣть на нее; благочестивые помолятся, да и бредутъ домой, а онъ стоитъ какъ вкопанный; ему тяжело оставить свое мѣсто: сколько минутъ онъ быль на немъ быль счастливъ!

Бывало, сидѣть Андрей вечеромъ на горѣ противъ дома Фомы Фомича и смотрѣть на окна; тамъ свѣ-тится. «Можетъ-быть, она чтѣ работаетъ, или сидитъ, или ложится спать; этотъ огонекъ ей свѣтить». И бѣд-никъ завидовалъ огоньку. Вотъ мелькнула тѣнь. «Мо-жетъ-быть, это ея тѣнь» шепталъ онъ, и воображеніе рисовало ему свѣтлицу пана и Улясю съ ея огненными очами, съ ея милою улыбкою. Онъ готовъ быль бѣжать, летѣть въ горницы гордаго пана и — оставался на прежнемъ мѣстѣ. Часто утренняя заря заставала его тамъ, гдѣ покидала вечерняя.

Разгадайте, какая симпатія привязывала Андрея къ Улясѣ? Не отыскала ли душа бѣдника въ душѣ панночки своей половины? А что вы думаете, гг. фило-софы? вѣдь, это можетъ быть.

Въ одинъ день въ домѣ Фомы Фомича была замѣтна необыкновенная дѣятельность: рано утромъ старая ку-

жарка пронесла черезъ дворъ индійскаго пѣтуха; возлѣ ногреба ключникъ разливалъ въ бутылки сливанку; къ конюшнѣ бытъ привезенъ большой возъ сѣна; на крымѣ зѣвалъ и потягивался камердинеръ въ праздничномъ платьѣ; оно попало въ новый изъ старыхъ панскихъ, а панъ бытъ цѣлою головой ниже камердинера, слѣдовательно... Но кто безъ ошибокъ? Все предвѣщало праздникъ, и праздникъ не на шутку. Мой двоюродный дѣдушка не любилъ ударить лицомъ въ грязь. Событие оправдало ожиданіе. Веселье бытъ этотъ день; гости шумно пировали и разѣхались послѣ ужина; въ одиннадцать часовъ. Шутка ли?!

Но все ли тутъ веселились? По законамъ природы этого быть не можетъ. Нашъ міръ такъ чудно устроенъ, что крайности въ немъ невозможны. Природа дала человѣку и розы и шипы вмѣстѣ; насадила ароматныя рощи гвоздики и скрыла въ нихъ гремучаго змѣя. Зло и добро, радость и печаль смѣшаны въ картинѣ нашего быта, какъ свѣтъ и тѣнь въ ландшафтѣ искуснаго художника. Крайности исчезаютъ въ противоположностяхъ: рыданія пореходять въ хохотъ, продолжительный смѣхъ выдавливаетъ слезы. А у Фомы Фомича бытъ циркъ горой.

У моего двоюроднаго дѣдушки были два музыкантаскрипача. Я думаю... но вы не поймете меня не слышавши ихъ; вы не вкушали этого безконечнаго веселья. Одинъ, буфетчикъ, игралъ ріжко. Чѣмъ за чувствительное было此刻! Поданино, какъ говорять, сѣять собаку на скрипкѣ! всякую нотку дастъ, бывало, почувствовать; смычокъ у него такъ и юлитъ по струнамъ, пальцы дрожать, носъ шевелится, брови ходятъ; а гдѣ придется трелька, онъ, бывало, даже присѣдаетъ. Другой— не знаю какъ опредѣлить его— онъ не пахалъ земли, но .

и не принадлежалъ совершенно къ огромной панской дворянѣ; жилъ на деревнѣ, но вмѣсто свитки носилъ какое-то преобразованіе сюртука, и вмѣсто шапки — военную фуражку. Онъ былъ мастеръ сбывать на ярмаркахъ домашніе продукты, иногда, въ честь нужды, слепать въ городъ кушать рису или винныхъ ягодъ, или бутылку рому, и въ торжественныхъ случаяхъ секундовать буфетчику — словомъ, онъ былъ человѣкъ, такъ, для всакихъ порученій. Этотъ почти не двигалъ пальцами, водилъ смычкомъ тихо и смотрѣлъ глупѣе. А какое согласіе выходило у нихъ! Иной и въ свѣтѣ бываетъ, суетится, юпитъ, другой едва движется, а оба играютъ одну штуку! Говорить, это необходимо для общей гармоніи.

У дверей залы стояли буфетчики и человѣкъ для всакихъ порученій, дружно ударяя смычками по струнамъ скрипокъ эко-сезъ:

Саша, ангелъ, какъ не стыдно
Вещь къ себѣ чужую братъ?

рожданіе подъ ихъ искусными пальцами, раздавался въ залѣ. Танцы начались.

Передъ растворенными окошками собралась толпа любопытныхъ; вся почти дворня глазѣла на панскія постьхи. Андрей втерся въ толпу и пробрался до самаго оконика: ему хотѣлось видѣть Ульясо. Какъ чертъ передъ заутренней прыгать съ нею толстой канцеляристъ, въ синемъ фракѣ, съ огромною сердоликовою печаткой на длинной цѣпочкѣ; ноги его, точно два восклицательные знаки, корчились и ломались подъ разными углами. Весело было смотрѣть на канцеляриста.

«Песлать бы тебя, проклятаго дармоѣда, косить съ

но, не такъ бы запрыгаль!» думалъ Андрей. «Вишь, лѣсной комаръ, какъ подкачивается!»

Онъ самъ не зналъ за что сердился на весь свѣтъ, и на заходящее солнце, и на деревья, и даже на воробья, скакавшаго на кровлѣ, а о канцеляристѣ и говорить нечего.

Экессезъ, какъ водится, кончилъ змѣйкою. Танцовавши разбрелись по комнатамъ. Уляся подошла къ окну; глаза Андрея встрѣтились съ ея глазами: она смотрѣла такъ ясно, такъ ласково! Бѣднякъ ожиль; словно электрическая искра пробѣжала по его нервамъ, разбудила силы, зажгла душу и наполнила ее восторгомъ.

То же солнце казалось ему пышнѣе, краше обыкновенного; деревья непонятно-хорошо зеленѣли; воробей чиликалъ какую-то пріятную пѣсенку; самого канцеляриста Андрей готовъ былъ дружески прижать къ сердцу. И какъ недолго человѣкъ бываетъ счастливъ!

Какіе виды, надежды и тому подобное имѣлъ Андрей? спросять меня люди *ариометчики*. — Никакихъ. Слѣдовательно, онъ былъ дуракъ? — Совершенно согласенъ: это былъ дуракъ съ пыкой душой, пламеннымъ сердцемъ и свободною волей; его любовь была поэзія высокая, прекрасная, въ первообразной простотѣ; никто не зналъ, не подозрѣвалъ ее, да и сказать объ этомъ пану, все-равно, что закурить трубку на раскупоренномъ боченкѣ пороха. Панъ и казакъ—два полюса враждебные, — и —.

Правда, иногда посредствомъ препаратовъ нижнаго земскаго суда, процесомъ, вовсе для насть непонятныи, эти крайности соединяются и производятъ пресмыкное чернильное существо, безъ цвѣта, вкуса и запаха, иѣчто въ родѣ карточнаго домика, прянничнаго конька или

суздальской живописи; существо, презирающее земледѣ-
ле и непонимающее благороднѣйшихъ игръ бостона
и виста, такъ близкихъ почти всякому дворянину. Ан-
дрей не терпѣлъ подобныхъ выскочекъ и любилъ Уляю
безотчетно. Любовь со всѣми мученіями ему нравилась;
бросившись въ водоворотъ ея, онъ не могъ изъ него
выбиться; страсть играла имъ, кружила, подняла вы-
соко и бросила, какъ однажды вихрь шапку чумака на
лубенской ярмаркѣ. «Бѣдная шапка», всѣ думали, «она по-
летѣть за облака»; вихрь прошелъ, смотрѣть: шумитъ
шапка на землю и прямо въ лужу...

Бывали минуты, Андрею казалось, что его замѣчаютъ,
на него смотрѣть привѣтно, ласково—и подъ гробою
святой иѣжно трепетало сердце бѣдника; душа его
утопала въ чистыхъ, безмятежныхъ восторгахъ; надеж-
да навѣвала на него что-то непонятно-пріятное; разсу-
докъ закрывалъ глаза. Андрей, какъ говорится, нахо-
дился *въ упоеніи*. И въ такомъ-то забытьи онъ быль
послѣ экоссеза.

Экая скрипка у буфетчика! такъ и заливается, будто
словами выговаривается: «mein lieber Augusten»; другая
тоже славно вторить за нею. У старого иѣмца-садов-
ника графа Z запрыгало ретивое; онъ громко быль так-
ту, и еслибы тогда не докуривалъ своей трубки, то я
навѣрное знаю, пустился бы кружиться, задыхаясь и
ворча подъ носъ: ein, zwei, drei!...

Пфу! згинь нечистое племя! Опять этотъ канцеляристъ
съ сердоликовой печаткой! Ухмыляясь, какъ дуракъ пе-
редъ пирогомъ, подходитъ онъ къ панночкѣ, береть ее
въ охабку—и пошелъ вертѣть! Повѣрите ли вы этому?
дунуть въ объятьяхъ да и только! И какъ Фома Фомичъ
при своихъ глазахъ позволяетъ такъ помыкать дочерью?!

«О, вражий синь!» закричалъ Андрей вѣдь себѣ отъ досады. «Черти бы тебя опановали!»

Это воскликаніе достигло слуха отца Уляси, сидѣвшаго недалеко отъ окна.

— Кто тамъ шумитъ? спросилъ онъ.

Любопытные брызнули въ стороны. Андрей одинъ остался на мѣстѣ; глаза его впились въ окошко; онъ былъ въ совершенномъ забытьи.

— Да это казакъ Андрей! Зачѣмъ ты сюда, какъ баранъ, смотришь? сказалъ Фома Фомичъ.

«Сто тысячъ десятковъ бочекъ чертей тебѣ, бездѣльнику», ворчалъ Андрей, не вида моего двоюроднаго дѣдушки и не слыша словъ его.

Представьте себя на мѣстѣ Фомы Фомича и вы поймѣрите, что онъ разсердился.

— Гей! хлопцы! зачѣмъ всякая дрянь лѣзеть передъ мои окна? Чего вы смотрите? Вонъ съ двора этого пьяницу Андрея!

Рѣзкій голосъ пана разбудилъ Андрея—и сердце бѣдняка судорожно сжалось; холодный потъ выступилъ по тѣлу; свѣтъ закружился, заплясалъ въ глазахъ его. Съ хохотомъ бросилась на несчастнаго голодная челядь пана и, осыпая его толчками и насмѣшками, повлекла со двора.

Пусть бы въ другое время кто изъ нихъ осмѣлился тронуть казака Андрея: худая вышла бы расправа; а теперь онъ шелъ машинально, какъ животное, не понимая, что съ нимъ дѣлаютъ; вся жизнь его, казалось, перешла въ глаза, устремленные на домъ Фомы Фомича; тамъ еще раздался вальсъ, старый нѣмецъ билъ такту, въ окнѣ мелькала Уляся въ объятіяхъ канцеляриста.

А какъ страшно посмотрѣла на Андрея вся природа!

ианский домъ хотѣть, какъ старый драгунъ, перева-ливаясь съ боку на бокъ; садъ значительно улыбался; рѣка злобно скалила зубы; даже кривобокая голубятня, и та строила гримасы... а люди!... они торжествовали. Но какъ страшны были они: лица ихъ вытянулись, глаза потемнѣли, уста неистово искривились, раскрылись груди; тамъ было черно-черно, тамъ кипѣлъ цѣлый адъ крови; они насмѣшливо мигаютъ на Андрея; они приближаются къ нему; они холодными перстами трогаютъ его сердце... И бѣднякъ упалъ замертво подъ воротъ моего двоюроднаго дѣдушки.

Слова *съинатъ* Андрея загремѣли въ ушахъ бѣдняка; какъ проклятие судьбы ему показался этотъ го-лосъ выходящимъ изъ безпредѣльной пропасти, раздѣляющей его съ Улясю. И какъ послѣ этого любить Андрея? Несчастный разлюбилъ его—собственное свое имя.

Скоро въ С* отъ войта до послѣдняго мальчишки всѣ узнали, что Андрей боленъ странною болѣзнью: онъ представлялъ себѣ въ двухъ лицахъ, разговаривалъ съ кѣмъ-то, называя его Андреемъ, и рассказывалъ, что онъ скоро бы женился, да Андрей помѣшалъ ему. Жа-добамъ не было конца. Старухи поили его разными травами, подкуривали подметками, перьями и всякою шерстью, сбивали голову какими-то очень полезными обручами—все напрасно! Люди добрые, качая головами, говорили: «не трогайте его, такъ ему Богъ дастъ». И всѣ вообще потолковали, да и перестали, и Андрей дурачокъ сдѣмался такъ же обыкновеннымъ въ селѣ, какъ прежній Андрей-гуляка.

Тутъ мой пріятель замолчалъ.

— А Оома Оомичъ? спросилъ я.

— Онъ пилъ, ълъ, принималъ гостей, рассказывалъ свою родословную и спокойно умеръ.

— А что сдѣжалось съ Улясею?

— Она вышла замужъ и — сдѣжалась дамой.

1836 г.

II.

СТРАШНЫЙ ЗВѢРЬ.

НАРОДНОЕ ПРЕДАНІЕ.

Въ давнія времена, когда люди были добрѣе, земля плодороднѣе и по бѣлу свѣту много таскалось колдуновъ, дборотней, вѣдьмъ, упырей и всякой болотной и лѣсной сволочи; въ тѣ времена, въ сторонѣ казачьей, въ Малороссіи, на берегу Удая широкаго, жилъ казакъ богатый, *Иванъ добрый человѣкъ*. Многочисленныя стада его паслись на зеленыхъ лугахъ прибережныхъ; ежегодно нивы его волновались богатыми жатвами и обширный садъ отягчался плодами.

Не два явора развѣистые шумятъ возлѣ дуба стомѣтнаго — два сына-казака ростуть у *Ивана добраю человѣкѣ*; не зеленая вѣтка хмѣля вѣтвится вокругъ пня дубового — молодая дочь лелѣтъ старость Ивана.

Добрый человѣкъ жилъ спокойно и счастливо. Но долго ли до бѣды? Въ обширный садъ его, говорять, по навѣту какой-то злой вѣдьмы, а, можетъ-быть, и по собственному произволу, началъ учащать незваный гость — вепрь, величины неимовѣрной; онъ дѣлалъ страшныя опустошенія, подрывая деревья плодовитыя. И хозяинъ

Часть I.

2

сада и соседи его издали обходили мѣсто недобroe и, крестясь, творили молитву ангелу-хранителю.

Иванъ призадумался и говорить сынамъ своимъ:

— Кто изъ васъ убьеть звѣря дикаго, разоряющаго достатокъ нашъ, тотъ получить половину богатства моего.

Страшенъ быть венръ: много обѣщали за его голову. Корысть превозмогла страхъ, и старшій братъ, сопровождаемый родительскимъ благословеніемъ, отправился караулить опустошителя.

Тихъ былъ вечеръ, когда пришелъ старшій въ садъ заколдованный, и расположился подъ вѣтвистою яблонею. Онъ легъ на траву мягкую, душистую и разложилъ вокругъ себя оружіе разное. Тихо шептали ему листочки древесные что-то невѣдомое, но приятное; вѣжды его смежились. Еще онъ слышитъ перекаты соловья чудесные, но то уже была не пѣсня соловиная; ему кто-то поетъ на ухо: «спи, добрый человѣкъ; сладко спать ночью на мягкой постели». Старшій потянулся, зѣвнуль, раскинуль руки могучія, и захрапѣлъ сномъ богатырскимъ.

Ночь прошла, день насталъ и солнышко, выбѣжавъ на гору, разлило веселый свѣтъ свой на все твореніе Божіе. Медленно вышелъ старшій братъ изъ сада отцовскаго, огорченный неудачею. На лицѣ его была написана печаль и негодованіе: онъ проспалъ приходъ врага своего.

На другой вечеръ пришла очередь меньшому.

— Не ходи, сказалъ отецъ ему: — ты молодъ еще, не укрѣпились силы твои и опасна будетъ тебѣ борьба съ звѣремъ страшнымъ.

— Чтѣ Богъ дастъ, то и будешь, отвѣчалъ меньшой, взялъ шапку, перекрестился и вышелъ.

«Братъ мой хитеръ и отважень» подумалъ стар-

шій: «онъ не проспить вепря, изловить его и полу-
чить половину богатства отцовскаго. Чѣд я буду передъ
нимъ? — бѣднякъ! — я, братъ старшій!... Какъ зазнается
этотъ мальчикъ! Онъ бытъ въ колыбели, я трудился
уже. И за чѣд онъ пожнетъ плоды трудовъ моихъ?...
Пойду, подожду его на дорогѣ, въ кустахъ калиновыхъ:
когда онъ будетъ возвращаться съ побѣдою къ отцу, я
уговорю его обѣщаніями лестными — и онъ отдастъ
мнѣ добычу свою; въ противномъ случаѣ, у меня есть
острый топоръ, котораго не разъ трепетали дубы дуб-
ровные и, падая съ холмовъ, омывали вѣтви свои въ
струяхъ Удая быстротечнаго». И отъ заблестало въ ру-
кахъ его желѣзо убийственное, и ветхая дверь хижины,
съ воплемъ жалостнымъ пропустила брата на дѣло па-
губное, на дѣло, доселѣ неслыханное въ Украинѣ — на
братаубийство! Вся природа содрогнулась; полуночный
вѣтеръ зашумѣлъ на *проклятой* осинѣ; стая вороновъ
спорхнула съ ближнихъ деревьевъ и, злобно кѣrkая, взви-
лась на воздухъ; луна покрылась цвѣтомъ кровавымъ.

Меньшой не бралъ съ собою, подобно брату старше-
му, вооруженія разнаго; у него не было ни пищали, ни
сабли увѣсистой, ни кинжала заговореннаго. Твердая
вѣра въ Провидѣніе, мужество и проворство казацкое
да петля арканная — вотъ было его оружіе. Наломавши
связку терновника колючаго, онъ постлалъ себѣ постель
подъ яблонею развѣсистою. Сладко шептали листья въ
саду очарованномъ; соловей запѣлъ попрежнему — и
меньшого одолѣла дремота тяжелая. Но чутъ онъ скло-
нился на постель молодецкую — иглы острыя, терновые
выводили его изъ усыщенія: вздрогивая, онъ напрягалъ
ухо чуткое, прислушивался, не идетъ ли звѣрь-чудови-
ще. И скоро гость ожидаемый запрыгалъ въ силкѣ,

кусно разставленномъ; застоналъ, заметался. Не береть сила звѣриная; пустился на хитрости: началъ мѣняться въ разные образы: то, дѣвушкою чернобровою, предлагалъ свои прелести; то, нѣмцомъ-искусникомъ, на ножкахъ тоненькихъ, показывалъ часы съ курантами, и стѣрныя спички самопалительные, и всякия диковинки заморскія; то, жидомъ - арендаторомъ, разсыпалъ золото свѣтлое и камни самоцвѣтные.—не помогли лукавому ни сила, ни хитрости. Казакъ-простой-человѣкъ, не прельстился наважденіями богомерзкими, убилъ звѣря-опустошителя и, съ сердцемъ, полнымъ восхищенія, сиѣшиль обрадовать отца побѣдою. Уже виднѣлись вдали бѣлыя стѣны хаты отцовской, озаряемыя луною серебристою, и силы побѣдителя удвоились; перелетный вѣтерокъ навѣвалъ ему благоуханіе съ близкихъ кустовъ цвѣтущей калины.

Часто бываетъ змѣя ядовитая подъ голубымъ барвинкомъ и зеленою рутовою. Въ душистыхъ кустахъ крылась смерть храбраго.

Шумя приняли побѣдителя вѣтви зеленые въ свои объятія; онъ утонулъ въ кустахъ калиновыхъ.

Жалостно что-то застонало въ тѣнистой зелени и по небу чистому покатилась звѣздочка ясная; стонъ затихъ, и звѣздочка свѣтлыми искрами разсыпалась въ синемъ воздухѣ.

Туть зашевелились кусты цвѣтущіе, раздвинулись вѣтви зеленые: озираясь, вышелъ изъ нихъ старшій, неся на плечахъ вепря-чудовище; руки его были въ крови; широко шагалъ онъ; искры прыгали въ глазахъ его, змѣи ползали подъ ногами; кто-то дергалъ его за полы и шапка не держалась на головѣ. Онъ убилъ брата своего.

Страшная ночь прошла, уступая мѣсто ясному утру,

и вскорѣ веселое солнышко, выкупавшись въ синемъ морѣ, выплыло изъ дальнихъ степей востока. Въ хатѣ Ивана раздавались веселые клики пированья; сосѣди сходились глазѣть на звѣря чуднаго, и кубки варенухи душистыя переходили изъ рукъ въ руки любопытныхъ.

— Что же я не вижу сына младшаго моего? сказалъ *Иванъ добрый человѣкъ*, разглаживая усы.— Или онъ не радуется побѣдѣ брата своего? или неудача огорчила юное сердце его, и онъ стыдится прийти на глаза мои?

Ты не увидѣшь его болѣе, старецъ сѣдовласый, ты не прижмешь къ груди своей сына возлюбленнаго! Тамъ, на лугу, зарытъ убийцею трупъ его, неотпѣтый, неоплаканный!

Прошелъ день, другой и третій, прошла недѣля, за нею другая, а меньшаго и слыху не было. Горько рыдалъ безутѣшный отецъ о потерѣ его, рвалъ сѣдины и ломаль руки изсохшія.

— Кто, говорилъ онъ: — будеть подпорою моей ста-
рості? Старшій сынъ мой, получивъ богатство, забылъ
меня, и я остался одинъ съ дочерью слабою! Кто нагру-
зить возъ мой сносами тяжелыми? кто впряженъ въ
него воловъ круторогихъ и привезетъ на гумно мои бо-
гатые дары Всевышняго? кто зимою холодною, когда
зашумятъ мятли по полямъ и лѣсамъ обнаженнымъ,
согрѣть старика беззащитнаго? чей топоръ трудолю-
бивый застучить въ рощѣ ближней и чья рука попе-
чительная разложитъ огонь въ хатѣ моей?

— Развѣ я не осталась у тебя? прервала дочь его.

— Старикъ покачалъ головою; она бросилась въ его объятія.

Дочь *Ивана добраю человѣкѣ* печалилась о братѣ,
и дни молодости стали ей невеселы. Приблизился день

Купала; запылали костры горящіе; поселяне украшали головы свои вѣнками и, при пѣсняхъ согласныхъ, простоты и невинности, прыгали черезъ пламя розовое. Одна она не участвовала въ общей радости; юное чело ея не покрывалось рутою вѣчнозеленѣющею, ни гвоздичками золотистыми, ни васильками лиловыми. Настали обжинки, и колосья ржи, переплетенные съ красною калицою, появились на головахъ молодыхъ дѣвушекъ; оно одна не надѣла вѣнка въ день общей радости: печаль о братѣ тяготила сердце ея.

Такъ прошло лѣто. Подкралась осень съ длинными вечерами. Въ полѣ чисто; щебетливая ласточка спряталась до весны въ колодецъ, и вскорѣ снѣгъ укуталъ спящую землю бѣлымъ покровомъ. Молодежь собиралась на вечерницы и досвѣтки; далеко звучали пѣсни ихъ и хохотъ слышенъ былъ черезъ улицу. Подъ шумъ веретена и веселыхъ прибаутокъ нечувствительно проletѣла зима. Счастливцы! не такъ тянулась она для дочери *Ивана* *добраго человека*; сердце ея замерло для радости; она не выбрала себѣ друга, не видѣла вечерницъ и досвѣтковъ; а люди? люди называли ее гордою!...

И вотъ повѣялъ весенний вѣтеръ; снѣгъ исчезъ. Весело зажурчали ручейки, и дикие гуси, съ крикомъ радостнымъ, длинными вереницами понеслись съ юга на сѣверъ. Вотъ и деревья зазеленѣли. Прибережные взгорья Удая покрылись травою какъ бархатомъ. Насталъ часъ трудолюбія; клики пахаря раздавались на поляхъ; пастухи погнали овецъ на паству сочную. Все ожило, и могила брата невинного, никѣмъ незнаемая, пріосѣнилась толстымъ стеблемъ *болиголова* (*). Пастухъ срѣ-

(*) Вѣтвистое однолѣтнее растеніе.

загъ его и сдѣлалъ свирѣль; приложилъ ее къ устамъ своимъ и чудо-свирѣль играеть пѣсню печальную, доселъ имъ неслыханную:

По малу малу овчарю грай,
Не врази моего серденька вкрай.
Мене братъ убыть, на лугу зарьи,
За того вепря, що въ саду рывъ.

Онъ удивляется, надуваетъ ее въ другой разъ, и опять повторяется та же пѣсня заунывная. Цѣлый день игралъ пастухъ на свирѣли, и къ вечеру тихо потянулся со стадомъ въ деревню.

Быть прекрасный весенний вечеръ. Легкий сумракъ распространялся въ воздухѣ; тонкий туманъ, какъ дума грустная, подернула покойныхъ зыби Удая; ароматный воздухъ дышалъ иѣгою. Пригорюнясь, сидѣла дочь Ивана подъ хатою.

— Не крушишь, дитя мое! говорилъ ей *добрый человѣкъ*: — послушай, какъ поютъ *веснянку* (*) твои подруги! Какое у нихъ веселіе! а ты все плачешь о братѣ. Гдѣ онъ — Богъ знаетъ! Вотъ сегодня ровно годъ, какъ о немъ слуху нѣть...

— Слушай!... сказала она, схвативъ отца за руку.

Въ это время пастухъ проходилъ мимо нихъ и свирѣлка пѣла жалобно страшную повѣсть братоубийства. Старикъ ужаснулся. Давно сердце его не лежало къ старшему сыну; онъ что-то подозрѣвалъ въ немъ не-доброе, и теперь подозрѣніе осуществлялось. Старикъ подзываетъ пастуха, и предлагаетъ ему продать свирѣль. Пастухъ пожелалъ за нее овцу бѣлорунную. Сказано —

(*) Веснянки — пѣсни, посвященные собственно весеннему времени.

сдѣлано, и свирѣль осталась въ рукахъ *Ивана добраю чловѣчка*.

— Сегодня праздникъ, сказалъ Иванъ, входя въ жилище сына старшаго: — пойдемъ въ домъ мой и раздѣлимъ, чтѣ Богъ послалъ намъ.

И вотъ они въ хатѣ старика. *Иванъ добрый чловѣчокъ* вынулъ изъ-за образовъ свирѣль таинственную и подалъ сыну, говоря:

— Поиграй на ней.

Чуть свирѣль коснулась къ устамъ старшаго, какъ заиграла печальнѣе прежняго:

По малу малу братику грай,
Не врази моего серденька вкрай.
Ты жь мене убыгъ, на лугу зарывъ,
За того вепра, що въ саду рывъ.

Крупный потъ покатился съ чела преступника, сущорожно сжалось лицо его, но слезы не лились изъ глазъ братоубійцы. Онъ лежалъ у ногъ отца своего.

— Прости меня, о, родитель мой! и прекрати жизнь, давно для меня тягостную, простональ онъ. — Я недостоинъ смотрѣть на свѣтъ Божій: алчба къ золоту подавила во мнѣ любовь родственную; я убилъ невиннаго брата и кровь его взываетъ ко мнѣ!

— Сокройся отъ очей моихъ! сказалъ *Иванъ добрый чловѣчокъ*: — Да будетъ Богъ судья тебѣ, а укоры совѣсти — наказаніемъ.

И старшій скрылся изъ дома отцовскаго.

Долго бродилъ онъ по лѣсамъ и пустынямъ и вѣялъ жизнь, очерненную пагубнымъ злодѣяніемъ; взоры его были дики и на лицѣ виднѣлась печать отверженія; совѣсть терзала душу его, внутренній жаръ пожиралъ

преступное сердце; тщетно хотѣлъ онъ погасить его, съ жадностью вливая въ себя дыханіе вѣтровъ холодныхъ: окровавленная тѣнь брата вездѣ представлялась испуганнымъ глазамъ преступника, и въ завываніяхъ бури, и въ шопотѣ листьевъ отзывалась заунывная пѣснь свирѣли. Когда рокоталъ на небѣ громъ и молнія раздирава черныя тучи, напрасно онъ призывалъ смерть: и громы и молніи не касались его, наказывая жизнью лютѣйшую смерти. Нескоро Всевышній послалъ ему конецъ желанный. Душу братоубийцы съ хохотомъ радостнымъ принялъ адъ въ свои нѣдра, а тѣло его сдѣлалось пищею вороновъ и волковъ хищныхъ.

1836 г.

III.

ТЕЛЕПЕНЬ.

БЫЛЬ.

I.

Анастасію Ивановичу было шестьдесят лѣтъ.
Н. Гоголь.

Давно уже умерла жена отставнаго есаула Круглоба, но онъ до сихъ-поръ еще скучаетъ о ней; со дня смерти ея, улыбка слетѣла съ устъ есаула; онъ сдѣлался грустенъ, задумчивъ, хотя прежняя доброта его еще удвоилась. Когда онъ слышалъ про доброе дѣло или дѣлалъ какое добро, то, вместо прежней улыбки, глаза его таяли въ слезахъ удовольствія, и старикъ медленно отворачивался въ сторону.

На берегу Перевода потонулъ въ садахъ скромный хуторъ Крутолба. По хутору тянется глубокая дорога, окопанная рвами, изъ которыхъ выростая, роскошные кусты бузины и калины обсыпаютъ ее широкими темно-зелеными вѣтвями, увѣшанными коралловыми и сизыми гроздами плодовъ. Въ прорѣдь кустовъ мелькаютъ богатые огороды, краснѣеть макъ, желтѣютъ подсолнечники, блѣдаютъ стѣны хатъ и золотится стогъ ячменя. Направо съ дороги стоять растворчатыя ворота съ соломеннымъ навѣсомъ и скамеекою. Это ворота на дворъ есаула. Тамъ видѣнъ его маленький домъ съ выкрашенными ставнями и остроконечными дверьми; по обѣимъ сторонамъ двора стоять кладовыя и амбары; передъ окнами дома шумить грушевое дерево.

Часто любилъ есауль сидѣть за воротами на скамеечкѣ и думать, опершись на толстую кленовую палку. А между тѣмъ солнце садилось ниже и ниже, золотя кудрявые сады и зажигая облака пыли, которую пріхотливо подымаютъ по дорогѣ стада бѣгущія на ночлегъ. Поселяне, возвращаючись съ поля, почтительно снимали передъ есауломъ шапки. И небо и земля постепенно темнѣли. На рѣкѣ кахала утка; гдѣ-то за селомъ звучала свирѣль; далеко въ полѣ стучала Ѳхавшая повозка; но эти звуки замирали, и Крутолобъ медленно возвращался домой; тамъ уже стоялъ ужинъ и ждала его Галя.

Галя была единственная дочь есаула; для нея онъ жилъ, за нея боялся и радовался; она была существо, привязывавшее его къ этой жизни. Ей едва минуло пятнадцать лѣтъ. Скромная, тихая, робкая, еще несогрѣтая огнемъ желаній, неоживленная страстями этою мучительно-прекрасною жизнью, она была взрослое дитя, не оконченное, но прелестное созданіе природы. Хорун-

жий Шлапакъ сравнивалъ ее съ горлицею, И точно, какъ робкая горлица Галя росла въ домѣ отца своего; тѣнистый садъ былъ ея любимымъ убѣжищемъ, пѣсни—лучшею забавою. Бывало, какъ запоеть она своимъ звонкимъ голосомъ *Могилу* или *Чайку* или *Голинъ по дуброви*—задумается Крутолобъ, задумается крѣпко; крупные слезы, сверкая черезъ длинные, сѣдые усы, покатятся въ чарку; онъ бросить ее, соблазнительницу; прижметь Галю къ груди своей, и долго-долго цалуетъ ее, и во весь тотъ день не пить ничего, даже стосильнику, хотя многіе рекомендуютъ его, какъ вѣрное лекарство въ горести.

Не любилъ Крутолобъ шумныхъ бесѣдъ. Прошла пора, когда онъ, полный огня и жизни, упивался вихремъ войны и разгульно, бѣшено пировалъ съ пріятелями. Ему теперь какъ-будто снились темныя ночи, когда, завернувшись въ косматую бурку, онъ сторожилъ и мракъ и шелестъ дикой травы. Кругомъ тянется широкая тѣнь степи; по ней ползетъ крымецъ; фыркаетъ чуткій конь и прядетъ ушами, а частый осенний дождикъ шумитъ и обдаётъ холодомъ до костей. Какъ звѣздочка, дрожитъ въ дальнемъ горизонте огонёкъ. Тамъ красные жупаны, тамъ казацкія шапки, тамъ льется медъ и водка, брякаютъ сабли, гремятъ пѣсни; тамъ жидъ играетъ на цимбалахъ, прыгаютъ и звенятъ стальные струны, пляшетъ цыганка: по поясъ черныя косы; лицо горитъ, очи дерзко сверкаютъ; въ рукахъ кубокъ, на устахъ вольныя рѣчи... и шумъ и свистъ и хохотъ... Все улетѣло съ лѣтами! холодные свидѣтели разгульной жизни: сабля и винтовка, безмолвно висятъ на стѣнѣ; на нихъ вѣтится паутина. Много товарищевъ не досчитывалъ есауль: иные замучены въ Варшавѣ, другихъ засыпалъ знайный пе-

сокъ Малой Азіи, кто не вернулся изъ молдавскихъ ви-
ноградниковъ, кто остался въ Черномъ морѣ... Грустное
воспоминаніе! тутъ не пойдутъ на душу веселыя пѣсни.

Любилъ стариkъ-есауль своего сосѣда, старого сот-
ника Подопригору. Часто они просиживали вмѣстѣ длин-
ные вечера, вспоминая былое. Бывало, Подопригора прѣ-
деть съ утра въ гости къ Крутолобу, и чуть станетъ
смеркаться, то уже собирается домой: велить привести
къ крыльцу своего коня, застегнуть кунтушъ, возьметъ
въ руки и шапку и нагайку. Тогда есауль заводить
стороною рѣчъ про старые походы: сотникъ садится, за-
куриваетъ трубку, кладетъ нагайку и шапку на столъ—
и забываетъ свое намѣреніе. Тихо тянулась ихъ бесѣ-
да; лѣнивою струйкою наливался медъ въ золоченая
чарки и серебристая пѣна жемчужилась по краямъ ихъ;
тонкою, едва замѣтною змѣйкою вился дымъ отъ тру-
бокъ. Все спало; давно уже перекликнулись первые пѣ-
тухи, и нагорѣвшая свѣчка слабо свѣтила въ комнатѣ,
когда сотникъ, распростясь съ есауломъ, уѣзжалъ домой.
Впрочемъ, и Шлапака любилъ Крутолобъ, любилъ и
другихъ сосѣдей, но не такъ, какъ Подопригору.

Съ незапамятныхъ временъ началась ихъ дружба.
Еще при покойницѣ-женѣ Крутолоба, уже вдовецъ, По-
допригора часто посѣщалъ его съ маленькимъ сыномъ
Петромъ; и Пётро и Галя, рѣзвыя дѣти, весело бѣгали
по саду, играли, шумѣли и свыклись какъ братъ съ
сестрою. Теперь уже Галя выросла; она краснѣла, какъ
маковъ цвѣть, когда говорили о Петрѣ. Со дня на день
ожидали красиваго, молодаго казака Петра, чтобы празд-
новать его свадьбу съ Галею. Это была воля ихъ роди-
телей. И Пётро и Галя, какъ послушныя дѣти, и не
думали этому противиться.

II.

Оть и встерегласъ!

Малоросс. проговорка.

— Нѣтъ, я позову весь лубенскій и прилуцкій полкъ, соберу всѣхъ родныхъ и знакомыхъ. Хоть полсвѣта приходи, у меня достанетъ хлѣба и вареної: пусть гуляютъ, да помнятъ, когда старикъ Подопригора женилъ сына!

— Оно такъ; но къ чему это? отвѣчалъ Крутолобъ. — Богачи будутъ пить, Ѣсть, да тебя еще обругаютъ. Не лучше ли позвать нищихъ, раздать милостыню?

— Это само-собою; я ихъ соберу, пожалуй, цѣлую сотню, только съ условіемъ, чтобъ ни одинъ изъ нихъ не строилъ кислой рожи и не пѣлъ про Лазаря, потому-что у меня будетъ свадьба, а не — сохрани нась, Боже! — похороны. Я хочу въ волю повеселиться съ добрыми людьми; найду пиратинскую музыку съ барабанами, съ тарелками...

— Ты все еще молодъ!

— Помолодѣешь отъ радости, когда женишь сына-молодца на такой девчонкѣ, какъ Гали! Да ты что такъ невесель? Развѣ тебя не радуетъ свадьба дочери?

— Мнеъ что-то грустно; какъ-будто сердце чуетъ недоброе.

— Пустое, братъ! Мы проговорили за полночь, тебѣ видно, спать хочется. А все виновать мой Петро. Всѣ казаки вернулись домой, его задержали въ Прилукахъ и врядъ ли онъ сегодня будетъ... Ночь темная, ни зги не видать... Ба! слышишь ли топотъ? это онъ! вѣрно онъ. И сотникъ взглянулъ въ окно.

Въ окнѣ рисовалась страшная рожа, въ другомъ еще страшнѣе... Не успѣли пріятели обмѣняться взглядами, какъ быстро отворилась дверь и грозно вошелъ въ комнату людій мужчина, въ богатомъ полукафтанѣ.

— Ни съ мѣста! сказалъ онъ, вынимая изъ-за пояса длинный пистолетъ: — я Телепень.

И сотникъ и есауль, какъ окаменѣлые, остались на своихъ мѣстахъ.

Между-тѣмъ другой разбойникъ, вооруженный съ ногъ до головы, сталь въ дверяхъ, обнажилъ широкій ножъ и, какъ бы играя, началъ пробовать пальцемъ его лезвіе.

— Что же вы молчите, господа? сказалъ Телепень: — и не просите меня подкрѣпить силы съ дороги? Впрочемъ, я васъ не стану беспокоить, я и самъ похозяйничаю.

Онъ подошелъ къ столу, налилъ стаканъ настойки и съ жадностью осушилъ его.

— Вамъ нельзя уйти, продолжалъ разбойникъ: — всѣ тропинки возлѣ вашего хутора заняты, люди на хуторѣ перевязаны, а все-таки лучше и вѣсть связать. А ну-ко, Грицко! Кто покажетъ сопротивленіе, тому въ подарокъ эта пуля. И онъ навелъ дуло пистолета на испуганныхъ стариковъ. Грицко въ двѣ минуты скрутилъ имъ руки.

— Теперь пусть хлопцы пошарятъ хорошенъко: всякое добро забирать; бабъ не трогать; найдете жида — прямо на осину; дѣвушекъ искать пуще золота! сказалъ Телепень выходившему Грицку, и долгимъ, сладострастнымъ поцалуемъ впился въ любезную бутыль. Настойка, кружась и плескаясь о бока широкой бутыли, быстро уплывала въ ненасытное горло разбойника.

Невыразимо-грустно смотрѣлъ есауль на боковую дверь, ведущую въ свѣтлицу Гали. Приказъ, искать

дѣвушекъ пуще золота, напомнилъ ему о дочери. Сердце отца перестало биться. Онъ спокойно слушалъ, какъ буйная толпа разбивала его кладовыя, какъ предковское серебро звенѣло въ рукахъ грабителей; онъ дрожалъ обѣ одной дочери и отъ глубины души читалъ канонъ Дѣвѣ-Заступницѣ.

Между-тѣмъ Телепенъ окончилъ огромную бутыль и бросилъ ее въ уголь. Взоры его повеселѣли; онъ, покрутивая усы, оборотился къ плѣнникамъ:

— Что вы, вельможные паны, вдругъ присмирѣли? Давно ли, подумаешь, вы щебетали, какъ дрозды! вѣрно теперь мнѣ приходится пѣть. Онъ брякнулъ своими костистыми руками по столу, встряхнулъ головою и запѣлъ:

Ой бувъ соби Халеминъ,
Та взявъ жинку Любку!
Ой голъ го-по-по,
Гой деръ-деръ-деръ-го-цо-цо.
Та взявъ жинку Любку!

Женскій вопль раздался въ соседней комнатѣ... Сердце Крутолобова облилось кровью... Два разбойника внесли полураздѣтую Галю; вилось, билось, трепетало бѣдное дитя въ рукахъ ихъ.

— Славная добыча! заревѣлъ атаманъ, дерзко лаская дрожавшую дѣвичку. — Спасибо, хлюпцы! У насъ много золота, а такой дѣвушки я и не видывалъ; она будетъ красою нашего городка.

— Пощади простональ Крутолобъ удушающимъ голосомъ, и повалился въ ноги Телепению.

— Чего ты валяешься, сѣдая голова?

— Пощади дочь мою! Она одно утѣшеніе моей ста-
рости, она еще такъ молода!...

— Она будетъ мою женою—да женою. Понимаешь ли, честь, какую я тебѣ дѣлаю? И, страшно вымолвивъ, онъ обнялъ Галю. Это былъ степной жаворонокъ въ когтяхъ ястреба.

— Проклятие на голову твою, разбойникъ! произнесъ торжественно Крутолобъ: — ты опозоришь мое семейство, но слезы отца найдутъ мѣсто на небѣ!...

Темнѣе ночи сдѣлалось лицо Телепня; рѣзкія морщины сдвинулись на лбу его въ мрачное облако; изъ-подъ густыхъ бровей, какъ молнии, злобно сверкали глаза; рука его судорожно сжала рукоять кинжала. Отъ разбойника вѣяло смертью, но онъ взглянула на Галю—и морщины сбѣжали съ лица.

— Дурень, дурень! сказалъ онъ, качая головою.— Дерзки твои рѣчи! Никто доселѣ не смѣлъ безнаказанно говорить ихъ предо мною; но ты отецъ Гали, и я тебя прощаю. Все ли готово, Грицко?

— Все.

— Итакъ, въ походъ!

Онъ взялъ рыдавшую дѣвушку и вынесъ ее изъ свѣтлицы.

— Прощай, моя голубка! прошепталъ Крутолобъ, и, убитый душевными муками, тихо склонился на грудь сотника.

Недолго клики разбойниковъ раздавались на хуторѣ; все глушѣ и глушѣ топотѣли кони, все тише и тише стучали повозки; и вотъ все утонуло въ море мрака и безмолвія, все исчезло для слуха, какъ исчезаетъ для зреянія перелетная стая утокъ, сливаясь вдали съ горизонтомъ. Въ хуторѣ Крутолоба постарому прокричалъ пѣтухъ полночь, постарому въ тепломъ уголку запѣлъ сверчокъ свою однообразную арію.

III.

...Висятъ полунагіе своды,
И драхлаа стоятъ еще стѣна;
Она въ рубцахъ: ее изѣкли годы
И вывели узоромъ письмена.
Прочли ль вы ихъ? Здѣсь лѣтопись природы
На зодчествѣ людей продолжена.

В. Бенедиктовъ.

Кто не знаетъ, кто не читалъ о славѣ древняго Переяславля? Тамъ наши предки *переняли* славу, тамъ пиро-валъ, послѣ знаменитыхъ побѣдъ, не одинъ владѣтельный князь русскій; туда сосѣдніе данники привозили золото, серебро, и камни самоцвѣтные, и ткани узорчатыя, и вина греческія и всякія хитрости заморскія. Славенъ бытъ Переяславль! А теперь суровые вѣка, пролетая надъ нимъ, горько осуществляли Сатурна, поѣдающаго дѣтей своихъ... Гдѣ вы, сильные земли? гдѣ ваша гордость, ваше богатство?

На мѣстѣ шумнаго Переяславля вы увидите кучу домиковъ, разбросанныхъ по берегу Трубежа и Алты. Трубежъ едва струить свои лѣнивые воды между аи-ромъ и осокою; Алта высыхаетъ въ лѣтніе жары. На этой площади, гдѣ не разъ совершался великолѣпный выѣздъ пышнаго князя, оборванный еврей мѣняетъ до-вѣрчивымъ украинцамъ обрѣзанные червонцы. Рука времени почти сравняла валы крѣпости; здѣсь и тамъ вросли въ землю большія, чугунныя пушки; стада козъ бродятъ по развалинамъ. Весь городъ похожъ на огромное кладбище: иногда дожди размоютъ бокъ горы и изъ обвала глядѣть на васъ желтые черецы вашихъ собратовъ. Кругомъ города, какъ волны, тѣснятся могилы;

2*

онъ давять одна другую, будто хотять ринуться и засыпать его — это обломки декораций печальной драмы, разыгранной вѣками, нѣмыя, но выразительныя! Гордый временщикъ, если тебѣ доступно какое-либо чувство, посмотри на Переяславль!... Но вы, можетъ быть, болѣе любите водевили, нежели трагедіи. Я и самъ согласенъ съ вами, что:

Водевиль есть вещь, а прочее все гиль!

и не люблю ничего грустнаго, ничего таинственнаго: не люблю точекъ, напечатанныхъ стихами, сочиненій Экартсгаузена, лекцій недоученаго профессора... это, говорить доктора, даже вредитъ пищеваренію. Итакъ, не угодно ли вамъ будетъ прогуляться? Путешествие очень здорово. Поѣдемъ хоть въ Петербургъ, уѣжимъ изъ погребенной столицы въ живую, цвѣтушую, шумную... тамъ есть театры, играютъ *съльти наизворотъ*, кокетничаетъ Невскій Проспектъ; тамъ есть кондиторскія, есть все, а здѣсь ничего. Поѣдемъ! поѣдемъ!

Кто въ часы досуга смотрѣлъ на географическую карту нашего отечества, тотъ вѣрно знаетъ, что Петербургъ лежитъ прямо на тройкѣ тощихъ почтовыхъ лошадей выѣзжающей въ сѣверные ворота; колокольчикъ плачетъ, ямщикъ бранится, кони едва вытягиваютъ ноги изъ глубокаго песка. Вамъ скучно? Потерпите, теперь вѣкъ сильныхъ ощущеній. Слава Богу! мы минули пески, выѣхали изъ лѣсу. Передъ нами разстилается прекрасная картина: вотъ цвѣтущи окрестности Яготина; вотъ дворецъ послѣдняго гетмана Малороссіи графа Разумовскаго; вотъ за рѣкою красивое селеніе Гре-

чаная-Гребля; тутъ длинная плотина, обсаженная вербами, перерѣзываетъ широкую рѣку Переводъ; влѣво отъ дороги тянется дубовая роща, вправо гуляютъ глаза по чистой степи. «А что на степи что за насыпь?» спросите вы у ямщика. — Телепень. Стой! едва пріѣхали! Я радъ, очень радъ, что могу продолжать мою исторію. Угодно вамъ ѿхать далѣе? — Счастливый путь; а я останусь разсказывать.

Въ то время, когда случилось происшествіе, которое я описываю, мѣсто этой гладкой степи занималъ дремучій лѣсъ; Гречаная-Гребля не существовала; не было ни Ганзеровщины, ни Лемешовки; не было и добрыхъ людей, которые тамъ живутъ теперь. Все лѣсъ да глуши, и въ той глухи свилъ себѣ гнѣздо разбойникъ Телепень. Часто рѣзкій свистокъ его шайки отзывался по гребальной пѣсни въ ушахъ проѣзжихъ; часто бесполезныя мольбы и проклятия несчастныхъ оглашали берега Перевода: одно небо, робко проглядывая сквозь вѣтви столѣтнихъ дубовъ, было свидѣтелемъ ужасныхъ злодѣйствъ. Большая переяславская дорога опустѣла. Напрасно богатые купцы выпрашивали себѣ конвой — все бѣжало передъ Телепнемъ. Онъ усилилъ свою шайку до тысячи человѣкъ, хорошо-вооруженныхъ удальцовъ, окопался въ лѣсу крѣпкимъ валомъ, на валу поставилъ пушки и сминался угрозамъ пирятинского сотника. Даже о прилуцкомъ полковнике онъ говорилъ самыя дерзкія рѣчи.

Жидомъ, паномъ, монахомъ, казакомъ — словомъ, въ разныхъ образахъ скитался Телепень по Малороссіи и Украинѣ. Какъ воздухъ, онъ проникалъ всюду; его шайка, подобно облакамъ, гонимымъ вѣтромъ, налетала со всѣхъ сторонъ при малѣйшемъ сигналѣ предводителя —

и горе побѣжденныи! Людей мучили; серебро и золото увозили въ земляной городокъ, названный по имени предводителя: Телепнемъ. Въ этомъ городкѣ была заперта дочь Крутолоба, Галя.

IV.

Л

Ватагамы ходыды хмары,
Межъ нымы молодыкъ блукавъ,
Витры въ очеретахъ бурхалы
И Нсель ревинъ и клокотавъ.

ГУЛАКЪ-АРТЕМОВСКИЙ.

Я радъ: останься до утра
Подъ сѣнию нашего шатра.

А. Пушкинъ.

Жаркий лѣтній день повечерѣль. Солнце утонуло въ облакахъ, и они, какъ бы торжествуя свою побѣду, росли, выше и выше гордо подымая головы, облитыя кровью умиравшаго свѣтила. Глухо простеналъ отдаленный громъ; вдалекъ вспыхивала молния. Воздухъ былъ дущенъ, спокоенъ; ни одинъ листочекъ на осинѣ не шевелился.

«Будеть воробьиная ночь», говорилъ поселянинъ жены своей, входя въ хату и жена, старалась скорѣе убаюкать ребенка, съ беспокойствомъ поглядывая на маленькое окошко и крестясь всякий разъ, когда зарница освѣщала лицо ея красноватымъ цвѣтомъ.

Не долго ждали гости. Дохнуль свѣжій вѣтерокъ — и зашумѣла дубрава; облака понеслись быстрѣе; дождь крупными каплями застучалъ въ окна. И вотъ, взвивая до облаковъ легкую пыль, понесся духъ бури — вихорь-разрушитель: какъ робкія жены, завыли, замахали длин-

ными, косматыми вѣтвями бѣлые березы, какъ человѣкъ, припалъ къ праху гибкій тростникъ, какъ мужъ, затрещалъ при корнѣ могучій дубъ. Громъ перекатывался надъ головою; молния жгла небо... Великая природа! какъ ты прекрасна и въ торжественномъ покой и въ разгарѣ страстей!

— Ай да погода! Вотъ что хвалю, то хвалю! говорилъ Телепень, пробираясь лѣсомъ впереди своей шайки. Теперь не одна баба отъ страха прячетъ голову въ подушки. Пей другую, Грицко!

Въ это время Грицко, наѣхавъ на пень, полетѣлъ съ лошади.

— И одною довольны, отвѣчалъ Грицко, садясь опять на лошадь.—Однако панъ-атаманъ, намъ пора бы отдохнуть; лошади измучились, словно щуки, хоть въ иголку продѣнь; да и хлопцы устали.

Тутъ сверкнула молния, грянулъ громъ и, раскрошенный въ мелкія щепы, огромный кленъ запыпалъ передъ шайкою.

— Шабашъ! крикнулъ атаманъ. — Такъ здѣсь ночевать; кстати и огня разводить ненужно. Спасибо грому, есть на чёмъ заварить кашу для ужина.

Атаманъ слѣзъ съ коня; разбойники засутились вокругъ огня; сторожевые поѣхали въ стороны отъ табора.

Буря начала утихать; вдали отзывались раскаты грома все слабѣе и слабѣе; дождь пересталъ. Ярко пылали кленовый костеръ, на которомъ дымилась и кипѣла каша; вокругъ костра разбойники просушивали платье. Телепень сидѣлъ у самаго огня; волны свѣта обливали его съ ногъ до головы; его широкое лицо, отъененное длинными усами, казалось, пламѣнело. Кругомъ выказывались изъ тѣни: то голова лошади, то длинная, кудря-

вая вѣть дерева, то сѣдло, то чубъ разбойника; и когда огонь на кострѣ ослабѣвалъ, то все это мало-по-малу приталось въ темноту и сливалось съ окрестнымъ мракомъ.

Атаманъ курилъ коротеньку трубку и задумчиво плевалъ на огонь. Въ это время тихо заржала въ таборѣ лошадь; въ отвѣтъ послышалось ржаніе въ лѣсу, потомъ шелестъ шаговъ, который болѣе и болѣе приближался къ табору. Телепенъ поднялъ брови; разбойники вскочили съ мѣсть. Но недолго продолжалось ихъ недоумѣніе, скоро явился предметъ ихъ страха: это былъ одинъ изъ караульныхъ; онъ велъ съ собою молодаго человѣка въ простомъ казачьемъ платьѣ, котораго онъ поймалъ въ лѣсу.

— Кто ты? спросилъ атаманъ пленника.

— Я казакъ безъ роду, племени и доли, отвѣчалъ незнакомецъ.

— Зачѣмъ же ты ночью бродишь по лѣсу?

— Такъ, добродію; искалъ грибовъ, да и ночь настѣгла.

— Говори правду! не то... я не люблю шутить. Каждой дуракъ ходить за грибами двадцать верстъ въ сторону отъ дороги, а особливо ночью? Тутъ что-то не такъ...

— Ей-богу такъ, добродію.

— Неправда! сказалъ Телепенъ, устремивъ на него испытующій взглядъ.

Незнакомецъ опустилъ глаза въ землю.

— Говори правду, продолжалъ Строгимъ голосомъ Телепенъ: — когда не хочешь проплясать казачка, пріѣрно, хоть на этой березѣ.

— Помилуйте! вскричалъ незнакомецъ, бросаясь въ

ноги разбойнику: — я расскажу вамъ всю правду, какъ отцу духовному на исповѣди, только не отсыпайте меня къ сотнику... они казнить меня, я... преступникъ.

Телепень улынулся.

— Меня зовутъ Кобка, продолжалъ незнакомецъ: — много горя терпѣлъ я на свѣтѣ и отъ родныхъ и отъ чужихъ, а болѣе всѣхъ, отъ злой мачихи. Мнеъ наскучило ъсть хлѣбъ со слезами; я хотѣлъ-было самъ кинуться въ воду, и въ одинъ день, не знаю какъ, толкнулъ въ колодецъ эту злую вѣдьму. Въ это время мимо шли люди и увидѣли мою шалость; они погнались за мною; я въ лѣсь, все дальше и дальше, и вотъ уже недѣля, какъ скитаюсь почти безъ пищи. Не дайте умереть бѣдному и не представляйте меня въ судъ!

— Только-то? сказалъ атаманъ: — небойсь братъ, хоть бы ты десять мачихъ спровадилъ на тотъ берегъ, мы тебя не выдадимъ. Встань да благодари случай за то, что ты попался къ намъ: мы сами люди вольные, какъ степные ястреба; мы плюемъ на бабу, сотника и на всю долгохвостую полицію, и любимъ такихъ удальцовъ, которымъ жутко жить на свѣтѣ. Хочешь ли остаться съ нами?

— Благодѣтель! Я не знаю какъ благодарить тебя; теперь я не умру съ голоду!... Я буду служить тебѣ до послѣдняго вздоха.

— Запьемъ могоричъ, сказалъ Телепень, взялъ фляжку съ водкою, напился, отеръ рукавомъ усы, и передалъ ее Темошу.

Скоро сняли съ огня котель съ кашею; разбойники поужинали; и когда все захрапѣло, спокойнымъ сномъ, Темошъ со слезами на глазахъ перекрестился и, завернувшись въ бурку, легъ между новыми своими товарищами.

V.

Но если женскими устами
Заговорить коварный адъ,
Тогда нигдѣ подъ небесами
Спасеныя звѣзды не горать.

В. Соколовский.

Два года — и кѣкъ роскошно, кѣкъ плѣнительно расцвѣла эта милая Гали. Природа развила юную почку — и свѣжій цветокъ красуется, благоухаетъ. Легкая сорочка сладострастно ласкится къ высокой, полной груди ея, а грудь волнуется, дрожитъ подъ ревчивымъ полотномъ. Гали хочетъ воли, воли! Ея глаза искрятся, облитые хрустальною влагою; въ нихъ отражается, блестить, играетъ сила юности, въ каплѣ чистой утренней росы; лицо вспыхнуло пожаромъ желаній; какая-то томность, какая-то неясная грусть слегка оттѣнила его. Она была прекрасна, заманчива какъ тайна полуразгаданная.

Съ чѣмъ сравнить этого сильного широкоплечаго мужчина, лежащаго на татарской буркѣ? Страсти избородили его, лѣта оставили на немъ иней. Это остывшій волканъ, покрытый снѣгомъ; огонь и смерть когда-то вылетали изъ жерла его, въ которомъ теперь едва дымятся остатки перегорѣлой лавы и клубами виситъ черная сажа.

Угрюмо лежалъ Телепень на буркѣ, почти не отвѣчая на ласки Гали. Она съ дѣтскою шаловливостью играла его длинными, посѣдѣвшими усами, обвивала лильными руками его шею, впивалась жгучими устами въ его холодныя уста; но онъ безчувственно принималъ ея лобзанія.

Такъ, пресыщенный виномъ на богатомъ пиру, изъ приличія, пьетъ заздравную чашу. И Галя, живая, кипящая, приникла къ холоднымъ персямъ разбойника.

— Чего ты хочешь? хладнокровно спросилъ онъ:— вотъ золото, серебро, дорогие камни...

— Не хочу я этого.

— Вотъ богатыя парчи, шелковыя ткани—возьми ихъ, одѣвайся, радись.

— Ненужно мнѣ ихъ!

— Любви! прошептала Галя и скрыла румяное лицо свое на груди Телепня.

Телепень замолчалъ.

— Мнѣ скучно, продолжала Галя:— я умру: ты меня не любишь! Два года я живу здѣсь и не вижу никого, кроме двухъ-трехъ страшныхъ твоихъ товарищей. Я не была за оградою, не видѣла свѣта Божія! Меня стерегутъ, за мною смотрятъ, какъ за преступницею, какъ-будто я тебѣ желаю зла, какъ-будто я не люблю тебя... О мой милый!...

И она поцаловала чело Телепня, на которомъ бродили мрачныя думы.

— Я стариkъ: ты хочешь обмануть меня, оставить; тебѣ весело улыбаться какому-нибудь молокососу! Да, я знаю васъ, женщинъ. Но этого не будетъ, не будетъ, пока я живъ.

Глаза злодѣя засверкали, руки судорожно сжались, грудь колебалась тяжелымъ дыханьемъ.

— Вотъ плата за любовь мою! говорила Галя, и слезы брызнули изъ глазъ ея. — Не-уже-ли ты думаешь, что я могу оставить тебя? Безъ тебя я боюсь сдѣлать шагу: мнѣ страшно и волковъ, и людей, и оборотней. Ты одинъ мой защитникъ; одного я люблю въ бѣломъ свѣтѣ—и тотъ меня не любить!

Рыданья прервали ея голосъ.

Часть I.

3

— Перестань, перестань плакать! Забрала себѣ въ голову какую-то любовь—и тоскуеть безпрестанно! сказа-
заль Телепень.—Тебѣ скучно? Ну, этому можно посо-
бить: я давно обѣщалъ и повезу тебя на первую яр-
марку, какая будеть въ нашемъ околоткѣ: тамъ мы по-
веселимся, накупимъ товаровъ, какие тебѣ понравятся
послушаемъ, какъ играютъ бандуристы, посмотримъ,
какъ цыгане мѣняютъ лошадей, какъ продаютъ соль,
рыбу и всякие овощи; увидимъ, какъ танцуютъ пьяные
запорожцы и пляшутъ литовскіе медвѣди... Довольна ли?

Онъ взялъ Галю за подбородокъ, поцаловалъ ее въ
лобъ и вышелъ.

О, женщины! Куда дѣвалась эта грусть, эти слезы,
эти рыданія? На заплаканномъ лицѣ Гали проглянуло
удовольствіе, какъ ясный лучъ солнца сквозь разбитыя
облака послѣ бури; не прошло пяти минутъ, какъ она
уже весело напѣвала:

Болыть моя головонька
Видъ самого чола;
Не бачила мыленского
Сегодня и вчора!...

VI.

Супца нема ах с зора бистра,
И плам зраках исток зацалиле.

Петар Петрови.

Ума твердаго, но простого, стрѣляетъ мѣтко,
танцуетъ разныя танцы, вино пить, а пьянъ
не бываетъ.

Изъ стариинаго кондуктнаго списка.

Еще несовѣтъ разсвѣло и природа дремала въ чут-
комъ покой. Слабый розовый отсвѣтъ разгорался на
восточномъ горизонтѣ. Было слышно, какъ вода поти-

хоньку просачивалась подъ потоками старой водяной мельницы; рѣка дымилась туманомъ, и вдругъ прорѣзала его огненная струя; грянулъ выстрѣль — окрестность пробудилась: съ шумомъ и крикомъ подымались изъ тростниковъ стада дикихъ утокъ, и вверху и внизу засвистѣли кулики, закричали бекасы. Изъ мельницы выскочилъ человѣкъ съ преогромными усами.

— Ого-го! какой славный выстрѣль! говорилъ онъ, бродя по поясъ въ водѣ и собирая убитыхъ утокъ.— Разъ ихъ, двѣ ихъ, три ихъ — хорошо! четыре ихъ — удачный выстрѣль! Доброе ружье! не жаль за него дать два рубля и нагайку... пять ихъ, и еще одна подстрѣленная! поди-ка сюда! шесть ихъ... ого-го! да она ныряетъ... проклятая, такъ и ускользнетъ изъ рукъ! Вотъ я тебя!...

И усатый человѣкъ прыгалъ за уткою въ водѣ въ разныя стороны, какъ индійскій факиръ, обрекшій себя при жизни разнымъ дурачествамъ для спасенія души.

— Точно, ловкій выстрѣль! сказалъ кто-то.

Усачъ оглянулся: на плотинѣ, подъ мельницей, стоялъ верховой; лошадь его, покрытая потомъ и пѣною, тяжело работала боками.

— Не узнаешь меня, Шлапакъ? продолжалъ верховой.

— Что я Шлапакъ — это правда. А вашу милость, кажется, я и во снѣ не видывалъ.

— Скоро, братъ, забываешь старыхъ пріятелей! сказалъ незнакомецъ, сѣвъ съ лошади.

— Постой, постой... ба! голось точно его, такъ, эта литовская бородка... Чортъ возьми! да ты, ей-богу, Петро Подопыгора!

— А то же кто?

— Господи, Боже мой! такъ ты еще живъ? И Шла-

*

пакъ, выскоча изъ воды, началъ обнимать Петра.— Да чѣдѣ за нарядъ такой на тебѣ? Откуда ты взялъ бороду, какъ у этой беззаконной Литвы, чтѣ ходить въ лаптяхъ? ха-ха-ха! Гдѣ ты пропадалъ два года? Я сышаъ, что ты прїхалъ изъ похода домой да на другой день какъ въ воду канула. Ну, что же стоишь, какъ деревянный? Пойдемъ братъ въ мельницу.

— Тутъ свѣжѣе, отвѣчалъ Петро: — мнѣ и такъ жарко, а ты тащишь въ эту душную будку.

— Будку? нѣтъ, братику, это не будка, а такая мельница, какихъ здѣсь мало. Но, быть по-твоему: сядемъ на завалинѣ да расскажи откуда ты? Ни свѣть, ни зара, а такъ угрѣль лошадь!

— Я сегодня о полуночи выѣхалъ изъ Сергѣевки, и къ обѣду долженъ нажадъ воротиться.

— Ты, вѣрно, подрядился нечистой силѣ возить почту?

— Я спѣшилъ къ тебѣ, именно къ тебѣ: мнѣ нужна твоя помошь.

— Хорошо! разсказывай поскорѣе въ чѣмъ дѣло. Побить кого—я не прочь; побѣхать на охоту до ляховъ—согласенъ. Право, наскучило стрѣлять однѣхъ утокъ.

— А вотъ видишъ: тебѣ, я думаю, извѣстно, что я былъ помолвленъ на дочери есаула Крутолоба.

— Ну какъ не знать! Еще моя Феська—помнишь? которая у меня смотрѣть за порядкомъ—говорила: «вотъ будетъ парочка!»

— День нашей свадьбы положенъ бытъ по возвращеніи моемъ изъ похода противъ крымцевъ, куда я ходилъ въ отрядѣ полковника Вышкварки. Долго мы бродили по степямъ, отбили два табуна коней, раевѣли нѣсколько шаекъ бусурмановъ и, очистивъ границу отъ этихъ разбойниковъ, возвратились домой. Я цѣлую ночь

скакаль изъ Прилуки на хуторъ Крутолоба, гдѣ ожидали меня и отецъ и невѣста. Два раза разсѣдался мой конь, два раза сбивался я съ дороги, и уже свѣтомъ пріѣхалъ на хуторъ. Хотя было утро, но ни одинъ человѣкъ не попадался мнѣ на встрѣчу; ворота и двери вездѣ были растворены; скотъ бродилъ по огородамъ и по улицѣ, какъ будто въ хуторѣ все люди вымерли отъ чумы. Я спѣшу къ панскому двору — та же пустота; кладовая разбиты; разныя вещи разбросаны по двору. Вхожу въ свѣтлицу — Крутолобъ и отецъ мой лежать связанные... тутъ я узналъ свое несчастіе!

— Помню, помню! Когда Телепень увезъ твою Галю, въ тотъ день я убилъ славную дрофу. Пріѣзжаю домой, а мнѣ Феська и разсказываетъ, что она слышала эту новость отъ торбаниста, который пилъ у меня въ шинкѣ водку.

— Я развязалъ стариakovъ и въ душѣ поклялся освободить Галю и отмстить Телепню. Чрезъ три дни я уже былъ въ его шайкѣ подъ именемъ Темоша Кобки.

— Въ шайкѣ у Телепни?

— Да! и скоро сдѣлался однимъ изъ его любимцевъ. Благодаря этому, я успѣль нѣсколько разъ видѣться съ Галею: она меня любить попрежнему. Пользуясь отлучкою разбойника и своею властью, я могъ бы бѣжать съ нею; но это бесполезно: сила Тедепня извѣстна; отъ него и подъ землею не спрячешься; тогда онъ могъ бы погубить нась обоихъ; а я хочу отмстить ему, хочу погубить его самого. Теперь Телепень откочевалъ дnia на два къ Диѣпру, и я съ полночи скакаль къ тебѣ просить помощи.

— Прекрасно! Но чтѣ я могу сдѣлать?

— А вотъ чтѣ: въ Густинѣ, въ день Успенія, бу-

деть ярмарка; Телепень туда пріѣдетъ, и пріѣдетъ пере-
раженый, а потому ты долженъ, собравъ нашихъ пріятелей...

— Понимаю! Но сдѣлай милость, братику, пойдемъ
въ мельницу.

— Зачѣмъ?

— Вотъ эта стая утокъ уже три раза перелетѣла
надъ нашими головами; не будь здѣсь насть, онѣ вѣро-
сѣли бы на воду подѣлѣ мельницы, и я опять хватиль
бы ихъ полдесятка... Притомъ же, тамъ у меня есть...
знаешь, охотничья бутылка доброй водки и чудесная
колбаса. Съ дороги перекусить нехудо. И Шлапакъ си-
лою втащилъ Петра въ мельницу.

Чрезъ часъ они вышли.

— Итакъ, я надѣюсь на тебя, сказалъ Петро, са-
дясь на лошадь. Не забывай Успенія!

— Скорѣе забуду кѣкъ зовутъ меня.

— А много ли у тебя возовъ?

— Прѣпастъ, штука двадцать будетъ, да все такие
объемистые!

— Хорошо! Прощай.

— Прощай, братику.

Петро пригнулся къ сѣду и облако пыли скрыло
слѣдъ ловкаго наѣздника.

«Дѣло!» сказалъ самъ-себѣ Шлапакъ. — «А какой
богатый выстрѣль! да все крыжныя! разъ ихъ, двѣ ихъ,
три ихъ, четыре ихъ, пять ихъ; жалко, что ушла шестая!
Впрочемъ, пусть она разскажетъ въ болотѣ своимъ пріятелямъ,
какъ стрѣляетъ хорунжій Шлапакъ». И, взявъ
ружье и дичь, онѣ тихими шагами пошелъ въ хуторъ.

VII.

...отъ множества народа.
Нѣтъ ни выходу, ни входу;
Такъ кишия вотъ и кишать,
И смѣются и кричатъ.

П. Ершовъ.

Въ 1622 году казакъ Желѣзнякъ пріѣхалъ изъ сѣчи на родину, въ прилуцкій полкъ, женился и зажилъ домомъ; но грусть грызла сердце его. Напрасно молодая, черноокая жена цаловала его, напрасно онъ заливалъ горе сладкими медами и крѣпкими наливками: у Желѣзняка было много денегъ; много грѣховъ лежало на душѣ его: и то и другое привезъ казакъ на родину изъ сѣчи. И вотъ задумалъ Желѣзнякъ — а задумать у доброго казака то же, чтѣ и сдѣлать — задумалъ, для искушения грѣховъ, построить монастырь *на-славу*. Слава лѣстить слабымъ потомкамъ Адама. Годрый нашъ Вишневецкій, узнавъ о намѣреніи Желѣзняка, подалъ ему руку, — и приступили къ дѣлу: Вишневецкій далъ планы, Желѣзнякъ — деньги. Вскорѣ великолѣпная церковь во имя Успенія Богородицы, обвѣденная крѣпкою стѣною, со службами для монаховъ и съ красivoю надписью надъ воротами: *изжидавеніемъ пана Вишневецкаго и казака Желѣзняка*, явилась въ непроходимой чащѣ лѣса, на берегу Удая, недалеко отъ Прилуки. Окрестные жители назвали это урочище *Густыня*, по причинѣ густаго лѣса, окружавшаго монастырь. Вишневецкій въ честь храма новопостроенной церкви учредилъ 15-го августа ярмарку.

Болѣе двухъ столѣтій прошло съ того времени. Монастырь давно упраздненъ; толстые стѣны ограды раз-

рушились; но все еще, по старой привычкѣ, добрый ма-
лороссъ считаетъ грѣхомъ не быть въ Густынѣ въ день
Успенія. Тогда подъ ветхими сводами церкви опять
раздается священное пѣніе; вся окрестность закипитъ
жизнью; сосѣдніе холмы запестрѣютъ народомъ; въ зе-
лени лѣса замелькаютъ цвѣтныя ленты рѣзыхъ дѣву-
шекъ; запылаютъ надъ рѣкою костры; даже самъ Удай
какъ-то сладостнѣе зашумить между тростниками. Право,
славное мѣсто Густыня!

О, рудый Панько! дай мнѣ твоего волшебнаго пера
начертать хоть слабую картину лѣтней малороссійской
ярмарки, представить этотъ водоворотъ двуногихъ и
четвероногихъ, этотъ цестройный шумъ, говоръ, мычанье,
ржаніе, крикъ, хохотъ, брань, пѣсни; изобразить живо-
писныя кучи румяныхъ яблокъ, пирамиды арбузовъ,
золотыя горы дынь, плутовскія физіономіи цыганъ и
простодушныя лица чумаковъ, съ черными усами, бри-
тою головою, длиннымъ чубомъ; смѣшную спѣсь мелкихъ
уѣздныхъ чиновниковъ. Много-много я написалъ бы,
но все это будетъ слабое подражаніе. Прочитайте луч-
ше «Сорочинскую Ярмарку» нашего Панька, и вы буд-
ете имѣть ясное понятіе о томъ, что дѣжалось въ Гус-
тинѣ 15-го авгуаста нѣкотораго года.

Уже солнце высоко горѣло въ небѣ; обѣдни отошли
и духъ торговли развивался въ полной силѣ: хлопанье
по рукамъ, божбы, клятвы носились надъ площадью. Но
вотъ хлопнула бичъ — толпа начала раздвигаться и
посреди ея покатился богатый рыданъ, запряженный
парою красивыхъ лошадей. Въ рыданѣ сидѣла здоро-
вый усачъ, а подлѣ усача молодая, прекрасная женщина.
Междугемъ, какъ народъ, зѣвая, смотрѣла на пышный
экипажъ, онъ, прокатясь во всю длину ярмарочной пло-

щади, своротилъ налево и остановился подъ тѣнью вербъ. Кучеръ, въ смушевой шапкѣ, слѣзъ съ козель, подбросилъ лошадямъ вязанку травы, закурилъ коротеньную трубку, сѣлъ на землю, поджавши ноги, и началъ любоваться, какъ еврей и цыганъ на хромыхъ лошадяхъ бѣгали въ запуски. А панъ и пани, въ сопровождениі дюжой, босой дѣвки, тихо двинулись по ярмаркѣ.

— Грицко, Грицко, а Грицко! говорила Катря, держа за полу своего мужа.

— Га! отвѣчалъ онъ.

— То паны идутъ?

— Ну, да.

— А что жь это за паны?

— Богъ ихъ знаетъ.

— Да какіе же это паны?

— Господи мой! ну паны себѣ—да и только.

— А откуда они?

— Отважись, пожалуйста! И Грицко медленно двинулся впередъ, уплетая дыню, которую держалъ въ обѣихъ рукахъ.

Катря осталась рѣшительно безъ всякихъ свѣдѣній. Не знаю, что бы она дѣмала, еслибы не подоспѣла къ ней кума. Кума—лицо важное въ Малороссії: свадьбы, похороны, выборные, рекруты, сплетни, вареники не могутъ существовать, не могутъ дѣйствовать безъ кумы. Она вездѣ, гдѣ ей нужно и ненужно, гдѣ ей просить и не просить; она говорить, совѣтуетъ, бранится, работаетъ и головою, и руками, и ногами, то дѣйствуетъ, то страдаетъ—словомъ, если-бы можно допустить существованіе философскаго камня, то главнымъ его элементомъ была бы непремѣнно—кума.

— Это не нашъ панъ, Остапенко, и не Крыпа, говорила скороговоркою кума, ударивъ по плечу Катрю.

— Не Кошуля ли?

— О, будто я не знаю Кошули! У того хоть жупанъ зеленый и такъ же вышить золотыми шнурками, да шаравары синie, а у этого все платье зеленое.

— Будто у Кошули синie шаравары?

— Вотъ еще славно! А тожь какie? Кому знать лучше, какъ не мнѣ? Панъ Кошуля пріѣзжалъ въ такомъ нарядѣ въ наше село, какъ я была еще дѣвушкою. Еще бы не знать этого!

— Такъ это Олійникъ.

— Туда! Какъ - таки не совѣтно говорить Богъ знаетъ чѣ не подумавши! Твой Олійникъ не чета этому молодцу, посмотри: чѣ за плечи, чѣ за усы! да и откуда бы Олійникъ взялъ такую паню?

— Такъ вотъ отгадала! именно отгадала, ей-богу отгадала: это пирятинскій сотникъ. Еще вчера невѣстиной свахи сестра говорила мнѣ, что его ждутъ на ярмарку.

— Вотъ чѣ такъ, то такъ. Знай нашихъ! даже самъ сотникъ пріѣхалъ къ намъ изъ Пирятина!

— И неудивительно: у нась въ Густынѣ, разѣ только птичьего молока нѣть.

Во время этого разговора толпа стѣснилась и скрыла изъ глазъ кумы и Катри занимательного пана. Кума стала на колесо соѣдняго воза и продолжала смотрѣть.

— Ну, чѣ тамъ видно? спрашивала Катрю.

— Чудеса да и только; тамъ кто-то водитъ музыку. Господи, какъ онъ пляшетъ подгѣ тѣхъ чумаковъ, чѣ продаютъ рыбу! Сотникъ съ женою остановился и смотрѣть на удалца. Проклятые чумаки! такъ сдвинулись

въ кружокъ вокругъ сотника, что ничего не видать. Да въ своемъ ли я умѣ? Ахъ, бѣдная моя голова! чѣдѣ это...

— А чѣдѣ тамъ? спрашивала Катря.

— Постой! Кругомъ изъ чумакихъ возовъ лѣзутъ казаки, какъ изъ ульевъ пчелы.

Въ это время послышался выстрѣль.

Телепень! Телепень! пронеслось межъ народомъ. Толпа дрогнула; на площади поскакали казаки. Тутъ, на бѣду, вѣтеръ поднялъ такую пыль, сдѣлалась такая кутерьма, что кума не могла добиться толку.

VIII.

И, гу! гу! гу!...

Припѣвъ свадебныхъ малоросс. пѣснѣ.

Давно было за полночь, а на хуторѣ у Круголоба никто и не думалъ спать. Весь хуторъ собрался на пам-скій дворъ, на которомъ ярко пышали смолевые бочки; вездѣ поставлены были чаны съ медомъ и горѣлкою, и разныя закуски для простыхъ казаковъ, а въ самомъ домѣ гремѣла музыка; туда безпрестанно входили и выходили люди знаменитые, чиновные; тамъ, въ переднемъ углу, подлѣ жениха, молодаго Петра, сидѣла красавица-невѣста—Галля, скромно опустивъ глаза на грудь, увѣшанную жемчугомъ и монистами, между-тѣмъ, какъ легкій, радужный каскадъ шелковыхъ лентъ, падая съ головы, разбѣгался по плечамъ ея, струился подлѣ щекъ и ўшей, нашептывая нѣгу. Петро былъ одѣтъ въ красный жупанъ, обшитый богатымъ галуномъ и бахромою; черная, какъ смоль, баранья шапка оттѣнила свѣжее лицо его; изъ шапки прихотливо отбросился въ сторону алый верхъ; на немъ, сверкая, дрожала золотая кис-

точка. На столѣ, передъ новобрачными, лежалъ большой коровай, увитый малиновымъ шелкомъ, увѣнчанный кистями калины и ржаными колосьями; подлѣ коровая, красиво возвышалось кудрявое деревцо съ золотыми орѣхами, листьями и плодами; далѣе горѣли золоченые кубки и разноцвѣтныя бутыли. Старикъ Крутолобъ и Подонтигрова, одѣтые въ праздничное платье, суетились по комнатѣ, подчуя гостей ароматною вареною. Подлѣ Гали сидѣла *свѣтилка*, держа въ рукахъ казачью саблю, обвитую зеленою и цвѣтами, между которыми пылали восковыя свѣчи; далѣе, по обѣимъ сторонамъ свѣтилицы, сверкали серебромъ и золотомъ кунтуши и жупаны гостей; посрединѣ свѣтилицы плясалъ до-упаду/не-большой, усатый толстякъ. Уже давно танцевала онъ; его движенія становились лѣнивѣе, музыка играла тише; вдругъ онъ пріостановился, закричалъ: *трай Санжарикъ!* и съ новою силою пустился барабанить ногами, припѣвая:

Ишли девки зъ Санжаривки
А за вымы два парубки,
А собака зъ макивокъ:
Гавъ, гавъ! на дивокъ!
гавъ, гавъ, гавъ, гавъ
гавъ, гавъ на дивокъ!...

Онъ тогда только пересталъ танцевать, когда родные и знакомые, взявъ его подъ-руки, отвели въ сторону и запретили играть музыкантамъ.

— Ты, Шлапакъ, какъ я замѣчаю, большой охотникъ танцевать? спросилъ одинъ изъ гостей неутомимаго танцора.

— Признаюсь, люблю побѣситься у пріятеля, когда радость не только на языкѣ, но и на сердцѣ, да и пѣсня

эта мнѣ очень полюбилась съ-тѣхъ-поръ, какъ я ее проплясалъ передъ Телепнемъ. Тогда не то было: танцевалъ бойко, а душа такъ и просилась въ пятки.

— Ты давно обѣщаешь разсказать мнѣ, какъ это было.

— Было весьма обыкновенно. Мнѣ сказалъ Петро, что Телепень съ Галею будетъ на ярмаркѣ, одѣтый паниномъ. Я подговорилъ полсотни пріятелей, отборныхъ казаковъ, положилъ ихъ въ чумацкіе возы и, накрывъ кожами, поставилъ на ярмарочной площади, а самъ, взявъ двухъ музыкантовъ и бутылку водки, пошелъ гулять между народомъ. Скоро показался богатый панъ съ младенckoю женою; я подпустилъ ихъ къ моимъ возамъ и началъ разсыпаться мелкимъ бѣсомъ, заплясалъ, запѣль Санжаривки. Глядь, а красавица уронила платокъ: это былъ условный знакъ — я въ присядку да и свиснула. Тутъ изъ всѣхъ возовъ, какъ изъ земли, выросли мои ребята; я прямо на разбойника и, повѣришь ли, не такъ чортъ страшенъ, какъ его малютъ; повѣришь ли, что этотъ трусь, чтобъ ему не ѳѣсть порядочныхъ галушекъ, въ пяти шагахъ выстрѣлилъ по мнѣ изъ пистолета и — далъ промахъ!...

— Да онъ уже ничего есть не станетъ: его на прошлой недѣлѣ въ Прилукахъ четвертовали.

— Слышалъ. Богъ съ нимъ! однимъ бездѣльникомъ менше на свѣтѣ, да и только. А все я не понимаю, отчего его такъ боялись?... Стрѣлять не умѣль, грѣшный! Это не то, чтѣ иной стрѣлокъ: хватить, чортъ возьми! въ одинъ выстрѣль полдесятка, или болѣе, уточъ... Да вотъ, недалеко сказать, съ мѣсяцъ назадъ, я сдѣмаль засаду ..

— Староста, панъ подстароста, благословите спать идти, заревѣль подъ Шаплака исполинскаго роста

мужчина, перевязанный черезъ плечо краснымъ поясомъ.

— Богъ благословить! отвѣчалъ протяжно староста.

Тутъ музыка заиграла маршъ; гости начали вставать съ мѣстъ, и Галя, покраснѣвъ, какъ маковъ цвѣтъ, подала торжествовавшему Петру руку...

1836 г.

IV.

МѢСЯЦЪ И СОЛНЦЕ.

ПРЕДАНІЕ.

Случалось ли вамъ видѣть ясное майское утро, когда молодое солнце топить розовые лучи свои въ нѣжно-лагоревомъ небѣ, когда все пробуждается, поетъ, когда отъ долинъ вѣеть свѣжестью и ароматомъ, а между тѣмъ темносиняя туча грозно встаетъ на западѣ, ростеть выше и выше и веселое утро, улыбаясь, посматриваетъ на тучу, и въ свѣтлыхъ глазахъ его пробѣгаеть невольный страхъ, грустное ожиданіе?

Прекрасенъ, какъ майское утро, молодой Иванъ, сынъ старого казака Правды, но, какъ сизая туча, дума не радостная бродить на челѣ его. Жаль молодца и о чѣмъ ему печалиться? Статенъ, красивъ онъ; густые, каштановые волосы оттѣняютъ лицо его, такое свѣтлое, открытое, что сосѣди прозвали его: *Иванъ со лбу мѣсяцъ*. Отецъ любить Ивана; мать подарила его сестрою-красавицею — о чѣмъ бы ему печалиться?

Недавно, гуляя по лѣсу, увидѣлъ Иванъ молодую дѣ-

вушку. Ея свѣтлорусыя кудри небрежно бѣжали по плечамъ, на нихъ былъ накинутъ голубой вѣнокъ изъ вальковъ. Она сидѣла подъ ивою, склонясь къ ручью, и слезы, какъ зернистый жемчугъ, катились по ея розовыи щекамъ въ воду.

— О чѣмъ ты плачешь? спросилъ Иванъ дѣвушку.

— О тебѣ, отвѣчала она, и сквозь слезы посмотрѣла на Ивана лазоревыми глазками, тѣкъ ласково, съ такимъ участіемъ! — Я твоя Доля. Отъ самой колыбели я смотрю за тобою: бужу тебя на утренней зарѣ, прысказ въ лицо свѣжею росою, и вечеромъ засыпаю усталые глаза твои мягкимъ пухомъ; я держу подъ устцы твою лошадь, когда ты опереживаешь въ степи вольнаго кречета; собираю дыханіе травъ и лучи звѣздные и плету изъ нихъ чудные сны, которые забавляютъ тебя. Всегда я весело смотрѣла на тебя; но съ-тѣхъ-поръ, какъ твоя мать родила дочь, мнѣ грустно, я плачу о тебѣ и день и ночь: сестра твоя .. бѣги отъ нея, это будетъ змѣя въ образѣ человѣка; она изведетъ тебя, если ты не оставилъ дома родителей. Бѣги отъ нея... И слезы сильнѣе прежняго полились изъ глазъ Доли.

— Поѣду, отвѣчалъ Иванъ:—только перестань пла-
вать.

Дѣвушка исчезла; изъ ивового куста порхнула ласточка и, весело щебеча, начала виться надъ водою.

Отъ того сталъ печаленъ молодой Иванъ; отъ того черная дума помрачила ясное чено его.

Далеко-далеко, на высокой горѣ, на востокѣ, живеть Солнце; много добра дѣлаетъ оно въ мірѣ; старикъ Правда съ незапамятныхъ временъ водилъ съ нимъ дружбу; къ нему отправился и сынъ его.

Рано утромъ взглянуль Иванъ въ послѣдній разъ на отца и мать свою: они сладко спали; имъ сердце не вѣщевало, что любимый сынъ оставляетъ ихъ навѣки. Грудь Ивана сжалася; слезы брызнули изъ очей; онъ бросился на коня и вихремъ помчался по чистому полю. Только шумъ подгѣ него степная трава, только веселая ласточка, щебечка, виляла подгѣ коня его.

Долго ъхалъ молодой Иванъ, и видѣть необозримое поле: черныя, мохнатыя сосны, какъ мертвые чудовища-медвѣди, лежать по полю; вѣтвистые дубы брошены одинъ на другой, какъ скосенная степная трава на покосъ; поднятые изъ земли жилистые корни, словно руки, протянулись къ небу съ жалобою; вправо чернѣль большой лѣсъ; посреди поляны, на дубовомъ пнѣ, сидѣлъ человѣкъ. Онъ ъль ломоть черстваго хлѣба, смачивая его слезами.

— О чѣмъ ты плачешь? спросилъ Иванъ этого человѣка.

— Какъ мнѣ не плакать, отвѣчалъ онъ:—можеть быть, ты слыхалъ про меня, добрый человѣкъ: я Вернидубъ; я обреченъ всю жизнь вырывать съ корнями деревья. Моими трудами уже истребленъ весь лѣсъ въ мірѣ, кроме этого. И онъ показалъ вправо. — А когда я окончу эту трудную работу, то мнѣ придется умереть. Такова моя судьба! Тяжело мнѣ жить на свѣтѣ, а умирать не хочется. Иванъ пожалѣлъ о Вернидубѣ и поѣхалъ далѣ.

Долго-долго скакалъ Иванъ, и увидѣлъ огромную равнину, покрытую каменьями: на одномъ камнѣ сидѣлъ дюжій, широкоплечій человѣкъ, опустя печально голову.

— О чѣмъ ты горюешь? спросилъ Иванъ человѣка.

— Какъ мнѣ не горевать, отвѣчалъ онъ: — я Вер-

нигора. Отъ рожденія до самой смерти я обреченъ разрушать горы. Многіе вѣки я ломаю камень, и уже привыкъ къ моей тяжкой работе, мало этого, она даже мила мнѣ: какое зрелище, когда снимешь кору съ горы-великана и посмотрѣши въ тайныя святилища земли! роскошными деревьями распустило тамъ свои вѣтви светлое серебро; какъ огненныя рѣки, вытянулись жилы золота; радугами горятъ дороги камни; какъ слезы, въ темномъ грунте, сверкаютъ алмазы, и, какъ свѣжіе луга, широко лежать пласты мѣдной зелени. Радуется душа, смотря на это; а вотъ остается одна гора; я ее сломаю и — умру. Такъ велико судьбою.

Иванъ пожалѣлъ о Вернигорѣ и поѣхалъ къ Солнцу.

Лѣтъ десять жилъ Иванъ у Солнца, и жилъ лучше, нежели дома, если только богатство можетъ замѣнить родину; что ни задумывалъ онъ, тотчасъ все являлось: дорогія кушанья и напитки, кони и быстрые сокола. Но сгрустнулось Ивану за домомъ, онъ вышелъ на гору, где жило Солнце, посмотрѣлъ на западъ, далеко-далеко, и увидѣлъ свой домъ. Въ немъ все было какъ и прежде: такъ же зелено передъ окнами вѣтвистое дерево, такъ же стояли старыя кладовыя и амбары; по-старому бѣгалъ по двору Рябко; въ саду, какъ и прежде, росли давнишніе друзья его — яблони и груши, обремененные краснобокими плодами; сестра его выросла и, сидя у окна, вышивала шелками; но ни отца, ни матери нигдѣ не замѣтилъ Иванъ. Онъ еще разъ пристально обвелъ глазами свой домъ, и за садомъ, на высокой горѣ, увидѣлъ два новые креста... Горькія слезы помѣшали ему смотрѣть далѣе.

На другой день Иванъѣхалъ на родину. Напрасно уговаривало его Солнце остаться: онъ клялъ свою долю,

называть ее несправедливою, говорилъ, что она разлучила его съ родителями, которые закрыли глаза не благословя его.

— Прощай! сказало Солнце: — да не раскаявайся, что бросаешь меня. На прощаны проси чего хочешь.

— Мне ничего ненужно, отвѣчалъ Иванъ: — а ѿдучи сюда, я видѣлъ двухъ человѣкъ, которымъ хотѣлъ бы помочь. Тутъ Иванъ рассказалъ о Вернигорѣ и Вернидубѣ.

— Хорошо, сказало Солнце: — вотъ тебѣ щетка и нлатокъ: когда щетку бросишь на землю, то выростетъ такой лѣсъ, какого отъ созданія міра не было; а если маинешь платкомъ, то взгромоздятся горы до самыхъ облаковъ.

Солнце поцаловало Ивана, и онъ поѣхалъ народину. Долго, долго скакалъ Иванъ и, устылый, измученный, подвелъ свою лошадь напиться къ ручью.

— Ты опять ѿдешь на родину, на вѣрную смерть, прозвучалъ изъ воды голосъ.

Иванъ посмотрѣлъ: между водяными цвѣтами печально кивала ему головка Доли въ голубомъ вѣночкѣ.

— Ёду непремѣнно. Когда бъ я не зналъ тебя, то жилъ бы съ добрыми родителями и закрылъ бы глаза имъ... А теперь... Нѣтъ, худая моя доля!

— Эй, Иванъ! не грѣши на Долю, она любить тебя. Иной пьеть, гуляетъ въ шинкѣ и проматываетъ по-слѣдній грошъ отцовскій; между-тѣмъ его нивы выбиваются волыній вѣтеръ и птицы небесныя; табуны разгоняютъ волки и медвѣди, а Доля его гуляетъ по берегу Чернаго моря: то собирается жемчугъ, чтобы осыпать имъ первого чумака, который подѣлеть къ лиману, или снова бросить его въ прощать; то плашется съ

волнами, то летаетъ съ легкимъ облакомъ. Ей весело, а бѣднякъ плачется безъ Доли; дѣти просята у него хлѣба — ему нечѣмъ накормить ихъ. Нѣть, не такая у тебя Доля; я смотрю за тобою какъ за дитятею; я плачу, когда грозитъ тебѣ зло, а ты еще ругаешь меня! Часто не знаютъ люди что дѣлаютъ. Иванъ, неѣди на родину!

Иванъ сѣлъ на коня, махнулъ рукою и поскакалъ далѣе.

Мимоѣздомъ отдалъ Иванъ платокъ Вернигорѣ и щетку Вернидубу.

Летитъ Иванъ домой. Его молодецкій конь развѣ на бѣгу схватить колось травы, или полевой цвѣтокъ, или листокъ съ придорожнаго кустарника да утромъ капли двѣ росы — тѣмъ и живъ добрый конь. Хозяинъ не думаетъ его кормить, онъ торопить его на родину. Вотъ уже показались знакомыя рощи; впереди сверкаетъ родная рѣчка, за нею весело шумятъ друзья дѣтства — золотыя поля и пестрые сѣнокосы; знакомая мельница радостно машетъ изъ-за горы крыльями. Всякий кустъ, всякое дерево сильно говоритъ сердцу. Усталый конь какъ-то легче, бодрѣе поскакалъ по знакомой дорогѣ; сердце Ивана готово было выпрыгнуть. Вотъ запахъ, родной дымъ; Иванъ уже въ деревнѣ; передъ нимъшироко распахнулись ворота родительскаго дома.

Весело принимаетъ сестра дорогого гостя: лучшія кушанья бременята столы; вкусные меды и вина прінесены изъ погребовъ. Цалуетъ сестра брата и въ очи соколиные и въ малиновыя уста: она рада пріѣзду его. А какъ хороша она сама! черныя, какъ смоль, косы двойными вѣнкомъ обвили ея бѣлое чело; какъ двѣ арѣлые терновыя ягоды, омытыя въ утренней росѣ, бле-

стые глаза; изъ-подъ длинныхъ, пушистыхъ рѣсицъ, а надъ ними двумя стройными дугами расходились соболы брови; перломутровые зубы, гибкій, высокій станъ — все было обворожительно!

— Послушай, братъ, сказала она, обнявъ его и емотра прямо въ очи: — я пойду хлопотать по хозяйству, хочу достойно принять милаго гостя, а ты позабавься, поиграй въ эти гусли: я люблю слушать какъ играютъ онѣ.

Сестра открыла гусли краснаго дерева съ золотыми струнами, и вышла.

«И я могъ бояться этого добраго созданія» сказала самъ себѣ Иванъ, пробуя гусли. Громкая музыка огласила весь дворъ.

Иванъ играетъ. Легкая тѣнь упала на струны; онъ поднялъ голову: передъ нимъ стояла Доля; голубой вѣничекъ завязъ на головѣ ея, руки печально скрестились на груди. Доля плакала.

— Смерть виситъ надъ тобою, а ты играешь такъ весело! Бѣги скорѣ!

— Я не вѣрю тебѣ, злой духъ, отвѣчалъ Иванъ: — ты нарочно скориши меня съ доброю сестрою и заставляешь бѣгать по свѣту. Многоя я вытерпѣлъ, слушая тебя.

— Я сяду играть на гусляхъ, говорила Доля: — а ты ступай въ погребъ, который, вонъ тамъ, въ саду, и посмотри въ щелку, чтѣ тамъ дѣлается.

Доля весело начала перебирать струны, а Иванъ подошелъ къ погребу, пригнулся къ щелкѣ — и обмеръ отъ ужаса. Посреди погреба стояло большое точило; сестра одною рукою ворочала камень, а въ другой держала длинный, стальной ножъ; искры изъ-подъ ножа были фонтаномъ и освѣщали сырья стѣны погреба, на которыхъ висѣли снопами разныя зелья, вяленыя змѣи, чу-

челы уродовъ, человѣческія кости, черепы со впадинами вмѣсто очей, съ желтыми зубами. Страшно было лицо сестры, облитое огненнымъ свѣтомъ; красота ея иска-зилась; распущенныя косы, какъ змѣи, вились по плечамъ и вокругъ шеи; покрытыя пѣною уста судорожно дрожали и бормотали проклятія.

«Я угощу тебя, баловень!» говорила она, остра ножъ. «Такъ вотъ тотъ, котораго любили до смерти родители, который только и бытъ у нихъ въ поминѣ, какъ-будто меня у нихъ не было.... Какъ играетъ за-тѣливо! Играй, играй себѣ похоронную пѣсню! Я изго-товлю тебѣ богатый пиръ изъ огня и желѣза! Виши какой! видно зелье: прѣхаль да прямо на могилу къ старикамъ; давай плакать! Меня будто и не замѣтилъ... Чего доброго, завтра отберетъ отъ меня все, да выго-нить въ шею. Постой, голубчикъ!...

Такъ говорила преступная сестра, и колесо точила кружило скрѣ, и злобно шипѣла сталь, цалуя холо-дный камень.... А Иванъ далеко уже скакалъ на своеемъ быстрымъ конѣ, безъ сѣда, безъ вооруженія.

Вышла сестра изъ погреба, поправила волосы, по-смотрѣлась въ свѣтлый ножъ и, спрятавъ его въ рукавъ, пошла къ свѣтлицѣ. Тамъ, не умолкая, звучать гусли, и сестра, улыбаясь, отворила дверь; музыка умолкла; брата нѣть, только быстро промелькнула въ дверь сѣренѣкая мышь. Черная кровь проступила сквозь бѣлую кожу се-стры; лицо ея побагровѣло, глаза засверкали.

«Я поймаю тебя, слабый ребенокъ!» прошипѣла она и, захочатавъ, выбѣжала изъ комнаты.

Ночь. Въ степи, на курганѣ, горитъ огонь; на огнѣ стоятъ котелъ; въ котлѣ варятся чары. Волны кипятка выбрасываютъ наверхъ то змѣиную кожу, то клубокъ

волосъ, то ногти, то колючія травы, и опять все прячется на дно сосуда. Передъ котломъ стоять сестра и подкладываетъ въ огонь щепокъ изъ дубоваго гроба. Чудно трещитъ огонь, стонуть и кипятъ злыхъ снастей; и вотъ повалилъ изъ котла густой паръ; по степи проносятся протяжный свистъ и паръ гибкою струею повисъ въ воздухѣ; минута — онъ спустился ниже и огромнымъ змѣемъ покорно протянулся у ногъ волшебницы; съ злобною радостью вскочила она ему на спину, и, какъ стрѣла, понеслась за братомъ.

Далеко скакалъ Иванъ, какъ увидѣлъ позади себя въ горизонтѣ черное пятно; оно все росло и приближалось, и когда Иванъ минулъ Вернидуба, вырвавшаго послѣднія деревья, то ясно увидѣлъ за собою сестру, летящую на чудномъ змѣи. Въ это время Вернидубъ бросилъ на землю щетку — вдругъ запшевелилась земля и въ мгновеніе ока выросъ, зашумѣлъ непроходимый лѣсъ; маxовая сосна скрестилась вѣтвями съ широколистымъ кленомъ; при корнѣ ихъ заткаль стѣну колючій терновникъ; дикій хмѣль увили, перепуталъ лѣсъ. По ту сторону лѣса тхалъ Иванъ на быстромъ конѣ, по сю сторону стояла, какъ окаменѣлая, сестра. Но вотъ скочила она съ змѣи, взяла ее за голову, ударила объ землю — и длинная пила засверкала въ рукахъ ея. Она принялась пилить лѣсъ. Какъ снопы валятся огромныя деревья; пила страшно визжитъ по лѣсу; поть въ три ручья льется съ лица преступной сестры, а Иванъ, между тѣмъ, все бѣдетъ далѣе и далѣе. Три дня и три ночи работала сестра; наконецъ яркою полосою сверкнула предъ нею равнина: она пилу о землю — пила стала змѣемъ; только пыль поднялась надъ степью, какъ полетѣли они.

Иванъ опять увидѣлъ за собою роковое пятно и поскакалъ шибче; только успѣлъ онъ минутъ Вернигору, какъ тотъ махнулъ платкомъ — затрещало, зазвенѣло подъ землею, и вдругъ, какъ исполины, медленно, торжественно вышли изъ земли каменные горы; все плотнѣе и плотнѣе сдвигались они, росли выше и выше, уперлись своими головами въ небо и стали, какъ стѣна, между братомъ и сестрою, между порокомъ и добродѣтелью. Но какая преграда удерживаетъ зло?

Хороши были эти горы! ихъ ледяные вершины горѣли алмазами и отливали матовымъ серебромъ; ниже — зеленѣли рощи, въ рощахъ бѣгали звѣри, пѣли птицы; съ утесовъ прыгали водопады, брызгали фонтаны. Посмотрѣла сестра на горы и горько удыбнулась, а слезы отчаянія облили глаза ея. Она взяла змѣю за хвостъ, ударила о камень — и змѣя стала широкимъ топоромъ; сверкнулъ топоръ въ рукѣ сестры — дождь искръ обрызнулъ всю окрестность; запрыгалъ топоръ чаще и чаще; зазвучали земля и небо. И мраморъ и гранитъ, обдавая дерзкую потокомъ огня, сокрушались и падали въ бездину.

Три недѣли, день и ночь, рубила преступница горы, а Иванъ все скакалъ къ Солнцу, и уже былъ близко его дома, какъ увидѣлъ за собою летящую сестру. Онъ пригнулся на конѣ и помчался какъ изъ лука стрѣла, а между тѣмъ, слышать, погоня все ближе и ближе; уже ядовитое дыханіе змѣи обдаётъ его жаромъ, жжетъ искрами; вотъ чья-то рука машетъ надъ нимъ, ловить его за затылокъ; онъ наклонился впередъ, коня нагайкою — и разомъ вскочилъ на дворъ Солнца; за нимъ захлопнулись ворота; сестра осталась за воротами.

Кольцомъ свился змѣй вокругъ дома Солнца. У воротъ стоять сестра и требуетъ себѣ брата.

— Ты, Солнце, неправедно завладѣло братомъ, говорила она: — ты сѣешь раздоръ между нами. Отдай мнѣ моего брата! Онъ забылъ любовь родственную и бѣгаешь отъ меня, какъ дикий звѣрь. Я вышла готовить ему лучшія кушанья и напитки, а онъ, какъ воръ, выбѣжалъ изъ отцовскаго дома и поскакалъ къ тебѣ сломя голову. Я, бѣдная, слабая женщина, выбилась изъ силъ, его преслѣдуя; и что жъ? — достигаю, хочу обнять брата, а злой человѣкъ прячетъ его за замки.

Нѣсколько дней Солнце не выходило и не показывалось добрымъ людямъ, а люди добрые такъ любятъ Солнце-благодѣтеля! На землѣ стало грустно, печально.

— Послушай, сказалъ Иванъ Солнцу: — выдай меня сестрѣ; ты за меня терпишь лютый плаѣнь; вся земля невинно страдаетъ.

— Этому не бывать, отвѣчало Солнце: — я пойду, лучше, поговорю съ твою сестрою: можетъ-быть, она стала добрѣе.

Солнце вышло изъ комнаты и, подойдя къ воротамъ, долго говорило съ сестрою.

— Твоя сестра выпускаетъ насъ изъ плаѣна, говорило, весело улыбаясь, Солнце, войдя въ Ивану: — только съ условіемъ: должно поставить передъ домомъ большія вѣсы; на одну доску вѣсовъ, станетъ она, на другую я съ тобою, и кто подымется выше, тотъ будетъ вѣчнымъ господиномъ того, кто его перетянетъ.

— Пропали мы! сказалъ печально Иванъ: — насъ двое, а она одна, да еще женщина: онѣ все, говорить, легче вѣтра! Быть намъ рабами у этой вѣдьмы.

— Невинность всплываетъ наверхъ, какъ масло, а

зло камнемъ тонеть, отвѣчало Солнце и велѣло ставить передъ домомъ вѣсы. Злобно улыбаясь, смотрѣла на эту работу сестра-преступница.

На другой день рано утромъ вышло Солнце изъ дома, ведя за руку Ивана. Они подошли къ вѣсамъ и стали на одну доску; дрожа отъ радости, вскочила сестра на другую и — поблѣднѣла: ея доска быстро опускалась внизъ; еще секунда — земля растворилась и она ушла въ землю. Только клубъ трескучаго пламени вырвался изъ земли и бездна опять сдвинулась, густой дымъ побѣжалъ отъ того мѣста по землѣ. Высоко поднялась доска, на которой стояли Солнце съ Иваномъ. Мгновеніе — и двѣ свѣтлые черты сверкнули между небомъ и землею: праведники улетѣли на небо и остались на немъ.

Всякій день съ-тѣхъ-поръ ходить Солнце по небу и свѣтить, и грѣеть, и благотворить миру. Всякую ночь Мѣсяцъ (Иванъ) грустно свѣтить землѣ, припоминая своихъ родителей и злую сестру. Чистыя слезы его живительною росою падаютъ на растенія.

• Велика, необъятна Россія! Много морей омываетъ берега ея; много тысячъ рѣкъ живою сѣткою легли на ней; много миллионовъ людей блаженствуетъ на землѣ ея, благословляя Бога и государя! И кругомъ этой исполинской страны, какъ безцѣнныи жемчугъ вокругъ святой картины, легли вѣрною цѣпью казаки. Помнить мѣсяцъ свое происхожденіе, любить казаковъ какъ братьевъ; въ пограничныхъ дѣсахъ Польши и Пруссіи, въ горахъ Кавказа, на равнинахъ Татаріи и въ степахъ Китая — вездѣ свѣтить имъ дружелюбно. Ни одинъ лихой наездъ, ни одно истинно казачье дѣло не совершается иначе, какъ при лукахъ мѣсяца, и въ народѣ зовутъ его: *Казачье солнце*.

1836 г.

Часть I.

4

V.

ПОТАПОВА ПЕДЪЛЯ.

БЫЛЬ.

Не слухай сердце тихъ, кто такъ тоби казавъ,
Що буцимъ Богъ живакъ волосья довге давъ
За тамъ, что розумъ имъ укоротывъ чымало:
То поганъ такъ верзла, школярство такъ брехало.

ГУЛАКЪ-АРСМОВСКІЙ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

— Та-та-та! *голубочко!* Будто я васъ не знаю!...
Рассказывай, когда хочешь, поповой кобылѣ... говорилъ протяжно Потапъ своей женѣ, медленно ложась на широкую скамью.

— Говорю, говорила и буду говорить, что мнѣ съ тобою житъ нѣть: Развѣ меня мать отдала за татарина? Развѣ завязала въ мѣшокъ, чтобы я свѣта не видала? отвѣчала скороговоркою Настя, молоденькая женщина небольшаго роста, жена Потапа, и полныя ея щеки горѣли отъ гнѣва, и черные глазки сверкали какъ искры.

— Ого-го, та ба! та до кумы не пущу! пусть я узнаю, что ты была у нее!

— Такъ что? — и пойду, и не побрюсь старого дьявола?

— Кого, кого?

— Не дослышаль? — дьявола — вотъ тебѣ!

— Гей, жена! не серди меня: ты знаешь, что я золь.

— Золь? Еще ли онъ золь! Ахъ ты старый!... Я

тебѣ покажу злаго... И, съ этими словами, глиняный кувшинъ, бывшій въ рукахъ Насти, полетѣлъ въ голову Потапа. Потапъ поднялъ руку ко лбу; кувшинъ разлетѣлся о жилистый кулакъ его.

— Скверная вѣдьма! сказалъ Потапъ и обернулся лицомъ къ стѣнѣ.

— Скверная вѣдьма? закричала Насти, схвативъ вѣникъ, стоявшій у порога, и удары вѣника посыпались изъ рукъ супруги на бѣднаго Потапа.

— Послушай, перестань шутить! говорилъ Потапъ: — ты знаешь, что я золь.

— Какъ? ты золь? такъ я должна терпѣть твою злобу? Вотъ я тебѣ!... И опять вѣникъ опустился на Потапа.

— Зачѣмъ ты шла за меня, когда знала, что я такой злой? говорилъ Потапъ, защищаясь руками и ногами отъ вѣника.

Еще нѣсколько обоядныхъ упрековъ, еще нѣсколько ударовъ вѣника, и эта семейная буря совершенно окончилась; даже, когда пришла вечеромъ кума, Потапъ весьма учтиво вышелъ съ нею около бутылки запеканки; хотя, между нами будь сказано, онъ терпѣть не могъ кумы, у которой собирались веселыя вечеринки и часто бывалъ новопрѣзжий изъ Переяславля дьячокъ Петя Опанасовичъ Флоранскій, а этотъ Флоранскій такими масляными глазками смотрѣлъ на молодыхъ женщинъ. Петя Опанасовычъ, воспитанникъ покойной барыни, пребогомольной вдовы, считался дальnymъ родственникомъ кумы, носилъ длинный синій сюртукъ, имѣлъ черные усы, ровный басъ и двадцать-пять лѣтъ отъ-роду. Сѣдому Потапу кралось подъ шестьдесятъ. Насти едва насчитывала двадцать. Это было весною, именно въ

*

мартъ, не помню хорошенъко котораго года — да это все-равно.

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ.

Сколько разъ случалось мнѣ видѣть весну и всегда новое чувство оживляло меня. Скажите люди, вы — такъ много хвастаете умомъ своимъ — скажите мнѣ, что такое разливается тогда въ воздухѣ? что заставляетъ трепетать грудь вашу безотчетнымъ восторгомъ? что раздвигаетъ своды неба и показываетъ вамъ высоко-высоко недоступную лазурь? Но вы молчите, мудрые. А между тѣмъ вокругъ меня пиръ весны въ полномъ блескѣ: не-постижимая сила разбудила природу; оживленные корни ползаютъ подъ землею, жужжать наскокомъ, поютъ птицы, шумятъ воды!... Далеко подъ синимъ сводомъ тянутся перелетныя птицы: стройно, рядъ за рядомъ, показываются онѣ съ юга, несутся надъ головою моей, оживляя пустынно воздуха радостнымъ крикомъ, и на сѣверѣ исчезаютъ, какъ минуты нашей жизни, какъ радости человѣка!... И откуда эта воздушная армія? и куда летить она? «Это посланцы Бога» говорить темная чернь, «они разносятъ изъ рая жизнь и теплоту на крыльяхъ своихъ». Летите, вольные птицы, я не полечу за вами мечтою на сѣверъ: тамъ холодно, а здѣсь такъ прекрасно! Но когда отцвѣтеть это пышное лѣто, открасуется, какъ невѣста въ вѣнчальномъ нарядѣ; когда печально пожелтѣеть поле, холодный вѣтеръ зашумить по дубравѣ и унылая роща, грустно вздыхая отъ его порывовъ, съ каждымъ вздохомъ станеть ронять, какъ слезы, поблеклые листья — тогда вы, минутные гости, поспѣшите на теплый югъ, тогда я вамъ передамъ много-много на мою родину!... Вы увидите тамъ мою ненаглядную, вы скажите ей отъ меня вѣсть; она найдеть

васъ въ небѣ своими черными очами... О, какъ вамъ будетъ весело летѣть! съ какой любовью смотрѣть она!... Но прочь фантазія!... Вотъ перелетная станица спускается все ниже и ниже къ землѣ; передовой журавль сѣлъ на поле и всѣ окружили его. Чрезъ минуту поднялась стая, но передовой остался на мѣстѣ; онъ вытянулъ шею, взмахнулъ крылами, чтобы слѣдовать за товарищами: крылья его опустились какъ свинцовые. Птицы обвили надъ нимъ вѣнокъ, другой, третій, все выше и выше, и скрылись изъ глазъ. Прощальный крикъ отсталаго, какъ вопль отчаянія, долго раздавался въ пустынномъ полѣ. Вѣрно пуля охотника задѣла крыло его — и полу воздушный жилецъ остался прикованъ къ землѣ. Жаль тебя, вольная птица! страшно жить на коварной землѣ.

Вечерѣло. Лѣниво тянулся по полю плугъ, запряженный восьмью волами; впереди шли два мальчика, а позади плуга, мѣрно передвигалъ ноги Потапъ; на немъ были тяжелые сапоги до колѣна, широкіе шаравары, свитка, опоясанная пестрымъ кушакомъ, и сивая баранья шапка съ синимъ верхомъ; въ зубахъ онъ держалъ коротенькую трубку; надъ его головою то разрасталось, то исчезало легкое облачко табачного дыма.

— А что тамъ ходить подлѣ дороги? спросилъ Потапъ мальчика, прижимая указательнымъ пальцемъ золу въ трубкѣ.

— Да, что-то ходить, дядюшка.

— Вотъ дурень! да чтѣ же оно такое?

— А Богъ его знаетъ, а ходить.

— Я и самъ вижу, что ходить, кажется, птица.

— Должно-быть птица, дядюшка. А вотъ я узнаю.

И мальчикъ побѣжалъ къ ходившему предмету. Напрасно

бѣдный журавль махалъ крыльями, онъ его не слушались; пришлось уходить ногами, но мальчикъ безпрестанно останавливалъ его. Къ мальчику прибѣжалъ товарищъ, наконецъ подоспѣлъ самъ Потапъ. Со всѣхъ сторонъ полетѣли на бѣдного журавля палки: онъ упалъ и черезъ полчаса, не болѣе, Потапъ, сидя за столомъ въ своей хатѣ, говорилъ женѣ:

— Смотри, Настя, я завтра до свѣта выѣду въ поле и буду домой не раньше вечера, а ты изготовь мнѣ къ ужину славный борщъ, положи въ него цѣлаго журавля, котораго я убилъ сегодня, да побольше сала... Ужъ коли єсть, такъ єсть!

— А борщъ съ журавлинymъ мясомъ очень вкусень, сказала Настя:—я пробовала его у попадыи. Ей, бывало, стрѣляетъ разную дичь тотъ высокій офицеръ, чтѣ, знаешь, стоялъ въ нашей деревнѣ.

— Мы и не офицеры, а полакомимся въволю. Туши, жена, *каганецъ!*

И въ комнатѣ сдѣлалось темно.

ВТОРНИКЪ.

Чѣмъ-то будетъ Настя угощать своего мужа? Онъ скоро пріѣдетъ съ поля; уже вечерѣеть.

Потапъ рано выѣхалъ на работу, а еще въ обѣдъ сѣѣли журавля, да сѣѣли до чиста.

У Нasti были гости: была кума и былъ Петя Опанасовичъ; они сѣли за столъ въ такое время, какъ и всѣ крещеные люди. Петя Опанасовичъ отвѣдалъ раза четыре ганусовой водки; кума рассказала какую-то исторію, и когда Флоранскій началъ дѣлать пятое испытаніе надъ бутылкою, а кума оканчивала разсказъ, журавля уже не было, даже его кости, какъ вещь ненуж-

ная, были выброшены за окно. Жаль, что ихъ не видѣлъ кочующій механикъ Дерменшъ, онъ сдѣлать бы изъ нихъ карманнаго Наполеона, или свистокъ, или игольникъ, или какую-нибудь полезную дудочку, а все-таки что-нибудь сдѣлалъ бы.

Но чѣмъ станеть Настя угощать своего мужа? Уже вечеръ; кума и Петя Опанасовичъ ушли домой; скоро будетъ Потапъ съ поля.

— Гей! добъ, цобъ, гей! раздалось подъ окномъ на улицѣ. Ворота заскрипѣли; лѣниво втянулся на дворъ Потапа длинный плугъ. Минута — и Потапъ былъ уже въ хатѣ.

— Давай, жена, ужинать! сказалъ онъ, положивъ на лавку плеть и шапку, и сѣлъ за столъ.

— Чѣмъ-то станеть угощать его Настя? журавля сѣли еще за обѣдомъ.

— Давай же поскорѣе! закричалъ Потапъ.

— Вотъ, еще! какъ москаль раскричался! Успѣешь накушаться, говорила Настя, ставя передъ мужемъ огромную миску постнаго борщу.

Потапъ попробовалъ борщъ, посмотрѣлъ на жену, положилъ на столъ ложку и плонулъ.

— Съ чѣмъ это борщъ? спросилъ Потапъ.

— Съ чѣмъ? разумѣется, постный.

— Развѣ я монахъ какой кіевскій, чтобъ по вторникамъ постился?

— А съ чѣмъ бы я тебѣ изготовила? небойсь, ты купилъ мяса.

— А журавля гдѣ ты дѣла?

— Журавля! какого журавля? что ты бредишь!

— Это такъ! еще бредишь! Журавля, котораго вчера убилъ?

— Это, вѣрно, тебѣ снилось.

— Гм! снилось! Вчера я убилъ палкою журавля, привезъ его, отдалъ тебѣ въ руки и приказалъ приготовить изъ него борщъ.

— Богъ съ тобою! продолжала Настя, перекрестивъ Потапа. — Хоть не кричи такъ громко, а то сторонніе люди, идя мимо, услышатъ да еще, чего доброго, скажутъ, что ты съ ума сошелъ!

— Какъ, съ ума сошелъ? Я пойду позову мальчиковъ: они видѣли, какъ я биль журавля.

— Погоди, говорила Настя, удерживая Потапа за полу: — погоди не дѣлай намъ стыда, прежде подумай хорощенько. Слыханное ли дѣло убить палкою журавля? и воробья нескоро убьешь этимъ инструментомъ, а то журавль, птица осторожная! Ты подумай. Вотъ нашъ комиссаръ, какой стрѣлокъ, ни по чему не дастъ промаха, а какъ пойдешь на охоту, наберешь съ собою сколько людей, да все грамотныхъ, сколько ружей и всякаго запасу, да ъздятъ они, иногда, два-три дня; выпьютъ столько разныхъ настоекъ, что намъ не имѣть до смерти, а слава Богу, когда убьютъ хоть одного журавля. Это птица осторожная! Ты и не думай звать мальчиковъ: они тебѣ глаза высмѣютъ, и вездѣ разскажутъ, что ты одурѣлъ.

— Да я именно помню: я ъхалъ съ поля, а журавль ходитъ подлѣ дороги; я взялъ палку, бросилъ и, кажется, убилъ его.

— То-то что тебѣ такъ кажется; тебѣ приснилось, или представилось.

— Оно, можетъ-быть, и представилось, такъ нѣтъ, я вотъ тутъ и положилъ его на лавкѣ.

— Опять за свое! Богъ съ тобою, Потапе, не ис-

портилъ ли тебя кто-нибудь? Какъ можно разскazyвать такое неподобное! Гдѣ бѣ я дѣла этого журавля? подумай хорошенько...

— И то правда. Именно мнѣ приснилось! да какъ живо! ну, вотъ, я готовъ бы спорить, что убилъ журавля—такъ живо! будто я держалъ его въ рукахъ!

— Да оставь его, не пугай меня. Не хочешь ли каши?

— Каши?—это не худо. Да какъ живо приснилось!...

СЕРЕДА.

Поднялось уже солнце высоко на небо. Въ воздухѣ жарче. Какъ-то лѣнивѣе идуть въ плугѣ волы, которыми пашетъ Потапъ. Совсѣмъ пора обѣдать. Идетъ Потапъ за плугомъ и думаетъ: «отчего жена не несетъ обѣда? Я, кажется, велѣлъ ей принести сегодня». А того и не видитъ, что вслѣдъ за нимъ идетъ жена его, несетъ ему обѣдъ, а въ кувшинѣ холодную воду. Вынимаетъ она изъ кувшина живыхъ щукъ и окуней, и бросаетъ ихъ въ борозду. Странныя прихоти у этихъ женщинъ: несетъ мужу обѣдъ Богъ-знаеть съ какою соленою рыбой, а свѣжихъ щукъ и окуней бросаетъ по полю!... Жаль смотрѣть, какъ онѣ, бѣдныя, прыгаютъ на солнцѣ, такъ бы вотъ, кажется, взялъ ихъ, несчастныхъ, изжарилъ да и сѣль; а то, вѣдь, ни за что пропадаютъ! Вотъ окончилась нива и плугъ началъ поворачивать налево.—Стой! закричалъ Потапъ, увидя жену, распрыгай воловъ, обѣдъ несутъ. Въ это время Настя подошла къ плугу и поставила на землю обѣдъ.

— Какой это воль идеть у тебя впереди? спросила она Потапа.

— Вотъ хозяйка, не знаетъ своихъ животовъ! отгадай.

— Не-уже-ли, это нашъ красный, чтò хромалъ прошлое лѣто?

— Разумѣется, тотъ самый.

— И теперь онъ ходить?

— Ты видишь!

— И пашеть?

— Какъ нельзя лучше!

— Вотъ этому-то я не повѣрю! Еще чтò ходить-то можетъ быть, а пахать — куда ему, грѣшному!... Никогда не повѣрю.

— Да такъ пашеть, что тебѣ и не снилось такъ пахать. Хочешь, я сейчасъ пропашу еще одну борозду?

— Пошелъ дѣлать глупости! Сядемъ лучше обѣдать. Волы и такъ устали, онъ и не пойдетъ теперь; тебѣ же стыдно будетъ.

— Кто? красный не пойдетъ? знаешь ты!... Хлопцы! не распрягать, погоняй! И плугъ потянулся назадъ.

— А что, не идетъ? Ай-да, красный! небойсь, не везетъ — а? Что жь ты молчишь, Настя? Ужъ эти мнѣ женщины! Часто, Господи прости, чортъ знаетъ о чемъ спорять! говорилъ Потапъ, поглядывая самодовольно на жену.

— Дядюшка! закричалъ мальчикъ, погонявший переднихъ воловъ.

— Га?

— Дядюшка, рыба!

— Что?

— Дядюшка, щука!

— Дуракъ! то змѣя.

— Ей-богу, щука!

И мальчикъ несъ къ Потапу живую щуку.

— Брось ее, дурень! это такая гадина, кричалъ

Потапъ; но мальчикъ уже принесъ и бросилъ къ ногамъ его рыбу.

— Да это вправду щука, говорила Настя.

— Точно щука, повторилъ Потапъ, пожимая плечами: — но откуда ее занесло не легкое?

— Богъ ее знаетъ; а щука славная, и вѣрно съ икрою: такая толстая! Потѣжай дальше, можетъ-быть, выпашешь и другую для ужина.

— Какъ выпашешь?

— А откуда же взялась эта? вѣдь ты ее выпахалъ изъ земли; щуки по полю не пасутся.

— Правда! не пасутся, но...

— Дядюшка, окунь! закричалъ опять мальчикъ.

— Неси его сюда, говорилъ Потапъ, хлопая руками по широкимъ шараварамъ, это цѣлая исторія! Случалось мнѣ выпахивать и змѣй и мышей, и даже однажды ёжа выпахалъ, а рыба попалась первый разъ въ жизни!

— Дядюшка!

— Опять?

— Опять!

— А что?

— Щука!

— Ха-ха-ха! Подавай ее сюда! Комедія да и только! Что я выпахалъ рыбу — это ясно; но откуда набралась она и какъ залѣзла въ землю — не приберу толку!

— Сказывала мнѣ бабушка покойницы матери, говорила Настя: — что на этомъ мѣстѣ встарину было озеро, которое потомъ высохло; такъ весьма можетъ быть тогда рыба попряталась въ землю, да и жила тамъ до сихъ-поръ.

— Ну, такъ и есть! теперь все понятно. Славные времена были эти, старинные!...

А между тѣмъ плугъ Ѳхалъ далѣе и мальчикъ безпрестанно приносилъ Потапу живую рыбу, такъ-что, когда сѣли обѣдать, Потапъ самъ насчиталъ восемь щукъ и три окуня и, отдавая ихъ женѣ, сказалъ: слушай Настя, я сегодня заночую въ полѣ, а завтра ты возьми изготоуь эту рыбу и принеси мнѣ обѣдать. Да смотри, не переведи ее какъ жу... (Тутъ Настя мигнула на Потапа) да, какъ, какъ.... Ты сама знаешь какъ что такое.

ЧЕТВЕРГЪ.

Поздно вечеромъ, сердито вошелъ Потапъ въ свою хату; онъ цѣлый день питался однимъ хлѣбомъ и водою: Настя по какой-то причинѣ не приносила ему обѣдать.

— Давай Ѳесть, жена! закричалъ онъ:—я голодень какъ волкъ, по твоей милости!

— Вольно было не приходить къ обѣду.

— Да, вѣдь, я тебѣ приказывалъ принести мнѣ въ полѣ рыбу?

— Вѣчно дурачится старый! Въ четвергъ вздумалъ поститься! И гдѣ бѣ я ему взяла рыбы? Лучше покушай галушекъ съ саломъ; ты ихъ любишь, я нарочно для тебя приготовила.

— Галушки, гм! Но гдѣ жь рыба?

— Ха - ха - ха! не знаетъ гдѣ рыба! которая въ водѣ—та плаваетъ, которая у чумаковъ—та лежитъ въ возахъ и амбарахъ которую...

— Еще и смеется! Да наша гдѣ?

— Послѣдній десятокъ тарани еще передъ Крещенiemъ сѣли. Помнишь, когда былъ кумъ Свистоплясь въ новыхъ сапогахъ. Вотъ сапоги, настоящіе московскіе! въ каждую подошву вколоchено сотни полторы гвоздей.

Какъ идѣтъ кумъ по хатѣ, стучитъ словно добрая лошадь.

— Что ты мнѣ врешь околёсную про Свистопляса да про московскіе сапоги! Охъ, бабы! меня не проведешь! Вѣрно кошки съѣли рыбу?

— Да отстань, пожалуйста! Какую рыбу?

— Ту, чтѣ я вчера выпахалъ изъ земли на нашей нивѣ.

— Вотъ опять Богъ знаетъ чтѣ! Опять что-нибудь приснилось!

— Приснилось? Развѣ ты забыла, что я вчера, при твоихъ глазахъ, выпахалъ восемь щукъ и три окуня?

— Полно шутить! Ёшь галушки, не то простынешь.

— Какъ шутить? Я выпахалъ рыбу, а меня увѣряютъ, что я шучу!

— Богъ съ тобою, Потапе! не кричи такъ; право, сторонніе люди услышать да расскажутъ вездѣ, что ты съ ума сошелъ. Разсуди хорошенько, умная ты голова: какъ можетъ рыба жить въ землѣ? какъ она тамъ будетъ плавать? а ежели она и плаваетъ, то почему не испугалась плуга и не уплыла въ землю глубже? Вѣдь, рыба въ водѣ водится, а попробуй, начни пахать воду, право, и лягушки не поймаешь; хоть лягушка и не рыба а такъ живая, неѣдомая скверность. Нѣть, это чистый сонъ; и какъ можно вѣрить всякому сну, мало чего не присниться, такъ и кричать: давай мнѣ того и другаго и десятаго! А гдѣ его взять...

— Сонъ—другое дѣло; но рыбу я держалъ въ своихъ рукахъ, кажется, такъ и шевелилась!

— То-то и бѣда, что кажется! Вотъ мнѣ разъ показалось, что я плыву, какъ на яву, хоть побожиться, такъ живо! и держусь за претолстый чурбанъ... Про-

снулась; а я сплю - себѣ преспокойно подмѣ тебя, на мягкой постели!?

— Господи, Боже мой! отчего же прежде не слу-
чались мнѣ такія видѣнія?... Тамъ журавль, тутъ рыба...

— Молчи, молчи, Бога ради! опять за старый бредь!
Ты нездоровъ, тебя испортили злые люди. И за чѣо я,
несчастная суждена терпѣть? промолвила тихимъ голо-
сомъ Настя, утирая рукавомъ слезы.

Потапъ задумался.

— Что ты не ужинаешь? спросила его Настя.

— Мнѣ нездоровится, отвѣчалъ Потапъ, и провор-
чалъ, закуривая трубку: — тутъ что-то не спроста, право
не спроста.

— Охъ, и я такъ думаю! сказала Настя, и тяжелый
вздохъ вырвался изъ полной груди ея.

ПЯТНИЦА.

Сегодня пятница, день рабочій и нѣтъ никакого
праздника. Всѣ люди отправились на работу: Заяцъ по-
шелъ на мельницу; Бардакъ давно стучить топоромъ;
Куцъ съ Шевцомъ молотятъ просо; прочіе всѣ поѣхали
въ поле. Теперь время весеннее: люди, какъ муравьи,
роются въ землѣ, а Потапъ остался дома; его хлопцы
сами поѣхали на ниву. Потапъ не могъ даже обѣдать;
онъ былъ скученъ, молча курилъ трубку и на ласки и
поцелуи жены не отвѣчалъ ни слова. Послѣ обѣда онъ
взялъ шапку и куда-то вышелъ, и возвратился уже пе-
редъ вечеромъ. Въ хатѣ никого не было; Настя что-то
дѣмала на огородѣ.

«Я никакъ не думалъ», говорилъ самъ себѣ Потапъ,
садясь на лавку, «чтобъ эта кума была такая
добрая; попала мнѣ на дорогѣ и затащила къ себѣ.

Славная у нея настойка! Говорить: « выпейте, Потапъ Евтуховичъ, это полезно», и правда: гораздо благополучнѣе на желудкѣ... Да и говорить-таки: « испытайте вашу болѣзнь надѣль вашею же женою...» Пожалуй, я не прочь, мнѣ же лучше. « Когда вправду больны, такъ лечитесь, говорить, а когда это женскія штуки...» О! то я ей покажу себя, я вѣдь золъ, сильно золъ!... Спасибо еще сказала: Богъ не приказалъ женщинамъ стричь волосъ, а я частенько думалъ: отчего онѣ не стригутся? — а имъ Богъ не приказалъ! Вѣрно, такъ надобно. Да говорить, оттого-то въ хатѣ и стричь нельзя. Ну, да это пустое.... Спасибо кумѣ, право она такая добрая! « Вы, говорить, Потапъ Евтуховичъ, не беспокойтесь и выпейте еще; а тогда, какъ испытаете — другое дѣло! это важно, говорить, попросите Флоранскаго: онъ знаетъ разныя заклинанія». Мнѣ-то больно не по-душѣ этой Петя Опанасовичъ, а дѣлать нечего.

Такъ, или почти такъ, разсуждалъ Потапъ, пока не пришла Настя съ огорода.

Насталъ вечеръ. Поужинали. Вотъ и темно въ мірѣ: пора спать.

— Мы сегодня будемъ ночевать въ амбарѣ, сказалъ Потапъ женѣ.

— Въ амбарѣ!

— Да, въ амбарѣ; здѣсь очень душно.

— Давно ли кутался тремя шубами? ничѣмъ, бывало, его не нагрѣешь, а теперь душно!...

— Не твое дѣло; говорю тебѣ: иди стели постель въ амбарѣ, а я подожду здѣсь хлопцовъ. Какъ они долго не ѣдутъ съ поля!

— То журавли, то рыба, то душно, еще Богъ знаетъ

что дальше будетъ. Пропалъ человѣкъ! прошептала Настя и пошла въ амбаръ.

Потапъ остался одинъ. Онъ вынулъ изъ кармана ножницы, досталъ съ полки брусь и началъ остриять ихъ. Скоро пріѣхали хлопцы; волы распряжены; иль дали сѣна; плугъ поставленъ на мѣстѣ. Чего же болѣе? Потапъ, осмотрѣвши все хозяйство, пошелъ въ амбаръ.

СУББОТА.

Настало утро, тихое, прекрасное утро. Предрассвѣтный вѣтерь задулъ въ небѣ звѣзды. На землѣ все становилось свѣтлѣе. Вотъ загорѣлось на востокѣ небо. Изъ-подъ соломенной кровли вылетѣла ласточка, взвилась кверху, очертила кругъ надъ хатою и, усѣвшись на крыше, весело защебетала на встрѣчу красному солнышку. Вышло оно, радость наша, свѣтлое, чистое, омытое свѣжимъ росою, и привѣтно улыбнулось; отъ его улыбки потепѣло на свѣтѣ, пробудилась земля.

Передъ хатою Потапа стоять любимая его чубарая кобыла; и вы не узнали бы ее; когда бъ теперь увидѣли; представьте, грива и хвостъ такъ у нея выстрижены, что смотрѣть совсѣмъ. Право непонятно, кто остригъ ее. Въ деревнѣ нѣть военного постоя, да хотя бы и быль, все-таки чубарой хвостъ не годится на султаны. На завалинѣ подъ хатою сидѣть Потапъ. Онъ задумался и, потупивъ глаза въ землю, чертить на пескѣ палкою какія-то фигурки. Подгѣ него стоять Настя. Она убита горестью; ея глаза отъ слезъ не могутъ смотрѣть на свѣтъ Божій; ея длинныя, черныя косы въ беспорядкѣ разметались по плечамъ; она была таکъ хороша, ея горесть была таکъ непрітворна, ее таکъ было жалко, что даже вы, вы, почтенный философъ, въ длинномъ сюр-

тукъ, изучившій всего Цицерона, вы бы невольно захотѣли поцаловать ее, чтобы утѣшить эту безутѣшную горесть.

— Боже мой! за что ты такъ меня наказываешь? говорила Настя, скрестивъ на полной груди своей бѣлые руки; — за что ты берешь отъ меня моего доброго Потапа? Потапе! Потапе! ты живъ? продолжала она, дергая его потихоньку за рукавъ.

— Кажется, живъ, отвѣчалъ онъ, пожимая плечами.

— Кажется! О, Боже мой, все ему кажется! Послалъ же какой-то недобрый человѣкъ на него видѣнія! Шутка ли, цѣлую ночь провозиться съ кобылою? Не успѣла я вздремнуть съ вечера, смотрю: онъ встаетъ, взялъ ножницы, и давай стричь кобылу. Сколько я ни просила, такъ-нѣтъ, и слышать не хочеть. «Я знаю, говорить, что дѣлаю; ты, безтолковая баба, не мѣшайся въ казацкія дѣла. Охъ, не то было бъ на свѣтѣ, когда бы вы насъ слушали! а то мужъ неподобное станеть дѣлать — жена молчи и пикнуть не смѣй! Да и что тутъ за казацкое дѣло — стричь кобылу? смѣхъ людямъ сказать. На ней теперь никуда поѣхать нельзя, и продать, такъ полѣны не дадутъ.

— Сдурѣль, сдурѣль, право сдурѣль я на старость! Самъ вижу ясно, что сдурѣль, говорилъ Потапъ, тихо качая головою.

Настя плакала.

— Не плачь, Настя, это Богъ наказалъ меня за то, что я тебѣ не вѣрилъ, что я хотѣль, когда ты спала въ амбарѣ, обрѣзать твои косы, чтобы испытать, точно ли мнѣ все кажется. Хоть присягнуть, мнѣ помнится, я пришелъ въ амбаръ, отрѣзалъ на твоей головѣ косы, положилъ ихъ подъ подушку и легъ спать. Поутру про-

сышаюсь — подъ подушкою конская грива, на твоей головѣ не тронуть ни одинъ волосокъ, по двору бродить моя кобыла совсѣмъ ошипана!

— Скажи спасибо, что я не дала тебѣ обрѣзать ей уши.

— А я хотѣлъ и уши ей обрѣзать?

— Какъ же! А послѣ все искалъ топора, чтобы отрубить ей голову.

— И голову? Ей-богу ничего не помню.

— Мало этого, еще хвалился на слѣдующую ночь меня зарѣзать. Я боюсь тебя.

— Не знаю, хоть убей, ничего не знаю, моя милая. Ты свяжи меня на ночь, когда боишься, свяжи руки и ноги.

— Тебя связать? О, Боже мой, до чего я дожила! чтобы я на своего законнаго мужа, на своего начальника подняла руки? Нѣтъ, Потапе, лучше замучь меня.

— Вотъ дура! когда я тебя зарѣжу, такъ и мнѣ житья не будетъ: меня зашлютъ въ Сибирь.

— Ну, когда такъ, то возьму тяжкій грѣхъ на душу, спеленаю тебя, какъ ребенка, а въ Сибирь не пущу!

— Спасибо тебѣ, жена. А мнѣ все-таки худо.

— Худо? Бѣдный, совсѣмъ рахнулся! Когда-бъ я знала, что ты будешь сидѣть смирно, я пошла бъ за дьячкомъ: пусть онъ прочитаетъ надъ тобою что-нибудь полезное, авось будетъ лучше.

— Дѣлай чтò хочешь! И Потапъ махнулъ рукою.

Черезъ пять минутъ Настя была уже у кумы.

— Каково твой старый чортъ отදѣлалъ меня, говорила кума, снимая съ головы платокъ — и Настя начала хохотать: кума была острижена какъ рекрутъ. —

Видишь, что я вытерпѣла изъ дружбы къ тебѣ, а ты мнѣ не хочешь дать полотна.

— Принесу цѣлую штуку.

— Ну, то-то! Куда ты идешь?

— Послалъ мене мой нелюбъ за дьячкомъ вычитывать дурь изъ головы.

— За Петею? Ха-ха-ха! но, послушай... Тутъ онѣ начали говорить такъ тихо, какъ-будто ихъ кто подслушивалъ. Гдѣ сойдутся двѣ женщины, тамъ вѣчно секреты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Господи! какъ скоро идетъ время! Давно ли, подумаешь, я была ребенокъ? Меня занимала и перстная бабочка и перелетное облачко и тонкая струя дыма въ голубомъ воздухѣ и любовь дѣвушкі — давно ли? А теперь я не причисляю бабочки къ лицу небожителей, я понимаю, что она гадкій червь, прикрашенный блестящею пылью; знаю, что облачко и дымъ раздетятся при первомъ дуновеніи вѣтра. А любовь... Но Богъ съ ними! Я теперь улыбаюсь отъ того, что прежде увлажняло глаза мои, можетъ-быть, святою слезою. Кто виноватъ въ этомъ — Богъ знаетъ. Давно ли міръ упалъ ницъ предъ Наполеономъ, котораго рати наводнили Европу? Давно ли сѣверный орелъ, согрѣтый жертвеннымъ огнемъ Москвы, встрепенулся, смѣль однимъ крыломъ буйныхъ полчища съ лица Европы и, распустивъ другое, прикрылъ державною сѣнью полмира, освобожденаго отъ рабства — давно ли? И мы уже припоминаемъ это какъ сонъ! Давно ли было воскресенье? всѣ ходили въ село Короваи къ обѣдни, а сегодня опять воскре-

сенье и все уже идуть отъ обѣдни, и Семенъ и Швецъ и Заяцъ и все идуть. Господи, какъ скоро идеть время!

Привольно, тепло свѣтить красное солнышко; его лучи весело разбѣгаются по голубой водѣ и таютъ на свѣжей зеленой муравкѣ, обливая ее золотомъ. Сады уже прыснули листочками; въ густой бузинѣ стонеть иволга. Какой прекрасный день! настоящее воскресенье!

Послѣ обѣда подъ трактиромъ собрались все порядочные люди. Вотъ гдѣ послушать исторій: тутъ разсказываетъ мельникъ, какъ давно еще когда-то, за стараю пана его отецъ убилъ ночью, въ мельнице, собственоручно небольшаго бѣса, который былъ, по обыкновенію, въ нѣмецкомъ платьѣ, въ самыхъ узенькихъ панталонахъ, съ хвостомъ, съ рогами и крыльями; какъ покойный отецъ взялъ эту негодную тварь за рога и выбросилъ на плотину. Настало утро; вы думаете бѣсь исчезъ? — ни чуть не бывало; утро освѣтило бѣсовскій трупъ; все село смотрѣло на него; и нѣсколько дней лежалъ бѣсёнокъ на плотинѣ; его не клевали вороны; собаки, поджавъ хвосты, съ визгомъ обѣгали эту нечистую вещь, а бѣсь, между тѣмъ, сохъ да съёжился, и сдѣлался такъ малъ, что проходящая изъ Курской губерніи баба плюнула на него — и его не стало видно. Немного подальше, въ кружкѣ, Заяцъ увѣряетъ и божится, что Александръ Македонскій щахъ моремъ-океаномъ и затѣхъ на край свѣта, гдѣ сошлося небо съ землею. И все удивляются, отчего Александра Македонскаго назвали Македонскимъ.

Если у него не было умнѣе фамиліи, говорилъ Швецъ, то назвать бы его по отцу: когда отецъ былъ Тарасъ — Тарасенкомъ, когда Грицко — Гриценкомъ. А то Македонскій — ни къ селу, ни къ городу.

- Дураки были тогда люди, перебилъ Заяцъ.
- Значить, этотъ Македонскій немножко не доходилъ до Іерусалима? спрашивалъ Кочережка.
- Вотъ голова! кричалъ Кулишъ: — будто Іерусалимъ на краю свѣта! Я самъ былъ въ Одессѣ, а тамъ до Іерусалима и ста верстъ не будетъ.
- Взять бы нашему Потапу у пана билетъ, когда Іерусалимъ такъ близко, да сходить туда Богу помо-диться за свои грѣхи, сказалъ, подошедши къ бесѣдовав-шимъ, Максимъ Стусъ.
- А что съ Потапомъ? спросили всѣ въ одинъ го-лосъ.
- Совсѣмъ сдуруль, отвѣчалъ съ важнымъ видомъ Стусъ.
- Это ему за грѣхи его, заговорили люди: — онъ былъ злой человѣкъ и безвинно обижалъ свою жену; сколько разъ, мы сами видѣли, она, бывало, обливается отъ него горячими слезами.
- Именно такъ, продолжалъ протяжно Стусъ: — ему всякая дрянь въ умъ лѣзеть: то представляется, что палкою стрѣляетъ журавлей, то выщакиваетъ на нивѣ живую рыбу, то стрижетъ кобылу и называетъ ее сво-ею женой.
- Кобылу называетъ женой?
- Да, право, да.
- Можетъ-быть, жену кобылою?
- Я знаю, что говорю! Мало этого, еще хотѣлъ бѣдную жену зарѣзать.
- О? Не-уже-ли?!
- Да, однако, Господь не допустилъ этого. Самъ Потапъ приказалъ женѣ связать себѣ руки и ноги. Что жь? цѣлую ночь ему представлялось, что его Настя...

Господи, прости! цалуется съ Петею Опанасовичемъ и смеется ему въ глаза, и языкъ показываетъ, и лхой ихъ знаетъ, что такое!... Такъ въ эту ночь измучился, такъ избился, что на себя не похожъ, веревки до крови врѣзались въ его руки и ноги.

«О Господи, какое несчастіе!» говорили слушатели, «а давно ли, подумаешь, прошлое воскресенье, онъ съ нами вотъ тутъ подъ трактиромъ бранилъ нового упра-вителя и пилъ водку, какъ человѣкъ въ добромъ раз-судкѣ!...

1836 г.

ВОТЬ КОМУ ЗУЗУЛЯ КОВАЛА!

Р А З С К А З Ъ.

I.

Весьма хорошее село Нехайки; въ немъ все такія бѣленыкія, чистенькія избы, какихъ літвину и во сиѣ не видывать. Село перерѣзываетъ широкая дорога; на этой дорогѣ, за селомъ, стоять ворота, подлѣ воротъ, въ землянкѣ, живеть коронный сторожъ, отставной солдатъ инвалидной команды, лгунъ, нахаль, шарлатанъ. Но о немъ поговоримъ въ свое время, онъ, вѣдь, за селомъ; въ Нехайкахъ такого вздору не водится. Тамъ есть дюжіе паробки, есть красавицы чернобровыя дѣвушки, есть музыканты, сады, собаки, голуби, даже есть докторъ, который прекрасно шепчетъ отъ бѣльма и отъ простуды; но главное, чѣмъ отличаются Нехайки отъ другихъ сель это — огороды. Чѣмъ за роскошь эти огороды! Отъ хатъ до самой рѣки тянутся они широкими цвѣтными полосами. Тутъ чинно, спокойно, какъ въ засѣданіи какого-нибудь комитета, прозябаютъ увѣсистыя, гладкія головы капусты, далѣе, цѣпляясь за подпорки, улы-

бается вами розовыми цветочками кудрявый горохъ, точь-въ-точь завитой франтикъ въ чужомъ кабролетѣ; подъ него, какъ пышная дама въ страусовыхъ перьяхъ, гордо колеблеть маxровою зеленою морковь; тамъ, какъ живая смуглянка Малороссіи, безпрестанно шевелить дробными темнозелеными, блестящими листочками петрушка; какъ сѣверныя дѣвы, стройныя, свѣтлыя, стоять маисъ, разметавъ свою русую косу; какъ сотникъ Мартына Задеки, лѣниво раскинула толстые сѣрокрасноватые листья свекла; какъ люди-труженики ползутъ, во всѣхъ направленіяхъ по землѣ, огуречные побѣги, отягченные сочными, здоровыми плодами — словомъ, тамъ растеть все, что есть на свѣтѣ. Выйди только хозяйка на огородъ, задумай чего необходимо — оно тутъ и есть, подъ-рукою.

Совершенно такие огороды имѣли два казака-сосѣда: Никита Чмыхъ и Козьма Щуръ. Эти огороды граничили между собою, какъ полы застегнутаго сюртука, или какъ иногда слово *дуракъ* съ какимъ-нибудь человѣкомъ, такъ-что когда скажутъ: *дуракъ*, то сейчасъ въ воображеніи вашемъ и рисуется извѣстная фигура, и обратно. Вѣдь это бываетъ? Такъ и огородъ Чмыха невольно представляется глазамъ, когда вспомнишь огородъ Щура.

Эти огороды были раздѣлены ветхимъ полуразломаннымъ плетнемъ; посреди ихъ росла развесистая верба, та самая, на которой въ прошломъ году — помните, какъ была въ Нехайкахъ днѣвка гусарского эскадрона, нанесла ремезово гнѣздо *) шинкарка Феська. Уинай баба

*) Ремезъ очень искусно дѣлаетъ гнѣзда изъ пуха, шерсти и другихъ мягкихъ веществъ. Въ Малороссіи приписываютъ ему большую лекарственную силу.

Феська: дождалась же военныхъ людей! Небойсь, сама це пошла: знала, что ремезъ птица волшебная! Въ глухую полночь взяла двухъ солдатъ и сняла съ вербы гнѣздо. Никто бы не повѣрилъ, что такая молоденькая женщина достала такую рѣдкость, да самъ Дмитро Гречаникъ видѣлъ своими глазами, какъ она перелѣзла черезъ плетень и пошла подъ вербу съ солдатами. Да что вамъ разсказывать, вы вѣрно слышали про это гнѣздо.

Пограничная верба раскинула свои вѣтви далеко на огороды обоихъ казаковъ, распустила корни и широко и глубоко въ землю обоихъ огородовъ и какъ-бы свяzymь аратскимъ узломъ влѧдила двухъ пріятелей, которые люди раздѣлили, хоть слабымъ плетнемъ, да все-таки раздѣлили.

Чмыхъ и Щуръ были издавна пріятели, крестили одинъ у другаго дѣтей; оба курили и нюхали табакъ, употребляли хмѣльное и очень любили колбасы съ чеснокомъ. Да кто ихъ и не любить? Славная вещь!

Утромъ въ маѣ мѣсяцѣ, въ праздникъ Вознесенія, была прекрасная погода. Солнце поднялось довольно-высоко на небо и смотрѣло на Нехайки такъ ласково, какъ нашъ курносый писарь, когда хочетъ у васъ что-нибудь выпросить. Парубки гуляли вдоль улицы; дѣвушки, украшенныя цветами, пестрыми рядами сидѣли подъ хатами; Козьма Щуръ лежалъ на огородѣ, ожидая обѣда. «Анахронизмъ!» реветь ужасно ловецъ ошибокъ, человѣкъ съ большимъ брюхомъ. Онъ какой-то членъ — право не помню хорошенъко, имѣть акцию на желѣзную дорогу и двѣ на освѣщеніе газомъ. Основываясь на этихъ опорахъ, ловецъ ошибокъ всегда кричать октавой выше людей обыкновенныхъ. «Вниманіе!» кричать онъ, «Малороссія не достигла еще до апогея порчи нравовъ; ergo

невыразимо-непростительно думать и писать, чтобы въ тотъ торжественный моментъ, когда человѣки возносятъ свои моленія къ престолу Великаго Зодчаго природы...» Ахъ, monsieur ловецъ! какъ вы болтаете высокопарно! говорите яснѣе. Вамъ странно, что простой казакъ, здоровый и тѣломъ и душою, во время великаго праздника не пошелъ въ церковь, а легъ на огородѣ дѣлать кейфъ? Правда, это не въ духѣ малороссіянъ, народа религіознаго; но дослушайте до конца, и — кричите сколько вамъ угодно. Въ Нехайкахъ быль боленъ священникъ и по этому случаю не было обѣдни.

Вотъ Козьма Щуръ вышелъ на огородъ и легъ въ зеленой травѣ, обратя свою широкую спину къ солнцу. Онъ уперъ локти въ землю, поднялъ кверху ладони и на нихъ положилъ голову такъ, что, смотря съ улицы, вы не узнали бы, какое усатое чудовище лежить на огородѣ Щура; а это быль самъ Щуръ. Не знаю, о чёмъ думалъ онъ, а быль занять чрезвычайно: ему хотѣлось сплюнуть въ чашечку огуречнаго цвѣтка, который росъ на пол-аршина отъ его носа, и, представьте! это ему никакъ не удавалось. Уже часа два лежалъ онъ и плевалъ въ разныхъ направлениахъ, а все неудача: то возьметъ слишкомъ вѣво, то вправо, то не доплюнетъ, то переплюнетъ, а золотая коронка цвѣтка все остается невредима и, локачиваясь отъ вѣтра, какъ будто дразнитъ Щура.

— Какое поганое зелье! проворчалъ Щуръ, и хотѣль-было протянуть руку, чтобы сорвать цвѣтокъ и наплевать въ самую чашечку, какъ почти надъ самымъ ухомъ раздалось жалобное: *куку*.

— О! сказалъ Щуръ: зузуля куетъ!

Я думаю, вамъ часто случалось видѣть на тон-

кихъ вѣточкахъ деревъ какіе-то нарости, въ родѣ би-серныхъ ожерелій? Спросите обѣ этомъ любого есте-ствоиспытателя, онъ вамъ, пожалуй, расскажетъ, что это яички мотыльковъ, что на весну изъ нихъ выйдуть гусеницы, что гусеницы превратятся опять въ мотыль-ковъ и тому подобное. Онъ вамъ наговорить разной чепухи три короба, лишь бы чѣмъ-нибудь обмануть васъ; а дѣло гораздо проще. Изволите видѣть: кукушка птица вѣщунья: она знаетъ сколько кому лѣтъ прожить на бѣломъ свѣтѣ, и вамъ, и вашему кучеру, и вашему начальнику отдѣленія, потому что всѣ люди одинаково смертны. Когда вы услышите, что поетъ кукушка, об-ратитесь только къ ней повѣрливѣ — и она вамъ сей-часъ продиктууетъ остальные годы вашей жизни, и въ это время для всякаго года выковываетъ по зернышку и кладеть ихъ въ видѣ ожерелья вокругъ вѣтки, на которой сидить. Вотъ вамъ, господа ученые, ваши яички и гусеницы и мотыльки! О, сѣмѣхъ съ вами, да и только! Любая баба въ Малороссіи объяснить эти вещи умнѣе вашего. Пожалуй, вы еще скажете, что изъ яблока выйдетъ жа-воронокъ, а изъ жаворонка кошистъ! Молчите! кто вамъ повѣритъ?

Щуръ поворотилъ голову къ вербѣ и вполголоса ска-залъ:

— Зузуля, княгиня! сколько мнѣ лѣтъ еще жить на свѣтѣ?

Куку! отозвалось на вербѣ.

— Разъ, сказалъ Щуръ.

Куку, куку, куку!

— Два, три, четыре, считалъ Щуръ; а на лицѣ его показывалось удовольствіе, и когда кукушка пере-стала пѣть, Щуръ насчиталъ пятьдесятъ.

*

— Спасибо тебе, княгиня, сказал онъ, подымаясь изъ травы: — еще много вѣку впереди!...

А таинственная вѣшунья, испуганная движениемъ Щура, спорхнула съ вѣтки и быстро мелькнула надъ землею, скрываясь между маисомъ и подсолнечниками.

Надобно жь было такъ случиться, что и Чмыхъ, пользуясь свободнымъ временемъ и хорошою погодою, вышелъ полежать на своею огородѣ. Онъ легъ прямо лицомъ къ небу, сложивъ на-кресть руки подъ головою и раскинувъ ноги въ стороны, такъ, что изъ него образовалась буква ижица (V). Чмыхъ лежалъ неподвижно. Иногда дерзкая муха садилась къ нему на носъ, тогда Чмыхъ дергалъ носомъ, шевелилъ усами, и когда это не пособляло, то вытягивалъ нижнюю губу болѣе обыкновенного, загибалъ ее кверху и окончательно сдувалъ муху съ носа; но это онъ продѣльывалъ тѣкъ, безъ всяаго соображенія, какъ дѣло постороннее, потому-что всѣ его мысли занимала ласточка. Эта веселая летунья вилась надъ нимъ, щебеча звонкія пѣсни; то быстрою точкою рѣяла въ небѣ, то плавно рѣзала воздухъ сверху внизъ въ косвенныхъ направленіяхъ, то, какъ-бы купаясь въ свѣтлой синевѣ, трепетала крылышками, останавливалась неподвижно, и вдругъ, какъ лучъ молніи исчезала съ глазъ.

«Вотъ безтолковое твореніе!» думалъ Чмыхъ: «и чего она такъ летаетъ? вѣрно у нея другой работы нѣть. Рада теплому дню, какъ-будто это первый и послѣдний. Сѣла бы себѣ на плетень, или на крышу, да и грѣлась, и пѣла бы, коли охота есть, а то летаетъ! Нѣть, это должна быть самка: самецъ не станетъ дѣлать подобныхъ глупостей...»

Вдругъ, это философское размышленіе прервалъ знакомый намъ голосъ куушки.

— А скажи, зузуля-княгиня, сколько мнѣ лѣть на свѣтѣ жить? спросилъ Чмыхъ, и тоже насчитавъ пятьдесятъ, вскочилъ съ самодовольствіемъ, чтобы сообщить женѣ эту приятную новость, и увидѣлъ Щура.

— Добрыдень куме! сказалъ Щуръ, подходя къ плетню.

— Здоровъ куме! отвѣчалъ Чмыхъ, тоже приближаясь къ границѣ.

Чрезъ минуту они стояли нось-объ-носъ другъ съ другомъ. Щуръ вынулъ изъ-за сапога рожокъ съ табакомъ, постучалъ имъ о плетень и, насыпавъ табаку на ноготь большаго пальца, хотѣлъ передать рожокъ своему куму, но слова Чмыха остановили его намѣреніе.

— Еще поживемъ на свѣтѣ, Кузьмо! говорилъ Чмыхъ.

— Какъ, Никито?

— Да такъ, Кузьмо, пятьдесятъ годовъ, какъ червонецъ, отсчитала мнѣ сейчасть кукушка.

— О!

— Ей-богу!

— Ова!

— Чего жь тутъ — ова?

— Пятьдесятъ лѣть?

— Пятьдесятъ.

— А можетъ больше?

— Вы, вѣрю, пане Кузьмо, не выспались?

— Не выспались! а можетъ-быть, мнѣ зузуля ковалы — вотъ что!

— Тебѣ?

— Да, мнѣ, я её просилъ.

— Нѣть, я ее просилъ, она мнѣ кovala.

— Подумай, Никито, куда тебѣ жить пятьдесятъ лѣтъ; тебя на дніяхъ нечистый сlijетъ со свѣта.

Подобныя фразы загремѣли на спокойныхъ огородахъ Нехаекъ. Жены Чмыха и Щура, услышавъ недружелюбные возгласы мужей, выбѣжали изъ хатъ и присоединились къ воевавшимъ. Проходившіе сходились посмотретьъ на скору и приставали кто къ сторонѣ Чмыха, кто къ сторонѣ Щура. Въ этомъ дѣлѣ приняла дѣятельное участіе вся сельская аристократія: пришелъ самъ выборный, волостной писарь, дѣячокъ; всѣ толковали, спорили, шумѣли и не могли дать толку.

— Стоитъ только узнать, въ чьемъ владѣніи пѣла птица, тому принадлежать и пѣсни, кричалъ писарь... Но верба росла на границѣ и не была собственностью ни одной изъ спорившихъ сторонъ. Вымѣряли ея вѣтви: они одинаково остыяли владѣнія и Чмыха и Щура; раскопали корни этого враждебнаго дерева: они безконечно-далеко ушли въ землю обоихъ огородовъ. Требованія Чмыха и Щура были совершенно равносильны и разрѣшить задачу: кому куковала кукушка, казалось дѣломъ сверхъестественнымъ. Выборный, пожавъ плечами, сказалъ:

— Ихъ и самъ чортъ не разбереть, кромѣ вышедшаго начальства! Мой совѣтъ: юхать къ сотнику; а я въ этомъ дѣлѣ сторона, я простой человѣкъ.

— Хоть къ полковнику поѣду, а поставлю на своеимъ кричалъ Щуръ.

— Хоть до гетмана, отвѣчалъ Чмыхъ: — я не позволю заѣдать моего вѣку!

Сотникъ Непейвода бытъ извѣстенъ во всемъ окрестѣ, какъ человѣкъ весьма умный; хотя онъ имѣлъ свои странности, но эти странности только показывали его умъ, а болѣе ничего. Онъ, бывало, скажетъ кому-

нибудь: «Какъ тебя зовутъ?» и вдругъ такъ зѣвнѣть передъ самыми его глазами, что тотъ невольно попя-тится назадъ и поклонится. Или попробуйте спросить о чѣмъ-нибудь сотника: онъ, не отвѣчая, засвистѣть по-тихоньку, да такъ прекрасно, какъ иволга, и послѣ скажетъ: «что вы говорили?» Разумѣется, еслибъ это сдѣ-лалъ кто-нибудь изъ простыхъ людей, оно было бы не очень хорошо, а сотникъ на то начальникъ, можетъ-быть, онъ знаетъ и по-штичному; не даромъ же его учили въ кіевской бурѣ. Кроме того — подивитесь! онъ былъ большой гомеопатъ. Не было еще ни доктора Гацемана, ни его системы, а на хуторѣ Непейводы про-цѣтала гомеопатія. Говорять, великие люди опережи-ваютъ свой вѣкъ, а сотникъ былъ роста вершковъ один-надцати. Непейвода ничего не пилъ, кроме шиповни-ковки. Для этого обыкновенно рано утромъ бросали въ штофъ одну ягоду шиповника и наливали полонъ штофъ пѣнникомъ. Въ продолженіе дня сотникъ уничтожалъ въ конецъ эту настойку, такъ-что оставалась въ штофѣ одна ягода; на утро опять на эту ягоду наливали водку, и опять сотникъ вышивалъ ее, и такъ далѣе. Это было нечто въ родѣ *repetuum mobile*. Сосѣди боялись, что сотникъ пьетъ чистый пѣнникъ, что въ шиповниковкѣ не было никакого вкуса, ни запаха; сотникъ крѣпко стоялъ на свое, что они врутъ. Онъ пилъ эту на-стойку наперсткомъ; въ тотъ вѣкъ, когда все человѣ-чество пило аллопатическими, ковшами, вмѣщавшими въ себѣ бутылки двѣ и болѣе, пить наперсткомъ была большая странность, отдѣлявшая сотника отъ обыкно-веннай толпы. Говорили, что еще въ молодости онъ по-лучилъ этотъ наперстокъ на память отъ однойполь-ской панны; а сотникъ говорилъ: «Люди неразумные

пьют стаканомъ: они разомъ упьются — и только; но когда я выпью наперстокъ — чудесный жарь разольется во мнѣ, въ лицо вступить краска, глаза заблестаютъ огнемъ; я готовъ ползть на что вамъ угодно, хоть на турецкую батарею; а если эта храбрость начнетъ проходить, я опять пью наперстокъ — и опять бодръ, и все-таки не пьянъ — вотъ чтоб!» Четыре года какъ овдовѣлъ Непейвода; у него было дитя лѣтъ пяти. Что жъ вы думаете? Сотникъ, по добротѣ своей, не захотѣлъ къ дитяти брать ни одной нянки: «зачѣмъ» говорилъ онъ, «отрывать женщину отъ работы, пусть за нимъ смотрятъ поочередно», и, вслѣдствіе этого, каждое утро являлась съ хутора дѣвушка или молодая женщина, одѣтая по-праздничному; она цѣлый день и цѣлую ночь тѣшила ребенка и на утро сдавала его на руки слѣдующей, кто бы былъ на очереди. Великий гомеопатъ быль Непейвода! Даже самая гомеопатическая приношенія просителей бралъ сотникъ ни мало не сердясь: курица, старая сабля, мѣрка овса — все принималось за благо, хотя бы онъ, по званію, такими мелочами могъ и обидѣться. Тутъ только и есть маленькая разница между нимъ и послѣдователями Ганемана.

Рано поутру проснулся мудрый сотникъ Непейвода. Вчера быль праздникъ Вознесенія Господня и у сотника было много гостей; онъ, какъ хозяинъ, радушно принималъ ихъ, оживляя по временамъ свои силы спасительною шиповниковкою, и до того захлопотался, что, отъ усталости, склонясь на столъ, захрапѣлъ, держа въ рукахъ наперстокъ. Буйное ликованье гостей-аллопатовъ не имѣло уже на него никакого дѣйствія: онъ спалъ какъ богатырь въ русской сказкѣ. Хорошо, что это случилось не въ первый разъ и потому не произвело ни-

какого разстройства; нироавшіе далеко за полночь разбрелись по домамъ, а хозяинъ проспалъ до самаго свѣта въ томъ самомъ положеніи, какъ заснуль съ вечера. Рано поутру онъ всталъ и потребовалъ соленыхъ огурцовъ, шиповниковки и сотенного писаря.

Огурцы съѣдены, настойка выпита, писарь явился.

— Чѣмъ новаго? спросилъ сотникъ.

— Есть просители, добродію.

— Какіе?

— Два казака изъ Нехаекъ, поссорившіеся о неизвѣстности кованія зузули.

— Зузули?... А-у! (сотникъ протяжно зѣвнулъ). Дѣло важное! Какихъ не приведеть Господь дѣлъ разбирать нашему брату!

— На тѣ вы у насъ голова! сказалъ, кланяясь, писарь.

— Оно такъ... А зови-ка ихъ сюда!

Писарь вышелъ. Сотникъ сѣлъ за столъ, покрытый краснымъ сукномъ. Чрезъ нѣсколько минутъ вошли Щуръ и Чмыхъ.

— Ну, въ чемъ ваше дѣло? спросилъ ихъ сотникъ грознымъ голосомъ.

Чмыхъ поклонился и началъ рассказывать исторію, которая вамъ извѣстна.

— Чего жь тебѣ хочется? спросилъ сотникъ, разсѣянно смотря въ окно и насвистывая что-то въ родѣ куликовой пѣсни.

— Чтобы была ваша ласка сказать, кому зузуля ковала, отвѣчалъ Чмыхъ, подошелъ къ столу, поклонился въ-поясъ и, приподнявъ красное сукно, положилъ подъ него серебряный рубль.

— Кому ковала зузуля? Не спѣши. А ты что скажешь, Щуръ?

Щуръ рассказалъ ту же исторію; такимъ же порадкомъ положилъ подъ сукно серебряный рубль и просять разрѣшить тотъ же вопросъ, чтѣ и Чмыгъ.

— Кому?... Гм! и сотникъ началъ наливать въ наперстокъ шиповниковку; но, какъ на зло, только-что наклоняясь штофъ, ягода шиповника впльвала въ горлышко и не пропускала ни капли настойки. Несколько разъ указательнымъ пальцомъ сотникъ прогоняя ягоду обратно въ штофъ, наклоняясь его въ разныхъ направленияхъ — и опять несносная ягода являлась въ горлышкѣ. Брови сотника сбѣжались отъ гнѣва; онъ сердито поставилъ штофъ и закричалъ на просителей:

— Зачѣмъ вы здѣсь стояте, болваны?

Какъ по командѣ, разомъ поклонились оба кума и пробормотали:

— Кому же, какъ изволите, зузуля... и не кончили своей фразы.

— Дурни вы оба, сказалъ сотникъ, гордо вставъ съ мѣста: — зузуля ковала ни тебѣ, Никито, ни тебѣ, Кузьмо, а ковала пану сотнику. Тутъ онъ открылъ сукно и показалъ имъ два цѣлковыхъ, которые они ему положили.

— Вотъ что ковала зузуля; а вы и этого не догадались! И птицы небесныя должны служить начальству — понимаете ли?

— Понимаемъ, добродію, какъ не понять!

— Ну, то-то же! ступайте домой!

— Такъ вотъ кому зузуля ковала, а мы и не догадались! говорилъ выборный, почесывая затылокъ, когда

Чмыхъ и Щуръ сообщили всѣмъ Нехайкамъ результатъ своей поѣздки.

— Вотъ кому ковала зузуля! говорили и дьячокъ и сельскій писарь, пожимая плечами.

Теперь эта поговорка въ Малороссіи сдѣлалась по-всемѣстною. Если какое дѣло принимаетъ неожиданный оборотъ, или постороннее лицо пользуется выгодами, ему непринадлежащими, или... что-нибудь подобное этому, и впослѣдствіи грѣхъ выйдетъ наружу, добрый малороссъ, нюхая съ разстановкою табакъ, говорить иронически: *такъ вотъ кому зузуля ковала!*

1837 г.

ВОСПОМИНАНИЯ.

РАЗСКАЗЪ.

Какъ жаль, что Адамъ Богдановичъ уѣхалъ! Какой онъ былъ прекрасный человѣкъ! какъ всѣ любили бывать у него, и въ цѣломъ городѣ только у него! И вотъ почему: во-первыхъ, онъ былъ добрый человѣкъ, потому что не могъ никому вредить; во-вторыхъ, всегда бывалъ радъ гостямъ, если гости заставали его *à son aise*; любилъ хорошо поѣсть, и потому держалъ повара; имѣлъ лучшую квартиру въ городѣ; давалъ балы и танцевальные вечера зѣпросто, и наконецъ былъ совершенно музыкаленъ. У него въ залѣ, нальво, стоялъ флигель, направо органъ, на флигелѣ лежала гитара, на которой онъ игралъ съ аккомпанементомъ свиста; подъ флигелемъ скрипка въ футляре, а въ углу часы съ музыкой. Этакой музыкальности и въ губерніи не найдешь: такъ какъ же не любить такого человѣка въ уѣздѣ, тѣмъ больше, что все это онъ имѣлъ для другихъ, а не для себя, за исключеніемъ гитары, на которой онъ игралъ большими пальцемъ, какъ я уже сказалъ?

Адамъ Богдановичъ человѣкъ женатый: холостому нѣсогда можно принимать общество дамъ. Одна только слабость была у Адама Богдановича: онъ любилъ просторъ, и потому всегда ходилъ въ халатѣ безъ пояса; даже и гостей такъ принималъ, исключая дней званыхъ; а тогда... о, тогда онъ становился молодцомъ!

Какъ теперь вижу Адама Богдановича, какъ онъ прохаживается въ залѣ по половику (у него полы крашенные): въ лѣвой рукѣ табакерка, въ правой кончикъ носового платка; прохаживается и съ каждымъ переходомъ у него дѣло: то табачку понюхать, то вытереть платкомъ пыль на флигелѣ, то носъ утереть.

Адамъ Богдановичъ ужасно чистоплотенъ и порядливъ: у него всегда чисто, всегда все на своемъ мѣстѣ. И какъ онъ не устанетъ! цѣлый день на ногахъ, безпрестанно ходить то по залѣ, то по гостиной, то по кабинету (онъ же и спальня его), а иногда такъ разъ въ недѣлю даже по жениной спальни. А жена?... Я забылъ о ней; впрочемъ, и немудрено: мы большие пріятели съ Адамомъ Богдановичемъ, а онъ рѣдко вспоминалъ жену: у него всегда бывала «такая куча дѣлъ, что мочи нѣть, голова кругомъ» — такъ онъ выражался. Я очень люблю его выраженія: они такъ сильны!

А какъ пріятно, какъ весело жилъ Адамъ Богдановичъ! Послушайте, я расскажу вамъ сначала простой день, потомъ званный балъ.

Междуди семьью и восьмью часами утра раздается звонъ колокольчика изъ кабинета Адама Богдановича: это значитъ, онъ проснулся. На звонъ является къ нему дѣвка — и бѣда если не явится на первый призывъ: за вторыи ее ожидаетъ плѣтка, обыкновенное оружіе

Адама Богдановича въ домашнемъ скоросудії. Но воть дѣвка явилась съ всегдашимъ «чего изволите?»

— Барыня встала?

— Давно уже.

— Надѣвай мнѣ сапоги, давай халать, дай платокъ, дай табакерку.

И бѣдная дѣвка едва успѣваетъ исполнять приказанія.

— А чай поданъ?

— Нѣть еще.

— Ступай же, давай мнѣ чаю. А поваръ водку пить?

— Нѣть еще.

— Скажи барынѣ, чтобъ дала ему рюмку водки... Постой! Куда летишь? Позови его ко мнѣ. Ну, чтò стала? ступай!

Тутъ Адамъ Богдановичъ понюхаетъ табачку, потомъ положить лѣвую полу халата на правую, возьметъ въ лѣвую руку табакерку и этой же рукой держить халать, приведя ее въ горизонтальное положеніе съ лѣтимъ и прижимая къ себѣ, въ правую руку платокъ, выходить, покашливая, изъ кабинета въ гостиную и садится на диванъ. Дѣвка приносить ему чай и докладываетъ, что поваръ пришелъ. Адамъ Богдановичъ выходитъ въ залу. Тутъ обыкновенно стоитъ его мальчикъ ють четырнадцати и ростомъ аршина полтора; просте, карликъ.

— Водку пиль? (это повару).

— Пилъ.

— Чѣмъ ты будешь сегодня готовить?

— Не знаю. Чѣмъ прикажете?

— У тебя тамъ есть говядина?... Ванюшка, чего

ты трешь стѣну? Вотъ я тебя, мерзавецъ! — И щолкъ его по головѣ. — А? говядина есть?

— Есть маленький кусочекъ.

— Ну, такъ слушай же. — Ванюшка! принеси мнѣ изъ гостиной чай. — Ну такъ слушай же!... Ванюшка несетъ чай. — Пролей, пролей! Я тебѣ дамъ по сторонамъ зѣвать! Поставь на столъ. — Ну, слушай же: сдѣлай намъ бульонъ, къ столу говядину винь и облей какимъ-нибудь соусомъ, да зажарь тетервку, да сдѣлай овсяный кисель; только смотри, чтобы онъ былъ бѣлый, да не забудь прибавить горькаго миндаля. Слышишь?

— Слушаю-сь.

— Ну, такъ ступай.

Поваръ уходитъ, а Адамъ Богдановичъ начинаетъ свою прогулку по залѣ, отъ дверей гостиной къ дверямъ жениной спальни. Проходитъ часъ, другой; часы бываютъ десять и играютъ пятую фигуру французской кадрили. Адамъ Богдановичъ останавливается и слушаетъ: это любимая его фигура; онъ чрезвычайно любить соло.

— Катя! а Катя!

— Что?

— Вели дать водки, да закусить.

— Чего жь тебѣ? Я не знаю, чего ты хочешь.

— Да чего-нибудь. Вели нарѣзать ломтика два ветчины, да кусочка два сыру, да подать кильки, да колбасы.

— Хорошо.

— Ванюшка! верти органъ. *

Адамъ Богдановичъ отворяетъ органъ, сдуваетъ пыль, вкладываетъ ключъ, и Ванюшка начинаетъ вертѣтъ. Адамъ Богдановичъ, въполномъ удовольствіи, садится и слушаетъ.

Приносять закуску; онъ пить водку и слушаетъ, есть и слушаетъ, слушаетъ и опять пить водку, слушаетъ и опять закусываетъ. Потомъ повторяется прогулка, и наконецъ, въ полдень, Адамъ Богдановичъ ложится спать часа на три; зато ужъ послѣ обѣда не отдыаетъ.

Въ три часа опять колокольчикъ и опять та же церемонія вставанья и выхода, что и поутру, исключая повара и чаю. Едва вошелъ Адамъ Богдановичъ въ залу, какъ отворилась дверь изъ передней и явился уѣздный лекарь.

— Здравствуйте, Адамъ Богданычъ.

— А! здравствуйте, Петръ Иванычъ! А я только что всталъ.

— Нѣтъ. А я успѣлъ ужъ быть у М.—знаете? Такъ мы съ нимъ сидѣли да разговаривали, и выпили по двѣ бутылочки на брата. Чѣмъ, я красенъ — а?

— Ха-ха! немножко. Вы у насъ обѣдаете?

— Хорошо-съ.

— Эй, Ванюшка! скажи барынѣ, чтобъ она велѣла повару прибавить что-нибудь къ обѣду, да накрывай на столъ. Садитесь, Петръ Иванычъ.

— Хорошо-съ. И онъ сѣлъ на полтора стула. — А мы съ стряпчими были вчера у Б., выпили втроемъ двѣ-надцать бутылочекъ. А? славно? Хи-хи!

— Мнѣ такъ что-то нездоровится: третій день голова болитъ. Вчера я былъ дома, все слушалъ музыку; у меня были кое-кто, играли на флигель — славный флигель, чудесный! на органѣ, часы играли. Пріятно какъ все въ домѣ есть. Господа здѣсь, спасибо, добрые, не забываютъ меня. Ванюшка! поди, верти органъ.

— Да-съ, да-съ, Адамъ Богданычъ; хорошо-съ, послушаемте.

— Слышите, Петръ Иванычъ, какую славную «Тройку» органъ играеть?

— Да-съ, славную.

Представьте, какъ некстати была похвала: органъ игралъ арию изъ оперы «Невѣста».

— Ну, что жь не даютъ обѣдать? Катя! а Катя! Да вели жь скорѣй обѣдать; скоро пятый часъ.

— Сейчасъ подаютъ. Здравствуйте, Петръ Иванычъ.

— А, здравствуйте, К. Е.

— Чѣдѣ ваша маменька, здорова ли?

— А? Да-съ, да-съ, здорова.

— Прошу кушать.

И они сѣли за столъ.

— Чѣдѣ вы такъ мало взяли тетеръки? берите, Петръ Иванычъ. Вѣдь еще есть.

— Нѣтъ-съ, не хочу.

— Ванюшка, подай сюда жаркое! Я сегодня худо завтракалъ: аппетита не было.

И Ванюшка унесъ пустое блюдо.

— Да берите же, Петръ Иванычъ, киселя: славный кисель! Я недавно выучился готовить его на мацеръ блан-манже; прежде только жена его ъла въ посты, съ медомъ. Да берите же: вѣдь еще много.

— Да-съ, да-съ, славный! Довольно.

— Ванюшка, подай сюда блюдо! Я люблю кисель.

Да подай же и сливки.

И опять Ванюшка унесъ пустую посуду отъ киселя и сливокъ.

— Что же вы не пьете вина, Петръ Иванычъ?

Выпейте: славное вино! Мы недавно изъ Петербурга привезли.

— Да-сь, да-сь, хорошо-сь; выпьемте-сь.

— Ванюшка, какъ уберешь со стола, приходи орга-
нъ вертѣть.

— Слушаю-сь.

Посидѣвъ съ полчаса послѣ обѣда, лекарь ушелъ.
Адамъ Богдановичъ пошелъ прогуливаться по залѣ и
смотрѣть, все ли у него въ порядкѣ.

Вдругъ... Надобно вамъ сказать, что у Адама Бог-
дановича шторы на окнахъ рисованныя: на одной пред-
ставлена рѣчка, на ближнемъ берегу домикъ, на даль-
немъ лѣсокъ; ночь, луна за тучами, а отраженіе ея въ
водѣ безъ тучъ, чтѣ и освѣщаетъ картину; на дру-
гой—пастухъ играетъ на рожкѣ и гонитъ въ поле стадо
овецъ, а изъ окна дома, мимо котораго онъ проходитъ,
смотретьъ дѣвушка, и все это освѣщено солнцемъ сни-
зу; на третьей — что-то подобное, все занимательныя
картинки. Вдругъ Адамъ Богдановичъ увидѣлъ на второй
шторѣ, и именно на лицѣ у дѣвушки, масличное пятно.

— Эй, Ванюшка, поди сюда!

— Чего изволите-сь?

— Смотри, чтѣ это такое?

— Не знаю-сь.

— Да-сь я тебѣ, не знаю-сь. Это твои штуки. Ты,
вѣрно, транспаранты хотѣлъ дѣлать? Говори!

— Нѣть баринъ, ей-богу, не я.

— Врешь, я тебя! Пошелъ вонъ. Катя! а Катя!
зачѣмъ ты не смотришь? Посмотрите, чтѣ тутъ надѣ-
лали этотъ негодяй. И Адамъ Богдановичъ усердно при-
нялся вытираять пятно носовымъ платкомъ, до того усер-
дно, что красавица осталась безъ носа.

Такъ кончился этотъ день. Не имѣя обыкновенія ужинать, потому-что это ему вредно, Адамъ Богдановичъ ушелъ спать. Я долженъ объяснить причину заботливости Адама Богдановича о поварѣ. Вотъ въ чёмъ дѣло: у него поваръ пьяница и состоитъ на условіяхъ напиваться безъ позволенія и быть исправну въ дни нужные. И для подкрепленія условій и удержанія повара отъ пьянства, ему ёжедневно отпускается порція отъ 2 до 4 стаканчиковъ, чтò зависитъ отъ расположения Адама Богдановича.

Быть пятый часть вечера. Адамъ Богдановичъ въ халатѣ прохаживался по залѣ, и просто по полу: онъ ожидаетъ къ себѣ гостей, у него балъ сегодня, и потому половики сняты. Только запросто танцуютъ но половикамъ, а въ званые, торжественные балы по полу.

— Катя, а Катя! вели вытереть пыль вездѣ да приготовь десертъ; скоро кто-нибудь придетъ.

— Что же ты не одѣваешься?

— Успѣю. Тяжело будетъ одѣться съ - этихъ - поръ. Тѣсно во фракѣ!

— Помилуй, Адамъ Богданычъ! пора. Какъ тебѣ не стыдно? Поди одѣнься.

— Маришка! а Маришка! давай одѣваться. Въ это время въ спальнѣ что-то задребежжало.— Ну, чтò тамъ разбили?

— Ничего, отвѣчала жена.

Адамъ Богдановичъ ушолъ одѣваться; гости понемножку начали сходить, и, какъ обыкновенно въ провинції, къ шести часамъ всѣ званые состояли на-лицо. Тутъ были: уѣздный судья, сохранившій навсегда видъ человѣка, слушающаго дѣло, съ супругою, разумѣется, первой дамой, исправникъ, градоначальникъ, и прочие;

много дамъ, дѣвицъ и дѣвъ изъ города и изъ уѣзда. Между дамами была замѣчательна старушка-нѣмка, съ сыномъ; не говоря по-русски, она находила удовольствіе единственно въ томъ, чтобы смотрѣть, какъ отличается въ танцахъ ея сынъ, а остальное время очень утѣшиво спала гдѣ-нибудь въ уголку.

Въ семь часовъ вышелъ Адамъ Богдановичъ, въ полномъ блескѣ, во фракѣ, перетянутъ, раздушенъ и въ золотыхъ очкахъ, въ которые видить, когда смотрѣть на кончикъ своего носа, вышелъ и привѣтливо раскланился дамамъ, пожалъ руки мужчинамъ, досталь изъ кармана ключъ и открылъ флигель, чтѣ означало: можете танцевать.

Начались танцы. Какъ вѣрный историкъ, я долженъ сказать, что наша провинція совершенно просвѣтилась, и съ 183... ничего не танцуютъ у насъ, кромѣ французскихъ кадрилей, вальсовъ, мазурокъ и котильоновъ; но какъ танцуютъ — это другой вопросъ. Такъ было и теперь. Адамъ Богдановичъ ангажировалъ градоначальницу и поселился у дверей гостиной: это его обыкновенное мѣсто. Странныя понятія онъ имѣть о танцахъ! Ему кажется, что если, стоя у дверей гостиной, онъ танцуетъ направо къ зеркалу, то, перейдя на другое мѣсто, надобно танцевать къ тому же предмету, какъ бы ни пришлось — вправо, влѣво, или прямо; и потому, для избѣженія беспорядковъ, онъ остается постоянно вѣренъ однажды-выбранному мѣсту, откуда у него проведены умственныя линіи цѣлой кадрили.

А какъ онъ танцуетъ! Руки въ карманчикахъ, глаза на кончикѣ носа, тѣ-есть въ очкахъ, и выступаетъ чинно, плавно, такъ, какъ теперь танцуютъ. Только въ соло не можетъ удержаться и подпрыгнуть, но все это

такъ кстати, такъ идеть къ нему, особенно, когда, танцуя соло, онъ понюхиваетъ табачокъ!

Танцы длились долго, очень долго, такъ, что ужь Адаму Богодановичу захотѣлось спать, и потому онъ велѣлъ накрывать на столъ. Все утихло; барышни сѣли перешептываться, дамы молодыя пустились въ толки о нарядахъ, старыя —въ хозяйство и непремѣнную принадлежность маленькихъ городковъ — сплетни. Мужчины скрылись въ кабинетъ курить табакъ и играть въ карты.

Часы ударили три и заиграли пятую фигуру французской кадрили. Ванюшка вертѣль органъ. Накрывали два стола, одинъ на 24 персоны со всѣми принадлежностями серебряными, на которыхъ особенно выказывалась уточненная заботливость Адама Богодановича: даже пробки на парадныхъ бутылкахъ бѣлаго стекла были / м серебряныя. Другой столъ былъ попроще, для жужчинъ, неслишкомъ взыскательныхъ. Какъ только доложили Адаму Богодановичу, что ужинъ готовъ, онъ отправился въ гостиную, подалъ руку съ носовымъ платкомъ первой дамѣ и привелъ ее къ столу. Другіе послѣдовали его примѣру.

Ужинъ шелъ скромно; всѣ ѿли втихомолку до бѣдственного приключения съ пирожнымъ. Вотъ какъ это случилось. Подавали пирамиду изъ бисквитъ, облитую кремомъ; лакей поднесъ къ безсловесной старушкѣ, о которой я докладывалъ. На-бѣду, передъ этимъ, между кушаньями былъ продолжительный антрактъ, и она вздрогнула. Лакей поднесъ къ ней съ словомъ «неугодно ли?» старушка спросонья вздрогнула, человѣкъ испугался, блюдо потеряло равновѣсіе, опрокинулось на чепчикъ старушки и пирамида съ кремомъ очутилась у ней на головѣ падая понемножку во всѣ стороны. Старушка

совершенно потерялась; и вскрикнувъ «O, mein Gott!» осталась неподвижна. Къ счастью, соседка ея была находчива, схватила ножикъ и давай скоблить по чепчику, по платку, по лицу, по платью, и собирать все это къ себѣ на тарелку. Этотъ случай произвелъ общий смѣхъ довольно неумѣстный; но что же дѣлать? таковы провинціалы! Адамъ Богдановичъ, какъ догадливый хозяинъ, чтобы избѣжать осужденія, поспѣшилъ, объявить что это не его человѣкъ, который подавалъ пирожное.

Едва я не забылъ сказать, что во время ужина былъ концертъ: какая-то неужинавшая дама играла на фортепиано да, сверхъ-того, Адамъ Богдановичъ завелъ музыку часовъ. Ванюшка, по непремѣнной обязанности, вертыль органъ, а одинъ секретарь игралъ на скрипкѣ. И было очень весело.

Увы! Адамъ Богдановичу еще долго не дали спать! Послѣ ужина составился котильонъ; танцевали его долго, выдумывали разныя фигуры. Междудъ всеми самая занимательная была фигура общихъ прыжковъ. Вотъ какъ это дѣлается: нѣсколько паръ становится какъ-будто танцевать экоссэзъ; начинающіе дама и кавалеръ берутъ за кончики, у кого есть, чистый носовой платокъ и несутъ его надъ головами дамъ, а потомъ подъ ноги кавалеровъ, которые, каждый поочереди, черезъ платокъ прыгаютъ, потомъ все вертятся, то-есть вальсируютъ. Бѣда, если дама или кавалеръ, которые несутъ платокъ, маленькаго роста: берегите ваши прически, mesdames: ихъ унесутъ. Бѣда, если кавалеры худо прыгаютъ: достанется носу!

Наконецъ, къ-удовольствію Адама Богдановича, зала опустѣла; онъ крикнулъ: «Маришка, раздѣваться!» и ушелъ спать.

На другое утро, Адамъ Богдановичъ проснулся и позвонилъ. Пришла дѣвка.

— Барыня встала?

— Давно уже.

— А залу ты подтерла?

— Подтерла.

— Давай халатъ. Подотри же здѣсь. Надѣтай сапоги, да смотри, хорошенько. Дай платокъ. Вычисти золу: виши какъ тутъ трубочники насорили. Дай табакерку.

Адамъ Богдановичъ вышелъ въ залу, потирая голову. «Фу! какъ я усталъ вчера! Катя, а Катя!»

— Ну, что тебѣ?

— Стекло перемыла?

— Да.

— А серебро вычищено?

— Нѣть еще.

— Нѣть еще? Отчего? Чтобы послѣ не отчистить? чтобы почернѣло?... Маришка!

— Чего изволите?

— А что же ты не положила половиковъ? Сейчасъ постели! Эхъ какъ поль-то исцарапали! всю краску стерли. Пыли сколько вездѣ, золы! ужь мнѣ эти трубочники!... Фу, какъ у меня голова болитъ!

Теперь у васъ старая пѣсня, Адамъ Богдановичъ, и потому прощайте. А право жаль, что вы уѣхали! Теперь и въ городъ незачѣмъѣздить: никого нѣть, ничего нѣть и пообѣдать негдѣ. Бывало, пріѣдешь въ городъ: куда идти обѣдать? къ Адаму Богдановичу; а теперь поѣзжай домой. Бывало, вздумается потанцовывать: кудаѣхать? къ Адаму Богдановичу, а теперь пляши дома... Утѣшительный были вы человѣкъ, Адамъ Богдановичъ!

МАЧИХА И ПАННОЧКА.

МАЛОРОССИЙСКОЕ ПРЕДАНIE.

I.

Хороша бѣлая лебедь на синемъ лиманѣ, хороша яркая звѣздочка на свѣтломъ вечернемъ небѣ, но лучше ихъ была дочь старого пана; плавнѣе лебеди выступала она, веселѣе Божихъ звѣздочекъ смотрѣли глаза ея. Когда она пѣла — соловей умолкалъ въ рощѣ; махровый красный макъ блѣднѣлъ передъ ея красотою. Богъ наградилъ пана дочерью-красавицею. Видно по всему было, что это Божій даръ: чѣмъ больше смотришь на нее, тѣмъ больше хочется смотрѣть. Она была такая ненаглядная, какъ серебристая луна, какъ море широкое, какъ высокое небо.

Давно уже умерла мать панночки, и старый панъ женился на полькѣ-красавицѣ. Съ утра до вечера наряжается молодая пани, надѣваетъ золотыя парчевые платья, украшается черными соболями и самоцвѣтными каменьями.

Молодая панночка не рядится: двѣ-три ленты да ши-

рокая коса разбѣгается по ея бѣлымъ плечамъ, на головѣ вѣнокъ изъ полевыхъ цвѣтовъ. А всѣ смотрятъ на паничку, забывая ныншнюю пани. Блѣдиеть молодая мачиха; зависть черною змѣю обвиваетъ ея сердце; пани въ душѣ клянется извести свою падчерицу-красавицу.

II.

Уже на дворѣ ночь. Въ свѣтлицѣ у пани горитъ лампада. Пани сидить на кровати; подлѣ нея ворожея, старая колдунья; много грѣховъ на душѣ у этой старухи. Напрасно пани позвала ее къ себѣ.

— У меня и очи чернѣе, и коса шире, и голосъ звонче, отчего же она красивѣе меня? сказала пани, закрыла бѣлыми ручками лицо и, рыдая, упала на подушку.

— Не плачь, не кручинься, мое дитятко, говорила старуха: — этому горю можно пособить: ты будешь красивѣе ея.

— Такъ пособи поскорѣе, а то я умру до завтра съ печали.

— Погоди, мое дитятко, прежде выслушай: не живые глаза, не густая коса, не звонкая рѣчъ, не гордая поступь дѣлаютъ насть красавицами: есть особая красота, она разлита на лицѣ; это живая красота; коли она улетитъ — красавица станетъ безобразною; останутся то же лицо, тѣ же глаза, да не будетъ въ нихъ прежней красы, и эта краса очень летуча. Служалось ли тебѣ видѣть, когда на простой цвѣтокъ сядетъ пестрая, красивая бабочка: какъ хорошъ тогда онъ; а дунулъ вѣтеръ, пошатнулся цвѣтокъ — бабочки не стало и цвѣтокъ опять некрасивъ по-прежнему...

— Я умру, бабушка, пока ты кончишь твой рассказ.

— Погоди, дитятко. А все-таки, какъ она ни летучая, ее можно поймать. На все есть своя наука; не даромъ мы дожили до сѣдыхъ волосъ. Можно достать тебѣ, какую хочешь, красоту, хоть твоей падчерицы, только это дѣло трудное.

— Можно? Бабушка! милая моя, золотая моя, голубка моя сизая! научи меня поскорѣе.

— Для этого надобно, чтобы паниочка умерла, и умерла скорою смертью, и какъ будетъ умирать она, должно покрыть ей лицо вотъ этимъ заколдованнымъ платкомъ: вся красота перейдетъ въ платокъ; на мертвай останется простой обликъ безъ жизни; тогда стоять тебѣ умыться на ночь парнымъ молокомъ, утереться платочкомъ — и ты станешь еще лучше ея.

Пани выхватила изъ рукъ старухи платочекъ, расцаловала старуху, и едва къ свѣту могла заснуть. Ей снилось, что она лучше падчерицы, что всѣ на нее смотрятъ... И это такъ легко достается: стоять только сгубить невинную дѣвушку!...

III.

Чисто, безоблачно небо надъ Украиною; высоко горить солнце на небѣ. Въ Украинѣ давно уже весна: цвѣтутъ густые сады, цвѣтутъ веселые луга, цвѣтутъ зеленые берега голубыхъ рѣкъ; отъ легкаго вѣтерка нивы рабѣгаются живыми волнами; жаворонокъ утонулъ въ небѣ и звенитъ тамъ, какъ серебряный колокольчикъ, призывающій природу къ молитвѣ; каждая травка, каждый цвѣтокъ тихо шепчутся между собою и киваются головками.

Былъ Троицынъ день; чисто было небо надъ Украиною; только въ поднебесьѣ неслось одно бѣлое облачко— это ангель Божій летѣль осматривать землю. Остановилось облачко надъ Украиною. Сложивъ руки, распустивъ легкія крылья, съ улыбкою посмотрѣлъ ангель на прекрасную сторону— и радостная слеза удовольствія скатилась съ его рѣсницы: зашумѣла святая слеза въ воздухѣ и разсыпалась на Украину свѣжимъ, теплымъ дождемъ; облако скрылось; ангель полетѣлъ далѣе.

Земля стала еще веселѣ; она засверкала въ дождевыхъ брызгахъ, какъ невѣста въ слезахъ радости. Все запѣло, заговорило, все радовалось; паукъ пересталъ на время раскидывать свои роковыя сѣти; волчица забыла про добычу и весело играла съ волчатами въ молодомъ посѣвѣ ржи; даже змѣя, когда проходилъ мимо нея человѣкъ, откидывала въ сторону свою ядовитую голову и беспечно грѣлась на солнцѣ.

Кажется, и людямъ можно бы въ это время оставить суету и предаться покою, тихому, безмятежному. Нѣть, страсти людскія илетуть сѣти хитрѣе, коварнѣе тарантула; они свирѣпѣе волчицы, ядовитѣе змѣи.

Пять разъ поцаловала пани паничку, выпровожая ее въ церковь, а до церкви отъ хутора было вереть пятнадцать.

И вотъ паничка сѣла въ раззолоченый рыданъ, увѣшенный рѣзною рѣшоткой и окнами изъ разноцѣтныхъ стеколь. Сѣдой казакъ Макарь тронулъ вожжами и рыданъ покатился со двора. Долго щѣхали они. Давно бы пора быть въ церкви, а ни церкви, ни села не видно, кругомъ глухая степь; уже солнце о полудни, а рыданъ стучить колесами по стени да катится далѣе; испуганные стрепеты, свистя крылами, подымаются изъ

*

травы и ракитовыхъ кустовъ, кружать въ воздухѣ и опять садится на прежнее мѣсто.

— Куда ты везешь меня? спросила паниочка Макара.

Макаръ молча махнулъ кнутомъ надъ лошадьми и рыданъ помчался быстрѣ.

Уже вечерѣть; золотое солнце тихо скатилось на землю; маленькие степные ястребы, какъ мерцающія лампады въ куполѣ великаго храма, подъ чистымъ небомъ трепетали крыльями, озолоченными послѣдними лучами дневнаго свѣтила. Вотъ не стало и солнца. Впереди черною полосою темнѣлъ боръ.

Скучно человѣку жить въ душной темницѣ; скучно вольному степному жителю заѣхать въ боръ: нѣть свободы глазамъ; невидно чистаго неба. Страшно стало паниочекѣ, а рыданъ Ѳхалъ шибче да шибче, а боръ придвигался ближе да ближе. Изъ бора вѣяло прохладою; тамъ угрюмо шептались зеленые дубы и яворы. Сердце паниочки забилось, затрепетало, какъ пойманная птичка въ рукахъ охотника. А рыданъ все Ѳдетъ, и вотъ уже въ лѣсу, и стучитъ по дубовымъ корнямъ колесами; вѣтви соткали надъ рыданомъ темный пологъ; сѣрый волкъ, сверкнувъ глазами перебѣжалъ имъ дорогу. Скучно степняку заѣхать въ боръ.

Рыданъ остановился. Паниочка вышла изъ рыдана; старый Макаръ подошелъ къ ней. Въ слезахъ упала паниочка въ ноги Макару и просила сказать, гдѣ она и что съ нею будетъ?

— Не плачь, отвѣчалъ казакъ, а слушай: твоя ма-
чиха приказала мнѣ извести тебя; скверная баба, она
думала, что казакъ можетъ поднять руку на такую доб-
рую, молоденькую дѣвушку; видно, что она не бывала

въ походахъ и не знаетъ казацкой службы, а я думаю, не будетъ по ея волѣ — я не запятаю грѣхомъ своей души. Богъ съ тобою, панночка, оставайся здѣсь; это лѣса кіевскіе, недалеко и до жилья; тутъ есть много всякихъ ягодъ и грибовъ — не умрешь съ голоду; только и не думай идти домой: тамъ твоя смерть неминучая, да и мнѣ не миновать бѣды.

Макарь сѣлъ въ рыдванъ, и скоро затихъ стукъ отъ колесъ уѣзжавшаго рыдvana.

Бѣдная панночка одна въ лѣсу, ночью; страшно панночкѣ: въ лѣсу бѣгаютъ волки и медвѣди; въ лѣсу ползаютъ змѣи, скользятъ разные гады, шелестятъ холодныя ящерицы — страшно въ лѣсу! А ночь все темнѣе и темнѣе! Уже близка полночь — пора лѣшихъ и обортней, пора, въ которую полетять надъ боромъ вѣдьмы пировать на Лысую-гору. Дрожитъ панночка, какъ былинка отъ вѣтру, идетъ по лѣсу: шумятъ подлѣ нея широкіе листья папоротника, хрустятъ подъ ногами сухія вѣтви, колючій терновникъ царапаетъ ея бѣлыя руки, длинныя вѣтви хлещутъ ее по нѣжному лицу, а вдали слышенъ какой-то ревъ, какой-то вопль — такъ сердце и замираетъ. Упала панночка на землю и долго молиласъ Богу, горячо цаловала серебряный крестъ — благословеніе покойной матери, и пошла далѣе, уже безъ страха, безъ трепета.

Чудесная сила молитвы! Когда васъ Богъ захочеть испытать несчастіями, молитесь чаще, молитесь отъ глубины души — и вы будете спокойны. Услышить ли панночка въ лѣсу вопль; она, помолясь, идетъ въ ту сторону, и сова, кричавшая такъ жалобно, улетаетъ. Представится ли ей лѣшій; она къ нему, и находить обгорѣлый пень. Вдали сверкнули глаза волка; она къ

волку, идеть да идеть, нѣть, это не волкъ, это огонь — и бѣдная дѣвушка вздохнула свободнѣе. Скоро она была у человѣческаго жилья и сидѣла въ чистой, спокойной хатѣ, а подлѣ нея четыре казака, четыре Ивана.

Всѣ четыре Ивана были родные братья. Съ честью и славой наѣздничали въ Сѣчи, получили много золота и много ранъ, и когда Сѣчь замирилась съ своими со-сѣдями, они, видя, что не будетъ работы ихъ саблямъ, удалились отдохнуть въ киевскіе лѣса. Золота у нихъ было много; въ три дня поспѣль домъ, и они расположились въ немъ отдыхать. Работать имъ было не для чего, деньги доставляли имъ все, да и что за отдыхъ, когда работаешь? Нѣть, они поутру молились Богу и выѣзжали на охоту, послѣ обѣда отдыхали, потомъ говорили о прошедшихъ походахъ, тамъ ужинали и, помолясь Богу, ложились спать. Завтрашній день проходилъ точно такъ, какъ вчерашній. Завидная участъ!

Съ ужасомъ выслушали Иваны разсказъ панюшки о ея несчастіяхъ, и сказали ей: «Живи у насъ какъ сестра наша; днемъ и ночью мы будемъ охранять тебя, и вотъ тебѣ клятва казацкая: или ты увидишь мачиху у ногъ своихъ, или намъ не жить на свѣтѣ». Туть Иваны вышли изъ свѣтлицы и легли спать на дворѣ по четыремъ угламъ дома. Панюшка поцаловала свой серебряный крестъ и тоже скоро заснула такъ тихо, такъ спокойно, какъ спить невинность.

IV.

А чтѣ же дѣлаетъ мачиха? Долго въ Духовъ-день ждала она свою дочь, цѣлую ночь не спала ни она, ни старый панъ, все ждали дочку изъ церкви, а дочка неѣхала. Передъ свѣтомъ пришелъ Макаръ и рассказалъ

пану печальную вѣсть, что въ степи подъ ноги конямъ подлетѣло перекатиполе; что кони взбѣсились, закусили удила и помчались влѣво съ дороги; что онъ упалъ и только и видѣлъ и рыданъ и паниочку; что исходилъ всю степь, но не нашелъ ничего, кроме платка. Тутъ Макаръ подалъ пани платокъ.

— Ахъ, Боже мой! да это точно платокъ нашей дочери. Я не отдамъ его никому; пусть онъ мнѣ останется на память; я любила ее, какъ родную сестру, говорила, рыдая, пани, и целовала знакомый ей платокъ.

— А я какъ-будто чувствовала, что съ нею будетъ какое несчастіе: три раза прощалась, и когда не стало видно рыдана, то мнѣ такъ сдѣлалось грустно, что хотѣла послать воротить ее домой.

— Ты предчувствуешь, моя милая, наше несчастіе, говорилъ панъ:— и мнѣ что-то было грустно цѣлый день.

Онъ нѣжно обнялъ жену, и тихія слезы полились изъ очей его.

Гонцы панскіе поскакали во всѣ стороны искать паниочку: все было понапрасну; къ обѣду прибѣжала одна лошадь въ упряжи, избитая, измученная, но ни рыдана, ни другихъ лошадей, ни паниочки никто не видѣлъ, не слыхалъ, какъ-будто ихъ взяли татары.

Съ печали заперлась пани въ свою свѣтлицу, стала передъ зеркаломъ и опять начала целовать паниочкинъ платокъ, но уже безъ слезъ, безъ воплей. Она умылась на ночь молокомъ и нетерпѣливо накинула на свое прекрасное лицо волшебный платокъ.

Подивитесь, добрые люди! пани была у цѣли своего желанія, и ей вдругъ сдѣлалось страшно: мысль, что платокъ видѣлъ предсмертный вздохъ ея дочери, заставила ее содрогнуться; она съ ужасомъ сорвала съ

лица платокъ, посмотрѣла въ зеркало и, на зло душевной тревогѣ, хотѣла улыбнуться; но это не была очаровательная улыбка, которою пленялись всѣ, и даже сама пани, нѣтъ—злобно искривились ея розовые губки; на нихъ блеснула какой-то злой огонь. Недовольная собой, сердито сдвинула брови; легкія морщины набѣжали на ея гладкое, бѣлое челе и остались на немъ навѣки.

Быстро, мгновенно, такъ-что воробей не успѣлъ слетѣть съ крыши на землю, пани примѣтно подурнѣла. Она, съ печали, хотѣла-было броситься въ прудъ и утонуть. «Но, какая я буду нехорошая» подумала она, «какъ вода безчинно разовьется, спутаетъ мою косу, какая я буду!» И пани не утопилась. Хотѣла зажечь домъ и сгорѣть съ нимъ — и это некрасиво; мучилась, бѣдная, томилась и не придумала ни одной красивой смерти: весь пыль души ея выразился воплемъ, стонами, рыданьемъ. Она своими бѣлеными ручками рвала густыя косы, и еще болѣе подурнѣла, а панъ два раза присыпалъ сказать, чтобы она не убивала себя напрасно; велѣлъ сказать, что мертвыхъ слезами нельзя возвратить. Пани тогда только успокоилась, когда пришла къ ней колдунья и сказала, взявъ ее за голову: «Не крушись, мое дитятко, всему пособимъ».

V.

Рано утромъ встала панночка, умылась ключевою водой, помолилась Богу и вышла въ лѣсъ посмотретьъ на братьевъ Ивановъ. Утро было во всей красѣ: солнце ярко играло на росистой темной зелени дубовъ и ясеней; рѣшетчатая тѣнь отъ вѣтвей ихъ раскинулась по дорогѣ; въ свѣжемъ воздухѣ вѣяло ароматами ды-

кой мяты; сърый заяцъ весело прыгалъ между орхидеями; птицы привѣтствовали ясный день громкими пѣснями; въ чащѣ лѣса свистѣли дрозды, стонали иволги; въ кустахъ пѣла малиновка и веселый кобчикъ, кружась надъ боромъ, рѣзкими криками своими будиль дальнеѣ эхо. Какъ прекрасно всякое твореніе Божіе! Хорошъ бываетъ и лѣсъ.

Долго смотрѣла панночка на дорогу, теряющуюся между лѣсомъ — на дорогѣ никого не было; грустно стало панночкѣ, такъ грустно, что она хотѣла запла-
вать. Вдругъ передъ нею, какъ изъ земли выросла ста-
рушка, въ синей юбкѣ, въ лаптяхъ, съ посохомъ въ
рукѣ, съ кузовомъ и тыкою за плечами.

Вы вѣрно не разъ видѣли лѣтомъ такихъ старушекъ:
онѣ идутъ со всѣхъ сторонъ Россіи поклониться свя-
тому граду Кіеву.

Подошла старушка къ панночкѣ и начала просить
милостыни.

— Ты вѣрно на богомольѣ? спросила панночка.

— Да, дитятко.

— А издалека?

— Охъ, издалека, мой свѣтъ, изъ самаго Харь-
кова.

— И ты все пѣшкомъ идешь?

— Пѣшкомъ. Я была больна, умирала, и дала
обѣть сходить въ Кіевъ; теперь Богъ помиловалъ, под-
нялась на ноги, добреду какъ-нибудь; терплю и голодъ
и жажду. Вотъ вчера вечеромъ здѣсь, въ бору, упала
отъ усталости, да тамъ и ночь провела.

— Ты голодна? Пойдемъ ко мнѣ, я тебя накормлю
и успокою, сказала панночка.

И ,скоро въ свѣтлой комнатѣ были поставлены пе-

редь старухою лучшія кушанья и напитки. Паниочка приглашала старуху побольше кушать.

— Нѣтъ, не хочу, мое дитятко, отвѣчала она: — я сыта; пора мнѣ въ дорогу.

— Да останься, отдохни.

— Нѣтъ, я не выполню моего обѣта, когда буду идти съ отдыхомъ да съ роскошью. Прощай, мое дитятко, вотъ на тебѣ, на память, золотое кольцо; возьми его.

— Не хочу; Богъ съ тобою, старушка.

— Возьми его, говорю тебѣ, не будешь каяться; это кольцо дала мнѣ моя покойная бабушка: оно предохранить тебя отъ всякаго зла.

— Какое бы оно ни было, я его не возьму: я не торговка. Господи прости, чтобы брала деньги за угощеніе.

— Экая упрямая! ну хоть придѣнь его, посмотри какъ оно заблестить на твоей хорошенъкой ручкѣ!

Кольцо горѣло какъ огонь. Паниочка взяла его въ руку, посмотрѣла и надѣла на палецъ — паниочка была женщина!... Вдругъ ей сдѣмалось дурно, въ глазахъ потемнѣло, грудь сдавила тоска, будто тяжелый камень легъ на нее; она рванула перстень съ пальца — не тутъ-то было, какъ змѣя обвился онъ около ея бѣлаго пальчика. Паниочка пошатнулась и упала на землю.

— Теперь пани будетъ спокойна, проворчала вѣдьма и вышла изъ свѣтлицы, свиснула нечеловѣчимъ посвистомъ, отъ котораго закрутился вихорь на пыльной дорогѣ; схватилъ вихорь скверную бабу въ свои объятья, прикрылъ ее пескомъ и листьями, и выше бора стоячаго понесъ на хуторъ пана.

«Экъ нечистая сила разыгралась!» говорили братья Иваны, подъезжая къ своему дому, когда увидѣли летевшій черный столбъ вихря. Они слѣдили съ коней и, привязавъ ихъ, пошли въ свѣтлицу. Тамъ лежала мертвая панночка; она была такъ же хороша, какъ и живая; румянецъ не сбѣжалъ съ щекъ ея; опущенные рѣсицы, казалось, такъ и подымутся, такъ и засвѣтятъ изъ подъ нихъ два блестящіе глаза; а безъ дыханія лежала она; напрасно братья будили ее: она была безотвѣтна, безжизненна.

Опустивъ руки, поникнувъ головами, стояли Иваны передъ панночкою.

«Напрасно мы скликали добрыхъ молодцовъ» говорили они: «теперь мы не можемъ выполнить данного слова какъ честные православные казаки: мы поклялись или умереть или унизить передъ глазами нашей гостьи ея злую мачиху; теперь панночка умерла, и намъ остается умереть и тѣмъ выполнить свое слово. А какъ хороша она и по смерти! Мы ее не похоронимъ въ землю: жаль будетъ такую красоту засыпать сырымъ пескомъ; мы ее положимъ въ стекляный гробъ и наркнемъ гробъ хрустальною крышкой; мы ее поставимъ подъ открытымъ небомъ — пусть соловей перелетомъ полюбуется на красоту и запоетъ про нея сладкую пѣсню; пусть солнце, съ высоты смотря на нее, захотѣть заткать такими цвѣтами широкіе луга. Какъ хороша она, будто живая!» говорили Иваны, закрывая гробъ хрустальною крышкой, и слезы бѣжали по ихъ загорѣлымъ лицамъ.

Четыре наездника, закаленные въ войнѣ, у которыхъ не исторгли бы ни слезы, ни вздоха никакія пытки въ Варшавѣ или въ крымскомъ полону, которые

умѣютъ умереть съ улыбкою; проклиная своихъ враговъ, эти люди рыдали передъ трупомъ дѣвушки.

Не даромъ въ Сѣчи не было ни одной женщины.

Далеко надъ Днѣпромъ есть непроходимая пуша: клены, дубы и яворы раскинули тамъ въ разныя стороны свои вѣтви, переплели ихъ, перепутали и составили одну евѣжую, зеленую стѣну. Топоръ дровосѣка никогда не стучалъ еще въ этой пущѣ; она не слышала выстрѣла охотника. Въ этомъ лѣсу есть небольшая поляна; трава, какъ шелкъ, разлегается по ней, а посерединѣ растеть дубъ-великанъ, дѣдушка дубовъ киевскихъ; десять человѣкъ, взявшись за руки едва обнимутъ толстый пень его; подъ тѣнью вѣтвей его укроется отъ дождя сотня казаковъ съ вѣрными конями. На этомъ дубу стоитъ стеклянный гробъ, въ гробу лежить паниочка; надъ дубомъ на всѣ четыре стороны бѣлага свѣта раскинулись мертвяя тѣла братьевъ Ивановъ. Умерли добрые казаки: своими вѣрными саблями сами убили себя и — сдержали свое слово.

VI.

Летить время, летить быстрое — не остановишь его, не упросишь его, не умолишь. Осьдлай, казакъ, черкесскаго скакуна, несись, казакъ, по степи! Любο тебѣ! соколы остаются за тобою, а время быстрѣе тебя. Пожалѣй, казакъ, доброго коня, дай ему перевѣсть духъ. Ты остановился, а время ушло впередъ, и никогда не догонишь его.

Ждутъ люди весны — пришла она, цвѣтущая; когда бъ скорѣе лѣто — вотъ и лѣто шумитъ жатвою; скоро ли созрѣютъ плоды? — и осень несетъ вамъ румяные плоды. Плоды хѣроши, но какъ же пусто въ природѣ! пора бы

снѣгу — явился снѣгъ. Несносная зима! скоро ли ты минуешь, скоро ли будетъ весна?... Такъ бѣгутъ годы — и мы все недовольны... смотримъ завистливо въ будущее: тамъ есть что-то такое, тамъ чернѣеть точка. Вотъ она растетъ, близится, вотъ она передъ вами — темный гробъ! И человѣкъ не успѣлъ оглянуться, какъ прошелъ путь жизни.

Пролетѣли пятьдесятъ лѣтъ со времени смерти панночки. Пятьдесятъ лѣтъ! полвѣка, шутка ли?... О, какъ скоро прошли они: несчастный ихъ не пережилъ, счастливецъ ихъ не замѣтилъ! А панночка все лежала въ хрустальномъ гробу такъ же хороша. Днемъ надъ поляною вились лѣсные орлы и, перекликаясь въ небѣ, любовались чудною смертью казаковъ; ночью соловей садился на зеленой вѣткѣ надъ гробомъ и до восхода солнца въ звучныхъ пѣсняхъ разсказывалъ темному бору о красотѣ панночки.

Въ это время у воеводы кіевскаго Черноуса былъ молодой сынъ-красавецъ. Высокій ростъ и черныя кудри, смѣлая поступь, пріятная рѣчь дѣлали его замѣтнымъ между всѣми молодыми кіевлянами. Никогда пуля его не пролетала въ синемъ небѣ мимо быстраго сокола; ни одинъ конь на смѣль вольничать, когда рука Черноусенка управляла имъ. «Всѣмъ былъ бы казакъ» говорили добрые люди, «да загубить отецъ сына: къ чemu онъ учить его всяkimъ наукамъ?»

А какъ садеть, бывало, на коня Черноусенко, да пойдеть прогуляться между народомъ — вы ни за что бы не сказали, что онъ такой грамотный — такъ красивъ, такъ ловокъ, такъ статенъ! Посмотрите, вотъ онъ съ добрыми товарищами выѣзжаетъ на охоту; конь подъ нимъ такъ и дрожитъ, такъ и пышетъ, взвился на ды-

бы, прянуль въ сторону — сидить Черноусенко, какъ гвоздемъ прикованный, только красная лопасть казацкой шапки закружилась въ воздухѣ. Почуялъ конь на себѣ доброго сѣдока и гордо пошелъ по кіевскимъ улицамъ. Подѣль Черноусенка будуть его товарищи; и они храбрые наѣздники, и у нихъ кони черкесские, и они хороши, да такъ, какъ звѣздочки передъ свѣтлымъ мѣсяцемъ.

Мелкою рысью ѿхалъ сынъ воеводы съ своими товарищами; легкая пыль кудрявою волною разбѣгается по слѣдамъ ихъ. Ихъ оружіе блеститъ золотомъ и дорогими каменьями. Любо было посмотретьъ на нихъ; люди снимаютъ передъ ними шапки и почтительно кланяются, дѣвшушки смотрятъ изъ оконъ. Вотъ выѣхали наѣздники за городъ, поворотили по берегу Днѣпра... Вдругъ выстрѣлилъ сынъ воеводы по дикой козѣ: раненая коза бросилась въ чащу лѣса; охотники за нею, а лѣсъ становится все чаще, коза скакать все быстрѣе. Уже всѣ товарищи Черноусенка остались назади; кого толстою вѣтвью сбросило съ сѣдла, кто упалъ съ конемъ въ лѣсной оврагъ, кто, какъ въ сѣти, запутался въ дикий хмель и терновникъ; одинъ Черноусенко скакалъ по слѣдамъ раненой козы, но лѣсъ становился все чаще и чаще. Вотъ уже конь совсѣмъ наскочить на нее, а тутъ репейникъ уколетъ его въ морду — онъ бросится въ сторону, а коза уже далеко впереди. Соскочилъ Черноусенко съ вѣрного коня, выхватилъ саблю и побѣжалъ за добычею, бѣжалъ долго и выбѣжалъ на поляну.

На полянѣ, посреди зеленої, свѣтлой лужайки, стоять дубъ, на дубу блестѣлъ стеклянный гробъ, подъ дубомъ лежали четыре человѣческие останки. Видно было, что давно они лежать здѣсь: по бѣлымъ костямъ ихъ ви-

лись лѣсные колокольчики и зеленая трава. Кривыя казацкія сабли были въ рукахъ оставовъ. Подошелъ Черноусенко къ стеклянному гробу, взглянулъ на него — и опустилъ руки. А коза давно уже исчезла: въ первый разъ добыча ушла послѣ выстрѣла воеводскаго сына.

Скоро прїѣхали и товарищи Черноусенка, сняли съ дуба стеклянныи гробъ и поставили на зеленои муравѣ. Прекрасная, какъ ясное утро, лежала въ немъ панночка; румянецъ игралъ на ея щекахъ; губки, казалось, такъ и улыбнутся, такъ и заговорятъ; она сложила на груди крестомъ руки, на указательномъ пальцѣ правой руки ея горѣлъ перстень.

Хорошо, что зналъ Черноусенко всякия науки! Только взглянуль онъ на перстень, точасъ понялъ въ чёмъ дѣло, сказалъ какія-то умныя слова, схватилъ перстень съ руки панночки и бросиль его на землю: гдѣ прокатилось оно, тамъ трава выгорѣла, тронулось дерева — дерево засохло.

Тихо открыла панночка глаза, поднялась изъ гроба и сказала: «какъ долго спала я!» Тутъ... тутъ я не скажу ничего; я не былъ въ лѣсу съ Черноусенкомъ въ то время, и мнѣ никто не рассказывалъ, что тамъ говорилось и дѣжалось.

Вечеромъ панночка уже сидѣла въ домѣ воеводы. Воевода и сынъ его ласкали панночку и разспрашивали ее, и кормили яствами, и поили напитками, а казакъ-посланецъ на быстромъ скакунѣ летѣлъ уже далѣко оть Киева въ хуторъ стараго пана кликать его на радость великую и просить благословенія на свадьбу дочери съ воеводскимъ сыномъ.

VII.

Какъ ты красивъ, мой родной Кіевъ! добрый городъ, святой городъ! какъ ты красивъ, какъ ты свѣтель, мой сѣй старикъ! Чтò солнце между планетами, чтò царь между народомъ, то Кіевъ между городами. На высокой горѣ стоитъ онъ, опоясанъ зелеными садами, увѣнчанъ золотыми маковками и крестами церквей, словно святой короною; подъ горою широко разбѣжались живыя волны Днѣпра-кормильца. И Кіевъ и Днѣпръ вмѣстѣ... Боже мой, что за роскошь! Слышите ли, добрые люди, я вамъ говорю про Кіевъ, и вы не плачете отъ радости? Вѣрно вы не русскіе.

А сколько тамъ церквей, сколько въ нихъ богатства! Войдите хоть въ соборъ Софійскій — да тутъ толпа народу: здѣсь поютъ, вѣнчаютъ. Дѣлать нечего, въ другое время мы съ вами разсмотрѣли бы церковныя рѣдкости Кієва, и гробницу Ярослава, и мозаику греческую, и много-много кое-чего, а теперь поглядимъ на свадьбу.

Церковь горить въ огнѣ отъ множества свѣчей. Священникъ вѣнчаетъ Черноусенка съ панинчицою; кругомъ толпятся радственники; недалеко отъ налоя стоитъ старый панъ; онъ бѣль какъ снѣгъ; преклоняя дрожащи колѣни, онъ благодаритъ Бога, что далъ ему увидѣть dochь еще разъ и въ такую счастливую минуту.

. Когда молодые поцаловались — въ церкви раздался глухой стонъ и какая-то женщина упала на доль — это была старая пани. Пятьдесятъ лѣтъ сняли съ лица ея красоту и свѣжестъ молодости, и провели на немъ рѣзкія морщины: она не могла перенести красоты и счастія своей падчерицы, когда сама была дрях-

лою старухой. Папи упала на полъ и умерла отъ за-
висти.

А въ Киевѣ долго еще въ ту ночь гремѣли веселыя
свадебныя пѣсни, долго горѣли огни, долго еще пирова-
ли наши дѣдушки; нѣ пѣсни постепенно умолкали, огни,
одинъ за другимъ, угасли, все утихло, заснула Киевъ...
только у подошвы его лѣниво протекаетъ Днѣпръ, да
надъ святыми церквами идутъ себѣ обычно дорогой
божьи здѣздочки.

1838 г.

ЛУКА ПРОХОРОВИЧЪ.

РАЗСКАЗЪ.

I.

Есть на Петербургской Сторонѣ много улицъ; иныя изъ нихъ лѣтомъ до того бывають сухи, что можно ходить по нимъ не замаравъ грязью сапоговъ, другія постоянно залиты тиною, а нѣкоторыя прикрываютъ свое болотистое достоинство досчатою мостовой, такъ - что съ первого взгляда онъ покажутся вамъ путными, а попробуйте по нимъ поѣхать: доски застучатъ, запрыгаютъ подъ колесами вашего экипажа, какъ клавиши на старыхъ клавикордахъ; изъ всякой щелки какая-то нечистая сила станеть бросать грязью прямо вамъ въ лицо, хотя бы вы были и въ чинахъ и въ крестахъ. Вашъ прекрасный плащъ приметъ пѣгій цвѣтъ; ваша манишка останется въ пятнахъ; ваше свѣжеѳ, приятное лицо станеть похоже на грудь рябчика — смѣю васъ увѣрить.

Утомительно-длинно вытянулась на Петербургской Сторонѣ такая Клавикордная Улица; однимъ концомъ

она выходитъ на Большой проспектъ, а другимъ чутъ ли не упирается въ Ледовитое Море. Я думаю, объ этомъ должно быть извѣстіе въ путевыхъ запискахъ къ сѣверному полюсу капитана Росса.

По обѣимъ сторонамъ Клавикордной Улицы есть до-счатые троттуары; за троттуарами, какъ грибы выросли, сѣренкіе, одноэтажные деревянные домики. Иногда, въ окошкахъ этихъ домиковъ вы увидите розовое лицо лѣвушки, или трубку съ чубукомъ, или артиста, въ одномъ жилетѣ, играющаго на скрипкѣ; иногда изъ форточки какой-нибудь чепчикъ торгуетъ сига; иногда кто-нибудь отворить форточку, плюнуть на троттуаръ да и затворить ее опять; а иногда на окошкѣ растуть красные и бѣлые бальзаминь. Удивительное разнообразіе!

Въ одномъ изъ этихъ домиковъ есть мелочная лавочка. Вы ее тотчасъ отыщете днемъ по вывѣскѣ, на которой, въ голубомъ полѣ, нарисованы: галстукъ, арбузъ, окорокъ ветчины, двѣ бритвы и маска съ надписью № 1; а ночью подъ этой вывѣской горить фонарь, единственный во всей Клавикордной Улицѣ, полярная звѣзда этого полночного края. Въ мелочной лавочкѣ есть пироги, конфекты, карты, сѣрый котъ и хозяинъ Иванъ Петровичъ, въ красной рубахѣ, съ черной окладистой бородою. У этого самаго Ивана Петровича нанимай за 30 рублей въ мѣсяцъ маленькую комнату, со столомъ и прислугою, Лука Прохоровичъ. Въ комнатѣ Луки Прохоровича было все чрезвычайно опрятно: стояли кровать, березовый столъ, три стула и противъ самыхъ дверей комодъ; на комодѣ лежали бритвенный ящикъ, палочка сургуча, два визитные билета и маленькое зеркало, которое во время бритвя хозяина привѣшивалось къ окошку; въ углу темнѣли сапоги и самоваръ. Самъ

Лука Прохоровичъ бытъ губернскій секретарь, служилъ чиновникомъ въ какомъ-то департаментѣ, имѣлъ прекрасные сѣрые брюки, здравый разсудокъ, виц-мундиръ и за 15 лѣтъ пряжку. Онъ бытъ человѣкъ аккуратный; лицо его выражало какое-то подобострастіе: казалось, онъ считалъ себя виновнымъ предъ всяkimъ коллежскими асессорами, и въ департаментѣ слыть великимъ мастеромъ чистить перья; начальникъ отдѣленія не могъ носить другимъ перомъ, какъ не очинки Луки Прохоровича. Всѣ полагали, что Лука Прохоровичъ, при будущей наградѣ, получить лишнюю сотню рублей.

Когда вы хотите видѣть героя моего рассказа (вы жеѣдите смотрѣть носорога), идите на Петербургскую Сторону, въ длинную Клавикордную Улицу часу въ девятомъ утра, въ воскресенье: вы увидите на улицѣ кучу мальчишекъ, которые передъ окнами одноэтажнаго домика строятъ гримасы и показываютъ языки — это вѣрный признакъ квартиры Луки Прохоровича: онъ въ это время стоять передъ окномъ, на которомъ привѣшено маленькое зеркало, стоять съ намыленнымъ лицомъ, съ бритвою въ рукахъ и, надувши обѣ щеки, брѣть подбородокъ.

II.

Въ четвергъ Лука Прохоровичъ пришелъ домой ранѣе обыкновеннаго: директоръ департамента былъ не здоровъ, начальникъ отдѣленія уѣхалъ куда-то на имѣнны, а малкимъ чиновникамъ это на-руку. Въ три часа Лука Прохоровичъ былъ уже дома и велѣлъ кухаркѣ Агафѣ подавать обѣдать, а самъ, между тѣмъ, снялъ виц-мундиръ, осмотрѣлъ на немъ всѣ нуговицы, бережно сложилъ его и спряталъ въ комодъ, въ самый

нижний ящикъ; потомъ изъ комода вынуль полотенце, вытеръ комодъ, сургучъ, зеркальце, визитные билеты и окна, и опять спряталъ полотенце. Послѣ надѣлъ халатъ, поймалъ на рукавѣ муху и, оборвавъ крылья, бросилъ ее на полъ, прошелся по комнатѣ и посмотрѣлъ на муху, точно ли она безъ крыльевъ. Въ это время Агафья поставила на столъ приборъ. Лука Прохоровичъ взялъ стулъ, накрылъ его листомъ бумаги, приставилъ къ столу, сѣлъ и, смотря въ тарелку, спросилъ Агафью:

- Что у тебя есть?
- Щи да каша.
- А картофель въ мундирахъ?
- Есть.
- Ну, картофель прежде, а потомъ прочее.
- Да это я всегда такъ дѣлаю.
- И прекрасно. Порядокъ — вещь важная.

Агафья поставила передъ чиновникомъ полную тарелку варенаго картофеля и вышла.

Лука Прохоровичъ взялъ салфетку, заложилъ одинъ конецъ ея за галстукъ и началъ чистить картофель. Уже земляное яблоко вылиняло изъ своего сѣраго мундира и янтарнымъ шаромъ лежало на ладони Луки Прохоровича; онъ, какъ виновникъ преобразованія, съ улыбкою посмотрѣлъ на него, взялъ ножъ, разрѣзаль картофель на-двоє и, захватя двумя пальцами щепотку соли, началъ медленно солить обѣ половинки. Вдругъ лицо губерискаго секретаря приняло самое серьёзное выраженіе; онъ понюхалъ вокругъ себя воздухъ, посмотрѣлъ внимательно на картофель и, поднявъ кверху брови и плечи, прошепталъ въ полголоса: «знакомый ароматъ». Вырочемъ, волненіе Луки Прохоровича скоро успокоилось и онъ хотѣлъ уже съѣсть картофель безъ даль-

нихъ размышлений, уже языкъ его готовъ бытъ принять на себя это приятное бремя, какъ дверь съ шумомъ отворилась и вошелъ — кто бы вы думали? вошелъ маленький человѣкъ въ парикѣ, въ бѣломъ галстухѣ, на которомъ красиво обвилась орденская лента — словомъ, начальникъ отдѣленія Луки Прохоровича — ну, тотъ самый коллежскій совѣтникъ, который всегда такъ занятъ, всегда играетъ въ карты и отъ котораго всегда такъ чрезвычайно пахнетъ мускусомъ.

Губернскій секретарь хотѣлъ встать, но неожиданное посѣщеніе такого великаго лица совершенно сбило его съ толку; онъ приподнялся и опять присѣѣлъ. Наконецъ въ одинъ прыжокъ очутился подъ комода и началъ отпирать его, чтобъ достать виц-мундиръ. Руки бѣднаго чиновника дѣйствовали неловко; потъ лился съ лица его, упрямый замокъ, какъ сердитая собака, щекалъ зубами и не отпирался.

Хорошія были времена въ древности! Стѣть только прочитать миѳологію грековъ, чтобъ полюбить ихъ. Боги и полубоги сходили въ счастливые долины Аркадіи, и жили съ людьми, и учили ихъ кое-чему; но это такъ давно было... Теперь мы уже отвыкли отъ этой мысли, и вдругъ начальникъ отдѣленія въ гостяхъ у писца на второмъ окладѣ; чернильный аристократъ на Петербургской Сторонѣ, въ Клавикордной Улицѣ, въ маленькому домѣ, въ квартирѣ рядомъ съ мелочную лавочкой — это непонятно! это смущило бы и не такого робкаго человѣка, какъ Лука Прохоровичъ. Петербургъ — не Аркадія.

Минуты двѣ начальникъ отдѣленія стоялъ въ недоумѣніи отъ такого странного пріема. Наконецъ онъ понялъ въ чемъ дѣло; сердце его наполнилось невыра-

зимыть удовольствіемъ отъ созерцанія собственнаго величія, уста разразились громкимъ, пронзительнымъ смѣхомъ. Въ это время ящикъ со стукомъ отворился и черезъ двѣ секунды Лука Прохоровичъ стоять уже передъ своимъ начальникомъ въ виц-мундирѣ.

— Ха-ха-ха-ха! пищалъ коллежскій совѣтникъ: — къ-чему это, Лука Прохорычъ? чтѣ за комплиментъ такой! Ха-ха-ха! Это право смѣшно. Хе-хе-хе! любезнѣйши!

— Помилуйте, Иванъ Питовичъ, я знаю долгъ службы... И Лука Прохоровичъ низко поклонился, разведя руки въ стороны. — Чему я обязанъ такимъ счастіемъ?

Лука Прохоровичъ опять низко поклонился.

— Вашимъ талантамъ, любезнѣйши! отвѣчалъ Иванъ Питовичъ, протягивая губернскому секретарю правую руку, и въ это время почесывая лѣвою свою ногу. Хе-хе-хе! да выныте изъ-за галстуха вашу салфетку. То-то молодые люди!

Лука Прохоровичъ опять поклонился и опять прорбормоталъ чтѣ-то.

Я не стану описывать ихъ разговора, впродолженіе котораго Иванъ Питовичъ объяснилъ Лукѣ Прохоровичу, что онъ его *ужасно* любить, что давно хотѣлъ побывать у него, что теперь чрезвычайно радъ, заставъ его дома и, въ-заключеніе, пригласилъ къ себѣ на вечеръ.

Теперь, съ позволенія вашего, я расскажу, что было съ Лукою Прохоровичемъ за нѣсколько мѣсяцевъ передъ этимъ.

III.

Черезъ три дома отъ квартиры Луки Прохоровича есть домикъ съ мезониномъ и зелеными ставнями, при-

надлежащий женѣ отставнаго титулярнаго советника Азбукина, съ 17 -ти лѣтнею дочерью Ольгою Гавриловною. Его жена умерла десять лѣтъ назадъ. Всякое утро полное лицико Ольги Гавриловны, какъ розовый цветокъ, блестѣло у окна между густыми вѣтвями темнозеленой герани; всякий разъ, проходя мимо этого окна въ департаментъ, Лука Прохоровичъ думалъ: «какая красавица!» И, подивитесь, его форменное сердце ощущало чтѣ-то странное; Лукѣ Прохоровичу казалось, будто Семенъ Семеновичъ, его сослуживецъ, шептать ему по секрету: «Лука Прохоровичъ! васъ представили къ наградѣ!» — «Но Семенъ Семеновичъ вѣчно лжетъ; а можетъ-быть, теперь и не лжетъ, можетъ-быть, и представили?» думалъ губернскій секретарь, и ему было и грустно и радостно.

Лука Прохоровичъ ходилъ да ходилъ въ департаментъ, а Ольга Гавриловна все смотрѣла да смотрѣла въ окно. «Вѣрно я ей приглянулся» подумалъ Лука Прохоровичъ, и началъ собирать справки. Оказалось, что Ольга Гавриловна была единственная наслѣдница домика съ мезониномъ и зелеными ставнями; что отецъ ея получалъ небольшой пансіонъ; что сами они живутъ въ первомъ этажѣ, и живутъ препорядочно, а мезонинъ отдаются въ наемъ какому-то отчаянному поэту и бѣлошвейкѣ. «Недурно, право, недурно, если бъ я женился» шепталъ Лука Прохоровичъ: «а почему же мнѣ и не жениться?» Задавъ себѣ этотъ вопросъ, Лука Прохоровичъ надѣлъ галоши, шинель, шляпу, и отправился въ департаментъ.

Это было въ концѣ мая. Природа Петербурга начинала оживать; берески одѣлись желтозелеными листочками; на Клавикордной Улицѣ стоялъ тошній гусь,

вытянувъ длинную шею; частый дождикъ тихо падалъ на землю. Лука Прохоровичъ подошелъ къ домику съ мезониномъ, взглянулъ въ окошко: тамъ не было ни герани, ни знакомаго личика; онъ шагъ впередь — стукнула калитка и — кто ошишеть его удивленіе? передъ нимъ стояла сама Ольга Гавриловна, въ зеленой кацавейкѣ, накинувъ на голову пестрый платочекъ, держа въ рукахъ горшокъ знакомей герани. Она бережно поставила герань на троттуаръ и, поднявъ глаза, увидѣла передъ собою Луку Прохоровича.

— Это очень полезно, сказалъ Лука Прохоровичъ, вѣжливо приподнимая рукою шляпу.

— Да, отвѣчала Ольга Гавриловна, покраснѣла, какъ фуларъ начальника отдѣленія, ступила шагъ назадъ и захлопнула за собою калитку.

Лука Прохоровичъ пошелъ далѣе. «Боже мой! думалъ онъ, какой былъ прекрасный случай! И что я за осель такой! упустилъ изъ рукъ да и только. Какъ подумаешь, какъ дѣйствуютъ въ такихъ обстоятельствахъ офицеры — плакать хочется! Явится, покрутить усы, кивнетъ вполнегомъ — и началь говорить разныя разности; а дѣвушка улыбается, а дѣвушка пріѣздаетъ, а онъ фонаберится, а онъ шаркаетъ, такъ и лѣзетъ на горло. Чрезъ десять минутъ они уже танцуютъ мазурку, и шепчутся, и смѣются; а чрезъ три дня смотри — офицеръ уже обладатель прекраснаго домика!... Правда, и между нашимъ братомъ есть бойкія головы, да все уже не то. Семенъ Семеновичъ, напримѣръ, душа общества!... А у меня еще чортъ знаетъ какая натура, самая скверная; да и хожу я какъ пугало. Впрочемъ, она, кажется, меня любить: она покраснѣла, когда сказала да, а Семенъ разсказывалъ,

что въ танцклассѣ у М—ча онъ говорилъ съ какою-то баронессою; баронесса покраснѣла и полюбила его на-вѣки, да и полюбила, какъ онъ говоритъ, какъ-то пламенно, безусловно... Чортъ его знаетъ, мастеръ рассказывать, бездѣльникъ, хоть и вреть часто! Ну, не баронесса, а все какая-нибудь женщина; да дѣло въ томъ, что покраснѣла и полюбила. Этого-то намъ и надо. Да, Ольга Гавриловна меня любить». Думая такимъ образомъ, Лука Прохоровичъ пришелъ въ департаментъ, отдалъ свой планъ служителю и вошелъ въ канцелярію.

На слѣдующій день въ департаментѣ замѣтили, что у Луки Прохоровича новые запонки, чрезъ два дня новый галстукъ, чрезъ недѣлю на старомъ плащѣ новый бархатный воротникъ.

IV.

На часахъ департамента ударило одиннадцать. Вся канцелярія собралась вокругъ молоденькаго титуллярного совѣтника и щупала у него сукно на вицмундирѣ. Титуллярный совѣтникъ, всѣмъ и каждому въ особенности, разъяснялъ, гдѣ, какъ и по какой цѣнѣ куплено сукно, кто шилъ вицмундирѣ, что заплачено за работу, и въ канцеляріи поздравляли его съ обновою.

— А помните ли вы, какой фракъ былъ на Каратыгинѣ въ прошедшую среду? сказалъ, улыбаясь, одинъ изъ чиновниковъ.

— О, да, чудеснѣйшій! совершенно атласный, подхватилъ чиновникъ съ мушкой на носу: — это, кажется, въ Гамлетѣ!

— Помилуйте! кричалъ Семенъ Семеновичъ: — въ Отеллѣ! Развѣ вы забыли? Что за прелестная трагедія

Я былъ въ ложѣ съ маркизою Монамуръ; маркиза была чрезвычайно растрогана; я рыдалъ какъ ребенокъ. «Не плачьте, Семенъ Семеновичъ, сказала она: это...»

— А по-моему, такъ Воротниковъ лучше, говорилъ человѣкъ съ прошѣдью, нюхая табакъ.

— Чѣмъ вы!...

— Да, лучше; не въ примѣръ лучше! Какъ онъ — нечистый его знаетъ — умѣеть ломать языкъ, совершенно нѣмецкій подмастерье. Когда я былъ на чугунномъ заводѣ, бывало, привозить сапоги нашему директору, съ Вознесенскаго Проспекта, бѣлобрысый нѣмчикъ — можетъ, вы его знаете, тутъ, недалеко отъ Синаго Моста, его магазинъ; онъ такой рыжеватенький съ красными бакенбардами — бывало, пріѣдетъ да станетъ говорить — ничего не поймешь, а шилъ славно.

— А чѣмъ, вы купили домъ?

— Нѣтъ, не совсѣмъ, отвѣчалъ старичикъ: — я говорю о нѣмецкомъ подмастерью, знаете, тутъ у Синаго Моста.

— Покупайте, покупайте скорѣе, почтеннѣйший! говорилъ Семенъ Семеновичъ: — да задайте намъ цирь, позовите кавалергардскую музыку. За дамами дѣло не станетъ, я это беру на себя: графиня Меледа съ фамиліей, баронесса Сенситивъ, семейство Прыгунковыхъ — и дѣло въ шляпѣ.

— Полно вратъ, Семенъ Семенычъ! сказалъ столонаачальникъ.

— Вамъ все врешь! Посмотрѣли бы вы, какъ я третьягодня танцевалъ соло на одномъ дипломатическомъ обѣдѣ... *

— На обѣдѣ соло?

— Чѣмъ жь вамъ тутъ удивительного? Вы обѣдъ

принимаете слишкомъ буквально; сначала, разумѣется, бываетъ довольно - серьёзно: супъ, мадера, мрачные трюфели, испанскія дѣла, христиносы, альбиносы и всякая сволочь, а подъ конецъ запѣнится шампанское, загремятъ стулья, посланница изъ Страсбурга сядетъ за рояль — и ишьша потѣха.

Тутъ Семенъ Семеновичъ поднялъ кверху руки, наклонилъ голову къ лѣвому плечу и граціозно повернулся на одной ножкѣ.

— Да, продолжалъ Семенъ Семеновичъ: — когда я протанцевалъ соло, танцмейстеръ Эбергардъ бросился мнѣ на шею. «Съ-этихъ-поръ вы другъ мнѣ» сказалъ онъ: «идите на театръ; вотъ тамъ семь тысячъ жалованья и четыре бенефиса». За дружбу благодаренъ, а танцевать не намѣренъ за деньги; покорно васъ благодарю...

— Да, кажется, третьягодня мы съ вами были...

— А знаете ли, вѣдь Лука Прохорычъ скоро разбогатѣть не на шутку?

— Полно вамъ шутить, Семенъ Семеновичъ! это я вовсе не для себя...

— Ба! какъ-такъ? спросили всѣ чиновники.

— А вотъ, послушайте. Вчера американскій секретарь поручилъ мнѣ, по дружбѣ, взять билетъ въ польскую лотерею. Признаюсь, это мнѣ стоило большихъ хлопотъ: надо было мнѣнять американскія деньги; у Штиглица наконецъ все окончили, прѣѣзжаю въ контору и застаю тамъ Луку Прохоровича. Какъ вы думаете, онъ рискнулъ взять билетъ! «Браво, браво!» сказалъ я, выигрываете, сдѣлайте балъ, попляшемъ, повеселимся, и...»

Семенъ Семеновичъ умолкъ, какъ-будто кто его ударилъ щелчкомъ по носу.

Въ канцелярии запахло мускусомъ, передъ кружкомъ стоялъ начальникъ отдѣленія. Чиновники медленно, шагъ за шагомъ, начали отступать къ своимъ мѣстамъ... Нѣтъ, это не пугливые школьніки, которые, какъ стадо овецъ отъ волка, бросаются въ разныя стороны, видя приближеніе школьнаго педагога; нѣтъ, это отступали люди съ бакенбардами, съ просьбою, отступали съ чувствомъ собственнаго достоинства, сохранивъ обычную важность своего званія... Хвала имъ!

— Очните перышко, сказалъ Иванъ Питовичъ, обращаясь къ Лукѣ Прохоровичу. О чёмъ вы такъ шумѣли, Семенъ Семеновичъ?

— Ничего-съ. Это я только рассказывалъ, что Лука Прохоровичъ взялъ билетъ въ польскую лотерею.

— А, Лука Прохоровичъ! Отъ души желаю вамъ счастья. А какой нумеръ вашъ?

— 666-й.

— Посмотрите, когда вы не выиграете. Это число кабалистическое. Я самъ хотѣлъ взять этотъ нумеръ... А что, вы переписали отношеніе, которое я вамъ далъ вчера вечеромъ?

— Вотъ оно-съ.

— Хорошо, хорошо; только надобно писать ваше превосходительство прописными буквами. Да; а число 666 всегда выигрываетъ.

И Иванъ Питовичъ вышелъ, а въ другую дверь вошелъ сторожъ департамента. Онъ сказалъ что-то на ухо Лукѣ Прохоровичу, и Лука Прохоровичъ, застегнувъ вицмундиръ, вышелъ изъ комнаты.

— Чтò, его Иванъ Питовичъ требуетъ? спросилъ Семенъ Семеновичъ, подбѣгая къ сторожу.

— Никакъ нѣть, ваше благородіе: къ нимъ прішелъ какой-то человѣкъ съ дамою.

— А дама хорошенъкая?

— Красавица, ваше благородіе.

И Семенъ Семеновичъ исчезъ изъ канцеляріи. Онъ побѣжалъ въ темную комнату, гдѣ, въ шкатулу, были спрятаны платья чиновниковъ, скинуль съ себя юртукъ съ галунами, такъ краснорѣчиво обличавшій его канцелярское званіе, надѣлъ синій фракъ, поправилъ галстукъ и чрезъ минуту очутился въ передней, гдѣ разговаривалъ съ Лукою Прохоровичемъ пришедшей незнакомецъ.

— И потому-то, говорилъ незнакомецъ:—замѣтивъ вашъ вицмундиръ, я спросилъ въ лавочкѣ ваше имя, отчество и фамилію, и, имѣя дѣло въ департаментѣ, прямо рѣшился отнестиась къ вамъ съ моѣю покорнѣйшею просьбой.

Тутъ слѣдовало объясненіе дѣла, которое ни ко мнѣ, ни къ вамъ не относится.

— Чѣдѣ только можно будеть, съ величайшимъ удовольствіемъ... отвѣчалъ Лука Прохоровичъ.

— Рѣшительно все, сказалъ Семенъ Семеновичъ, вѣжливо кланяясь незнакомцу. — Извините, что я вмѣшался вовсе непрошеннный; но вы просили Луку Прохоровича, а я такъ люблю его, что всякую просьбу готовъ выполнить вмѣсто него. Знаете, это называется жить попріятельски; притомъ же это дѣло у меня въ экспедиції.

— Покорнѣйше вѣсь благодарю. Я радъ, что нащелъ такихъ добрыхъ людей. Видишь, Олинька, а ты не хотѣла зайти въ департаментъ!

Дѣвушка потупила глаза и поправила мантю.

— Мы теперь идемъ въ гостинный дворъ, но къ тренъ часамъ будемъ дома. Смѣю надѣяться, что вы, Лука Прохоровичъ, не откажете на перепуты пожаловать къ намъ откушать хлѣба-соли; вѣдь вы знаете нашъ домъ.

— Съ большимъ удовольствиемъ, отвѣчалъ Лука Прохоровичъ.

— Ежели по дорогѣ и вашему пріятелю... не имѣю чести знать имя и отчество.

— Хотя не по дорогѣ, но если вы позволите воспользоваться вашимъ пріятнѣйшимъ знакомствомъ, отвѣчалъ Семенъ Семеновичъ: — то...

— Итакъ, смѣю надѣяться, вы не забудете старика Азбукина, мы васъ ожидаемъ, сказалъ незнакомецъ, низко кланяясь и, пожимая руки новымъ пріятелямъ, вышелъ изъ департамента.

Это былъ тотъ самый Азбукинъ, котораго домъ находился черезъ три дома отъ квартиры Луки Прохоровича. А эта дѣвушка Ольга Гавриловна — его дочь. Лука Прохоровичъ обезумѣлъ отъ радости.

Ольга Гавриловна, которую онъ только могъ созерцать въ окнѣ, за стекломъ, какъ дорогой тепличный цветокъ, Ольга Гавриловна та самая, которой покраснѣла, когда шелъ дождикъ, была здѣсь въ департаментѣ. Этого мало: я буду сегодня у нихъ *въ собственномъ домѣ!* думалъ Лука Прохоровичъ, удивляясь, какъ судьба свела его съ Азбукинымъ. И если бъ онъ воспитывался тамъ, гдѣ его сослуживецъ, чиновникъ съ большимъ красивымъ носомъ, то написалъ бы огромное похвальное слово судьбѣ, по правиламъ бургіевой реторики. Слава Богу, что онъ не учился! Лука Прохоровичъ задумался, и въ три часа едва могъ его растол-

кать Семенъ Семеновичъ. Они надѣли плащи, галоши, и отправились.

Лука Прохоровичъ и Семенъ Семеновичъ весело провели время у новаго своего знакомаго: обѣдали, пили чай, играли въ висть, и возвратились домой далеко за полночь. Я говорю: «возвратились», потому-что Лука Прохоровичъ пригласилъ къ себѣ ночевать Семена Семеновича, который жилъ на Пескахъ «опасаясь наводненія» какъ говорилъ онъ.

— Чѣм же, Лука Прохорычъ, вы можете одолжить меня этой бѣдѣлицей, о которой я просилъ дорогою?

— Двадцатью рублями? Извините, Семенъ Семеновичъ, ей-богу нѣть.

— Ну, нѣть, такъ нѣть. Отчего жъ вы такъ кривляетесь? я, вѣдь, такъ сказаль, только подружески; мои деньги всѣ разсчитаны, впередъ. Это мое правило. Но вдругъ проклятая свадьба все разстроила.

— Развѣ вы женитесь?

— Боже сохрани! Пона жизнь кипитъ въ насъ, къ чему связывать себя? Я живу, какъ говорилъ покойный Пушкинъ:

Какъ бабочка, съ букета на букетъ летаю
И время весело препровождаю.

А? каковы стишкі?

— Это вамъ говорилъ Пушкинъ?

— Нѣть, это было гдѣ-то напечатано, кажется, въ «Онѣгінѣ». Впрочемъ, за годъ до свадьбы Пушкина мы съ нимъ сошлись-было, и сдѣлались приятелями. Вотъ, однажды я спрашивала: «что вы не женитесь, Александръ Сергеевичъ?»

«Ахъ, милый другъ Семенъ Семеновичъ!

Я, какъ бабочка, съ букета на букетъ порхаю
И время весело препровождаю..

Въ это время офиціанъ несъ мимо насъ чай, я и говорю Пушкину: «неугодно ли чашку чаю?»

«Да вы поэтъ», сказалъ Пушкинъ.

«Куда намъ!»

«Какъ, куда намъ? да этотъ стихъ... позвольте мнѣ напечатать — вотъ что значитъ экспромтъ! вы поэтъ».

«Не то, чтобы поэтъ, а такъ, признаться, люблю писать. Когда я былъ въ пансіонѣ, много мнѣ доставало за любовь къ поэзіи; я и теперь помню посланіе къ чижику... виновать, къ нашему нѣмецкому учителю:

Учитель въ синемъ сюртуке
И въ старомъ парикѣ;
Плащъ у него надѣть налегкѣ,
Идеть съ тросточкою въ рукѣ...

И такъ далѣе; оно большое».

«Сколько тутъ поэзіи!» закричалъ Пушкинъ, когда я кончилъ стихи: «въ сюртуке, парикѣ, налегкѣ и въ рукѣ!» Тутъ онъ меня началъ приглашать въ сотрудники «Библіотеки для Чтенія». Оно хорошо, подумалъ я; но за славу я долженъ жертвовать всѣмъ, а денегъ я съ Пушкина ни за что бы не взялъ... я размыслилъ, да и отказался.

«Дайте хоть стихи», сказалъ Пушкинъ.

«Стихи возьмите». Скоро послѣ этого Пушкинъ умеръ и стихи пронали — да и къ лучшему, подумалъ я: я неизвѣстенъ въ литературѣ, такъ спокойнъ въ канцеляріи. И вы, пожалуйста, Лука Прохорычъ, не пересказывайте объ этомъ въ департаментѣ. Да вы спите, почтейший?

— Нѣтъ, я все это думалъ, о какой вы свадьбѣ говорили?

— Эгѣ! да вѣсъ что-то занимаетъ свадьба. Я говорилъ о своей свадьбѣ; я женюсь на Ольгѣ Гавриловнѣ. А? чѣдѣ же вы на меня такъ смотрите? Поймались? Признайтесь откровенно, вы пылаете любовью къ Ольгѣ Гавриловнѣ?

— Полно вамъ! я совсѣмъ не пылаю.

— Пылаете, пылаете! вы ее обожаете какъ существо, которое должно...

— Перестаньте! она...

— Такъ! любовь скромна... обожаете какъ существо, которое должно украшать жизнь вашу. Притомъ же у нея хорошенъкій домикъ; вѣдь это нехудо?

— И домикъ маленький!...

— Не пугайтесь, я очень хорошо помню стихи Пушкина; вы — дѣло десятое: вы человѣкъ въ лѣтахъ, съ чинами. Женитесь, Лука Прохорычъ, берите меня шаферомъ, задайте балъ, а дамъ я доставлю: у меня знакомство все иностранное, европейское. Я знаю, что ваша свадьба не будетъ такъ пышна, какъ эта проклятая, чѣдѣ лишила меня средства завтра быть въ театрѣ. Представьте, я былъ шаферомъ у одного моего пріятеля, конногвардейского полковника: одинъ бѣлый атласный жилетъ 50 р., шесть паръ бѣлыхъ перчатокъ, карета и прочее... словомъ, оно мнѣ стало сотни четыре! Рѣшительно всѣ деньги вышли, а завтра балетъ «Марсъ и Венера», и «Филатка» — и посмотреть и посмѣяться въ волю! Притомъ же, трѣтьягодня, пріѣхалъ одинъ мой знакомый, почетный гражданинъ изъ Ливерпуля. Его жена — прелесть, чѣдѣ за почетная гражданичка! Она хочетъ посмотреть нашъ русскій театръ.

«Вы, говорить, достанете мнѣ ложу?» Ну, чтò бы вы сказали?

— Я бы сказалъ, что у меня нѣть денегъ.

— Хороши вы! Какъ можно! Я сказалъ ей: «миледи, если я могу чѣмъ доставить вамъ удовольствіе — весь къ вашимъ услугамъ». — «То-то, смотрите, не ударьте лицомъ въ грязь!» И плутовка погрозила пальчикомъ... И чтò послѣ этого? завтра театръ, а денегъ не хватаетъ взять ложу... Еслибъ вы, Лука Прохорычъ, искали — а?

— Ахъ, Боже мой! гдѣ же взять? Вы знаете, что изъ моего жалованья и двухъ рублей въ мѣсяцъ не остается.

— Кто и говорить о жалованьѣ! Долго ли бы я могъ жить на свѣтѣ съ моими 400 р. въ годъ? но посторонніе доходы...

— О постороннихъ тоже нельзя и думать.

— Полноте скромничать! Вѣдь вы же нашли денегъ на лотерею; вѣрно не изъ жалованья.

— Ну, вотъ и лотерея! вы, Богъ-знаетъ, какъ ввели меня въ эту лотерею. Теперь вся канцелярія знаетъ и Иванъ Питовичъ знаетъ, а билетъ-то совсѣмъ не мой.

— Зачѣмъ же вы тогда сказали, что онъ вашъ?

— Да такъ, вы меня сбили въ толку; я не зналъ, какъ и признаться; вы видите, это билетъ нашей кухарки.

— Вы, пожалуй, скоро скажете и на дворника.

— Я, ей-богу, не шучу. Вотъ, извольте видѣть, въ чёмъ дѣло: эта кухарка въ иѣсколько лѣтъ своей службы скопила немного денегъ и хотѣла положить ихъ въ ломбардъ, какъ вдругъ приснилось ей, что она сдѣла-

лась барыней. Она пошла къ ворожеѣ, воть кеторая живеть у крестовскаго перевоза, и ворожея посовѣтовала ей взять билетъ въ лотерею. Какъ я ни отговаривалъ, такъ нѣтъ: «возьмите, Лука Прохорычъ», да и только. Дѣлать нечего, пошелъ да и взялъ; а вы тутъ откуда ни возьмись, и разсказали въ канцеляри.

— Тѣмъ лучше! Пусть ихъ думаютъ, что у васъ много денегъ.

— Спасибо, какъ возьмутъ въ соображеніе при нарадѣ, такъ и дадутъ меньше сотню-другую.

— Худо вы знаете, почтеннѣйшій! Богатому скорѣй дадутъ болѣе; всякий подумаетъ: онъ привыкъ къ роскоши, ему больше и надо; онъ бываетъ въ хорошихъ обществахъ, станеть, хвалить тамъ своихъ начальниковъ — имъ же лучше. Право, не знаете вы свѣта, Лука Прохорычъ! А хороша ваша кухарка?

— Такъ-себѣ, женщина здоровая.

— А молоды?

— На крестьинахъ у нея не былъ, а полагаю, что будетъ за тридцать.

— Прекрасно! Если она выиграетъ нѣсколько сотъ тысячъ, вы на ней женитесь.

— Богъ съ вами!

— Ахъ, я и забылъ, вы человѣкъ влюбленный! Женитесь себѣ на Ольгѣ Гавриловнѣ, а я женюсь на вашей кухаркѣ, приберу къ рукамъ полмилліона, сдѣлаю балъ; ко мнѣ пріѣдетъ графиня Меледа и, божусь вамъ, найдетъ мою жену очень миловидною. О, деньги много значать! а тутъ не хватаетъ 20 рублей для хорошенькой гражданочки... Но вы опять зѣваете? Ступайте лучше спать. Спокойной ночи, Лука Прохорычъ! Вы,

вѣдь до свѣта пойдете въ департаментъ; сдѣлайте одолженіе, не будите меня, я люблю поспать.

— Спите, съ Богомъ.

И чрезъ нѣсколько мињутъ Лукѣ Прохоровичу представилось, будто какой-то начальникъ дуетъ ему поти-хонъко въ глаза. «Какія бываютъ странныя прихоти у важныхъ людей», подумалъ Лука Прохоровичъ: «вѣрно, это такъ надо!» А начальникъ все дуетъ ему въ глаза такъ сладко, такъ сладко!... Голова Луки Прохоровича закружилась; онъ какъ-будто летить-летить — и вотъ уже въ канцеляріи; все тихо, только скрипятъ перья; черезъ три комнаты видна, на маленькомъ столикѣ щляпа Ивана Питовича; все какъ надо: чиновники скромно, благоприлично ходятъ, низко кланяются и дружески жмутъ руку Лукѣ Прохоровичу: столона-чальникъ поздравляетъ его съ наградою. Тутъ прошелъ сторожъ съ курильницею и въ канцеляріи захло какъ въ магазинѣ Марса. Лукѣ Прохоровичу было такъ лег-ко, такъ радостно! «Боже мой, что за канцелярія!» по-думалъ онъ и готовъ былъ плакать отъ восхищенія.

А Семену Семеновичу цѣлую ночь снился какой-то анекдотъ.

На другой день, рано поутру, Лука Прохоровичъ всталъ, одѣлся, вычистилъ метелкою свое платье, плащъ, щляпу и даже перчатки, выпилъ стаканъ чаю и поста-вилъ чайникъ на самоваръ, чтобы не простыть до про-бужденія Семена Семеновича; а Семенъ Семеновичъ спалъ крѣпкимъ сномъ. «Славный человѣкъ», подумалъ Лука Прохоровичъ: «бѣнъ научилъ меня жить на свѣтѣ. Полно мнѣ кланяться да работать изъ небольшой пла-ты: самъ сдѣлаюсь богатъ, жениюсь на Ольгѣ Гаврилов-нѣ, а не то, почему не воспользоваться его умною мы-

слюю: подождать, авось Агафья выиграет полмиллиона, тогда Ольга Гавриловна въ сторону, женюсь на Агафьѣ. Нѣтъ, надо его поблагодарить». Лука Прохоровичъ пошелъ въ мелочную лавочку и занялъ двадцать рублей; чрезъ четверть часа двѣ красныя ассигнаціи были запечатаны, подписаны и отданы Агафьѣ для врученія Семену Семеновичу, когда проснется.

Минуту спустя, Лука Прохоровичъ вѣжливо раскланился съ окномъ у домика съ зелеными ставнями; а черезъ часъ онъ уже сидѣлъ въ департаментѣ и писалъ отношеніе о чѣмъ-то прескучномъ.

Нескоро, по уходѣ Луки Прохоровича, проснулся Семенъ Семеновичъ, напился чаю, разругалъ и воду и самоваръ, и чайникъ, и сухари, и лавочника, и всю Петербургскую-Сторону; рассказалъ Агафьѣ, что все это у него несравненно лучше, спряталъ въ боковой карманъ, какъ онъ говорилъ, долгъ Луки Прохоровича и, смотря въ окно, свистѣлъ арію изъ «Фенеллы», думая о томъ, что ему пора, хоть смертельно не хочется, идти въ департаментъ. Послѣ его заняла мысль: какъ лучше употребить деньги, полученные отъ Луки Прохоровича. «Это решено: я обѣдаю у Дюмѣ, шесть рублей долой, только надобно кого-нибудь пригласить изъ департаментскихъ чиновниковъ, чтобы былъ свидѣтелемъ. Оно же пріятно иногда закричать: Н. Н. помните вы этого генерала, вотъ что сидѣлъ подлѣ меня, какъ мы обѣдали съ вами у Дюмѣ? ему дали звѣзду! За десять рублей возьму лихаго извоiska, прикажу ему отвязать нумеръ и поѣду ко всѣмъ знакомымъ; никогда не посижу болѣе минуты, скажу, что тороплюсь, что я мимоѣздомъ, что у меня экипажъ графини, и прочее. Это будетъ славно! На остальные четыре рубля, чтѣ бъ

такое?» Тутъ Семенъ Семеновичъ самодовольно улыбнулся, надѣлъ шляпу и хотѣлъ уже выйтти изъ комнаты.

— Вы уже идете, баринъ? сказала Агафья, отворяя дверь.

— Да, иду, моя милочка. Чѣмъ ты такъ испугалась? Да ты, кажется, плачешь?

— У меня только на васъ и надежда, говорила Агафья и зарыдала.

— Чѣмъ же тебѣ нужно, милая? Пожалуй, я скажу графу Лампопо, или барону Фриштику, или тайному...

— Не въ томъ дѣло, сударь, мнѣ надобно денегъ.

— Ага! кому ихъ не надобно? А сколько тысячъ тебѣ нужно?

— Какія тысячи! мнѣ только двадцать рублей, и я была бы счастлива.

— Это пустяки. Чѣмъ же ты такъ хлопочешь? Перестань; обѣ этомъ и думать нечего!

— Такъ вы мнѣ дадите?

— А для чего они тебѣ?

— Вотъ, видите, у меня есть троюродный братецъ въ медицинской академіи фельдшеромъ; вы, можетъ-быть, его знаете: Бориска, такой бравый, здоровый парень; а какъ играетъ на балалайкѣ! какъ почнетъ, хочется, чтобы и вѣкъ не пересталъ. Вотъ его и послали сегодня на Сѣнную купить аптеку—его и начальство любить, и все ему повѣряеть — и дали ему на задатокъ 50 р. денегъ; онъ пришелъ на Сѣнную — хватъ за карманъ, а денегъ нѣть, потерялъ, горемычный, казенные деньги! Теперь пришелъ ко мнѣ — на себя не похожъ, словно съ перепою блѣденъ: «Пропаду» говорить, «Агаша, коли не дашь 50 р.» Чѣмъ становишь дѣлать? Гдѣ знала, бро-

силась, чтò было, собрала, а всего только тридцать р.; двадцати не хватаетъ, а Бориска понукаетъ: «давай скро́бе, вотъ придутъ да возьмутъ!»

— Да ты не вѣрь ему, милая, онъ вреть. Кто бы его послалъ купить аптеку? Да и какая на Сѣнной аптека?

— Коли хотите сдѣлать добро, такъ пожалуйте, а не корите доброго человѣка, онъ отродясь не лгалъ; какъ скажетъ: буду тамъ-то, такъ будетъ; коли обѣщаетъ чтò сдѣлать, такъ вдвое сдѣлаетъ... Чтò жь, вы мнѣ пособите?

— Да со мною, милая, нѣту денегъ, кромѣ двадцати рублей на извошика, чтò я получилъ сегодня; а то, пожалуй, я бы тебѣ далъ и больше; а такъ развѣ че-резъ недѣлю?

— Какую недѣлю! тутъ и часъ бѣды надѣлаетъ. Господи! чтò мнѣ дѣлать? Носила въ лавочку билетъ, чтò мнѣ взялъ ономнясь Лука Прохоровичъ. Вѣрите ли, за 20 р. отдавала лавочнику, а онъ еще смеется: «я, говорить, не хочу быть бариномъ; возьми, когда хочешь, цѣлковый».

Пророчество Ивана Питовича сверкнуло быстрѣе мол-ній въ головѣ Семена Семеновича.

— Знаешь, моя милая, одинъ сенаторъ просилъ взять ему билетъ въ эту лотерею; ежели ты отдавала билетъ лавочнику за двадцать рублей, то, пожалуй, я хоть, кажется, немногого поважнѣе этого бородача, а дамъ тебѣ двадцать рублей. Нечего дѣлать, для тебя пойду пѣшкомъ въ департаментъ...

— Ахъ, благодѣтель! Возьмите билетъ. Грѣхъ по-путалъ меня съ нимъ, давайте скорѣе деньги!

Она отдала Семену Семеновичу билетъ, схватила ассигнаціи и выбѣжала изъ комнаты.

«Какая братская любовь!» сказалъ Семенъ Семеновицъ, смотря на билетъ: «вѣрно этотъ фельдшеръ малый ловкій. Теперь не худо зайдти къ Азбукину, показать ему билетъ: это придастъ намъ вѣсу.»

И точно, Семенъ Семеновицъ пошелъ къ Азбукину, будто мимоходомъ, узнать о здоровье, завелъ издалека рѣчь объ учености и сказалъ Азбукину полу-шутя, полу-серъёзно, показывая лотерейный билетъ: «Вотъ, почтеннѣйший, проба человѣческой мудрости. Одинъ мой пріятель, профессоръ университета, ученѣйшій человѣкъ,ѣздилъ за границу и тамъ еще болѣе набрался всячины, такъ-что даже знаетъ немножко кабалистики и магіи... фокусникъ Молдуано передъ нимъ менѣе нуля... этотъ профессоръ высчиталъ по числамъ и посортовалъ мнѣ взять въ лотерею билетъ № 666-й, говоря, что онъ непремѣнно долженъ выиграть.

Азбукинъ совершенно былъ согласенъ въ важности этого числа и замѣтилъ, что когда переворотить его вверхъ ногами, то выходитъ 999; да и въ «Письмовнике» Курганова, въ книгѣ, которую признали умною отцы наши, есть пѣсенка, гдѣ часто упоминается число 666, какъ будто вовсе безъ смысла, а тутъ-то и должна быть математика.

Въ этотъ же вечеръ Семенъ Семеновицъ проигралъ свой таинственный билетъ одному знакомому.

V.

Но обратимся къ нашему Лукѣ Прохоровичу. Мы его оставили въ собственной квартирѣ на Клавикордной улицѣ, вмѣстѣ съ Иваномъ Питовичемъ, который убѣдительно просилъ его къ себѣ на вечеръ.

Вотъ они сѣли на собственныея дрожки Ивана Пи-

7*

товича и поехали. Быстро проносились дрожки чрезъ Васильевскій Островъ, покатились по Невскому, минули Аничкинъ Мостъ, минули какую-то биржу и остановились предъ огромнымъ каменнымъ домомъ. Вы вѣрно его когда-нибудь видѣли: на немъ желѣзная крыша, надъ воротами прибитъ нумеръ и красная дощечка страхового общества. Наши путешественники поднялись по лѣстницѣ въ третій этажъ и вошли въ переднюю. Человѣкъ снялъ съ нихъ плащи. Иванъ Питовичъ взялъ за руку Луку Прохоровича и сказалъ: «прошу любить да жаловать». Чрезъ минуту они были уже въ гостиной.

Бѣдный Лука Прохоровичъ! зачѣмъ вы сюда пріѣхали? не лучше ли бы вы провели время въ маленькомъ домикѣ съ зелеными ставнями: тамъ васъ ждали, хотѣли съ вами видѣться; тамъ привѣтно шумитъ самоваръ; тамъ Ольга Гавриловна разливаетъ чай и самъ Азбукинъ тасуетъ карты; тамъ бы вы заговорили, а здѣсь... зачѣмъ вы пріѣхали, Лука Прохоровичъ? Чѣмъ выше, тѣмъ тяжеле дышать нашемъ брату, земному существу.

Въ гостиной Ивана Питовича было общество, какое вѣрио вы встрѣчали въ гостиной женатаго начальника отдѣленія: тутъ былъ диванъ, передъ диваномъ, на пестромъ коврѣ, ^{сѣялъ} стоялъ; на столѣ лампа, подъ матовымъ колпакомъ, разливая приятный свѣтъ по комнатѣ; вокругъ стола стояли кресла краснаго дерева; надъ диваномъ висѣлъ литографированный портретъ директора департамента; на диванѣ сидѣла жена начальника отдѣленія, направо въ креслѣ сестра ея, Лиза, тощая, блѣдная, высокая девушка; подле нея офицеръ въ серебряныхъ эполетахъ, съ выпушками, которыя при свѣчахъ не имѣли никакого опредѣленнаго

цвѣта; слѣва раскинулся въ креслѣ какой-то толстый, важный человѣкъ въ синемъ фракѣ; онъ держалъ въ рукахъ золотую табакерку, смотрѣлъ весело и очень быть похожъ на именинника; далѣе, на креслѣ, подгѣ важнаго человѣка лежала болонка; еще далѣе сидѣлъ дальний родственникъ Ивана Питовича, въ черномъ фракѣ; у камина стоялъ экранъ, на окнахъ цвѣли гор-тензіи и китайскія розы. Не знаю, въ насыщку ли Иванъ Питовичъ поставилъ эти цвѣты въ своей гостиной, или это была счастливая игра случая... Я не люблю этихъ цвѣтовъ: они красивы, а запаха не до-просишься.

Важный человѣкъ съ восторгомъ выхвалилъ привезенное на баркахъ сѣно, какъ-будто онъ самъ его кушалъ; офицеръ рассказывалъ своей соседкѣ о пикникѣ, на которомъ не было ни одного фрака; девушки, улыбаясь, косвенно посматривала на его мишурные эполеты; родственникъ молча глядѣлъ на болонку. Вдругъ дверь отворилась, Иванъ Питовичъ ввелъ за руку Луку Прохоровича и представилъ женѣ своей.

Хозяйка что-то заговорила Лукѣ Прохоровичу; важный человѣкъ что-то говорилъ, девушки что-то говорила, но ничего нельзя было разобрать: болонка звонкимъ лаемъ покрывала весь этотъ разноголосный говоръ и, въ заключеніе, бросилась подъ ноги Лукѣ Прохоровичу и начала дергать его за сѣрые брюки. Лука Прохоровичъ тряхнулъ ногою — и назойливая собачка, описавъ дугу въ воздухѣ, съ визгомъ упала на полъ. Хозяйка бросилась къ ней на помощь, девушки сверкнула на него ястребиными глазами, какъ-будто выговорила: «у! варваръ!» и тоже побѣжала къ собачкѣ. Родственникъ уже прыскалъ на болонку водою, офицеръ

совѣтоваѧ ей пустить кровь, незнакомецъ въ синемъ фракѣ рекомендовалъ какой-то бальзамъ, о которомъ напечатано что-то очень хорошее въ объявленіяхъ при афишахъ; Иванъ Питовичъ умолялъ всѣхъ не беспокоиться, говоря, что это скоро пройдетъ.

Лука Прохоровичъ остался одинъ въ самомъ незавидномъ положеніи. Онъ не зналъ, куда ему дѣть свои руки, не зналъ куда самому дѣваться; онъ, человѣкъ скромный, миролюбивый, не могъ себѣ простить, что при первомъ шагѣ въ домъ своего начальника обидѣть существо, кажется, самое драгоценное въ цѣломъ семействѣ. Напрасно вы прѣѣхали, Лука Прохоровичъ!

Вскорѣ буря утихла. Подали чай; послѣ чая Луку Прохоровича усадили играть въ висть. Въ соседней комнатѣ дѣвушка брала какіе-то несвязные аккорды на фортепиано, офицеръ вѣжливо переворачивалъ ноты, а родственникъ сѣлъ за столомъ Ивана Питовича и безмолвно смотрѣлъ на игру — ни дать ни взять шеменошагі на пирахъ среднихъ вѣковъ.

Когда висть кончилася, Лука Прохоровичъ съ ужасомъ узналъ, что проигралъ тридцать рублей. Изъ сорока - трехъ рублей мѣсячнаго жалованья проиграть тридцать — право невыгодно! Онъ мысленно проклиналъ и висть, и вечеръ, и даже проклялъ бы Ивана Питовича, еслибы онъ не былъ его начальникомъ.

Векорѣ Лука Прохоровичъ раскланялся: Иванъ Питовичъ, проводя его до лѣстницы и пожимая дружески руку, сказалъ съ лукавою улыбкою: «Я знаю, что вы скоро бѣдете веселье. Я видѣлъ, какъ вы посматривали на Лизу... Охъ, молодые люди! гдѣ дѣвушка, таинъ и они. Ну, да ничего, ничего. Кто Богу не грѣщенъ, кто бабушкѣ не внукъ! Это дѣло мы уладимъ, только бы-

выйте почаше. До свиданія». Тутъ Иванъ Питовичъ еще разъ поклонился и заперь дверь, а Лука Прохоровичъ тихо побрелъ домой, удивляясь, какъ это онъ самъ не замѣтилъ, что волочился за Лизою?

Давно уже спала Клавикордная улица, когда застучали по ней галоши Луки Прохоровича; только у нѣмца - булочника свѣтился огонь; черезъ улицу перебѣжала горничная да на углу Малаго Проспекта стоялъ офицеръ въ шинели и фуражкѣ. Лука Прохоровичъ пришелъ домой, вздохнуль и легъ спать.

VI.

«Да это совершенно таѣъ, какъ мнѣъ когда-то снилось» подумалъ Лука Прохоровичъ, входя въ департаментъ. Всѣ ему кланяются, всѣ его поздравляютъ, всѣ улыбаются; даже столонаачальникъ протягиваетъ руку, не косится и не показываетъ часовъ, хотя Лука Прохоровичъ, утомленный вчерашними сильными ощущеніями, проспалъ и опоздалъ цѣлымъ часомъ. «Вѣрно кто-нибудь видѣлъ, что я вчера пилъ чай у Ивана Питовича» подумалъ Лука Прохоровичъ и началъ говорить своимъ товарищамъ: «Полноте, господа! разумѣется, это большое счастіе, но, вѣроятно, и каждый изъ васъ современемъ можетъ этого достигнуть.

— Хороши вы! достичнуть! говорилъ чиновникъ съ мушкою на носу: — вамъ теперь разскazyвать легко. Жаль, что нѣть Семена Семеныча, а то онъ попросилъ бы у васъ въ займы тысячу пятьдесятъ.

— А гдѣ же Семенъ Семенычъ? спросилъ Лука Прохоровичъ.

— Богъ его знаетъ! Впрочемъ, записки о болѣзни не присыпалъ.

— Жаль; а я самъ думалъ ваять у него рублей двадцать!

— Полноте шутить! Вотъ вы уже и насмѣхаетесь надъ нами. Грѣхъ забывать старыхъ товарищъ!

— Honores mutant mores , проворчалъ сѣдой семинаристъ.

— Любезнѣйшій Лука Прохорычъ! сказалъ громко Иванъ Питовичъ, протягивая ему руку: — поздравляю вѣсть, поздравляю. Не правдали моя, вѣдь вашъ билетъ, № 666-й, выигралъ вамъ девятьсотъ тысячъ золотыхъ. Какъ жаль, что я не зналъ этой новости вчера, какъ вы были у меня въ гостяхъ!

Въ секунду вся канцелярія обмѣнялась взглядами. Апельсинообразный чиновникъ, прищура правый глазъ, кивнувъ на чиновника съ мушкою; но тотъ былъ не въ состояніи понимать намековъ. Онъ уставилъ на Луку Прохоровича два безстрашные, какъ старые двугривенныя, глаза, открылъ табакерку и трепещущими пальцами переминаль табакъ.

— Я надѣюсь, что вы и теперь не оставите нашъ департаментъ и будете поддерживать его вашею ревностью и умѣньемъ, продолжалъ Иванъ Питовичъ.

Но эти слова застали уже Луку Прохоровича на дорогѣ. Въ первый разъ въ жизни онъ рѣшился выйти безъ спроса изъ департамента, не сказавъ даже, для виду, что идетъ хоронить тѣтушку, или чтѣ-нибудь въ родѣ этого. Мысль, что Семенъ Семеновичъ уже вѣнчается съ Агафьею, совершенно ошеломила его.

«Нѣтъ, я не упущу девятьсотъ тысячъ золотыхъ изъ своихъ рукъ», думалъ Лука Прохоровичъ: «я женюсь на Агафье... А Ольга Гавриловна? Чѣмъ она съ ея домикомъ! Я, слава Богу, не дитя, чтобы на хоромень-

кое личико промѣняль капиталъ: лицо скоро износится, полиняетъ, какъ платокъ; а деньги — вещь: онъ изъ Агафы сдѣлаютъ красавицу. Накуплю ей въ магазинахъ всякой всячины, такъ куды будетъ красавица! Когда бъ только этотъ болтунъ, Семенъ Семеновичъ, не женился пока я быль въ департаментѣ!»

— Эй, извощикъ, на Петербургскую Сторону, въ Клавикордную улицу! да пошель же скорѣе! — И Лука Прохоровичъ безъ торга стѣль на дрожки и скоро скрылся изъ виду.

Видали ли вы свадьбу въ Петербургѣ? Не знаю, какъ для васъ, а на меня всегда наводить она грустное чувство. Я помню великолѣпно-освѣщенную церковь; у подѣзда много щегольскихъ экипажей, толца ливрейныхъ слугъ; внутри торжественное пѣніе; въ блескѣ и брильянтахъ вѣнчали молодую пери съ какимъ-то богачомъ. Онъ былъ бодръ и безпрестанно поправлялъ свой патрікъ и вставные зубы; а вдали, между колоннами, въ темномъ углу, сверкали, какъ двѣ искры, глаза молодаго человѣка и неподвижно бѣлѣло, какъ мертвое, лицо; онъ былъ весь въ черномъ; темные кудри въ беспорядкѣ остьяли лобъ его, его руки были скрещены на груди... а вокругъ рой заказныхъ улыбокъ и привѣтствий; а невѣста шаловливо играетъ брильянтовымъ браслетомъ... Нѣтъ, на похоронахъ мнѣ бываетъ веселѣе. Тутъ уже разсчетъ конченъ, а на свадьбѣ только начинается. Будущность — море жизни. Еслибы я былъ увѣренъ, что дорогія серыги, карета и ливрейный белванъ на запятахъ могутъ сдѣлать васъ счастливою, моя милая пери, а бы смѣялся, я бы хотѣлъ на вашей свадьбѣ, какъ тотъ юноша въ бѣлыхъ перчаткахъ; я бы говорилъ безъ умолку, какъ офицеръ, который стоять не-

далеко отъ вась, и вы бы не замѣтили моей горькой улыбки, вы бы не назвали меня злымъ человѣкомъ.

Видѣть я, какъ вѣнчали чиновнаго юношу съ моло-денькою девушкой — и мнѣ было еще грустнѣе: эти дѣти такъ вѣрили въ земное свое счастіе, такъ смотрѣли другъ на друга, что я готовъ быть плакать. Еслибы они имѣли двойное зрење, они бы испугались, увидя предъ собою тощую нищенку, позади раскаяніе, по бокамъ упреки, жалобы!... Она была бѣдная сирота, воспитанная въ богатомъ домѣ, онъ — молодой чиновникъ, на скучномъ жалованье, безъ связей, денегъ и знакомства. «Бѣдныя дѣти! думалъ я, когда бы вы не выходили вѣчно изъ вашего очарованія!» А у жениха еще нанята въ долгъ на сегодняшний вечеръ карета! И опять я горько улыбнулся, и опять, можетъ-быть, кто-нибудь назвалъ меня злымъ человѣкомъ.

Послушайте, братія, еслибы я быть золъ, я бы раздавался вашимъ ошибкамъ, а я жалѣю о нихъ... Впрочемъ, думайте какъ хотите!...

Въ тотъ самый день, когда Лука Прохоровичъ такъ поспѣшилъ вышелъ изъ департамента, на Крестовскомъ не было гулянья, не было праздничныхъ лицъ, грошовыхъ сигаръ, толкотни, фейерверка и воздушного шара. Крестовскій былъ самобытно хорошъ: его густыя тѣни манили къ себѣ охотника, любителя природы и ея тихихъ удовольствій, погулять на свободѣ. Я долго гулялъ на Крестовскомъ, и когда уже стемнѣло, медленно возвращался домой.

Вотъ и Клавикордная улица, вотъ и квартира рядомъ съ мелочною лавочкою: это квартира Луки Прохоровича; въ квартирѣ горятъ четыре свѣчки. Я не вѣрю глазамъ своимъ: Агафья сидѣть на стулѣ въ новомъ ситцевомъ

платье; на столѣ стоять бутылка донского и нѣсколько рюмокъ. Лука Прохоровичъ въ виц-мундирѣ чинно кланяется двумъ чиновникамъ, которые пьютъ его здоровье; на кровати кто-то, въ мундирномъ сюртуке, играетъ на гитарѣ и припѣваетъ удалую пѣсню. Вотъ и Иванъ Петровичъ въ вѣчной своей красной рубахѣ вышелъ изъ лавочки.

— Что это, братецъ, за веселье у твоего сосѣда?

— Ничего-сь; это Лука Прохоровичъ изволять жениться.

— На комъ?

— Да вотъ, какъ изволите видѣть, на кухаркѣ Агафѣ.

— Что онъ, съ ума сошелъ?

— Не могимъ знать; не намъ судить ихъ.

Еще нѣсколько десятковъ шаговъ, и я былъ подле дома Азбукина. Не только зеленые ставни этого дома, но и самыя окна не были затворены; въ комнатахъ ярко горѣли лампы; какой-то слѣпой игралъ на форепьяно и барабанилъ языкомъ, и ревѣль, и прищелкивалъ; разряженныя дѣвушки подъ эту музыку порхали во французской кадрили; Семенъ Семеновичъ отчаянно выработывалъ соло; двоюродный братъ Азбукина, претолстый человѣкъ, сидѣлъ у окна, со стаканомъ пунша въ рукѣ, и сыпалъ такими каламбурами, что можно было считать его виновнымъ въ чтеніи многихъ водевилей; въ сосѣдней комнатѣ стояли вазы съ цветами, конфекты и амуры, которые, по волѣ офиціантовъ, летаютъ съ одной свадьбы на другую.

— Не видать его сиятельства, громко проговорилъ Семенъ Семеновичъ, выставивъ въ окно свою голову.

И что это была за голова! она даже иногда инѣ синится.

Часть I.

8

Представьте: точно на мраморномъ пьедесталѣ покоялась она на бѣломъ накрахмаленномъ галстукѣ; густой, крѣпкій, блестящій хохоль, какъ будто изъ фарфора, вѣнчаль ее; прочее невыразимо... Это была удивительная голова; присниться она можетъ, но описать ее не станетъ словъ. «Ба, это вы!» и Семенъ Семеновичъ исчезъ отъ окошка и чрезъ минуту уже душилъ меня рассказами: «я женюсь, почтеннѣйший!» кричалъ онъ: «зайдите ко мнѣ на свадьбу».

— Извините, не могу.

— Вотъ пустяки! я жду часъ-на-часъ графиню, барона, статского советника... и понесъ чепуху.

— Нѣть, прощайте, я въ сюртукѣ: согласитесь, что это неловко.

— Правда. Ну, хоть поздравьте меня съ счастьемъ. Я выигралъ 900 тысячъ золотыхъ въ лотерею. Выпейте бокаль шампанскаго; я прикажу принести сюда.

— Вина пить не стану, но позвольте вѣдь увѣрить, что 900 тысячъ золотыхъ...

— Выигралъ не я? — это правда; но я почти ихъ выигралъ. Этотъ билетъ былъ мой; и еслибы я не подарили его моему пріятелю, то былъ бы обладателемъ полумиліона. Впрочемъ, сказалъ Семенъ Семенычъ, понизивъ голосъ: — мой тесть и жена ёще этого не знаютъ; пусть ихъ строятъ воздушные замки... Но Лука Прохорычъ — вотъ смѣшино! представьте, онъ воображаетъ, что его кухарка выиграла эти деньги и женится на ней сломя голову, даже безъ позволенія начальства. Ха-ха-ха! Я уже писалъ объ этомъ въ канцелярію; то-то похорончъ завтра!

— Васть дожидаются-съ, Семенъ Семенычъ, пропищала изъ окошка какая-то дѣвушка.

— Прощайте, прощайте! закричалъ на всю улицу Семенъ Семеновичъ, пожимая мнѣ руку. Я считаю себя счастливымъ, что вы хоть инкогнито участвовали въ моей радости. До свиданія.

«На силу вырвался!» подумалъ я и пошолъ далѣе.

— Гдѣ, гдѣ посланникъ? послышались сзади меня вопросы: — вотъ этотъ въ плащѣ и круглой шляпѣ?

— Да, да, отвѣчалъ голосъ Семена Семеныча.

Я оглянулся: изъ оконъ домика Азбукина смотрѣли нѣсколько дамскихъ головокъ, на улицѣ шелъ только я да лѣзла по забору кошка, но она была безъ плаща и безъ шляпы.

VII.

На другой день послѣ свадьбы Лука Прохоровичъ сидѣлъ въ совершенномъ *разочарованіи*. Супруга уже успѣла ему разсказать горькую исторію билета, къ тому же, лавочникъ Иванъ Петровичъ рано утромъ вздумалъ напомнить ему о долгѣ, и хотя Лука Прохорычъ и послалъ его къ Семену Семеновичу, однако это сдѣлало на него непріятное впечатлѣніе. Въ первый разъ въ жизни Лукѣ Прохорычу не хотѣлось идти въ департаментъ... Вдругъ вошелъ департаментскій курьеръ и подалъ ему пакетъ; въ пакетѣ было написано рукою экзекутора, что Иванъ Питовичъ, по добротѣ своей, просить его подать просьбу объ увольненіи заднимъ числомъ и явиться для получения причитающагося ему жалованья 13 рублей 33 копеекъ, за вычетомъ должныхъ ему 30 рублей Ивану Питовичу за прошлый мѣсяцъ.

«Проклятый висть, не прошелъ-таки даромъ!» прошепталъ Лука Прохорычъ, сложилъ бережно бумагу,

*

спряталъ ее въ конвертъ и машинально началъ разсматривать печать на конвертѣ.

— Пожалуйте на водку, ваше благородіе, сказалъ курьеръ.

Лука Прохорычъ молчалъ.

— Я вѣдь далекоѣхалъ, спѣшилъ къ вамъ...

— Пошоль вонъ, мужикъ! закричала Агафья:— еще смѣешь обижать насъ, благородныхъ людей. Пошоль же!

Лука Прохорычъ въ первый разъ ощутилъ пользу своей женитьбы.

Курьеръ вышелъ, а вошелъ Иванъ Петровичъ и подалъ Лукѣ Прохоровичу записочку.

Лука Прохоровичъ развернулъ записку, въ которой лежалъ полуимпериалъ и гривенникъ, отдалъ деньги лавочнику и прочелъ слѣдующее:

«Лука Прохорычъ!»

«Наконецъ я увѣрился въ вашихъ низкихъ чувствахъ, и не удивляюсь, что вы рѣшились жениться на вашей кухаркѣ, когда вздумали измѣрять дружество, отъ кото-
раго я теперь совершенно отказываюсь,ничтожною цѣ-
ною какихъ-нибудь двадцати рублей, и вздумали при-
слать ко мнѣ за долгомъ бородатаго мужика, вѣроятно,
брата жены вашей, который перепугалъ мою слабонерв-
ную Олиньку. Благодарите старымъ понятіямъ моего
тестя, который посыпаетъ вамъ деньги. Я никогда бы
не заплатилъ вамъ, чтобы выучить васъ хорошему об-
ращенію.

Семенъ Н. Н.

— Чего же вы еще стоите, Иванъ Петровичъ? сказалъ Лука Прохоровичъ, бросая подъ столъ запи-
сочку.

- Здѣсь не вѣдь деньги.
- Вамъ еще слѣдуетъ гривна — я заплачу ее.
- Нѣтъ-съ, изволите видѣть, вы брали ассигнаціями, а здѣсь монета-съ: слѣдуетъ еще восемьдесятъ копеекъ лажу.
- Да за что же я заплачу? видите онъ такъ прислать.
- Стало быть, останется за вами? сказалъ Иванъ Петровичъ, поклонился и вышелъ.
- «Еще девяносто копеекъ на шею!» сказалъ Лука Прохоровичъ, подошолъ къ окну, вздохнулъ и нѣчто, въ родѣ слезы, появилось на его рѣсицахъ...

1838 г.

ТАКЪ ИНОГДА ЛЮДИ ЖЕНЯТСЯ.

РАЗСКАЗЪ.

I.

Ей было восьмнадцать лѣтъ; она была очень хороша; я видѣлъ дѣвушекъ красивѣе, но милѣе, право не видывалъ.

У нея были быстрые каріе глаза, черныя, длинныя рѣсницы, свѣжее, веселое лицо, розовыя губки, бѣлые, ровные зубы, улыбка—прелестъ! для нея нѣтъ призательнаго.

Разсматривая пышный цвѣтникъ нашего міра—прекрасный полъ, вы найдете подобныхъ красоты; но, уверяю васъ, не въ такомъ совершенствѣ, не въ такой очаровательной гармоніи.

Она была похожа на бутончикъ розы, блестящій въ свѣжей утренней росѣ.

Восьмнадцать лѣтъ—чудесный возрастъ! Если вамъ 18 лѣтъ—благословляйте судьбу; если болѣе—вспомните прошедшее и вздохните. Одной юности дано за-видное право смотрѣть на свѣтъ въ волшебный ка-

лейдоскопъ будущаго, слѣпо вѣрить въ счастіе, идеализировать земное до небеснаго. Оттого она такъ беспечна, такъ весела!

Еслибы можно осуществить всѣ мечты юности, одѣть ихъ въ краски и звуки, понятные физическимъ чувствамъ, мы бы ослѣпли отъ ихъ блеска... Живописецъ съ презрѣніемъ бросилъ бы блѣдныя краски, Паганини разбиль бы скрипку и могучій стихъ замеръ бы на устахъ поэта!... Оттого лица юности такъ свѣты, такъ небесно-хороши!

Ей было 18 лѣтъ. Она любила все прекрасное: заглядывалась на луну, сладко грустила подъ переливча- тую пѣсню соловья, и плакала надъ стихами Пушкина и Жуковскаго. Счастливцы эти поэты!...

Часто ее видѣли въ хатѣ бѣдного семейства, съ ласкою и утѣшеніемъ на устахъ, готовую помочь несчастью; часто ее видѣли въ саду подлѣ любимыхъ кустовъ розъ съ лейкою въ рукахъ. И бѣдное семейство всегда благословляло приходъ ея, и розы оживали отъ ея посѣщенія... Она была добра, очень добра!

Я видѣлъ ее только одинъ разъ въ жизни и никогда не забуду. Это было весною, когда такъ очаровательна природа южной Россіи. Я какъ теперь вижу тихое утро, тѣнистый садъ, облитый бѣлыми цвѣтами; внизу шумитъ Ингуль. На маленькомъ пригоркѣ, въ густой тѣни черешень, она молилася. Станъ ея стягивало простое бѣлое платье; на груди колебался голубой василекъ. Скрестивъ руки, поднявъ глаза къ небу, она стояла на колѣняхъ, а между тѣмъ первые лучи солнца, прорѣзавъ вѣтви, вдругъ зажгли розовымъ блескомъ лицо ея, и на немъ, какъ два алмаза, двѣ крупныя слезы — чудесное мгновеніе! Молитва девушки и утро!...

Сколько чистоты и прелести вмѣстѣ! Нѣть, я никогда не забуду этого!

А главное, я - было и забылъ: ее звали Аина Васильевна.

II.

Онъ былъ человѣкъ лѣтъ сорока-пяти; всегда носилъ маленькие ботфорты, нагольный тулупъ и зеленый картузъ. Подъ тулупъ онъ всегда надѣвалъ черный плисовый жилетъ; въ карманѣ этого жилета постоянно лежало что-то круглое, въ родѣ земнаго глобуса. Говорить, это были серебряные часы. Сапоги его смазывались каждое утро гусинымъ жиромъ. Голова была плотно выстрижена; по бокамъ ея торчала пара ушей; надъ носомъ темнѣли щетинистыя брови, подъ которыми свѣтились зеленоватые глаза средней величины, а подъ носомъ былъ обыкновенный ротъ, только нижняя губа этого рта такъ была странно устроена, такъ была прижата къ зубамъ, что, казалось, хозяинъ ея хочетъ свистнуть въ ключъ. Василій Петровичъ, хваля кого-нибудь съ особеннымъ, неподражаемымъ выражениемъ, говорилъ: *прекраснѣйшій и любезнѣйшій*, и въ это время подымалъ кверху брови и плечи.

Онъ всегда курилъ изъ длиннаго калиноваго чубука, въ который было вправлено утиное перышко, читалъ старыя газеты, слылъ великимъ хозяиномъ и любилъ, чтобъ все дѣлалось въ опредѣленное время. Его звали Василій Петровичъ; это былъ отецъ Аины Васильевны.

III.

Василій Петровичъ былъ помѣщикъ Херсонской губерніи, одного изъ тѣхъ уѣздовъ, по которымъ Ингурь,

какъ бѣшеная, дикая кобылица, прихотливо ломаетъ быстрый бѣгъ свой. Нѣсколько десятковъ избъ и цѣлое море степи составляли имѣніе Василья Петровича. Возлѣ господскаго дома, который быть просто большая изба, росъ прекрасный садъ. Въ домѣ Василья Петровича царствовала патріархальная простота: изъ большихъ стѣнъ нальво ходь въ кухню, направо — въ пріемную, она же и столовая и гостиная и зала; стѣны этой комнаты чисто выбѣлены; полъ крѣпко набить глиною. Подлѣ двери стоитъ голубой сундукъ, расписанный красными цветами; далѣе, подъ стѣною, два стула; за ними дубовый столъ; тамъ еще два стула, столикъ съ шахматною доскою и еще нѣсколько стульевъ разнаго вида и величины. На стѣнѣ, между маленькими окнами, виситъ зеркало въ золоченыхъ полинялыхъ рамкахъ и картишка, на которой представленъ распудренный пастушокъ, завязывающій пастушокъ на башмачкѣ ленточку; табакерка и флейта лежать у ногъ его; голубокъ кружится надъ пастушкою; за рощею заходитъ солнце, а въ рощѣ пасутся овца и собака. У двери съ правой стороны прибитъ олений рогъ для вѣшанія шапокъ, а съ лѣвой виситъ ружье, сѣть, двѣ дудочки для ловли перепелокъ и красная скрипка. Больше ничего вы не отыщете въ этой комнатѣ, хотя бы смотрѣли на нее въ двойную лорнетку, развѣ когда на одномъ изъ древнихъ стульевъ сидѣтъ самъ хозяинъ, или степной шмель, ошибкою залетя, гудить, стучить и царапается по стекламъ.

Описаніе слѣдующихъ двухъ комнатъ, т. е. спальни Василія Петровича и спальни его дочери, принадлежитъ потомству, потому-что современникамъ было гораздо легче проникнуть во внутренность Африки, нежели въ эти комнаты.

Василій Петровичъ былъ когда-то женатъ на образованной, но бѣдной девушки, воспитанницѣ Смольного Монастыря. Она подарила его дочерью, воспитала ее и — умерла, какъ говорятъ сосѣди, отъ чахотки. Василій Петровичъ очень печалился и даже выходилъ изъ себя, что это случилось во время жатвы и отняло на не сколько дней отъ работы.

По смерти матери, дочь его стала грустить, плакать. Она полюбила еще болѣе тѣнистый садъ, лунные ночи, когда дымчатыя облака, свиваясь и развиваясь по волѣ вѣтра, несутся куда-то далеко, далеко... Она нашептывала имъ посланія къ своей матери вѣрояла имъ горячія желанія, поцалуи — и ей становилось легче.

Василій Петровичъ потихоньку ворчалъ: «грустить дѣвка; пора ее выдать замужъ. Почему жъ и не выдать. Но за кого?» Послѣ этого вопроса слѣдовала длинная пауза, и Василій Петровичъ, потянувшись изъ утина перышка табачный дымъ, выпускалъ его губами самою тоненькою струею. «Много есть людей, а человѣка съискать трудно», говоривалъ Василій Петровичъ: «всѣ мои сосѣди — нечистый ихъ знаетъ — какъ странно устроены: ни одинъ даже не смыслить, что и когда ему должно дѣлать на свѣтѣ. Вотъ баронъ Шмальцъ лѣтъ двадцать вариль въ Петербургѣ патоку; кажется, человѣкъ ученый и аккуратный и прочее, да съ-разу послѣ обѣда курить трубку, между-тѣмъ, какъ ее должно курить вставая и отходя ко сну. Оно, кажется, и ничего, а перо къ, милостивые государи! Не говоря о тѣхъ пустого-ловыхъ, которые лѣтомъ носятъ суконные фраки и тра-вятъ зайцевъ и лисицъ, а то нашъ предводитель: и въ чинахъ, и въ почетѣ, а пить чай, когда спать пора, ужинаетъ, когда утренніе пѣтухи поютъ! Такъ жить

значить гнѣвить Бога. Вѣдь никогда не бывает вечера при восхожденіи солнца , никогда не зрѣют арбузы около Крещенья. Много людей , а человѣка не съищешь!...» Послѣ такого разсужденія слѣдовалъ глубокій вздохъ. Послѣ вздоха Василій Петровичъ снималъ со стѣны скрипку, ставилъ лѣвую ногу на окошко, упиралъ одинъ конецъ скрипки въ колѣно, а другой въ подбородокъ, и начиналъ ее строить, такъ странно держая смычкомъ , что , въ первый разъ увидя этотъ процессъ , можно подумать , будто почтенный хозяинъ хочетъ перепилить тупою пилочкою всѣ струны. Настроивъ скрипку, Василій Петровичъ спускалъ ногу на полъ , выправлялся и , глядя въ окно , начиналъ играть *журавля* , подпѣвая тихимъ теноромъ слова этой умной пѣсни. Такъ проходилъ часъ , иногда два и болѣе.

Если вы никогда не слыхали *журавля* и не понимаете по-малороссійски , то вотъ вамъ онъ въ переводѣ:

Былъ себѣ журавль
И его самка,
Они накосили сѣна
Полныя ясли.
Эта пѣсня очень долга ,
Начинай сначала:
Былъ себѣ журавль , и проч.:

IV.

Осень быстро приближалась къ Херсонской губерніи. Степи отцвѣли и поблекли. Только ярко зеленѣли поля , застѣянныя озимою рожью , да на лугахъ пестрѣли красные осеннеѣ цвѣточки — предсмертный румянецъ умирающей красавицы — лѣта. Утренній воздухъ дѣгался холоднѣе и чище; застучали цѣпы на гумнахъ , установленныхъ золотыми скирдами ; полетѣли на югъ пти-

цы; съ гикомъ поскакали по степи охотники за быстрымъ зайцемъ; въ уѣздный городъ *** пришелъ Киргизскій нѣхотный полкъ.

Физіономія города измѣнилась: по улицамъ стали ходить люди въ фуражкахъ; всякий вечеръ передъ квартирой полковаго командира гремѣли пѣсенные:

Мы тебя любимъ сердечно:
Будь командиромъ намъ вѣчно.

Полковой адютантъ ёздила верхомъ на кучей лошади; дочери городничаго взяли въ лавкахъ на новыя платья ситцу; въ трактире стучали билльярдные шары, каблукі и стаканы, въ Херсонъ поскакалъ курьеръ за картами. Городъ оживился, расцвѣла промышленность...

И вотъ изъ веселаго города, какъ отъ центра, въ разныя стороны побрели усталые воины на зимнія квартиры. Въ деревнѣ Василія Петровича назначенъ ротный дворъ капитану Здраву.

Припомните хорошенько, вы, вѣрно видѣли этого капитана. У него круглое, полное лицо, короткіе, кудрявые волосы золотистаго цвѣта и колесообразныя ноги. Въ полку онъ слыть игрокомъ, ёздокомъ, танцоромъ и мастеромъ раскупоривать бутылки; онъ не очень жаловалъ дамскія бесѣды и весьма любилъ пуншъ съ лимономъ. Въ полку и теперь еще рассказываютъ много анекдотовъ про капитана Здрава. «Послушайте», говорилъ мнѣ недавно одинъ почтенный офицеръ, дергая меня за пуговицу: «послушайте, я вамъ расскажу удивительную исторію. Однажды, во время стоянки нашего полка въ Гродненской губерніи, капитанъ Здравъ проигрался въ-пухъ, въ одну ночь все спустилъ, все рѣшительно, даже ружейную отвертку... Плохо пришлось доб-

рому молодцу! Что бы вы сдѣлали на его мѣсть? А онъ ничего; баць! ротъ приказъ: собраться къ вечеру на ротный дворъ въ полной амуниции, набивъ ранцы сѣномъ. Рота явилась, капитанъ осмотрѣлъ ее, поблагодарилъ за исправность и приказалъ, для облегченія людей на возвратномъ пути, выбросить на ротномъ дворѣ сѣно. Цѣны на фуражъ были тогда огромныя; вотъ выбросили, сударь, солдаты сѣно... Вечеромъ капитанъ поставилъ въ банкъ возъ сѣна въ десять рублей; мы пристали; завязалась игра, и къ свѣту Здравъ все воротилъ свое, да еще у одного нашего прапорщика выигралъ большой пѣсенникъ, лягавую собаку и сѣрую кобылу. Аесь?» Тутъ офицеръ быстро повернулся и пошелъ мѣрными шагами по комнатѣ, чтобы дать мнѣ свободу сообразить всю удаль этой продѣлки.

Капитанъ Здравъ прибылъ благополучно на зимнія квартиры въ деревню Василія Петровича, сейчасъ провѣдалъ, есть ли у помѣщика дочь, хороша ли, богата ли, и проч. — обыкновенные вопросные пункты устава касты кочующихъ жениховъ, и чрезъ три дня по пріѣздѣ, выпивъ съ пріятелями стакана по три лимоннаго пунша, отправился знакомиться къ помѣщику, тщетно ожидая съ его стороны приглашенія.

Въ скучный осеній день Василій Петровичъ, осмотрѣвъ работы, читалъ старыя «Московскія Вѣдомости»; погода была сѣрая, на дворѣ вечерѣло, и онъ едва могъ окончить статью о продающейся у Николы-на-Куричихъ-Ножкахъ двумѣстной каретѣ, взялъ скрипку, сталъ лицомъ къ окну и занялся *журавлем*. Первое колѣно онъ только припѣвалъ, но когда дошло дѣло до втораго, на него слетѣлъ музыкальный восторгъ: лѣвою рукою Василій Петровичъ началъ вырабатывать *ниччикато*,

а правою пристукиваль въ тактъ смычкомъ по скрипочной доскѣ. Въ это время отворилась дверь и вошелъ капитанъ Здравъ; на немъ былъ сюртукъ, большой галстукъ и въ рукахъ фуражка.

Капитанъ вѣжливо расшаркался. Василій Петровичъ смотрѣлъ въ окно; громкое *ниччикато* звучало въ комнатѣ, смычокъ съ усердіемъ клевалъ скрипку въ разныхъ мѣстахъ, какъ-бы пробуя, гдѣ она повкуснѣе. Капитанъ повѣсилъ на оленій рогъ фуражку, подбоченился и пустился выплясывать журавля, прикрикивая: «разъ, два, три, четыре! разъ, два, три, четыре!» Василій Петровичъ оборотился, посмотрѣлъ съ любовью на танцующаго и заигралъ живѣе прежняго. — Капитанъ танцевалъ. — Василій Петровичъ перемѣнилъ журавля на камаринскую: быстрѣе стали движенія капитана; онъ леталъ какъ резинковый мячъ.

Наконецъ Василій Петровичъ почти бросилъ на столъ скрипку и кинулся обнимать капитана. «Съ сей поры вы, милостивый государь, для меня любезнѣйший человѣкъ въ свѣтѣ. Перваго человѣка я вижу, который дѣлаетъ то, что нужно. Я играю — вы танцуете. Я пересталъ — и вы перестали: такъ и слѣдуетъ! Слава Богу, я нашелъ человѣка! Садитесь, пожалуйста». Капитанъ шаркнулъ ногою, поправилъ галстукъ и, тяжело вздыхая, сѣлъ на стулъ.

«А я вотъ это все читаю новости», началъ хозяинъ: «въ типографіи Василія Логинова сочинили цѣлую книгу: «Робъ-Рой». Вы не читали ее?» — «Ровно нѣть». — «И хорошо сдѣлали, ибо она весьма дорого стоять». Подобные разговоры продолжались во весь вечеръ.

Капитанъ обворожилъ Василья Петровича. Когда подали чай — Здравъ пилъ чай; принесли французскую

водку — онъ началъ пить пуншъ; подали ужинъ — онъ стала кушать; а когда Василій Петровичъ сказалъ: «я думаю, намъ пора спать», онъ взялъ фуражку, пристукнулъ каблуками и исчезъ. «Милостивый государь», закричалъ хозяинъ уходившему капитану. Капитанъ явился, словно сивка-бурка въ сказкахъ нашихъ дѣдушекъ. «Я вамъ Ѳочу сообщить нѣчто важное», говорилъ Василій Петровичъ: «сдѣлайте одолженіе, садитесь. Вотъ изволите видѣть, у меня много и денегъ, и стеши, и всяко скота, только недостаетъ зятя. Вы человѣкъ достойный: хотите ли жениться на моей дочери?» — «Съ большимъ удовольствіемъ», отвѣчалъ капитанъ. «Ну, такъ давайте вашу руку! Анета пойди сюда! полно грустить да плакать; вотъ тебѣ женихъ». Краска сбѣжала съ лица дѣвушки; она зашаталась и оперлась рукою о столикъ. «Не церемоньтесь же, капитанъ», продолжалъ Василій Петровичъ: «что вы, какъ пѣтухъ, гребете ногами землю? подалуйте вашу невѣсту». Единая дѣвушка не опомнилась, какъ Здравъ поцаловалъ ее громко, такъ громко, какъ деревенскій староста свою жену въ день воскресенія Христова.

Чрезъ недѣлю два молодые прaporщика сожгли цѣлую четвертку жуковскаго табаку, толкуя о томъ: какую знатную жену подцепилъ себѣ Здравъ. А въ уѣздномъ судѣ секретарь сказалъ засѣдателю: «я полагаю, что зять Василья Петровича будетъ лихой исправникъ». — Въ тотъ день и прaporщики, и секретарь, и засѣдатель возвратились со свадьбы капитана.

V.

Года полтора спустя послѣ этой свадьбы, мнѣ случилось проѣзжать Херсонскую губернію. Я спѣшилъ на

ночлегъ къ Василію Петровичу. Солнце сѣло и тихій вѣтерокъ, прохладжда воздухъ, приносиль со степи громкія пѣсни перепела, когда я увидѣлъ деревню Василія Петровича. Лошади, измученные дневнымъ жаромъ, начали фыркать и бодриться, чуя скорый отдыхъ, а я мечталъ увидѣть милую Анну Васильевну, услышать «журавля» и новости прошлаго года... Вотъ мы уже у воротъ. «Въ своемъ ли умѣ Василій Петровичъ?» подумалъ я: «у него на дворѣ шумъ и ликованье». Звучный теноръ заводить какую-то отрывистую лагерную пѣсню; удалой хоръ подхватываетъ ее и вторить съ прищелкиваньемъ, съ присвистомъ — сущая оргія! На крыльцѣ стоять колченогій человѣкъ, въ сюртуке съ краснымъ воротникомъ, опустя руки въ карманы плисовыхъ шароваръ, заломивъ картузъ на затылокъ. Передъ крыльцомъ, на маленькомъ столикѣ кипитъ самоваръ; дюжая, красноногая дѣвка, живьемъ взятая съ картинъ Теньера, приготовляетъ пуншъ; кругомъ десятка два мужиковъ и парней ревутъ разгульную пѣсню.

— Очень радъ гостямъ, закричалъ мнѣ колченогій человѣкъ: — милости просимъ!

— Я не имѣю удовольствія знать васъ... Дома ли Василій Петровичъ?

— Я зять Василья Петровича, отставной капитанъ Здравъ. Прошу любить и жаловать.

— Очень радъ. Гдѣ же Василій Петровичъ?

— На Василья Петровича, любезнѣйший, уже болѣе года получаю провіантъ на томъ свѣтѣ.

— Такъ онъ умеръ?

— Давно, братецъ, черезъ двѣ недѣли послѣ моей свадьбы. — Эй, Сашка, пущу! — Прошу за упокой ба-
тишки!

— А ваша супруга?

— Въ откомандировкѣ... Эге, да вы не пьете пуншъ? Пожалуйста, церемоніи въ сторону; мы люди военные. — Фомка! чтò уснулъ? Ярославскую!

И хоръ грянуль:

Изъ-подъ дуба, изъ-подъ вяза,
Изъ-подъ вязова кореня,
Бѣжитъ зайка-горностайка,
Несетъ въ рукахъ вязеницу,
Про душу красну-дѣвицу!

— Каково, братъ! кричалъ Здравъ:— вѣдь это все хохлы! Вотъ какъ я ихъ повернуль по-свбому! Въ любой полкъ пѣсенники!...

Едва я могъ отговориться отъ пѣсень и пунша, сказавъ, что у меня болить голова, и ушелъ спать съ твердымъ намѣренiemъ прожить въ этомъ омутѣ хоть двой сутки, но дождаться Анны Васильевны. Признаюсь— грѣшный человѣкъ — мнѣ хотѣлось посмотреть, какъ выносить она подобныя продѣлки. Не-уже-ли это милое твореніе могло привыкнуть къ тону своего мужа? а если нѣть, то я хотѣль видѣть, какъ она ведеть себя при постороннихъ людяхъ, и проч., и проч.; словомъ, я хотѣль разрѣшить какую-то психологическую задачу, которой и самъ не понималъ хорошенъко. Это мы часто дѣлаемъ, только рѣдко признаемся...

За- полночь не давали мнѣ спать ликованья хозяина; потомъ явились комары съ своими плаксивыми элегіями, а тамъ—долга ли лѣтняя ночь!—начало разсвѣтать. Восточное небо загорѣлось тонкимъ румянцемъ; въ воздухѣ стало свѣтло; подъ самымъ окномъ моей комнаты запѣла малиновка. Кто просыпаетъ восходъ солнца, тотъ просыпаетъ лучшіе часы жизни. Смотри

на эту великолѣпную картину, я въ душѣ своей прощаю заблуждѣнія гебровъ..

Я одѣлся и вышелъ въ садъ. Утро было тихое; роса крупными каплями жемчужилась на растеніяхъ; птички весело чиликали, отряхивая крылышки, прыгая съ вѣтки на вѣтку. На Ингуль перекликались кулики.

Года два какъ я былъ здѣсь въ это самое время и въ такое точно утро, и какъ съ - тѣхъ - порь перемѣнился этотъ садъ! Дорожки покрылись травою, многія деревья срублены, цвѣтникъ заросъ крапивою, и даже любимые кусты розъ Аниы Васильевны были скошены вмѣстѣ съ травою на кормъ лошадямъ. Я невольно подошелъ къ знакомой бесѣдкѣ: кудрявая черешня цвѣли по-прежнему, и — представьте мое удивленіе — опять въ ихъ тѣни она молиласъ!... Присматриваюсь — въ полуумракѣ бѣльется ея платье; я подкрадываюсь и бережно развозжу руками вѣтви. Въ это время первые лучи солнца разогнали тѣнь и ярко освѣтили передо мною бѣлый деревянный крестъ, облитый розовыми свѣтами, казалось, онь пламенѣлъ мездѣшнимъ огнемъ; на немъ было написано крупными черными буквами: «Здѣсь по-коится тѣло рабы Божіей Аниы, бывшей супруги капитана Здрава...» Болѣе я не могъ читать...

Чрезъ полчаса я уже ѻхалъ далѣе отъ деревни Здрава.

— Да-съ, милостивый государь, говорилъ мнѣ майоръ Киргизскаго полка, когда я рассказалъ ему мою встрѣчу съ капитаномъ: — да, сгубила женитьба лихаго человека! Не женись Здравъ — былъ бы теперь майоръ! Охъ, эти женщины!...

ВЪРНОЕ ЛЕКАРСТВО.

ПОВѢСТЬ.

Воображение есть пружина, управляющая нашими действиями.

Новѣйшія россійскія прописи.

— Сначала мы вамъ пропишемъ легонькую мицтуру; вы ее примете завтра утромъ. А до того прикажите сейчасъ же пустить изъ лѣвой руки фунта два крови, поставьте на затылокъ семь шіавокъ и положите во всю спину гумозный пластырь; а потомъ...

— Помилуйте, докторъ! стоять ли мозоли, чтобы такъ себя мучить?

— Зачѣмъ же прибѣгать къ помощи врача, если, по вашему, это бездѣлица?

— Бездѣлица; но онъ меня беспокоитъ, болѣть нестерпимо!

— То-то, болѣть. Всякую болѣзнь должно лечить радикально. Смѣшонъ человѣкъ, который оципалъ на растенії засохшіе листочки и воображаетъ, что оно здорово, когда корень растенія точить червь. Убейте чер-

вѣ — и листья перестанутъ желтѣть. Такъ и ваши мозоли: надобно отыскать причину зла.

— Я думаю, тѣсные сапоги.

— Да, вамъ такъ кажется, вѣрю. Но, соображая...
А! мое почтеніе.

И докторъ, оставя меня, кинулся къ какому-то вошедшему человѣку. Незнакомецъ на всѣ поклоны доктора довольно-холодно кивнулъ головою и протянулъ ему указательный палецъ, который докторъ пожалъ весьма выразительно.

Согласитесь, мой добрый читатель, что нельзя вообразить ничего худощавѣе кулика въ апрѣль мѣсяцѣ: сквозь перья этой бѣдной птицы можно пересчитать еї косточки; длинная шея, какъ увядшій цвѣточный стебелекъ, гнется подъ тяжестью треугольной головки съ безконечнымъ носомъ; тоненькия ножки, точно соломенки, какъ-то нетвердо, шатко поддерживаютъ это созданіе, когда оно, оставя гнѣзда свое, станетъ гордо прохаживаться на тѣнистомъ берегу рѣки. Кажется, поедетъ вѣтерокъ и унесетъ его какъ сухую вѣточку.

Худъ куликъ въ апрѣль мѣсяцѣ, но вошедший посѣтитель, смѣю васъ увѣрить, былъ хуже всѣхъ возможныхъ куликовъ Старого и Нового Свѣта. Платье на немъ сидѣло будто на палкѣ; кожа на лицѣ была желтовата, какъ пергаментъ въ старинныхъ грамматахъ, и немного сквозилась, какъ на сахарныхъ статуйкахъ. Онъ посмотрѣлъ на меня подозрительно и бросилъ на доктора во-прошающей взглядъ.

— Извините, сказалъ докторъ, подойдя ко мнѣ: — я васъ оставлю на нѣсколько минутъ: мнѣ нужно переговорить съ барономъ. А тамъ мы бросимъ рациональный взглядъ на болѣзнь вашу.

Я поклонился. Докторъ съ сухопарымъ барономъ вышли въ другую комнату.

Скучно сидѣть и дожидаться чего-нибудь одному въ комнатѣ. Въ передней ли, въ будуарѣ ли, въ кабинетѣ ли — все равно, скуча нестерпимая. Я скучалъ, а дѣлать нечего, надобно подождать; по-крайней-мѣрѣ узнаю, какъ рационально и радикально лечать мозоли...

Въ кабинетѣ доктора царствовалъ какой-то полу-мракъ, вѣроятно, отъ кенкета съ матовымъ колпакомъ; письменный столъ былъ заваленъ книгами и бумагами; въ углу стояла электрическая машина и водородное огниво; передъ столомъ широкое кресло.

Я подошелъ къ столу и взялъ книгу — «Леченіе горячею водою», другую — «Леченіе холодною водою», третью — «О пользѣ гомеопатіи», четвертую — «О вредѣ гомеопатіи». Подле книги «О вредѣ гомеопатіи», лежала тетрадь, писанная бойкимъ, четкимъ почеркомъ. Отъ нечего дѣлать, я началъ ее перелистывать. Да же почеркъ письма все дѣлался хуже, связнѣе, неразборчивѣе, хотя и крупнѣе; черезъ нѣсколько страницъ уже было писано по одной линейкѣ, еще да же по двумъ, самымъ крупнымъ дѣтскимъ письмомъ; подъ конецъ рукописи, несмотря на двѣ линейки, буквы стояли какъ рекруты, наклоняясь во все стороны, иногда самодовольно переходя за начертанныя границы, иногда присѣдая въ пол-ширифта. Странная форма рукописи возбудила мое любопытство; я началъ читать.

Самыхъ первыхъ страницъ не было, но должно полагать, это были памятныя записки, не журналъ — нѣть, а просто записи. Здѣсь были замѣчены кратко важныя эпохи въ жизни какого-то человѣка; напримѣръ: «Января 10 скончался мой родитель; марта 1 произведенъ въ

титулярные советники со старшинствомъ 7 мѣсяцевъ; мая 22 раздѣлили остаточную сумму (поздненько!). Августа 30 родилась у моего начальника дочь Анастасія. Сентября 1 меня обокрали. Октября 2 получилъ награду; 4 — игралъ съ ея превосходительствомъ въ карты; 29 — стала Нева...» и тому подобное. Замѣчаніями въ подобномъ родѣ были исписаны двѣ страницы; далѣе крупными словами:

ВЪРНОЕ ЛЕКАРСТВО.

182... года октября 26 дня.

Сегодня чортъ-знаетъ что сдѣлалось со мною! Случай, навѣки памятный въ моей жизни! Я проснулся поутру въ 8 часовъ. У моей постели стоялъ Федотъ, пре-глуко улыбаясь.

— Что тебѣ надобно? спросилъ я.
— Честь имъю васъ поздравить, Дмитрій Иванычъ.

— Съ чѣмъ?
— Съ днемъ вашего ангела, съ именинами.

— А, да! я и забылъ. Ступай, принеси мнѣ чай.

.....Грустно я всталъ съ постели. Сегодня мнѣ стукнуло пятьдесятъ лѣтъ!... Зеркало показало на лицѣ моемъ еще новую пару морщинъ... Потускнѣвшіе отъ работы глаза и сѣдина, которая очень хороша только на бобрѣ, все громко говорило мнѣ: *стукнуло пятьдесятъ!* Легко сказать, шутка ли — пятьдесятъ лѣтъ? полстолѣтія!... Далеко ли до гроба!... А что ты сдѣлалъ, Дмитрій Ивановичъ? какъ ты провелъ лучшія лѣта своей жизни? Давно ли я былъ молодъ, давно ли я мечталъ? Богъ знаетъ, о чѣмъ не мечталъ я!... Жизнь кипѣла во мнѣ, а я трудился: дни въ департаментѣ, но-

чи на квартирѣ; другимъ отдыхъ, а я трудись! Надобно же чѣмъ-нибудь взять бѣдному человѣку...

Бывало, утромъ, въ канцеляріи то-и-дѣло, что рассказываютъ товарищи: я былъ тамъ-то, танцоваль съ такою-то, чтѣ за глазки, чтѣ за голосъ, талия!... Хорошо, думаешь, бывало, что у васъ батюшки да дядюшки превосходительные; погодите, добьемся и мы до чиновъ, до крестовъ, погуляемъ и мы. Вотъ я и начальникъ отдѣленія, и кресть у меня на шеѣ и деньги есть. Можено бѣ отдохнуть — оглянулся, а тутъ тебѣ пятьдесятъ лѣтъ, какъ гора сѣла на плечи — тяжело, по-неволѣ согнешься!... Что мнѣ въ деньгахъ? Придетъ тяжкая болѣзнь — старость, а она не за горами, никто не признаетъ безроднаго холостяка, умрешь никѣмъ не оплаченный!... Не успѣешь порядкомъ глазъ закрыть — этотъ дуракъ Федотъ все стащить. И для чего я трудился, изъ чего мучился? Продавалъ лучшіе дни жизни, чтобы какой-нибудь глупецъ прокутилъ ихъ въ грязной харчевнѣ, съ подобными ему неумытыми рожами!...

Хорошо бы жениться! Молоденькая жена станетъ дѣлить со мною длинные, скучные вечера; меня окружать миленькия дѣточки... Полно, такъ ли? Что ты, Дмитрій Ивановичъ! Кто пойдетъ за тебя, старика?... Посмотришь, на любой вечеринкѣ ихъ пропасть, этихъ дѣвушекъ, да все такія полненькия, пухленькия, веселенькия, съ розовыми щечками, а возлѣ нихъ такъ и вѣется молодежь, словно мотыльки; и вмѣшался бы туда, такъ совѣстно: будешь не въ своей тарелкѣ — идешь за вистъ... Такъ и вечеръ прошелъ, а ты еще днемъ постарѣешь, еще шагомъ ближе къ гробу!... А если бы кто и пошелъ за меня, будетъ ли у насъ согласіе? не погублю ли я своего покоя и ея молодости? Смогу ли,

съумѣю ли отвѣтить на *ея* ласки? Трудно держать въ одномъ мѣстѣ и ледъ и огнь: что-нибудь не выдержитъ. Поздненько спохватился; пріѣхалъ на балъ, а тамъ уже отни гасять!...

И какъ неожиданно подкрались эти пятьдесятъ лѣтъ! Шутка! полстолѣтія промаялся человѣкъ!... Хотѣлъ бы я знать, къ чему строять университеты, академіи и прочія заведенія, и отапливаютъ ихъ и освѣщаютъ на казенный счетъ? Не-уже-ли такъ, для красы? Быть не можетъ; тамъ люди живутъ да учатся, цѣлый вѣкъ учатся, и вѣрно что-нибудь знаютъ больше нашего; да вѣдь не скажутъ намъ! Хоть бы Пинетти — чего, говорятъ, не зналъ! захотеть сдѣлать человѣка курицею или бараномъ, барана дрожками; а небось сказалъ кому? такъ и умеръ! Да и прочіе ученые люди вѣрно что-нибудь полезное выдумали. Глупо провелъ я жизнь; книгъ даже почти не читалъ никакихъ, кромѣ Адресъ-Календаря. Ничего не знаю!... А вѣрно есть что-нибудь этакое... Пять лѣтъ жизни отдалъ бы за годъ молодости; все отдать, что ни выслужилъ, буду опять безчиновнымъ человѣкомъ лишь бы воротить прошедшее!...

Долго разсуждалъ я и чѣмъ болѣе думалъ, тѣмъ становилось грустнѣе. Чай давнымъ - давно простыль; ударило 12-ть, я одѣлся и вышелъ прогуляться на улицу. Не доходя Палкина трактира, вижу: идетъ на встрѣчу Николай Антоновичъ, идетъ и смеется. Кажется, нечemu бы и радоваться: дѣнь сѣрый, праздникъ небольшой, да и время такое скучное, ни снѣга нѣть, ничего, только-что морозить — а онъ смеется! Такая натура глупая, да и молодъ: всего подъ-тридцать! «Здравствуйте», кричить, «Дмитрій Иванычъ, поздравляю васъ со днемъ,

вашего ангела» и жметь руку, и кланяется, и смеется. Къ чому такая радость? Хуже Федота!

— Куда вы идете? спросилъ меня Николай Антоновичъ.

— Такъ, иду проходиться.

— И прекрасно; я тоже.

«Не дастъ же покойно погулять!» подумалъ я и посмотрѣлъ на часы.

— А что, который?

— Половина первого.

— Ого! оно, знаете, пора бы закусить. Зайдемте!

Николай Антоновичъ человѣкъ нужный — секретарь директора, подумалъ я, да притомъ и мнѣ что-то скучно, и сказалъ:

— Вы, Николай Антоничъ, очень кстати выдумали; пойдемте; только мнѣ, какъ имениннику, позвольте распорядиться.

— Эхъ, Дмитрій Иванычъ! а я хотѣль-было пустить въ ходъ свой имперіаль: другая недѣля валяется у меня въ карманѣ, наскучилъ ужасно; ну, да дѣлать нечего, сегодня вашъ день.

— Честь имъ поздравить васъ со днемъ вашего ангела! проговорилъ сзади чей-то голосъ; оглядываюсь — мой столоначальникъ Биркинъ. — Покорно васъ благодарю.

— Я сейчасъ былъ у васъ на квартире, но, къ несчастью, не засталъ васъ дома.

— Напрасно беспокоились.

— Помилуйте, приятное беспокойство, Дмитрій Иванычъ.

— Пойдемте-ка, лучше вмѣстѣ закусимъ.

Мы пошли въ трактиръ и приказали подать закуску. За закускою мои гости пили сотернъ, а я спросилъ

себѣ бутылку стараго портвейна и, рюмка за рюмкою, нечувствительно его окончилъ. Это меня немного освѣжило.

Николай Антоновичъ разсказывалъ престранныя вѣщи о важности именинъ для человѣка: будто въ этотъ день есть минута, въ которую стойти только захотѣть чего бы то ни было—въ мигъ оноявится; что въ Голландіи одна баба захотѣла въ декабрѣ мѣсяцѣ свѣжаго огурца—и огурецъ явился пребольшой, презdroовый. «Вотъ захотите, Дмитрій Иванычъ», сказалъ онъ послѣ этого: «шампанскаго—оно явится». Дѣлать нечего! кстати приговорился. Подали шампанскаго. За послѣднимъ бокаломъ Николай Антоновичъ началъ разсказывать Биркину такую соблазнительную исторію, что какъ мнѣ ни хотѣлось знать ея развязку, но я, сохрания свое достоинство, счелъ неприличнымъ при подчиненномъ слушать такія вещи, вышелъ потихоньку въ переднюю, заплатилъ за завтракъ и ушелъ.

Пробило три часа. Во время нашего завтрака погода очень перемѣнилась: солнце выглянуло изъ-за облаковъ; Невскій Проспектъ кипѣлъ народомъ; пестрая толпа двигалась отъ Аничкина до Полицейскаго Моста. Господи, сколько прелестей!...

Щегольскіе мундиры, удивительные бекеши, лакеи въ какихъ-то особенно-красныхъ ливреяхъ—смотреть даже нельзя: слезы мѣшаютъ; желтыя перчатки, бороды воротники, черненькие усики... А дамы! При одномъ взглядѣ на нихъ меня бросило въ жаръ: талия узенькая, будто выточенная, какъ игрушечка, какъ рюмочка, а кругомъ бархатное платье такъ и обвилось; лицо свѣженъкое, разрумяненное холодомъ... Боже-мой! идетъ легко, какъ кошечка, чуть дотрогивается до троттуара

ножками!... А ножки!... такъ и хочется положить на троттуаръ свою руку, чтобы мимоходомъ ступила на нее эта чудесная ножка; кажется, такъ скользнетъ, какъ вѣтерокъ, погладить какъ атласомъ.

Виноватъ, попуталъ грѣхъ: я и началъ самъ-себѣ, этакъ въ-тихомолку хотѣть: пусть посмотритъ на меня вотъ эта брюнеточка въ синемъ бархатномъ платьѣ: захотѣль, встряхнулъ бобра, поправилъ на шеѣ орденскую ленту и смотрю — не тутъ-то было: она зѣваетъ-себѣ на Казанскій Соборъ: вѣрно прѣѣзжая. «Ну, подумаль я, вотъ эта блондиночка въ голубой шляпкѣ равняется; я гляжу въ оба, даже языкъ чешется сказать ей что-нибудь приятное, а она поправляетъ мѣховую шапочку своему братцу, что-ли, мальчишкѣ лѣтъ семи — азбуку бы ему учить дама — и прошла! Вотъ одна, кажется, на тебя и смотрить такъ выразительно, будто говорить: «а, Дмитрій Иванычъ! какъ я васъ давно не видала!» Сердце замретъ; оглянешься, а сзади тебя ей кланяется какой-нибудь гвардеецъ. Иная даже улыбнется — такъ въ жаръ и бросить, смотришь — а у тебя съ боку ухмыляется ей какой-то щедушный франтъ, сущая треска-рыба, подъ бровь вправиль себѣ лорнетку, и ухмыляется! даже лицо искривилось. Что тутъ хорошаго?

А другія большою-частью проходили мимо, не обращая на меня никакого вниманія. Опять стало грустно!...

Я перешелъ Полицейскій Мостъ. У магазина Юнкера собралась передъ окномъ кучка народа: какой-то старичокъ, въ картузѣ съ назатыльникомъ, высокий офицеръ и босый мальчикъ въ пестрядинномъ халатѣ. Всѣ они почти неподвижно стояли, глядя на разныя картинки, разложенные на окнѣ; только мальчикъ безпрестан-

*

но перемѣнилъ ноги: подгибая одну, стоялъ какъ журавль, потомъ становился на отогрѣтую, а другую отогрѣвалъ подъ халатомъ. Отъ нечего дѣлать и я остановился передъ картинами. Хорошенькия головки всѣхъ націй лежали на окошкѣ; офицеръ дѣлалъ очень рѣзкія замѣчанія на счетъ профиля гречанки, на глаза итальянки, рѣсицы испанки и прочее...

«Молодость! подумалъ я, а для насъ *нѣтъ лекарства!*» да послѣднія слова уже не подумалъ, а просто проговорилъ самъ-себѣ. «Ступайте въ Семеновскій Полкъ», сказалъ стоявшій возлѣ меня офицеръ. Я взглянулъ на него; онъ улыбнулся и пошелъ. Мальчикъ тоже въ прыжку побѣжалъ къ Малой Морской. У окна остался я да старикъ. — Вѣрно этотъ молодой человѣкъ помѣшанъ? сказалъ я. — «Совсѣмъ нѣть», отозвался, покашливая, старичокъ. Я посмотрѣлъ на него пристальнѣе: онъ былъ въ тепломъ сюртукѣ горохового цвѣта, съ стоячимъ воротникомъ, въ четырехугольномъ плисовомъ картузѣ съ длиннымъ козырькомъ и въ ботфортахъ. Странная рѣчъ, странный нарядъ и странные взгляды старика смущили меня. — «Да знаете ли вы, что я думалъ и что сказалъ мнѣ г. офицеръ».

— Разумѣется, отвѣчалъ старичокъ: онъ вамъ говорилъ: идите въ Семеновскій Полкъ, а я прибавлю: въ Госпитальную улицу, часу въ десятомъ вечера; за Среднимъ Проспектомъ, направо есть деревянный одноэтажный домъ, съ занавѣщенными окнами; идите туда, скажите обо мнѣ: васъ примутъ прекрасно.

Я не вѣрилъ своимъ ушамъ. Между-тѣмъ старичокъ, лукаво улыбаясь, юркнулъ черезъ проспектъ, замѣшился между экипажами, и... я не замѣтилъ, куда онъ дѣвался, будто провалился сквозь землю, будто исчезъ въ воздухѣ.

Долго стоялъ я въ раздумьи, не понимая, что все это значить; мысли темнѣли въ головѣ моей, и на улицахъ темнѣло; въ магазинахъ начали зажигать лампы; въ воздухѣ стало сырое, пошелъ какой-то холодный дождикъ. Я продрогъ и вошелъ въ кондиторскую, выпилъ рюмку — все холодно, я другую — согрѣлся, и за стаканомъ глинтвейна началъ разсуждать. Чѣмъ болѣе разсуждалъ, тѣмъ болѣе убѣждался, что именно я въ счастливую минуту имениннаго дня пожелалъ лекарства отъ старости, и когда ударило 8 часовъ, я рѣшилсяѣхать за лекарствомъ.

Доѣхавъ на дрожжахъ до Семеновскаго Полка, я, чтобы удобнѣе отыскать домъ, пошелъ пѣшкомъ въ Госпитальную улицу. Боже мой, какая мрачная улица! Вездѣ пусто, вездѣ тихо, темно; издали то вспыхивалъ, то замиралъ потухавшій фонарь, точно въ просонкахъ мигая глазами; цѣпная собака, спущенная на ночь, рада свободѣ, выбѣжала на улицу, посмотрѣла во всѣ стороны, и ну лаять на мигавшій фонарь. Пусто; ни души живой; грязно, темно.

Я хотѣль уже воротиться; смотрю направо — ба! въ одноэтажномъ домикѣ свѣтится; окна задернуты красными занавѣсками. «Нашелъ», подумалъ я, и шагнулъ чрезъ порогъ, а сердце вотъ-такъ и застучало въ груди.

Вхожу въ комнату; въ комнатѣ пахнетъ розовымъ масломъ; полъ устланъ коврами; у стѣны низенький диванъ, передъ диваномъ столъ на трехъ ножкахъ; на столѣ горитъ сальная свѣча въ подсвѣчникѣ преуродливой формы; за столомъ сидить человѣкъ и читаетъ книгу; брови у него густыя, голова бритая, чуть прикрыта пестрою шапочкою, бородка рѣдкая, какъ у молодаго козлика; на немъ былъ надѣтъ шелковый халатъ,

красного цвета; на шеѣ висѣло чѣто въ-родѣ золотой медали. Красный человѣкъ, казалось, не замѣтилъ моего прихода и читалъ книгу.

— Милостивый государь, сказалъ я: — не имѣя чести знать васъ лично...

— Чѣмъ вамъ надобно? спросилъ меня незнакомецъ по-русски иностраннымъ выговоромъ.

— Меня къ вамъ прислали извѣстный вамъ стари-чокъ... чтобы...

— За лекарствомъ, чѣмъ ли?

— Точно такъ.

— Хорошо, почтеннѣйший, присядьте.

Я сѣлъ на диванъ; хозяинъ подалъ мнѣ трубку турецкаго табаку, сѣлъ подлѣ меня и молчитъ. Вотъ я и начинаю разговоръ издалека:

— Вы, вѣрно, не здѣшній?

— Да, почтеннѣйший, казанскій татаринъ

— И, вѣроятно, изволите производить торговлю халатами?

— Не отгадали. Это мы предоставляемъ простому народу, любезнѣйший.

— А! вы стало-быть... Я недавно читалъ въ газетахъ, что въ Казани произведенъ въ титулярные совѣтники... какъ-бишь его? Кази-Чикимъ, или Чики-Казимъ.

— Нѣтъ, я не титулярный и не совѣтникъ, я мулла. «Ого! подумалъ я: такъ это голова!» и продолжалъ:

— Значить, вы недавно изволили сюда пріѣхать?

— Я здѣсь съ восьми лѣтъ.

— Такъ вы вѣрно окончили курсъ въ здѣшнемъ университете?

— Нѣть, я всѣ правила вычиталъ изъ книгъ, самъ себѣ.

— А, очень пріятно, что имѣю честь познакомиться съ такимъ ученымъ!

— Ничего, почтеннѣйшій.

— Слѣдовательно, у васъ кто вычитаетъ себѣ мудрость изъ книгъ, тотъ и мулла!

— Какъ можно, любезнѣйшій! я держалъ экзаменъ.

— Вотъ видите! Здѣсь изволи держать?

— Здѣсь никто ничего не знаетъ; яѣздили за грамницу.

— Вѣроятно, въ Карльсбадѣ?

— Нѣть, дальше, за Оренбургъ, въ киргизскія степи; тамъ есть народъ ученый, тамъ умѣютъ толковать Коранъ.

— Коранъ! а не Алкоранъ? Помнится, я читалъ гдѣ-то въ газетахъ «Алкоранъ»?

— Все-равно, почтеннѣйшій, а лучше — Коранъ.

— А Коріоланъ?

— Можетъ-быть, и такъ зовутъ туда дальше, къ Астрахани, да это все-равно.

— Вѣроятно, вы изволите его читать?

— Да.

— Позвольте посмотрѣть... Господи! Господи! какія странныя литеры, точно паукъ да букашки ползаютъ по страницамъ!...

— Лучше бы сказали: пчелы. Здѣсь всякая буква несетъ медъ, всякая буква несетъ сладость познанія, собранную отъ добра и зла, какъ пчелка несетъ медъ и отъ розы и отъ нечистаго растенія.

— Виноватъ, если не такъ назвалъ ваши буквы; это съ непривычки: я отъ-роду первый разъ вижу татар-

скую книгу, и не хотѣль ее обидѣть, дай Богъ ей здравья...

— Ничего, почтеннѣйший; я вамъ еще больше скажу, говорилъ мулла, таинственно понижая головь:— всякая пчела имѣеть и медъ и жало; умѣй съ меню обращаться — тебѣ хорошо, не умѣй — укуситъ. Понимаете?

— Понимаю.

— Такъ вотъ, видите: азбука одна — хорошо; я возьму изъ нея буквы и напишу *мультаз*. Видите?... Изъ той же азбуки возьму буквы, поставлю ихъ не въ томъ порядкѣ и выйдетъ *шайтанъ*!

Послѣднее слово онъ сказалъ почти шепотомъ, но такъ выразительно, и такъ сверкнула узенькими глазами, что у меня душа ушла въ пятки.

— Такъ и книги, продолжалъ мулла: составляются изъ буквъ, науки изъ книгъ. Вездѣ своя пропорція. Умѣй съ ними обращаться — хорошо; не умѣй — худо, очень-худо! Я вамъ дамъ лекарство, о которомъ вы прошли; выпей его въ мѣру — хорошо, больше — лучше, а еще больше — будетъ худо...

— Нѣтъ, ужъ вы, пожадуйста, сами дайте мнѣ лекарство, я у васъ здѣсь и выпью или сѣмъ что будеть нужно.

Тутъ мой татаринъ засуетился, искалъ чего-то долго въ карманахъ и подъ столомъ; потомъ взялъ бутылочку, положилъ въ нее длинную красную ниточку и налилъ прозрачнымъ составомъ, взболталъ, приговаривая какую-то татарскую пословицу, вылилъ въ рюмку и далъ мнѣ выпить.

— Но прежде, нежели я употреблю ваше лекарство, позвольте спросить, какое будетъ его дѣйствіе?

— Чудеснѣйшее, почтеннѣйшій!

— Нѣть, не тѣ; то-есть, возвратить ли оно мнѣ мою молодость вдругъ или постепенно?

— Какъ?

— То-есть, моя молодость будетъ возобновляться относительно старости?

— Не понимаю, почтеннѣйший!

— То-есть, если я проживу годъ, такъ это будетъ, что я не прожилъ, а отжилъ годъ назадъ.

— Разомъ десять съ плечъ долой.

— Пракрасно, и я постепенно дойду до лѣтъ отрочества, юнства и даже до первой минуты своего существованія? А послѣ?

— Послѣ опять все пойдетъ попрежнему.

— И я, значитъ, начну мужать?

— Да, пейте скорѣе; настаетъ время совершать омовеніе.

— Пью-пью-пью, сказалъ я, въ восторгѣ, и разомъ осушилъ рюмку лекарства. Точь-въ-точь хорошее пѣнное вино, только немного отбиваетъ ниточкой. Я поклонился татарину, бросилъ на столъ бѣленную ассигнацію и вышелъ.

— Почтеннѣйший! кричалъ мнѣ въ-слѣдъ татаринъ: — о лекарствѣ никому ни слова, а то потеряетъ силу.

— Слушаю, слушаю, мой благодѣтель, отвѣчая я: — никто не узнаетъ, ни самъ... ну, кто бы ни былъ.

Да и какую же я получилъ бодрость! въ минуту огонь разлился по всѣмъ моимъ жиламъ, глаза стали зорче, руки развязнѣе. У будки меня окликнула часовой. «Чтѣ кричишь оселъ, развѣ не видишь кто?» сказалъ я такъ звучно, громко, отчетисто, такимъ сердитымъ голосомъ и тономъ, что будочникъ хоть бы слово!

Пришелъ домой, выгналъ изъ комнаты Федота и за-

писалъ подробно все, что случилось со мною сегодня. Да, великий день. Чортъ возьми, за 25 рублей купилъ коробъ счастья!... Правда, иногда за 25 рублей люди покупаютъ вещи, сопутствующія имъ во всю жизнь, да самой жизни не хватаетъ. Нѣть, господа, купите жизни, какъ я, да еще молодой жизни! Спасибо высокому офицеру, и старичку спасибо. Кути, Дмитрий Ивановичъ.

27 октября.

Чудное лекарство! начинаю вполнѣ чувствовать его благодѣтельное дѣйствие.

«Какой прекрасный сонъ!» подумалъ я, просыпаясь сегодня; но мнѣ было тѣкъ легко, кровь тѣкъ тепло переливается въ моемъ сердцѣ. Подхожу къ письменному столу: на немъ лежитъ эта тетрадь замѣчательныхъ дней моей жизни, и все вчерашнее записано съ поразительной вѣрностью. Да, это не сонъ; притомъ же и дѣйствительность говорить въ мою пользу. Сокровище въ рукахъ: отъ меня зависитъ распорядиться этимъ сокровищемъ. Небойсь, мы съумѣемъ не ударить лицомъ въ грязь.

Теперь я похожъ на путника, который сѣмъ въ лодочку, положимъ хоть въ истокѣ Волги, да и побѣхаль внизъ по рѣкѣ. Онъ єдетъ, а вокругъ красивые берега, зеленые рощи, мирные села, шумные города — все живеть, все маниТЬ къ себѣ путника, а онъ єдетъ, онъ спѣшить, ему некогда. Вода несеть его быстро своимъ теченіемъ, а онъ еще веслами ускоряетъ бѣгъ своей лодочки, все дальше и дальше. Волга шире, крупнѣе накатываются волны, быстрѣе несутъ лодочку; веселые города и села далеко остались; впереди безплодная степь, а по степи широко синѣть Волга... Далѣе

море; горами ходятъ по немъ черные вальы; туда ичтъ вода лодочку. Погибель неизбѣжна. Робко двигаетъ путникъ свои весла; напрасно — весла ломаются, и онъ, сложа руки, безмолвно ожидаетъ кончины... Вдругъ какая-то невидимая сила ставить парусъ на его лодочки, съ моря дуетъ вѣтеръ и путникъ летить обратно къ тихому истоку: опять передъ нимъ знакомые города, села, рощи, горы, луга; все веселится, все смеется по-прежнему, опять тихая пристань, изъ которой пустился онъ въ путь, опять родительскій домъ, съ густыми вербами надъ прудомъ...

Нѣть, г. путникъ, если судьба прикажетъ опять ѿхать тебѣ внизъ по рекѣ, ты не станешь торопиться. Останавливайся отдохнуть у чѣнистой рощи, радуйся въ сelaхъ тихимъ радостямъ поселянъ, любуйся пышными городами. Ты уже знаешь, что за всѣмъ этимъ песчаная степь, а тамъ — вѣчное море...

Я — этотъ счастливецъ; благопріятный вѣтеръ дуетъ въ мой парусъ и я лечу обратно. Полно такъ ли? именно такъ; чтѣ же тутъ удивительнаго? я чувствую себя гораздо здоровѣе; въ одну ночь годомъ помолодѣлъ. Моя жизнь должна идти иначе. Иду въ департаментъ.

Вечеромъ того же числа.

Начало очень хорошее. Я пришелъ въ департаментъ какъ обыкновенно; раскланялся, подалъ, какъ водится, руку моему товарищу, Петру Ивановичу, начальнику 2-го отдѣленія, подалъ руку казначею и сѣлъ.

Спустя десять минутъ нанесли мнѣ кипу бумагъ; я прочелъ одну, другую, подписалъ да и сижу-себѣ, по-сматриваю во всѣ стороны; потомъ вышелъ въ другую комнату, смотрю — Биркинъ чтѣ-то пишетъ; я подо-

шелъ къ нему, спросилъ о здоровъ и подалъ руку; онъ немцо смылся, однако ничего, поклонился и говорить: «покорно благодарю». Разумѣется, подать руку человѣку — дѣло важное, тутъ надобно подумать да и по-думать, тѣмъ болѣе подчиненному: сейчасъ зазнается; да и люди такъ уже чудно устроены, что у всякаго на языкѣ вѣчно сидѣть просьба къ начальству. Ты подчиненному не успѣшь договорить ласковаго слова, а онъ уже и улыбается этакъ, знаете, почти по-пріятельски, и просить о чёмъ-нибудь. Гораздо лучше держать себя важно, однимъ видомъ отталкивать отъ себя сажени на полторы: это гораздо спокойнѣе.

Ты мнѣ завѣщай эти правила, покойный бригадиръ Дутиковъ: чувствую всю цѣну ихъ и благословляю прахъ твой.

Но почему же мнѣ не подать руки Биркину? Лѣтъ черезъ пять мы будемъ съ нимъ ровесники: достанется покутить вмѣстѣ. Я хорошо сдѣлалъ. Потомъ пошелъ посмотретьъ на термометръ — мороза мало; въ казначейскую — тамъ считаютъ деньги; зашелъ въ бухгалтерскую, понюхалъ табаку. Душа радуется, таکъ весело!...

Мой товарищъ, Петръ Ивановичъ — отъявленный лѣнивецъ; частенько директоръ съ нимъ ссорится, ссорится, да и рукой махнетъ, а онъ все свое: сидѣть, читаетъ «Вѣдомости» да мотаетъ ногою. Вотъ Петръ Ивановичъ, увидя, что я такъ-себѣ хожу самонадѣянно, очень обрадовался, подошелъ ко мнѣ и говорить: «Кажется, вы намѣрены отдыхать, Дмитрій Иванычъ?» — «Почему же и не такъ?» отвѣчалъ я; «мнѣ кажется, можно». — «Да» подхватилъ Петръ Ивановичъ: «вамъ никакъ пошелъ шестой уже десятокъ: въ такихъ лѣтахъ позво-

лительно...» При этихъ словахъ я чуть-чуть не улыбнулся. Ну, да Богъ съ нимъ, у меня на лбу не написана моя тайна...

Мы сѣли съ Петромъ Ивановичемъ около моего стола, и у насъ завязался длинный разговоръ о сѣмъ, о томъ, о соленыхъ перепелкахъ и проч... Ударило три часа. Я вышелъ изъ департамента и пришелъ домой гораздо-здоровѣе обыкновенного: грудь не болитъ, дышать легко... Не поѣду на висть къ Якову Ивановичу, лучше отдохну; пусть себѣ эти старички играютъ; мнѣ играть не для чего, жалованье хорошее, да и въ ломбардѣ на черный день лежитъ тысячъ десятокъ другой; составлять партію нужнымъ людямъ не хочу: много я и такъ для другихъ дѣлалъ. Игра — траты времени; мы умѣемъ провести время повеселѣе.

Завтра зайду къ Ручу, одѣнусь щеголеватѣе, а тамъ...
кути Дмитрій Ивановичъ! Пора спать.

182... октября 26.

«Фу, ты, Господи! какая разсѣянная жизнь! нѣсколько лѣтъ не бралъ въ руки своихъ записокъ. День за днемъ, день за днемъ, вотъ такъ и плывутъ, какъ утки. Съ вечера на баль, съ бала въ маскарадъ, тамъ на пикникъ, тамъ... и названія не приберешь всѣмъ удовольствіямъ. Николай Антоновичъ, спасибо, вездѣ пролѣзть, какъ игла, и меня проведеть какъ ниточку. Сегодня я нрокинулъ на счетахъ, что прожилъ, что отжилъ, и вышло мнѣ около двадцати лѣтъ. Тѣ же страсти, склонности, желанія.

Какъ себя помню, мнѣ въ 20 лѣтъ Богъ-знаетъ какъ хотѣлось крестика, хоть какого-нибудь въ петличку; а для чѣго? чтобы явиться къ Марьѣ Ивановнѣ! Дѣло

прошлое; но что это была за Марья Ивановна! сущее наливное яблочко; бывало, и смотреть на нее боишься: что дескать я такое? коллежский регистраторъ! Оно; правда, чинъ; но произнесть его неловко передъ коллежскими асессорами; хоть бы крестикъ отличалъ меня—иное дѣло. Ахъ, крестикъ, крестикъ! Что же? не дали когда хотѣлось; Марья Ивановна меня не замѣтила, вышла за другаго— вотъ и все. Послѣ получилъ и на шею, да все какъ-то хладнокровно...

Теперь опять воскресаетъ старое: хочется звѣздочки, да какъ хочется: ни есть, ни спать не могу! Стою въ мундирномъ фракѣ по часу передъ зеркаломъ да воображаю, какъ бы пристала ко мнѣ звѣзда. А для чего? хотѣлось бы представиться въ такомъ тоже видѣ Марья Ивановнѣ—не прежней, той дѣти давно вышли въ отставку — нѣтъ, у меня опять есть Марья Ивановна, такая же, какъ и прежняя, розовая, рѣзвая, веселая. Какъ бы я удивилъ ее, явясь нечаянно со звѣздою! «У васъ, Дмитрій Иванычъ, звѣзда?» — «Точно такъ, Марья Ивановна, повергаю ее къ стопамъ вашимъ»—и пошла потѣха... Она меня очень любить. Вчера, напримѣръ, танцую съ нею, я пожаль ей руку, рѣшился, что называется, очертя голову. Какъ она весело взглянула на меня! какие состроила глазки!... Ну, просто она влюблена въ меня по уши... Я отъ восторга едва имѣль силы докончить кадриль, а она будто нарочно выдумывала новые фигуры: вмѣсто шести, я полагаю, мы протанцевали двѣнадцать.

Я былъ растроганъ, сѣль и во весь вечеръ не хотѣть и ногой ступить; все смотрѣть, какъ она порхала по паркету, словно ласточка... Да, не худо бы звѣздочку! А тутъ чего-то косится директоръ; даже однажды

сказалъ: «въ ваши лѣта, я полагаю, вамъ тяжело управлять отдѣленіемъ». — «Это правда» подумалъ я. Хорошо, что ты, пріятель, еще не догадался совершенно: гдѣ видано двадцатилѣтнему юношѣ управлять отдѣленіемъ?... У меня, таки нечего сказать, дѣла понакопились, да ну ихъ, смотрѣть не хочется!

Весьма прискорбно, что мои писцы еще какъ-то меня чуждаются, а малые добрые, ребята молодые, надобно съ ними познакомиться. Столоначальники со мною уже давно на пріятельской ногѣ, да они очень серьёзны, слишкомъ важничаютъ, стариковъ корчать, дураки! Узнали бы, что значить старость, не торопились бы! Вотъ я, небойсь, какъ начну опять выростать, не буду торопиться жить, не стану въ 13 лѣтъ скоблить усы перочиннымъ ножикомъ, чтобы скорѣе чернѣли, чтобъ казаться взрослымъ... Скучно! завтра пойду въ танцклассъ.

27 октября.

Два часа сидѣль за туалетомъ, приглаживалъ голову, обдѣльвалъ прическу; теперь хорошо волосокъ къ волоску подобранъ. Мои волоса день-ото-дня болѣе теряютъ свой темный цвѣтъ, не сѣдѣютъ, а блѣднѣютъ, отчего я дѣлаюсь гораздо моложавѣе.

29 октября.

Третьягодня былъ въ танцклассѣ и тамъ успѣль наконецъ сойтись покороче съ моими канцеляристами; ихъ было трое, все премилые ребята. Они показывали мнѣ всѣ достопримѣчательности танцлаesa; я съ ними, т. е. съ канцелярскими, говорилъ обо всемъ такъ, безъ церемоніи; они мнѣ рассказывали все свое, я имъ рассказалъ кое-что изъ своихъ похожденій; они меня

спросили: отчего я не женюсь, имѣя хорошее содер-
жаніе? Мы, говорить, и дни бы не думали, пережени-
лись. А я — то-то молодость! чуть-чуть не выболталъ
своей тайны. Какъ же мнѣ жениться, когда я все мо-
лодѣю, а жена моя будетъ старѣться? Современемъ
вышла бы завидная пара! Однако я ничего этого не
сказалъ, только подумалъ, и отвѣчалъ: «такъ, друзья
мои, не пришла пора!...»

4 декабря*.

Меня вездѣ называютъ душою компаний! Каково,
Дмитрій Ивановичъ? вотъ что значитъ умѣть употреб-
лять время сообразно возрасту. «Что вы не поете?»
недавно сказала мнѣ Марья Ивановна. «Не умѣю», отвѣ-
чалъ я. — «Вздоръ, вы обманываете» сказала она: «вы
должны пѣть». — «Слушаю, отвѣчалъ я: съ величайшимъ
удовольствиемъ спою что-нибудь, когда выучусь». Дѣлать
нѣчего, взялъ учителя и пою. Завтра удивлю Марью
Ивановну: она будетъ на именинахъ у Саввы Саввича; я
нарочно затѣю фанты и въ фантахъ запою романсы,
который выучилъ меня учитель:

Дѣдушка, дѣвицы
Разъ мнѣ говорили:
Нѣтъ ли небылицы
Иль стариной были?

5 декабря.

Быть у Саввы Саввича и рѣшительно своимъ роман-
сомъ восхитить публику; сначала всѣ, отъ удовольствія,
улыбались и поглядывали другъ на друга, а потомъ
растрогались, даже Савва Саввична заплакала; только
одинъ маленький Саввинъка колотилъ деревянною куклою
орѣхи и немного мѣшалъ пѣть. Какое это стран-

ное семейство! хозяинъ Савва Саввичъ Саввиновъ, его жена Савва Саввична, и сынъ Саввињка — удивительный случай!...

Полно писать, усталъ; а тутъ завтра нужноѣхать въ три дома на именины; нѣтъ времени ни о чёмъ по-думать. Какой омутъ нашъ свѣтъ!

183... ноября 9.

Вотъ опять нѣсколько лѣтъ я не писалъ въ моихъ запискахъ, и съ-тѣхъ-поръ какъ измѣнило меня чудесное мое лекарство! Сегодня поутру мой Федотъ чистилъ что есть силы какой-то старый виц-мундиръ, но никакъ не могъ надрать на немъ ворсы.

— Чѣдѣ это за фракъ? спросилъ я Федота.
— Вашъ, отвѣчалъ Федотъ.
— Чѣдѣ же я его не помню?
— Да онъ лѣтъ десять валялся въ шкапу; я его сегодня самъ нашелъ нечаянно.

— Это интересно; подай его сюда!
Я примѣрилъ виц-мундиръ, мой собственный виц-мундиръ, который сидѣлъ когда-то на мнѣ очень-хорошо, и чѣдѣ же? онъ теперь и длинецъ и широкъ. Видимо уменьшаюсь!

Ноября 10.

Мнѣ теперь по разсчету около 15 лѣтъ.

Ноября 12.

Въ середу былъ на вечерѣ у Ивана Петровича, рѣз-вился, шумѣлъ, дурачился, какъ всегда. Марья Иванов-ва еще похорошѣла; у нея на лицѣ иногда вдругъ по-кажется какая-то милая важность; это ей очень при-стало, такъ и хочется поцаловать. Начались танцы.

— А вы не танцуете? спросила Марья Ивановна.

— Развѣ съ вами.

— Да я ангажирована, Дмитрій Иванычъ!

— Иначе не танцую, какъ съ вами.

Она побѣжала, переговорила съ своимъ кавалеромъ, то-есть просто отказалася ему, профану, и подала мнѣ руку.

Я очень помню, какъ меня учили танцевать, и учили именно въ этихъ лѣтахъ, какъ теперь; кажется, и стоишь, бывало, какъ люди, и ходишь какъ они, а пошель танцевать—ноги точно деревянныя: прыгъ, прыгъ прыгъ по полу, собьешься, зацѣпишься за что-нибудь и растянешься на землѣ во весь ростъ. Такъ и теперь случилось. Мнѣ изъ головы мои лѣта! Заиграли кадриль: первую фигуру я еще кое-какъ путалася, только раза два наступилъ кому-то на ногу; пришла вторая—ноги ненесутъ, точь-въ-точь, какъ, бывало, встарину, когда учился танцевать, шагнулъ впередъ, назадъ, вправо, влево, задѣль нога за ногу, бацъ, объ поль! Господи, какой срамъ! Понесла же меня нелегкая!

Меня подняли и посадили въ кресло; тутъ бы и оставить; кто изъ насъ не падаль? Такъ нѣть: хлопочуть, спрашиваютъ, не ушибся ли, суетятся.... Раздосадовали до-нельзя! Я забился въ темный уголъ и заплакалъ—не отъ боли, а отъ досады, отъ огорченія. Марья Ивановна подошла ко мнѣ, съ участіемъ взяла меня за руку и почти сквозь слезы сказала: «бѣднень-кій!» У меня такъ и растаяло сердце. «Чѣмъ пособить вамъ?» продолжала она. — «Ничего», отвѣчалъ я, сжимая съ дѣтскою радостью ея нѣжную ручку, «поцалуйте меня». — «Только-то? Извольте, хоть десять разъ.» — И она поцаловала меня!... поцаловала!... Я весь за-

трепеталъ отъ этого поцалуя, и уже плакалъ отъ радости.

Всякій возрастъ имѣеть свои неотъемлемыя права, свои прекрасныя привилегіи!

Ноябрь 13.

Слава Богу, начали падать зубы:

Ноябрь 14.

Сегодня въ департаментѣ я шелъ изъ казначейской по коридору; смотрю: направо въ темной комнатѣ (гдѣ стоять чернила, лежать щотки и спить сторожъ) мои канцеляристы — экіе пройдохи! — закурили коротень-кую трубочку и затягиваются. Быстро пришла мнѣ на мысль прежняя молодость, когда, бывало, потихоньку отъ учителя, гдѣ-нибудь за угломъ потянемъ трубки — и страшно, и осматриваешься кругомъ, и дрожишь, глотая дымъ, будто какой нектаръ. Сущее наслажденіе!... Впослѣдствіи я имѣль возможность и способы курить трубку, но никогда не куриль съ такимъ удовольствіемъ. Не трубка пріятна, а этотъ судорожный страхъ, невольный трепетъ отъ пустаго скрипа двери; пріятны «сильные ощущенія». Я вспомнилъ все это и не выдержалъ: шасть въ темную комнату: канцеляристы сначала сробѣли, спрятали трубку за фалды виц-мундира и, будто не видя меня, начали громкій разговоръ *о черновыхъ отпускахъ*. «Полно, пріятели» сказалъ я: «не обѣ отпускахъ дѣло, а дайте-ка затянуться, пока не пришелъ директоръ». Канцеляристы переглянулись между собою, одинъ досталъ трубку, другой набилъ ее, вытянувъ изъ жилетнаго кармана табакъ, завернутый въ газетную бумагу, третій вырубилъ огня и въ минуту все поспѣло. Да и затянулся же я великолѣпно!...

Потомъ скорыми шагами прошелъ черезъ канцелярию въ свою комнату; тамъ стоялъ директоръ. «Чтò у васъ въ канцелярии будто табакомъ пахнетъ?» спросилъ онъ. — «Не знаю, ваше превосходительство; можетъ-быть, сторожа утромъ курили; впрочемъ, я не слышу», отвѣчалъ я, а въ душѣ такъ и пошелъ морозъ. «Скажите экзекутору, чтобы за ними смотрѣль» продолжалъ директоръ и ушелъ. Уфъ! какъ гора съ плечь свалилась!... Вотъ какую штуку я ему выкинулъ.

183... мај 23.

Мой Федотъ слишкомъ состарѣлся; такой сталъ неповоротливый, иногда стаканъ воды подаетъ часа два. Нехорошо.

Іюля 2.

Сегодня ко мнѣ пресервѣзно подошелъ директоръ, совершенно мой бывшій учитель, такъ же важно надуль свой стриженый хохолокъ и такъ же грозно заговорилъ со мною: «Дмитрій Иванычъ, у васъ дѣла запущены, вы худо смотрите за отдѣленiemъ; вотъ другой годъ не рѣшается дѣло откупщика Медвѣдева. Займитесь имъ исключительно, преимущественно займитесь имъ сегодня».

Пока кричалъ директоръ, то мнѣ и хотѣлось заниматься; я пришелъ въ свою комнату и началъ читать. Признаюсь, было отчего ему лежать не два года, а двадцать лѣтъ: пресквернымъ почеркомъ писано, ничего не разберешь. Да и что это за Медвѣдевъ? кто онъ такой? Мнѣ представилось, что это простой бурый медвѣдь во фракѣ стариннаго покроя и въ спальныхъ сапогахъ. Эта идея меня очень развеселила, я пошелъ и сообщилъ свою мысль въ канцелярию, чѣмъ произвелъ всеобщій смѣхъ.

Возвратясь въ свою комнату, я уже не взглянуль на дѣло — пропадай оно совсѣмъ, вещь прескучная!

Смотрю — лазить по окну синяя муха, прекрасной породы, прекрупная; я вспомниль, что во врема Ѳено я забавлялся мухами, заперъ дверь изъ канцеляріи на замокъ, расшиль дѣло Медвѣдева и досталь изъ него ни-точку шелка; потомъ поймалъ муху, оборвалъ ей крылья, привязалъ шелковинкою за ногу къ перу и пустиль на окно. Да какая рысистая попалась муха! такъ и возвитъ перо, только оно переваливается... Слышу, за дверьми говорить столоначальникъ: «Тише, господа! Дмитрій Иванычъ занимается». Меня такъ смѣхъ и проняль; думаю: «вотъ гуси!» А въ канцеляріи стало тихо, тихо, даже было слышно, какъ моя муха шелестила перомъ по бумагамъ.

Не увидѣль какъ прошло время. Ударило три часа; я бросилъ муху съ перомъ за форточку и отворилъ дверь; на встрѣчу мнѣ директоръ.

— Ну, чтò, Дмитрій Иванычъ, подвинулось дѣло?

— Подвинулось, ваше превосходительство.

Онъ взяль дѣло въ руки, и вдругъ посыпались изъ него листы.

— Это чтò?

— Не знаю, ваше превосходительство; я самъ цѣлое утро подбиралъ листы: они перебиты, не сшиты, въ нихъ никакого толку нѣть.

— Кто сшивалъ дѣло?

— Полагаю, канцеляристъ Финфиуралькинъ: на немъ лежить эта обязанность.

— А вы не можете присмотрѣть за вашими подчи-

иенными! Въ вашихъ лѣтахъ вы сущій ребенокъ, съ позволенія сказать.

«Къ-чему тутъ просить позволенія?» подумалъ я и улыбнулся.

— Чѣдѣ вами смѣшино!?" почти завопилъ его превосходительство и пошелъ ругать Финфиурлькина. Пушилъ, пушилъ; толькъ, бѣдный, не знаетъ, откуда такая напасть приключилась, стоять ни живъ, ни мертвъ, только запонка на манишкѣ трепещется... «Славно сошло съ рукъ!» подумалъ я, потирая отъ радости руки, поскорѣе за шляпу и махнулъ домой по черной лѣстницѣ.

Июня 10.

И помина нѣть о дѣлѣ Медвѣдева! Отдали его разсмотрѣть столонаачальнику. Директоръ, тоже какъ и всегда, поклонится, холодно и пройдетъ. Объ этомъ я ни мало не беспокоюсь: мнѣ съ нимъ не дѣлать крестить. Въ департаментѣ жарко, дѣлать ничего не хочется. Посидѣлъ часъ и ушелъ домой. Скучно!

Июня 13.

Слава Богу, догадались! Я все думалъ: не-уже-ли я буду служить и ребенкомъ? Наконецъ сегодня получилъ уведомленіе, что по разстрѣленному здоровью увольняюсь въ отставку. Это маленькая ложь: мое здоровье здоровѣе всѣхъ ихъ. Ну, спасибо, хоть догадались, а за пятидесятилѣтнюю службу дали пансіонъ полнаго жалованья. По настоящему и тутъ не такъ: я служилъ вѣрою и правдою тридцать лѣтъ, а остальные двадцать ни то ни сё, а чаще портилъ порядки. Здѣсь, слава Богу, не догадались!

Июня 14.

Итакъ я въ отставкѣ! Хорошо; больше не пойду и не поѣду въ департаментъ. Живи спокойно себѣ дома, Дмитрій Иванычъ! очень хорошо!

Я думаю, мнѣ нехудо бы имѣть дядьку; въ моихъ лѣтахъ безъ присмотра не бывають, да и люди скорѣе бы слушали дядьки, нежели меня, а то ни Федотъ, ни кухарка знать меня не хотятъ: дать какои-то черствый хлѣбъ и твердое мясо — не укусишь.

Какая теперь скверная дѣлается бумага: никакъ невозможно прямо писать; начнешь строчку, кажется, хорошо, а сведешь или внизъ или вверхъ вершка на два — такъ перо и ъздитъ въ стороны. Не-уже-ли мнѣ придется оставить свои записки? Чѣдѣ же я буду дѣлать?... Развѣ попробую разлиновать; когда-то въ этихъ лѣтахъ я такъ писывалъ, а послѣ, пожалуй, можно карандашъ вытереть резинкою, чтобы незамѣтно было.

Июня 18.

«Проба пера и чернила, какая въ немъ сила!» Хорошо, недурно! Писать по линейкамъ и легко и пріятно.

Я совершенно счастливъ; Провидѣніе видимо печется обо мнѣ — у меня есть дядька! Третій день какъ Богъ послалъ его.

Утромъ въ четвергъ была погода не такъ-то хорошая; шелъ дождикъ; я сидѣлъ въ кабинетѣ и дожидался чая; сижу и слышу въ передней что-то стучить, будто скидайтъ калоши. «Кто тамъ?» — Отвѣта нѣть. Ну что, если это какой злой человѣкъ? Я подумалъ, что въ моемъ возрастѣ, когда при мнѣ никого нѣть — это опасно, и сижу ни живъ ни мертвъ. Дверь отворилась; входить въ кабинетъ человѣкъ высокаго роста, въ поношенномъ

военномъ сюртукѣ, съ воротникомъ ни то малиновыи, ни то апельсинныи; въ одной рукѣ онъ держалъ фуражку, а въ другой полосатый ситцовый кисетъ и деревянную трубку съ краснымъ чубукомъ, украшеннымъ красными спиральками и кистями. Незнакомецъ поклонился мнѣ довольно-сурово, шевельнувъ длинными рыжими усами и спросилъ меня:

— Не вы ли Дмитрій Иванычъ?

— Точно такъ.

— Очень радъ. Честь имѣю рекомендоваться вашимъ родственникомъ.

— Весьма-пріятно; но, сколько помню, послѣдняя сестра моя, дѣвица, умерла.

— Не-уже-ли вы не помните Алены Львовны?

— Алены Львовны? — Да, помню. Она приходилась мнѣ троюродною тѣтушкою, и часто драла за уши, называя безпутнымъ сахарникомъ; хоть и никогда не видѣла въ этихъ словахъ большаго смысла.

— Не о смыслѣ дѣло, Дмитрій Иванычъ. Помните, у нея была дочь Любовь Андреевна?

— Какъ не помнить Любинки! Она была такая добрая, но она поѣхала куда-то на Западъ, я въ Петербургъ — и потерялъ ее изъ вида.

— Любовь Андреевна уѣхала на Западъ потому, что слѣдовала за полкомъ, вышедъ замужъ за поручика Кашемирскаго полка Кричимова.

— Помню и Кричимова: такой толстенький, черномазенький, вѣчно, бывало, торопится и баситъ.

— Не угодно ли вамъ будетъ, милостивый государь, говорить о немъ повѣжливѣе, потому-что я его сынъ.

— Извините меня, я это сказалъ такъ, на скорую

руку, не могъ въ немъ примомнить ничего особеннаго... Итакъ вы сынъ Любиньки, доброй Любиньки, которая меня когда-то кормила конфектами.

— Никакъ нѣть. Любовь Андреевна умерла бездѣтною, отъ беспокойства на переходахъ и сырого климата, впрочемъ, записавъ моему родителю свое имѣніе. Онъ, для развлеченія грусти, вскорѣ по смерти жены женился на полькѣ пани юзефѣ; отъ этого брака произошелъ вашъ покорный слуга.

— Дайте вашу руку, дражайшій родственникъ! Вы, значитъ, обладатель деревни Свистуновки? Славная деревенька! тогда въ ней числилось 73 души.

— Нѣть, изволите видѣть, я очень несчастливъ. Вы мой ближайшій родственникъ, я отъ васъ ничего не скрою.

Это меня очень растрогало.

— Продолжайте, сказалъ я.

— У моихъ родителей только и было дѣтей, что я. Мой батюшка любилъ селянку и бесѣды людей чиновныхъ, постарѣе себя, а маменька любила шоколадъ и общество молодыхъ людей; отъ этого различія во вкусахъ они какъ-то все расходились въ разныя стороны, такъ-что однажды утромъ, когда пришли къ моему батюшкѣ и сказали, что барыни нѣть, куда-то сѣжала, онъ махнулъ рукою и сказалъ: «не ищите; соскучится, сама придетъ». Однако она до сего дня не возвращалась. Батюшка вышелъ въ отставку, самъ воспиталъ меня, опредѣлилъ въ уланы и умеръ. Я служилъ, благодаря Бога, хорошо, дослужился до поручика, заложилъ имѣніе — нельзя же служить въ кавалеріи не дѣляя долговъ; я ихъ дѣлалъ — это ничего; но въ одинъ вечеръ ко мнѣ пришли человѣка четыре моихъ пріятелей

мы пили чай, игралъ въ карты, шутили, смеялись, пропадали почти до свѣта, и — моя Свистуновка какъ-то сошла у меня съ рукъ, а я на другой день подалъ въ отставку...

— Значить, вы не имѣете Свистуновки?

— Ничего, любезнѣйшій Дмитрій Ивановичъ, ровно ничего, кромѣ этой трубки и кисета.

«Вотъ», подумалъ я, «будетъ мнѣ лихой дядька», и сказалъ: — Если вы, почтенѣйшій родственникъ — извините, не имѣю чести знать вашего имени и отчества...

— Василій Кузьмичъ.

— Да, почтенѣйшій Василій Кузьмичъ, если вы ничего не имѣете, то прошу принять мое предложеніе: перебѣжайте ко мнѣ на квартиру, живите у меня: вы этимъ докажете всю вашу родственную привязанность. Разумѣется, мы, люди статскіе, не можемъ оказать вамъ должного гостепріимства и доставить приличныхъ удовольствій; по-крайней-мѣрѣ, вы будете имѣть квартиру, столъ и все нужное; я одинъ, вы у меня ближайшій родственникъ, располагайте всѣмъ: что мое — все ваше.

Боже мой, что сдѣлалось при этихъ словахъ съ Васильемъ Кузьмичомъ! Въ первый разъ въ жизни я увидѣлъ на опытѣ всю силу, всю трогательную нѣжность родственной любви! Василій всею тяжестью своего тѣла повисъ на моей шеѣ и целовалъ меня въ плечи... Добрый человѣкъ!...

Августа 5.

Мои волосы приняли блѣдно-желтый цвѣтъ, какъ у младенцевъ. Я быстро иду къ своей цѣли — возрожденіе не за горами.

Сентябрь 1

Славная моя жизнь: я совершенно спокоенъ. Василий Кузьмичъ всѣмъ управляетъ: и заказываетъ обѣдъ, и поить меня чаемъ, и держитъ мои расходы. Спасибо ему! Чѣмъ бы я былъ безъ него?...

Помню, очень давно, когда я былъ ребенкомъ, было, къ моему отцу собираются знакомые уѣздные чиновники и пьють пуншъ, и цѣлый вечеръ играютъ въ карты, а тебѣ такъ спать хочется, и смотришь и не видишь, будто пухъ на рѣбницахъ; вотъ пойдешь въ другую комнату ляжешь на кровать, да и заснешь подъ пѣсни да хохотъ. Такъ и теперь: Василья Кузьмича любятъ добрые люди, частенько сходятся къ нему поиграть въ карты; тутъ подымется шумъ, крикъ, хохотъ, дымъ отъ трубокъ стелется какъ отъ парохода, а я уйду въ кабинетъ, раздѣнуясь, да и въ постель — простятъ гости моему возрасту. Засыпаю, а чрезъ двѣ комнаты шумъ, хоочутъ, точно уѣздные чиновники у моего батюшки. Такъ станетъ спокойно, такъ пріятно..: Кажется, вотъ придетъ батюшка и скажетъ матушкѣ: «пора бы, жена, на столъ накрывать». Того и ждешь, что матушка ласково возьметъ тебя за ухо и прошепчетъ: «встань, Дмитрушка; не хорошо спать, сейчасъ будемъ ужинать». Кажется, слышишь, какъ старушка-няня шелестить по комнатамъ своими суконными башмаками... Давно прошедшее воскресаетъ и живеть со мною... Засыпаешь и улыбаешься старымъ друзьямъ... Дай Богъ здоровье казанскому татарину!...

Сентябрь 15.

Тѣмъ болѣе я цѣню заботы и щопеченія Василья Кузьмича, что они рѣшительно безкорыстны. Охота же ему возиться съ мальчикомъ, зная, что онъ выростетъ

*

и забудеть его, не помянеть его добрымъ словомъ — это случается, по пословицѣ, сплошь да рядомъ — а еще, можетъ-быть, за его попеченія отплатить неблагодарностью. Будь я старикъ — дѣло другое, по-неволѣ пришла бы на умъ черная мысль... Господи прости, какъ-то о людяхъ скорѣе подумаешь худое, нежели хорошее...

Мое хозяйство поправилось, все идетъ быстро, проворно; одно мнѣ не нравится: Василій Кузьмичъ въ-продолженіе трехъ мѣсяцевъ перемѣнилъ шесть кухарокъ: ни одна не уживется; и Федотъ часто является ко мнѣ съ измѣнами прической. Мнѣ иногда жалко старичка; впрочемъ, это все дѣлается для моего благополучія... Золотой Василій Кузьмичъ!...

1839, февраля 3.

Я сегодня сказалъ въ защиту Федота нѣсколько словъ Василью Кузьмичу; онъ на меня порядочно прикрикнулъ за это; я хотѣлъ-было поспорить, но подумалъ, да и отошелъ молча къ окошку. Вотъ что думалъ я: хорошо, еслибы дѣти имѣли опытность взрослыхъ: сколькоихъ непріятностей, слезъ, неудовольствій избѣжали бы они! Я, бывало, до слезъ спорю съ батюшкою, да съ матушкою за глупаго Ванюшку, спорю до-тѣхъ-поръ, пока мнѣ порядочно не выдерутъ ушѣй: и Ванюшкѣ не легче и у меня цѣлый день горятъ уши, какъ языкъ, когда покушаешь перцу. А подроюсь, такъ самъ удѣль, что мой дѣтскій умъ не постигалъ всей негодности Ванюшки. Выходитъ, что уши драли ни за то, ни за сё, и я единствено своимъ характеромъ купилъ себѣ нѣсколько горькихъ минутъ. Оттого я не сказалъ ни слова Василью Кузьмичу.

Февраль 4.

Помирился съ Василемъ Кузьмичомъ. Онъ добрѣй-
шій человѣкъ: для меня же ссорится съ людьми, для
меня колотится съ утра до ночи, а я вздумалъ еще
упрекать его! «Вы не сердиты на меня?» спросилъ я Ва-
силья Кузьмича, когда онъ возвратился съ прогулки по
Невскому Проспекту. «Нѣть, Дмитрій Иванычъ; за
что же на вѣсъ сердиться? Вотъ я сегодня получилъ
часть вашего пансіона и принесъ вамъ гостинецъ».

Тутъ онъ опустилъ руку въ карманъ сюртука, вы-
нулъ пребольшую грушу, и говорить: «Возьмите, только
не кушайте передъ обѣдомъ». — «Хорошо» сказалъ я,
ушель въ кабинетъ и сейчасъ же съѣлъ грушу. Вытер-
пиши, когда такой душистый, сочный плодъ въ рукахъ!

Февраль 5.

Просилъ Василья Кузьмича купить мнѣ чижика. «Не
нужно такой дряни» сказалъ Василій Кузьмичъ: «въ немъ
ни цвета ни голоса». А мнѣ очень хочется; попро-
шу кухарку купить, и поставлю у себя съ клѣткою на
окошко.

Мая 10.

По двумъ линейкамъ писать гораздо лучше: слова
ровнѣе. Сегодня за обѣдомъ Василій Кузьмичъ прика-
зали закрыть мнѣ грудь салфеткою. Это очень полезно;
и прежде, въ дѣтствѣ, меня завязывали.

Мая 11.

Обѣщали достать чижика.

Августа 19.

Выпалъ послѣдній зубъ. Скоро ли начнутъ рости но-
вые? А чижика все нѣть!

Сентября 2.

Есть чижикъ! да какой миленький, какой веселый!
Самъ єсть конопляное сѣмя и пить воду — и все
поеть, все чирикаетъ. Заплатили гривенникъ.

Сентября 4.

Миѣ очень хочется краснаго платка на шею. Скажу
Василью Кузьмичу; какъ-бы онъ не разсердился? Ска-
жеть: «вы ребячитесь, бросаете деньги». Чижикъ здоровъ.

Сентября 20.

Уже меня водить человѣкъ подъ-руки. Пріятно и
легко. Что день, то я ближе къ цѣли.

Сентября 21.

Меня кормятъ молочною кашею. Кушанье мягкое и
очень сладкое. Чижикъ тоже есть кашу.

Сентября 22.

Навязалъ на шею чижику зеленую баҳромку; онъ
сталъ еще красивѣе.

Сентября 24.

Хочу достать другого чижика: моему будетъ весе-
лѣе, у нихъ будуть дѣти, маленькие чижики, и вдругъ
всѣ запоютъ цѣлымъ семействомъ; то-то будетъ весело!
Разведу полную комнату чижиковъ.

Сентября 25.

Сегодня цѣлый день провелъ, слушая играющую та-
бакерку; играеть весело, и внутри все перебѣгаютъ пру-
тики — не насмотришься! Чижикъ тоже пѣлъ.

Сентября 27.

Дасть Богъ весну, я положу въ клѣтку къ чижику зеленої травки — какъ обрадуется бѣдная птичка!

Октября 1.

Василью Кузьмичу представилось, что я скоро умру; онъ совѣтовалъ мнѣ написать духовную. Странно!

Октября 2.

Я сказалъ Василью Кузьмичу, что переживу всѣхъ, и кухарку, и Федота, и его самого; онъ пожалъ плечами и ушелъ.

Октября 3.

Былъ докторъ, не знаю зачѣмъ, прописалъ лекарство. Я сдѣлалъ чижику прекрасную коробочку изъ карты.

Октября 4.

Лекарство вылилъ въ печку. Былъ докторъ, прописалъ другое.

Октября 5.

И то вылилъ
· · · · ·

Этими словами, или почти этими, оканчивалась рукопись, потому-что еще тамъ было нацарапано нѣсколько строчекъ, но такимъ почеркомъ, который очень похожъ на знаменитую гвоздеобразную грамоту: ни въ одной буквѣ нельзя было признать никакой известной формы. Я нетерпѣливо ожидалъ окончанія переговоровъ высокаго барона съ докторомъ; наконецъ дверь отворилась, баронъ вышелъ и началъ раскланиваться.

— До свиданія, m. le Baron, говорилъ докторъ: — будь-

те благонадежны, покушайте еще эту зиму моихъ мистуръ, а весною, съ Богомъ, на воды въ Маріенбадъ— и вашъ курсъ оконченъ.

— Вы думаете онъ будуть мнѣ полезны? спросилъ баронъ отворяя дверь.

— Непремѣнно! онъ укрѣпить когезію твердыхъ частей и умѣрять чувствительность нервной периферической системы; но ради Бога, calmez vous, laissez toutes les affaires qui...

Баронъ захлопнулъ дверь и фраза осталась неконченою.

— Чѣмъ это? спросилъ я у доктора, показывая ему тетрадь.

— Это, вотъ изволите видѣть, отвѣчалъ докторъ, спокойно опускаясь въ кресла:— это одинъ изъ добрѣшихъ людей, послѣдняя отрасль древняго, богатаго дома бароновъ Фейф-тѣбакъ. Весною будетъ три года, какъ я имѣю надъ нимъ практику. Удивительный субъектъ! Первоначальная болѣзнь его была просто *tussis*, кашель; но въ-продолженіе трехъ лѣтъ онъ испыталъ по-очередно всѣ, такъ-называемыя, кахетическія болѣзни. Удивительный субъектъ! все вынесъ, и теперь, кромѣ нѣкотораго рода дискразій, въ немъ ничего не осталось. Впрочемъ, надѣюсь, Маріенбадъ довершить начатое.

— Мы, кажется, не понимаемъ другъ друга. Вы говорите о больномъ, который сейчасъ вышелъ?

— Разумѣется!

— Напротивъ, я спрашивалъ обѣ этой тетради.

— О тетради? стоять ли заниматься подобными глупостями! Это писать почти сумасшедшій, помѣшанный. Недѣли двѣ назадъ, пришелъ ко мнѣ человѣкъ, очень-хорошо одѣтый и просилъ навѣстить его дядю.

Мы отправились; при первомъ взглядѣ, я узналъ, что у больнаго *mastasmus*—неизбѣжная участъ старости, болѣзнь неизлечимая; однако я прописалъ легонькое укрѣпляющее лекарство; назавтра я навѣстилъ больнаго; племянникъ со слезами просилъ прописать еще лекарство; напротивъ, самъ больной смѣялся, увѣрялъ, что онъ здоровъ и просилъ меня не беспокоиться. Эта странность поразила меня. Я совѣтовалъ племяннику не спускать глазъ съ больнаго и, въ случаѣ перемѣны, дать мнѣ знать. Черезъ день опять явился ко мнѣ племянникъ съ этою тетрадью, которую укралъ у дядюшки, замѣтивъ, что онъ чѣ-то въ ней записываетъ и на ночь тщательно прятать ее подъ подушки. Смотрю — да это *hypochondriasis*! Вотъ твоя болѣзнь, голубчикъ! Вотъ откуда и *anorexia*, и *tremor*, и прочая, и прочая!... И муллу-то этого я зналъ: онъ продавалъ нашъ невинный пѣнникъ вмѣсто какого-то восточнаго эликсира отъ всѣхъ болѣзней. «Не беспокойтесь, милостивый государь», сказаль я племяннику: «у насъ у самихъ на это есть вѣрное лекарство. Пойдемте».

— Приходимъ. Старичокъ сидитъ въ креслѣ возлѣ кровати и строить изъ картъ домикъ, чѣ-то шепчетъ и улыбается, глядя на свою шаткую работу, а на кровати стоитъ клѣтка съ чижикомъ. Я сдуль со столика карточный домикъ и началъ говорить: «Полно вамъ дурачиться, Дмитрій Ивановичъ! Всѣ мечты человѣка разлетятся, какъ вашъ домикъ; стыдно забирать себѣ въ голову глупости на долгое время; лекарство муллы просто дрянь: оно не имѣть никакой силы, да и весь городъ о немъ знаетъ. Вотъ ваша тетрадь, видите: она уже у меня». Дмитрій Ивановичъ робко посмотрѣлъ на меня, торопливо заглянуль подъ подушку и тихо

опустился на спинку кресла; ни слова, ни звука; по тьму пробежал легкий трепет, точно в живой рыбь, когда ее тронешь рукою, и только. «Теперь, говорю я племяннику, не надо зевать»: открыть кровь, на голову льду — и старик очнулся.

— Ахъ, Боже мой, прошептал онъ: — что со мною? не-уже-ли все это мечта?

— Мечта, подхватилъ я: нелѣпая мечта! Посмотрите въ зеркало: глубокія морщины на лицѣ вашемъ, пожелтѣвшіе отъ времени волосы, ваша дряхлость, развѣ не обличаютъ, что вамъ пошелъ восьмой десятокъ?

— Правда, правда. Возьмите его, едва слышно сказала Дмитрий Ивановичъ и медленно отворотился отъ зеркала... Онъ закрылъ лицо длинными, высохшими кистями рукъ своихъ, и плакалъ какъ дитя; крупные слезы, пробиваясь между пальцевъ, быстро скатывались по его мѣховому шлафроку...

«Ну», сказалъ я племяннику, выведя его въ другую комнату: «мы восторжествовали; болѣзнь смята, прогнана... Только я долженъ сказать вамъ, что существование вашего дядюшки не можетъ быть продолжительно: сильные сотрясенія, при всей своей пользѣ, бываютъ пагубны». — «Благодѣтель мой!» сказалъ племянникъ, обнимая меня: «хоть на два часа мой дядюшка здоровъ, и этого для меня довольно...» И, повѣрите ли, онъ плакалъ, говоря эти слова. Благородный человѣкъ!... Вчера я встрѣтилъ на Невскомъ племянника; онъ шелъ въ богатой бекешѣ и въ шляпѣ, обшитой флѣромъ.

— Чѣд дядюшка? спросилъ я.

— Ваша правда, докторъ, отвѣчалъ онъ, крѣпко сжимая миѣ руку: — дядюшка уже на Смоленскомъ Клад-

бишъ... Заходите, докторъ, когда-нибудь ко мнѣ; у меня по пятницамъ вечера.

— Надобно будетъ, продолжалъ докторъ, когда-нибудь заѣхать отвезть ему эту тетрадь.

— Вы лучше отдайте ее мнѣ, сказалъ я: — она племяннику будетъ напоминать печальное происшествіе, а мнѣ, напротивъ, пріятный вечеръ, проведенный съ вами.

— И то правда; пожалуй, возьмите!...

— Прощайте, докторъ!

— А мозоли? вы съ ними не шутите: полечите ихъ рационально.

— Непремѣнно; но теперь мнѣ некогда; если позволите, я пріѣду въ другое время.

— Какъ вамъ угодно; въ пять часовъ пополудни всегда дома. Мой совѣтъ — не шутить...

— До свиданья!

1839 г.

ГОРЕВЪ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧЪ.

П О В С Т Ъ.

I.

Скучна, очень скучна осень! Весною природа дышетъ дѣственниою прелестью; она, какъ невѣста, убранная свѣжими цвѣтами, весело улыбается; грядущее сулитъ ей много.

Въ яркомъ сіяніи дня веселый жаворонокъ щебечетъ про любовь; при полномъ свѣтѣ луны, въ кустѣ душистой сирени, поеть про ту же любовь соловей; его звуки то стонутъ грустью, то страстно замираютъ, то гремятъ удовольствiemъ, счастiemъ. Слушая ихъ, вздыхаетъ дѣвушка-мечтательница, робко поправляя косынку на полной груди своей; вздыхаетъ счастливый юноша, самъ не зная о чёмъ... а ночные фіялки и ландыши льютъ благоуханія, а ближній ручей таکъ говорливо переливается по камешкамъ!...

Настало лѣто — и природа, какъ женщина, полная жизни и страсти, роскошно-хороша; цвѣты замѣняются плодами, мечты — дѣйствительностью; солнце жарко смотритъ на землю, и земля отвѣтываетъ ему тепломъ.

рить на природу, обливаеть ее огненнымъ потокомъ лучей, сожигаеть весеннеіе цвѣточные лепестки и румяниить сочные плоды...

Еще весело; но прійдетъ осень — подобіе нашей старости — и грустно станетъ сердцу, способному грустить, способному чувствовать. Кокетливый уборъ листьевъ и цвѣтовъ слетить съ природы - старухи; свалятся румяные плоды; птицы, какъ неблагодарные поклонники ея прежней красоты, улетять туда, гдѣ имъ потеплѣе; солнце перестанеть ласкать ее своими лучами; сѣрыя тучи, какъ нерадостныя думы, заволокутъ горизонтъ и, какъ слезы объ утраченномъ благѣ, польется частый холодный дождикъ... Поневолѣ загрустиши!

Хорошо, если еще человѣкъ богатъ: онъ кое-какъ скроетъ, замаскируетъ скучное время; онъ покажетъ золото — и его ближній, забывъ свое назначеніе, свою духовную гордость, засвиститъ, защелкаетъ передъ нимъ и соловьемъ и малиновкою; тепличные цвѣты, наперекоръ природѣ, разольются благоуханію въ его палаатахъ; девушки улыбнутся ему привѣтливо, будуть смотрѣть на него глазами полными страсти... и онъ, счастливецъ, въ обаятельномъ чаду забудетъ настоящее, существенное, упьется воображеніемъ!

И хорошо! Наше счастье, говорять, зависить отъ насъ самихъ: стоять только вообразить — и конечно!...

Но если, при наступленіи холоднаго осеннаго времени, у васъ не будетъ теплого платья, если слезы природы — именуемыя въ просторѣчи дождемъ — наводнить улицы и покроютъ ихъ грязью, а вы, не имѣя экипажа, скрѣпя сердце, должны попирать ногами эти небесныя слезы, притомъ, если ваши сапоги не въ надле-

жащей исправности, и вы твердо увѣрены, что, прия домой, не найдете ни полѣна дровъ и ляжете въ сырой комнатѣ на холодную постель, въ мокромъ платьѣ, то, какъ бы ни было пламенно ваше воображеніе, врядъ ли вы будете въ состояніи вообразить себя счастливымъ и веселымъ.

Особливо, если вы — чего Боже сохрани! — любите дѣвушку всѣми силами души вашей и встрѣчаете холодное равнодушіе, или, если вы — это еще хуже — любили, были любимы, но обстоятельства оторвали васъ отъ вашей ненаглядной... Тогда во всякой перелѣтной птичкѣ вы увидите улетающую вашу радостную мечту; ваши вздохи найдутъ созвучіе въ жалобныхъ порывахъ вѣтра, каждая капля дождя прокатится холодомъ по вашему сердцу. Послѣ этого вы догадаетесь, отчего Николай Федоровичъ Горевъ очень грустно шелъ по улицамъ Москвы бѣлокаменной.

Это было осенью. Тяжелыя тучи безконечною грязью лежали на небѣ; солнца сутки трои и въ поминѣ не было; дождикъ принимался идти въ часъ раза четыре; грязь въ невымощенныхъ улицахъ доходила почти до колѣна; холодный осенний вѣтерокъ повѣвалъ лихорадкою. По всему можно было замѣтить, что октябрь распоряжается по-своему, а у него — между нами сказано — прескверные привычки и наклонности.

Николай Федоровичъ грустно шелъ отъ Кремля до моя, повѣся голову; шинели на немъ не было; фракъ, застегнутый снизу на двѣ пуговки, открывалъ вѣтру грудь, прикрытую пестрымъ ситцовымъ жилетомъ. Заложивъ руки въ карманы, для защиты отъ холода, Горевъ медленными, но широкими шагами мѣрилъ улицы такъ хладнокровно, что вы бы подумали, онъ это дѣ-

лаеть по казенной надобности, или что онъ англійскій лордъ, который, скушавъ два, три пудинга да фунта четыре ростбифу, ищеть аппетита къ предстоящему обѣду.

Гореву идти было очень далеко: онъ квартировалъ въ приходѣ Ермолая или Николы-на-курихъ ножкахъ... Нѣть, виновать, не на курихъ ножкахъ, тотъ приходъ въ другомъ мѣстѣ, а этотъ былъ, гдѣ-то тамъ, далеко, въ концѣ города; еще въ этомъ приходѣ живеть Харитонъ огородникъ, и, года три назадъ, два студента ночью спустили на вѣтеръ огромнаго змѣя, склееннаго изъ какого-то журнала, привѣсивъ къ нему два фонаря, и этимъ ложнымъ телеграфомъ встревожили всю пожарную команду... Помните? Ну, въ этомъ самомъ приходѣ, у самой сѣзжей, нанималь Николай Федоровичъ весьма необширную комнату, до которой отъ Кремля было добрыхъ верстъ десятокъ. Въ Кремль онъ постоянно ходилъ третій мѣсяцъ: опредѣляться на службу; ему обѣщали мѣсто, но всякий разъ говорили: «придите завтра»; завтра опять повторяли вчерашнее, и такъ далѣе...

Въ день, съ котораго я началъ мой разсказъ, Николаю Федоровичу тоже сказали: «придите завтра», и онъ отправился домой. Холодный вѣтеръ пробиралъ его легкое платье; холодные отвѣты начальниковъ сжимали душу, а тутъ еще въ карманѣ всего два двугривенныхъ. — «Прокормишься завтраками съ недѣлю, такъ и обѣдать будетъ не на чѣ; совѣстно сказать, сапоги совсѣмъ износились, ноги не служать въ этой проклятой грязи, того и гляди тутъ и подошвы навѣки останутся, завтра невозможно будетъ явиться получить мѣсто; лучше взять извозчика: дамъ двугривенный и сбе-

регу полтора рубля» — такъ думалъ Горевъ шагая по улицѣ. Вдругъ кругомъ его зашумѣло, зашипало, будто кто вылилъ ему на голову ушать воды. Николай Федоровичъ оглянулся — и улицы не видать за дождень, такъ и льетъ.

— Извозчикъ, сюда! Пошелъ въ Отдаленный приходъ, дамъ двугривенный.

И Николай Федоровичъ поѣхалъ на прекурѣзныхъ дрожжахъ по жидкой грязи московскихъ улицъ.

Вотъ и заборы, и огороды, и домикъ подъ съѣзжей.
Стой!

— Прибавьте, баринъ!

— Не за что, худо везъ.

Говоря эти слова, Николай Федоровичъ разстегнулъ фракъ и опустилъ пальцы въ жилетный карманъ; пальцы, пройдя карманъ, опять явились на свѣтъ Божій въ низу жилета. Николай Федоровичъ проворно вынулъ руку изъ кармана, будто тамъ нашелъ змѣю, посмотрѣлъ на пальцы, и опять послалъ ихъ въ карманъ; они опять немедленно явились подъ карманомъ; не было никакого сомнѣнія, что въ карманѣ существовала дыра; но Горевъ все еще сомнѣвался, торопливо вывернувъ карманъ — и тогда горькая истина явилась его очамъ:

«Мерзкій карманъ, съѣлъ два двугривенника!» ворчалъ Николай Федоровичъ, а извозчикъ громко требовалъ денегъ: мнѣ, дескать, не охота мокнуть подъ дождемъ.

— Погоди, любезный, говорилъ Николай Федоровичъ, стуча въ дверь: — видишь, какое несчастіе: деньги были, да потеряны; я спрошу у хозяйки. Но дверь не отпиралась: хозяйка ушла куда - то, и заперла домикъ.

- Что же, баринъ, деньги?
- Видишь, любезный, никого нѣть.
- А мнѣ чѣмъ за дѣло? Я тебя везъ.
- Прѣдешь, братецъ, завтра.
- Какъ бы не такъ; отъ завтраковъ не станешь състь.

— Совершенная правда, я съ тобой согласенъ; но гдѣ же я возьму денегъ? Какія были — потерялъ.

Извозчикъ сердился, ругался, кричалъ, что его на-
дуваютъ — словомъ, поступалъ, какъ всякий русскій му-
жикъ, когда видѣтъ хотя малѣйшую возможность воль-
ничать безнаказанно. Горевъ увѣрялъ, божился, что от-
дастъ завтра четвертакъ, и, волей неволей, долженъ
быть идти въ часть къ квартальному надзирателю,
чтобы тотъ за него поручился.

Квартальный надзиратель Курилкинъ вмѣщалъ въ себѣ двѣ странности: былъ очень аккуратенъ и весьма любилъ и уважалъ жареныхъ утокъ. Исполняя обязан-
ности по службѣ, онъ готовъ былъ забыть и жену и
дѣтей; но когда передъ нимъ проносили жареную утку,
онъ почти былъ въ состояніи оставить всѣ казенные
дѣла, даже самыя экстренные, и преслѣдоватъ очаро-
вательное видѣніе.

Курилкинъ продрогъ на службѣ и, воротясь домой,
выпилъ добрую чарку ерофеичу, закусилъ чѣмъ-то со-
ленымъ и сѣлъ за столъ. Все шло благополучно, щи
были хороши: квартальный утопалъ въ тихомъ семей-
номъ счастіи. Вдругъ доложили о приходѣ Горева и из-
возчика.

— Пусть ихъ подождутъ, пока отобѣдаешь, душенька,
сказала жена Курилкина.

— Нѣть, моя крошечка, нельзя: это служба, стѣща!

Курилкинъ, нѣжно взялъ за подбородокъ свою пятидесятілетнюю супругу, вскоро утерся и вымылъ въ переднюю; даже второпяхъ вынесъ въ лѣвой руцѣ вылку съ разбитымъ черенкомъ и на вылкѣ кусочекъ льба, посыпанный солью.

Горекъ рассказалъ Курилкину всю исторію своей поѣздки.

— Весьма вамъ вѣрю, милостивый государь, про-
тяжно произнесъ квартальный, но, не имѣя чести знать
васъ, не могу поручиться: это дѣло щекотливое.

— Я живу подѣль васъ, въ домѣ Ульяны Михайловны.

— Ульяну Михайловну знаю, но васъ—извините. Да
полиція и не имѣть никакого предписанія дѣлать ру-
чательства.

Не знаю, чѣмъ бы кончилось разсужденіе кварталь-
наго, если бы не пронесли въ это время черезъ перед-
нюю жареную утку.

— Это, кажись, утка, Петрушка?

— Точно такъ.

— Ну, прощайте, господа, мнѣ некогда, прощайте. И,
улыбаясь во слѣдъ уткѣ, Курилкинъ пошелъ къ дверямъ.

— Ради Бога, если вы хотите обязать меня, развяз-
жите съ этимъ грубіяномъ, почти сквозь слезы сказалъ
Горевъ и заступилъ дорогу квартальному:—безъ этого
я, право, не уйду.

Квартальный хотѣлъ снова начать рѣчь, но, вспом-
ни обѣ уткѣ, замолчалъ; ему очень хотѣлось поскорѣе
окончить разговоръ; притомъ же, когда человѣкъ радъ,
въ восторгѣ, онъ гораздо добрѣе, даже бываетъ способ-
ленъ на самыя большія пожертвованія. Это случилось и
съ Курилкинымъ:

— Если такъ, сказаъ онъ, то Богъ съ вами, я вамъ дамъ въ займы двугривенный до завтра. Подите сюда.

Квартальный вошелъ въ гостиную, отперъ бюро и, взявъ двугривенный, подалъ его Гореву.

Любили ли вы когда-нибудь, мой читатель? Если да, то представьте себѣ человѣка, который любилъ когда-то, давно, въ своей юности, любилъ горячо, безумно. Прошло съ-тыхъ-поръ много времени, и рѣзывъ юноша сталъ степеннымъ мужемъ; прежняя любовь, кажется, совершенно забыта, и вдругъ нечаянно попался ему въ руки платокъ надушенный, положимъ, резедою; кажется, ничего, но этотъ запахъ любила она, та, кому онъ посвящалъ первые восторги сердца, первыя мечты юности!... И внезапно передъ нимъ воскресаютъ дни забытаго счастія; онъ жадно вливаетъ очаровательный ароматъ, снова переживаетъ, чувствуетъ прошедшее; онъ пьянѣтъ отъ слабаго запаха резеды; ему приятнѣ это упоееніе; если бы громъ разразился надъ головою мечтателя, врядъ ли бы онъ его услышалъ!...

Служалось ли вамъ быть далеко отъ родины, долго не видать ея и неожиданно на чужой сторонѣ услышать родную пѣсню, которой васъ убаюкивали въ колыбели? Вы будете дрожать отъ этихъ звуковъ, вы готовы промѣнять ихъ на лучшія блага жизни. Умолкаетъ пѣсня, а вы долго будете прислушиваться, не воскреснуть ли еще въ воздухѣ замершіе дорогіе звуки... Не правда ли?

Кажется, въ двугривенномъ Курялкина не было ни запаха резеды, ни звуковъ родной пѣсни, но Горевъ смотрѣлъ на него какими-то странными глазами; руки Горева опустились, глаза его, хотя открытые, не глядѣли ни на что; онъ какъ - будто припоминалъ что - то давно прошедшее, грустное...

- Что же вы не берете? спросилъ квартальный.
— Что?
— Двугривенный.
— Ахъ, да, двугривенный! Нѣть, покорно васъ благодарю. Прощайте.
— Чтò съ вами?
— Ничего! Я отъ васъ не возьму, нѣть. Прощайте.
— Въ такомъ случаѣ, извольте, какъ вамъ угодно удовлетворить извозчика, безъ этого васъ не выпустятъ со съѣзжей, а мнѣ пора обѣдать, жаркое простижетъ...
— Со съѣзжей? Да, я на съѣзжей! Ну, Богъ съ вами, давайте его сюда!

Горевъ почти вырвалъ изъ рукъ Курилкина двугривенный, бросилъ его въ глаза извозчику и выбѣжалъ на улицу.

Дождь шелъ, на основаниіи прежнихъ примѣровъ, весьма исправно; съ крыши лились на улицу ручьи воды. Николай Федоровичъ скорыми шагами отправился гулять по окрестностямъ; его прежнюю мѣрную походку замѣнили быстрая движенія; онъ почти бѣжалъ, размахивая руками, и такъ забрызгалъ, при встрѣчѣ, и безъ того уже мокрую бабу, что она нарочно остановилась и отправила вслѣдъ за нимъ съ полсотни разныхъ вѣжливыхъ эпитетовъ и пожеланій, которыхъ, разумѣется, Горевъ не слышалъ...

II.

Поздно вечеромъ пришелъ домой Николай Федоровичъ мокрый, измученный; его глаза горѣли лихорадочными пламенемъ! «Да, точно такъ, это оно; но что я стану дѣлать?» ворчалъ, входя въ комнату, Горевъ, и бросился на кровать; за нимъ внесла свѣтлую старушка

Авдотья, единственная служанка и собеседница Ульяны Михайловны.

- Что ты, баринъ, боленъ?
- Нѣть, милая, оставь меня.
- Ой-ли! Смотри, у тебя глаза свѣятся какъ у Васьки.
- У какого Васьки?
- Да вотъ у сибирскаго кота, чтò у барыни.
- Оставь меня!
- Э, баринъ, дѣло грѣшное оставить больнаго; у меня есть четверговая соль; разболтай щепотку да выпей — рукой сниметь...
- Прощай, я спать хочу.
- Встань же, кормилецъ, перестелю постельку.
- Не нужно!

«Охота же человѣку спать по уши въ водѣ! Это рыбье дѣло», ворчала Авдотья, выходя изъ комнаты.

Горевъ остался одинъ. Тихо и темно было въ его маленькой комнатѣ; за окномъ однообразно журчала вода, падая съ кровельного жолоба въ корыто, да изрѣдка, за печкою, жалобно вскрикивалъ сверчокъ. Вотъ на каланчѣ ударило полночь, а Горевъ все еще не спалъ: внутреннее волненіе не давало ему покоя; онъ переворачивался съ боку на бокъ, метался на постели, а между тѣмъ услужливое воображеніе проносило передъ нимъ длинный рядъ свѣтлыхъ картинъ прошедшаго: онъ еще Николя — такъ его называютъ и маменька и воспитанница маменьки, милая, голубоглазая Варенька. У его маменьки свой домъ въ Москвѣ, съ садикомъ; на дворѣ конюшня и въ ней пара лошадей, и двѣ жирныя коровы. По двору ходятъ цесарская курочка и павлинъ; въ садикѣ есть бесѣдка изъ акацій, и множество цветовъ;

по сторонамъ прямой аллеи, какъ царскіе ѿкины, усыпанные драгоцѣнными каменными, растутъ стройныя мальвы, унизанныя съ верху до низу махровыми цветами; извилистыя боковыя дорожки обсажены кустами огненныхъ настурій и душистыхъ левкоевъ; у бесѣдки цветутъ красныя и бѣлыя розы, и недалеко въ густыхъ вѣтвяхъ крыжовника поетъ забликъ. Николя и Варенька рѣзво бѣгали по дорожкамъ, усыпаннымъ пескомъ, срывали цветы, приносили ихъ маменькѣ, прятались въ малину, и весело хохотали, отыскивая другъ друга.

А какое милое созданіе была эта Варенька! Волнистые, русыя кудри рѣзво разбѣгались по ея бѣльмъ плечамъ; свѣжее, румяное лицо, голубые глазки, полные огня, жизни и разума; розовый, вѣчно-улыбающейся ротикъ... А какъ улыбалась она! Сколько откровенности, чистосердечія, сколько прелести было въ этой улыбкѣ! Кажется, если бы Варенька подошла къ одру умирающаго, отъ ея улыбки ожила бы страдалецъ, она пропила бы въ него новую жизнь—и черная смерть, уже готовая внести въ свой списокъ новую жертву, улетѣла бы далеко отъ этой ангельской улыбки...

Но время идетъ; Николя окончилъ курсъ въ университетѣ; уже ему 18 лѣтъ, а Варенька 16; она перестала бѣгать взапуски по садовымъ дорожкамъ; уже Варенька наывала его Николаемъ Федоровичемъ; ея веселая, беззаботная улыбка оттѣнялась тихою грустью; ея грудь высоко подымалась и дрожала какимъ-то томительнымъ чувствомъ. Часто, бывало, выйдетъ Варенька въ садъ, сорвѣтъ розу, станеть у бесѣдки и слушаетъ забліка; онъ все поетъ, а она все слушаетъ—такъ ей хорошо, здѣсь бы и цѣлый день осталась... «Варенька!» закричить старуха въ саду. Дѣвушка вздрогнетъ, всѣ

мечты ея разлетелись; смотрить: у нея, вместо розы, одинъ стебелекъ — и не замѣтила, какъ ошипала всѣ листочки. «Я здѣсь, маменька!» говорить она, весело подбѣгая къ старухѣ.

— Чѣмъ ты дѣлала, дитя мое?

— Ничего, такъ; хотѣла вамъ нарвать цветовъ, да заслушалась зяблика. Ахъ, какой онъ добрый!...

— А ты опять плакала?...

— Какъ же не плакать, когда такъ... весело.

И густой румянецъ вспыхнулъ на щекахъ Вареньки.

Николай Федоровичъ тоже перемѣнился. Бѣда отъ наукъ! зафилософствовалъ, т.-е., попросту говоря, сталъ задумчивъ, полюбилъ уединеніе. Еще на сторонѣ кое-какъ добрые люди расшевелятъ его: онъ и говорить, и смеется, и походитъ на человѣка. Чуть домой — куда все дѣвалось! Опять ученый, опять философъ!...

— Здоровъ ли ты, Николя? бывало, спрашиваетъ его маменька, и обнимаетъ его, и цацуэтъ, и сквозь слезы смотрить на свою радость, на своего Николиньку, а онъ, будто не понимаетъ ея участія, ея любви, любви материнской... Странное дѣло! не-уже-ли есть чувство священнѣе, сильнѣе этого? не-уже-ли гадкія, старинныя книги въ пергаментномъ переплѣтѣ такъ могутъ окоддовать молодаго человѣка?...

Душа Николая Федоровича была переполнена чувствами; ему хотѣлось раздѣлить ихъ, онъ хотѣль выскажать Варенькѣ много-много. «Почему же и не такъ? развѣ я не имѣю дара слова?» думаетъ, бывало, Горевъ, и весело войдетъ въ гостиную.

Варенька одна сидить за фортепиано. И къ чему она играетъ такія мольныя сонаты? Николай Федо-

ровичъ очень чувствителенъ; воть, онъ уже растроганъ, молча кланяется и тихо садится у фортепиано; ему отвѣчаютъ скромный поклономъ. Кажется, соната очень занимаетъ музыканта и слушателя.

- Здоровы ли вы? спрашиваетъ Горевъ.
- Слава Богу.
- Маменька въ саду?
- Да-сть.

Не всѣ имѣютъ способность играть и говорить въ одно и то же время; бѣдная девушкица, взяла не толь аккордъ, хотѣла поправиться, и взяла неправильно два; звуки громко вопіали противъ гармони, клавиши, будто на-зло, ускользали изъ-подъ пальчиковъ музыканти... Какой-нибудь восточный калифъ пришелъ бы въ воссторгъ отъ этой музыки. Варенька покраснѣла, и окончила пьесу дикимъ, нестерпимымъ диссонансомъ. Николай Федоровичъ внимательно слушалъ.

- Безподобно! прошепталъ онъ.— Чья это соната?
- Плеяля.
- Онъ великий музыкантъ. Вы скучаете?
- О чёмъ мнѣ скучать?
- Какая сегодня прекрасная погода!
- Да, очень хороша.

И они замолчали. Варенька, пробовала лѣвою рукою какая-то двѣ клавиши, а Горевъ молча смотрѣлъ на нее. Кажется, занятіе не слишкомъ веселое, но имъ очень не хотѣлось идти, когда ихъ позвали обѣдать.

Съ некотораго времени Николаю Федоровичу казалось, что Варенька груститъ, что ей скучно, что она нездорова. Ему стало жаль ея; она была таکъ хороша, что онъ отдалъ бы хоть жизнь за право поцеловать ее. Эта мысль постоянно его преслѣдовала: уснетъ ли онъ,

и передъ нимъ голубые глаза и розовый ротикъ волшебницы! Воть, онъ уже полководецъ, побѣдитель полусвѣта; его вѣнчаютъ лаврами, везутъ его на торжественной колесницѣ, но все еще сердце его не бѣется полною радостью, ему не достаетъ чего-то, и онъ спѣшишь стереть слезу своею великолѣпной одеждой. Воть онъ мореходецъ; исполинскіе замыслы зреютъ въ головѣ его; подобно Колумбу, онъ пускается открывать новый свѣтъ за полярными льдами — и открываетъ его. Народъ сбѣгаются смотрѣть на диковинки, привезенные отважными моряками, удивляется дорогимъ мѣхамъ и невиданнымъ металламъ; царь слушаетъ разсказы героя о новомъ свѣтѣ, гдѣ нѣтъ ни солнца, ни луны, а вѣчно свѣтить сѣверные сіянія, гдѣ ловкіе франты прогуливаются верхомъ на бѣлыхъ медвѣдяхъ, гдѣ деревья растутъ съ бѣлыми листочками и цвѣтутъ зелеными цвѣтами, гдѣ рѣки лются красными струями (въ-родѣ нашего лафита). Слушаетъ царь Николая Федоровича, обнимаетъ его и говорить: «Проси у меня, чего хочешь». Горевъ, не запинаясь, просить одного только поцалуя отъ Вареньки. «Многаго ты просишь», говоритъ царь важнымъ голосомъ: «но тебѣ нѣтъ отказа». Побѣжали пажи, поскакали курьеры отыскивать очаровательницу, а Николай Федоровичъ весь дрожитъ, ожидая счастливой минуты — и вдругъ пробудится... Бѣда да и только: отъ этакихъ сновъ легко сойти съ ума.

Весною, часу въ 5-мъ или 6-мъ передъ вечеромъ, Николай Федоровичъ вошелъ въ бесѣдку; Варенька вышла изъ бесѣдки; они столкнулись въ дверяхъ — и остановились. Съ минуту молчаніе. Наконецъ, Горевъ началъ разговоръ печальнымъ голосомъ:

— Вы все скучаете?

Часть I.

41

— Нѣтъ, Николай Федорычъ.

— Вы на меня сердиты?

Молчаніе.

— Съ чего это вы взяли? спросила Варенька.

— Со всего, рѣшительно со всего. Вотъ видите...

И Николай Федоровичъ тихо взялъ ее за руку.

— Отчего вы меня не зовете цо-прежнему Николаемъ, какъ брата? Къ чему этотъ Федорычъ?

Дѣвушка молчала; рука ея дрожала въ рукѣ Горева; ея щеки горѣли, глаза были потуплены. Горевъ судорожно пожалъ ея руку и небесно-голубой взоръ Вареньки встрѣтился съ его глазами; велико было очарованіе; невольно, безотчетно Николай Федоровичъ бросился къ ней на грудь; уста ихъ встрѣтились и сомкнулись безконечнымъ поцалуемъ.

Говорять, жители Москвы замѣтили въ этотъ день на небѣ очень рано передъ вечеромъ яркую звѣздочку. Иначе и быть не могло. Чистый дѣственныій поцалуй первой любви летить въ небо, сверкнетъ тамъ свѣтлою искрою, блестящею звѣздочкою, и угаснетъ, угаснетъ навсегда!

Разъ человѣкъ рождается, разъ умираетъ и одинъ разъ ощущаетъ истинный восторгъ поцалуя. Слаба натура человѣка, она бы не вынесла въ другой разъ присутствія въ себѣ небесной радости, и благое Провидѣніе, щадя насъ, даетъ единожды и то не всякому, это наслажденіе.

Въ бесѣдку вошла маменька, и нехѣстати, а можетъ быть, и весьма кстати прервала длинный поцалуй. Молодые люди смѣшились; старушка, кажется, ничего не замѣтила и позвала ихъ въ комнаты пить чай.

Никогда еще не замѣчала Николай Федоровичъ у

своей маменьки такого обильного краснорѣчія, какъ въ продолженіе всего этого вечера: старуха безъ умолку говорила — ни ему, ни Варенькѣ — а такъ, почти сама себѣ, о страстиахъ, о характерахъ, о долгѣ чести, о благородствѣ, о состраданіи, Богъ знаетъ, о какихъ отвлеченныхъ предметахъ, и говорила убѣдительнѣе профессора психологіи, подкрѣпляла свои разсказы примѣрами изъ жизни — словомъ, взяла на себя роль проповѣдника; изрѣдка посматривала она на Николиньку, который какъ-то весьма неловко держался на стулѣ и смотрѣлъ въ чашку. Такъ прошелъ весь вечеръ.

Николай Федоровичъ, идя спать, обнялъ и горячо поцаловалъ свою маменьку. Какъ одна минута счастія перемѣнила его: онъ сталъ опять прежнимъ Николинькой. Старуха набожно перекрестила его; онъ ее еще разъ обнялъ, и въ это время непримѣтно пожалъ Варенькѣ ручку. Всѣмъ тремъ снились самые прекрасные сны.

Насталъ 1812 годъ — пора испытаній и пожертвованій, пора славы и величія для Россіи. Народъ могучій, русскій народъ готовился къ народной войнѣ, рѣшился биться съ врагомъ на смерть за каждый шагъ родной земли, за каждую каплю воды, за каждый вздохъ роднаго воздуха. И какое было величественное зрѣлище въ этомъ приготовленіи! Грозовая туча шла съ запада; она поглотила всѣ царства Европы и гордо двигалась, гремя побѣдоносными громами. Но русскіе не пали предъ ея сокрушительною тяжестью; они молились Богу и, улыбаясь, посматривали на западъ. Внутреннее сознаніе своего достоинства укрѣпило силы ихъ, а врожденная жажда молодечества рада была помѣряться силою съ иновѣрцами. Всѣ волновалось, суетились, готовили оружіе, учили ратниковъ; но ни тѣни малѣйшаго ужаса,

*

страха, даже болезни не было видно ни на одиомъ лицѣ. Предложить народу отдаться безъ битвы французу или встрѣтить его съ хѣбомъ и солью, значило накликать бѣду на свою голову. Жены сами вышровожали мужей своихъ на войну; мать, удерживая слезы, благословила сына на защиту отечества; старики, забывъ свои сѣдины, становился въ ряды вмѣстѣ съ молодымъ внукомъ...

Чудная была пора! свѣтлая страница въ исторіи русскаго. Въ трудныхъ обстоятельствахъ узнается вся сила народнаго духа.

Въ домѣ старухи Горевой было необыкновенное движение: передъ крыльцомъ стояла почтовая повозка, запряженная тройкою лихихъ коней; въ комнатахъ живѣе двигалась прислуга; выносили дорожныя вещи, ящики съ кушаньемъ, чемоданы, и все это громоздили на повозку. Горевъ торопилъ людей; его маменька хлопотала, чтобъ чего не забыли. Варенька ушла въ гостиную, стала у окна и молча смотрѣла на природу, а между тѣмъ крупныя слезы, украдкою пробиваясь, катились по ея розовымъ щечкамъ. Ей было очень грустно. День былъ сѣрый, невеселый; тучи неслись по небу. Въ почтовой повозкѣ, у крыльца, коренная лошадь по временамъ встряхивала головою и колокольчикъ отзывался тѣкъ жалобно!...

— Все готово, сказаль маменькѣ Николай Федоровичъ.

— Хорошо, отвѣчала старушка:—но прежде, нежели я отпущу тѣбя, мнѣ нужно переговорить съ тобою. Пейдемъ.

Она вошла съ Николаемъ Федоровичемъ въ гостиную и заперла за собою дверь. Варенька хотѣла выйти.

— Останься, Варенька, сказала старуха:—ты въ на-

шемъ семействъ не лишняя, и, сѣвъ на диванъ, продолжала:— Садись, Николинка, возлъ меня, вотъ здѣсь поближе. Сердце мое вѣщуетъ что-то недобroe. Не хочется мнѣ отпускать тебя. Не знаю, доведеть ли Господь намъ увидѣться... Старуха отерла платкомъ слезы.

— Полно, маменька, перестаньте! Будто это за горами! Чрезъ недѣлю я опять обниму васъ.

— Молчи, Николя, знаешь ли ты, чтѣ будешь чрезъ недѣлю? Можно ли знать, чтѣ будешь чрезъ часъ? Молодость! у васъ все возможно. Поживешь на свѣтѣ, не станешь распоряжаться будущимъ, какъ рублемъ, который лежитъ у тебя въ карманѣ. Предчувствуя, что намъ нескоро увидѣться: всю ночь мнѣ снились страшные сны. Молчи Бога ради. Ты учился многому, и по вашему, все это пустяки. Я женщина неученая и вѣрю снамъ, вѣрю предчувствіямъ: они никогда меня не обманывали. Ты любишь, сынъ мой, Вареньку; она тебя любить — это я давно знаю; я знаю васъ обоихъ и радуюсь вашей склонности. Она дочь друга покойнаго отца твоего, круглая сирота... Ты долженъ быть ей защищено. Обнимитесь, дѣти мои, благословляю васъ...

И Николай Федоровичъ и Варенька бросились на шею маменькѣ.

— Ну, полно, полно, дѣти, перестаньте! Ты, Николя, возвратишься въ Москву, обручишься съ Варенькою и пойдешь въ армію. Твое желаніе для меня свято: надоно защищать отечество. Когда выгонять враговъ, торопись домой — вотъ твоя награда: тогда женись на Варенькѣ.

— Но...

— Безъ но, Николя. Не должно веселиться, когда грустить царь-батюшка, когда плачетъ Россія.

— Варенька, поди сюда.

Старуха подошла къ бюро, открыла его, выдвинула ящикъ, опрокинула, прижала пружинку и двойное дно растворилось; тамъ лежала связка банковыхъ билетовъ.

— Вотъ, Николя, все имущество, которое оставилъ тѣбѣ отецъ: здѣсь пятьдесятъ тысячъ. Если будете бережливы — не умрете съ голоду вѣдѣть съ Варенькою. Теперь, кажется, я сказала все, что лежало на душѣ моей, продолжала старуха, запирая бюро. — Потѣжай, сынъ мой. Да будетъ надъ тобою воля Божія и мое благословеніе.

Маменька обняла Николая Федоровича, Варенька тоже; онъ сѣлъ въ повозку и поскакалъ къ петербургской заставѣ.

Если вы острякъ, любезный читатель, и вздумаете во сдѣль уѣзжающему Гореву пропѣть прекрасные стихи:

Мальбругъ въ походѣ поѣхалъ,
Конь былъ подъ нимъ игренъ.
Когда же онъ пріѣдетъ?
Авось ли въ Тройцынъ день!

то я долженъ предувѣдомить васъ, несмотря на все достоинство стиховъ, ваша острота не состоится, потому-что Горевъ поѣхалъ вовсе не на войну, а въ мирный городокъ Россійской имперіи, въ Тверь. Впрочемъ, если я и не скажу, то вся кому довольно извѣстно, что въ 1812 году Москва и Тверь между собою *никакого худа не имѣли*, а Николай Федоровичъ скакалъ въ Тверь вслѣдствіе нравственной эпидеміи. Какъ подумаешь, на что не бывало эпидеміи? Эпидемія альманаховъ, овцеводства, свекловичнаго сахара, даже очковъ. Въ 1833 году оставилъ я одинъ уѣздный городъ *Ros-*

сійского государства въ страшной эпидеміи очконосія. Вы не повѣрите — все носило очки! Самъ докторъ въ высокой степени страдаль этою болѣзнью; полиція, судебныя мѣста, уѣздное училище — все смотрѣло на свѣтъ Божій стеклянными глазами; не только народъ чиновный, иѣть, простые канцеляристы, даже школьніки!... Чуть съ глазъ начальство за уголъ, сейчасъ на глаза оправу — и пѣтушатся по улицѣ... Года черезъ два возвращаюсь, и не вѣрю глазамъ своимъ: ни однихъ очковъ на улицѣ, все носы разсѣданы; вездѣ такія благопристойныя лица — не тотъ городъ: прошла эпидемія!...

Во время нашествія Наполеона въ Москвѣ существовала своего рода эпидемія: все бѣжали изъ Москвы. Куда? куда-нибудь: кто въ Казань, кто въ Астрахань, кто на китайскую границу, кто на встрѣчу Наполеону, лишь бы не оставаться въ Москвѣ. Мать Горева заразилась этою болѣзнью, притомъ же и докторъ Адамъ Карловичъ совѣтовалъ ей, для поправленія физическаго здоровья, пожить въ деревнѣ, посмотрѣть, какъ коровы кушаютъ траву и покушать молока ихъ на деревенскомъ воздухѣ. Но у Горевой не было деревни. Кстати, одна ея знакомая писала изъ Твери, что верстахъ въ 20 отъ города продается небольшая хорошая деревенька, и потому въ одинъ день, когда Николай Федоровичъ пришелъ къ матери просить ея согласія и благословенія вступить въ ряды защитниковъ отечества, она отвѣчала, что не благословить его, пока онъ не обезопасить ее отъ непріятеля, т. е. побѣдетъ въ Тверь, посмотреть деревню и, буде она окажется годною — въ чемъ нѣбыло никакого сомнѣнія — то купить ее, «и тогда», прибавила старуха, «я буду спокойна, останусь съ Варень-

кою въ деревнѣ, а ты подождай изгнанія непріятеля». Бѣдная, она воображала, что къ тверской деревнѣ не можетъ приступить никакая сила иночѣская... Это была странность эпидеміи.

Нечего дѣлать Николаю Федоровичу; душа его рвалась на войну, а надобно былоѣхать въ Тверь осматривать какую-то усадьбу Кузовкино или Лукошкино, право, не помню хорошенько.

Не скоро дѣло дѣлается, а сказка сказывается очень скоро, говорить русская пословица, и говорить, какъ и вѣсъ ея сестрицы-пословицы, очень справедливо. Давно ли мы оставили Николая Федоровича,ѣдущаго по московскимъ улицамъ къ петербургской заставѣ, а онъ уже въ Твери, напился въ трактирѣ преѣкверного чаю, едва не подавился коврижкой, въ которой, какъ-то нечаянно, былъ запеченъ штукатурный гвоздь, узналь практически, что означенная коврижка вмѣсто миндалю была украшена бобами, и на нанятыхъ клячахъ поѣхалъ проселочными дорогами осматривать свою будущую резиденцію.

Вотъ, онъ-минулъ уроцище Грибопѣки, вотъ и деревня Клюкино, вправо Брусикино, далѣе Морошкѣды, Лыкоплѣты, а вотъ и Лукошкино: направо лѣсь и болото, налево болото и лѣсь, вправо, въ лѣсу, течеть ручей и впадаетъ налево въ болото; этотъ ручей имѣнуетъся рѣка Быстрина-Глубина. Рѣка Быстрина-Глубина на своемъ двуверстномъ теченіи огибаетъ песчаный бугоръ, на которомъ растетъ сосновая роща; въ этой рощѣ въ жаркіе лѣтніе дни нестерпимо пахнетъ смолою и постоянно, и въ жаръ и въ холодъ, стоять полдесятка избъ, чтѣ и составляетъ въ буквальномъ смыслѣ деревню Лукошкино.

Проплыла недѣля со времени отѣзда Горева изъ Москвы; пора бы ему возвратиться, а его нѣть; только получили письмо, въ которомъ писалъ, что скоро будетъ, что Лукошкино никуда не годится, и что онъ посмотрѣть по дорогѣ другую усадьбу Качадыкъ, которая тѣ же продается, и если она получше, то купитъ.

Еще проходитъ недѣля — нѣть Горева; еще двѣ — и слуху нѣть, а тутъ французъ идетъ, вотъ - вотъ, уже подъ Москвою; все добрые люди выѣхали. Куда поѣдетъ старуха Горева съ Варенькою?... Нѣть сына, бѣда на плечахъ. Страшно!... А съ Николаемъ Федоровичемъ было вотъ что:

Ему очень не полюбилось Лукошкино: ни мѣстоположенія, ни воздуха, ни кувшина молока, ни свѣжихъ яицъ, ни даже порядочнаго хлѣба въ немъ не было, а маменькѣ необходима была деревушка. Чѣмъ дѣлать? Сталъ разспрашивать старосту и узналъ, что верстъ десятокъ въ сторону есть помѣщикъ Родионъ Ивановичъ Лихошѣрстовъ, который хочетъ продать свою усадьбу Качадыкъ, и что у него усадьба на порядкахъ; всякаго зведенія достаточно, а ягодъ и грибовъ хоть не бери, и хлѣбъ, дескать, растетъ въ количествѣ, и рыба въ изобиліи, и лѣсу девольно. «Попытаюсь», подумалъ Николай Федоровичъ: послалъ письмо въ Москву къ матери, чтобы не беспокоилась, а самъ поѣхалъ въ Качадыкъ.

Село Качадыкъ стояло на крутой горѣ; подъ горою шла довольно-глубокая рѣчка, съ обрывистыми берегами; черезъ рѣчку былъ мостъ, безъ перилъ, построенный на превысокихъ сваяхъ, которыя отъ самого легкаго экипажа шатались во всѣ стороны, чтѣмъ тѣшило Лихошѣрстова. Съ моста прямо подымалась дорога

на гору и вела къ господскому дому, а отъ дома тянулся рядъ крестьянскихъ избъ.

У самаго крыльца Горевъ встрѣтилъ идущаго мужика и спросилъ: «Дома баринъ?» Мужикъ посмотрѣлъ на Горева, улыбаясь, замоталъ головою и пошелъ далѣе. На крыльцѣ стояла старуха.

- Дома баринъ?
 - Слава Богу, дома, кормилецъ!
 - Можно видѣть?
 - Нѣту-те, нельзѧ, въ отлучкѣ.
 - Гдѣ?
 - Свадьбу гуляетъ, Богъ радость даль!
 - Что, онъ женится?
 - Нѣту-те, сударикъ, онъ холостъ, а выдаетъ замужъ за Сеньку лакея горничную Дунашу, и самъ на свадьбѣ—вотъ какъ!
 - Гдѣ же свадьба?
 - Въ сборной избѣ, кормилецъ, тамъ у насъ праздничекъ даль Господь! И пироговъ напекли, и пивца и винца и бражки вволю. Свадьба не какая - нибудь простая, важная, членистая—вотъ какъ у насъ!
 - Хорошо, матушка. Гдѣ же сборная-то?
 - А вотъ, въ концѣ улицы, виши передъ окнами кумъ Терёха пляшетъ, тамъ и есть.
 - Спасибо, матушка. Прощай.
 - Прощай, сударикъ-кормилецъ, то-то обрадуется гостю Родивонъ Ивановичъ!
- Въ сборной избѣ на первомъ мѣстѣ, за столомъ, сидѣла Дунаша, краснощекая, здоровая девка; съ одной ея стороны помѣщался мужъ, долговязый лакей, очень похожій на бутылку рейнвейна, а съ другой—плечистый мужчина, лѣтъ тридцати, съ круглымъ лицомъ, какъ

плошка, съ огромными усами, съ вольною рѣчью, съ зипуномъ нараспашку. Это самъ Лихошѣрстовъ, самъ Родионъ Ивановичъ. Рядомъ съ нимъ помѣщался Нахаль, сѣрый песь борзой породы. Да же сидѣли на лавкахъ мужики и бабы. Отецъ Дуни обносилъ честную компанию виномъ; барину чарка вина, а Нахалу кусокъ говядины. Пусть-де и онъ потѣшается, пусть и онъ знаетъ праздникъ. Собака не простая, барская!

— Что вы не поете, бабы — а? сказалъ Лихошѣрстовъ, покручивая усы.

— Все бы тебѣ пѣть, баринъ, да пѣть, а на водку такъ нѣтъ.

— Экой свѣтъ сталъ, подумаешь, своему барину не стануть пѣть безъ денегъ. Дѣлать нечего, вотъ гривенникъ, смотрите же!

— Споемъ, споемъ, вотъ какъ! Спасибо, кормилецъ. Гдѣ же Стешка? Безъ Стешки пѣть нельзя, темпить некому.

— Подать сюда Стешку! закричалъ Родионъ Ивановичъ. — Безъ темпу не пѣть!

— Стешка, а Стешка! отозвались разные голоса по избѣ и по сѣнямъ.

Пришла Стешка, женщина лѣтъ подъ тридцать, полная, здоровая, стала посреди избы, подбоченилась, крикнула: «Эй вы, бабы голосистыя!» дернула плечомъ — и несолько десятковъ бабыхъ голосовъ гаркнуло любимую Лихошѣрстова:

Вдолъ по улицѣ молодецъ вдетъ,
Балалаечку со гуслями несетъ.

Охъ, струнка въ струнку бьетъ,
Струна струну приговариваетъ!

По широкой по муравушкѣ идеть,
По муравушкѣ по травушкѣ.

Охъ, струнка въ струнку беть,
Струна струну приговариваетъ!

Въ балалечку погрываетъ,
А во гусельцы побрякиваетъ.

Охъ, струнка въ струнку беть,
Струна струну приговариваетъ!

Живо поютъ бабы пѣсню, Стешка въ такту подергиваетъ плечами, топаетъ ногой и шурить глаза. «Экая баба!» поговариваютъ мужики: «посмотри, какъ темнить!» — «А еще молода» отвѣчай другой: «дай ей въ лѣта войти». — «Что-то будетъ какъ потемнить она лѣть пятокъ?» подхватилъ третій.

И Родіонъ Ивановичъ въ восторгѣ; онъ прищелкиваетъ, подпрыгиваетъ на мѣстѣ и кричить *браво!* Въ эту самую минуту вошелъ въ избу Горевъ. Можете представить, какъ обрадовало хозяина появленіе его. Лихошѣрстовъ не зналъ куда посадить дорогаго гостя, продержалъ его здѣсь до ночи и повелъ ночевать къ себѣ въ домъ, извиняясь, что онъ не можетъ достойно принять пріѣзжихъ гостей изъ столицы.

Трои сутки Лихошѣрстовъ не выпускалъ Николая Федоровича изъ Качадыка: то показывалъ ему свою деревню, въ которой считалось по послѣдней ревизії 21 душа, то возилъ въ лѣса стрѣлять дроздовъ, то травиль Нахаломъ всѣхъ возможныхъ четвероногихъ. Угощалъ, какъ друга.

Утромъ часа въ четыре слышитъ Николай Федоровичъ, уже ругается Родіонъ Ивановичъ, уже стучать тарелками; минутъ чрезъ пять отворяется дверь въ его комнату и является самъ хозяинъ, со свѣчкою въ рукахъ, за нимъ долговязый Сенька несетъ на подносѣ

графинъ съ горчайшемъ, за Сенькою баба тащить селянку.

Пришли, поставили вѣс снадобья на столикъ, подлѣ кровати Горева и вышли.

— Вставай, братецъ, Горевъ, кричитъ хозяинъ: — путные люди не спятъ такъ долго, а еще собирается служить въ военной!... Охъ, вы нѣженки, ученые, столичные! Ну же, ну! И Лихошѣрстовъ тянулъ Николая Федоровича за ноги съ кровати.

Дѣлать нечего, встаетъ гость, зѣваетъ, морщится, глотаетъ пріемъ горчайшей, есть селянку. Иначе нельзя, а то, пожалуй, хозяинъ разсердится и мѣсяцъ не выпустить.

Такъ начинался день, а тамъ и пошелъ, и пошелъ... до самаго вечера все въ этомъ же вкусѣ.

Качадыкъ не полюбился Николаю Федоровичу въ тысячу разъ больше Лукошкина; радъ бы уѣхать, не на чемъ. На вторыя сутки своего плѣна, онъ какъ-то успѣлъ нанять у проѣзжавшаго одноконную подводу и, къ удивленію и величайшей радости, не замѣтилъ со стороны радушнаго хозяина никакого сопротивленія.

Николай Федоровичъ простился съ Родіономъ Ивановичемъ, сѣлъ и поѣхалъ. Пріѣзжаютъ къ мосту, нѣть переправы: четыре доски сорваны на мосту. Пришлось возвратиться въ Качадыкъ. Кое-какъ оборотили назадъ оглоблями повозку и потянулись на гору.

Смотрѣть Горевъ — его встрѣчаетъ какая-то процесія: впереди идетъ Лихошѣрстовъ... нѣтъ, впереди берзая собака, а за собакою баринъ, за бариномъ кривой, рыжебородый Орфей наигрываетъ на волынкѣ нѣчто въ родѣ марша, за Орфеемъ ряды мужиковъ, бабъ и маль,

чишекъ, оглашающихъ Качадыкъ дикимъ крикомъ и визгомъ.

— Чтò, братъ, далеко уехалъ — а? — кричитъ Николаю Федоровичу Родионъ Ивановичъ, подходя къ повозкѣ: — вѣдь говорилъ, раньше трехъ сутокъ не отпушу, хоть умриай; у меня такой обычай... Люблю угостить добраго человѣка. А, Николай Федоровичъ, каковъ мость? Да это просто не мость, а чортъ-знаетъ, какая хитрая штука!

Говоря слова эти, Лихошѣрстовъ тащилъ Горева подъ руку въ домъ, гдѣ было приготовлено все, какъ слѣдуетъ, для принятія дорогаго гостя. Хозяинъ подошелъ къ столу, выпилъ за здоровье Горева чарку, потомъ другую, и пошелъ, и пошелъ...

Кончились трои сутки карантина для Горева. Родионъ Ивановичъ приказалъ заложить въ повозку тройку своихъ лошадей, чтобы довезть гостя до Твери, съ утра поилъ и кормилъ его, самъ себя не забывая. Николай Федоровичъ, чтобы поскорѣе отвязаться отъ несноснаго хозяина, обѣщалъ ему скоро возвратиться, купить у него деревню и идти служить съ нимъ въ одинъ полкъ. Николай Федоровичъ сѣлъ въ повозку, а Родионъ Ивановичъ взялъ ружье и пошелъ возлѣ повозки.

— Куда вы Родионъ Иванычъ?

— Пойду на охоту, кстати и тебя провожу до рѣки.

Повозка поѣхала шагомъ. Лихошѣрстовъ, идя рядомъ съ нею, болталъ безъ умолку, клялся и божился, хотя съ нимъ никто не спорилъ.

— Да, приятель, говорилъ онъ: — этотъ Наполеонъ штука замысловатая.

— Да.

— Чортъ возьми, мнѣ кажется, я его гдѣ-то видаль, въ Твери или въ Торопцѣ.

— Можетъ быть.

— Не можетъ быть, а должно быть, клянусь всемъ Качадыкомъ, это быть онъ, этакой поджаристый!

Между-тѣмъ лошади неохотно начали спускаться съ крутой горы, коренная почти садилась на крестецъ и нетерпѣливо мотала головою.

— Да, поджаристый, продолжалъ Лихошѣрстовъ:— этакая дрянь намъ не почемъ: души его, бей, коли! Такъ ли, сослуживецъ?

— Такъ.

— Стрѣляй его, варвара! Бацъ!

И Родонъ Ивановичъ, въ пылу гиѣва, че шутя выстрѣлилъ у самаго уха Николая Федоровича; испуганныя лошади понеслись съ горы въ рѣку; къ счастью, ловкій кучерь успѣлъ ихъ направить на мостъ, и повозка, гремя, запрыгала по ходичему мосту; Николай Федоровичъ вздохнулъ свободнѣе, ожилъ, но не надолго. Лихошѣрстовъ забылъ положить на мостъ сорванныя доски; лошади доскакали до пустаго мѣста, бросились въ сторону, и повозка, и кучерь, и лошади, и Горевъ— все зашумѣло въ рѣку...

Очнулся Николай Федоровичъ, смотрить: у печки горитъ лучина, слабо освѣща избу; въ углу старуха прядеть лёнъ; однозвучный говоръ ея самопрялки сливается съ ворчаньемъ чернаго кота, спящаго въ голо-вахъ Николая Федоровича; кругомъ черныя стѣны...

— Гдѣ я? спросилъ Горевъ.

— Ась? сказала старуха, вытянувъ впередъ шею, и останавливалася рукою колесо самопрялки.

— Гдѣ я, голубушка?

— Очнулся, родимый, очнулся! Трофимушко, а Тро-фимушко! очнулся.

— Слава те, Господи, коли очнулся! проворчалъ съ полатей мужской голосъ и опять заснулъ.

Между тѣмъ къ Николаю Федоровичу подошла старуха и начала говорить: «Ничего, корилицъ, не беспокойся, ты у добрыхъ людей, у Трофима Иванова, а я жена его, мы крестьяне Родивона Ивановича; вотъ третья недѣля, какъ Трофимушко вытащилъ тебя изъ воды, а ты все бредилъ, все былъ не при себѣ; и кучера и пристяжную одну вытащили, а гнѣдко да савраско помыли, сердечный, ко дну. Другая недѣля идетъ, какъ наль баринъ уѣхалъ въ *дружину*. Усни, голубчикъ, утропь все узнаешь»; но Горевъ давно уже спалъ и безъ совѣта старухи.

На утро съ ужасомъ узналъ онъ, что пролежалъ въ безпамятствѣ почти три недѣли въ избѣ доброго рыбака Трофима. «Три недѣли! А что дѣлаетъ матушка? Варенька?!... Бду, сейчасъ бду!» И, шатаясь, Горевъ всталъ съ постели и началъ одѣваться...

Откуда берутся у человѣка силы при необычайныхъ потрясеніяхъ? Отчего иногда слабаго больного не могутъ удержать четыре сильные, здоровые человѣка? Отчего Горевъ, пролежавшій въ постели почти безъ пищи двадцать дней, вдругъ всталъ, одѣлся и совсѣмъ былъ похожъ на здороваго человѣка, еслибы не измѣнили ему необычайная блѣдность и худощавость лица и впалые глаза, сверкавшіе болѣзненнымъ, лихорадочнымъ блескомъ. Трофимъ, глядя на него, покачивалъ головою.

Николай Федоровичъ одѣлся въ то самое платье, въ которомъ былъ вытащенъ изъ воды; прочія всѣ его вещи и деньги, бывшия въ чемоданѣ, потонули.

— Гдѣ же мои часы? спросилъ Горевъ.

— Э, часы-то, батюшка, не пропали ни весь какъ: ихъ взялъ Родивонъ Ивановичъ.

— Вашъ баринъ?

— Да, нашъ баринъ; говорить: «къ чему, дескать, утопленнику часы? умреть, съ ними не хоронить стать, а выздоровѣть, будемъ служить вмѣстѣ — съиграемся; часы, говорить, вещь любопытная, у васъ кто-нибудь украдетъ, а мнѣ въ походѣ, говорить, для безопасности пригодятся», взялъ да и поѣхалъ.

— На чтѣ же я найму лошадей?

— Ничего, баринъ, сказалъ Трофимъ: — я сегодня ъду въ Тверь, и даромъ тебя свезу.

— Нѣтъ, въ Москву, въ Москву!...

— Въ Москву ъхать не-для-чего: тамъ плохо.

— Какъ плохо?

— Не сегодня, завтра, французъ войдетъ; всѣ выѣхали изъ Москвы.

— Самъ Родивонъ Ивановичъ поѣхалъ отстаивать ее, матушку, перебила старуха; ну, да куда ужъ ему!...

— Говорять, ихъ старшой идетъ на нее, сказалъ Трофимъ: — а онъ, виши, Антихристъ, што ли...

— Баюсь, что онъ съ рогамъ, словно корова, опять перебила старуха. — Ухъ, какія страсти!...

Сердце Горева разрывалось отъ такихъ разсказовъ. «Матушка, Варенька, бѣдныя!» шепталъ онъ, и торопилъ Трофима ъхать.

Въ Твери Горевъ промѣнялъ свое платье, на простое, крестьянское, взялъ додачи нѣсколько цѣлковыхъ, и на эти деньги, на извозчикѣ, поѣхалъ въ Москву.

Чѣмъ ближе къ Москвѣ, тѣмъ болѣе попадалось на встрѣчу экипажей, нагруженныхъ всѣмъ безъ различія;

женщины, дѣти, старики—всѣ тянулись изъ Москвы. Разсказы о непріятелѣ чать-оть-часу становились страшнѣе. Горевъ лѣтѣлъ бы въ Москву, а тутъ иногда столько столплится встрѣчныхъ экипажей, что извощикъ стоить полчаса на одномъ мѣстѣ, ни взадъ ни впередъ. Крикъ, шумъ, толкотня, давка—сущая ярмарка!

До Москвы оставалось недалеко; былъ вечеръ. Горевъ, измученный дорогою, прилегъ на повозкѣ и вздрогнулъ; просыпается и чувствуетъ, что повозка стоитъ. «Опять эти встрѣчные!» съ досадою проворчалъ онъ, и открылъ глаза. Полнѣба было объято яркимъ заревомъ, багровыя тучи носились надъ нимъ. Тихо стоялъ весь обозъ по дорогѣ, сколько можно было видѣть; опустивъ руки, молча глядѣлъ народъ; направо и налево нѣсколько человѣкъ на колѣняхъ безмолвно молились, извозчикъ крестился и лѣвымъ рукавомъ отирали слезы.

— Что это? спросилъ Горевъ.

— Москва горитъ! отвѣчалъ онъ шепотомъ и тихо зарыдалъ.

Въ это время по дорогѣ изъ Москвы проскакалъ казакъ.

— Французъ палить? спросилъ кто-то.

— Французъ, отвѣчалъ казакъ:—все вырѣзали, все выжегъ, ни души живой не оставилъ!

И поскакалъ далѣе.

Нѣсколько дней спустя, священикъ одной изъ подмосковныхъ деревень нашелъ на погостѣ полу живаго человѣка, который безпрестанно шепталъ: «Матушка, Варенька, горятъ, горятъ!...» причемъ глаза его безумно смотрѣли во всѣ стороны.

Прошла война. Русскіе взяли Парижъ: миръ и тишина благословили Европу на новую и безмятежную жизнь. Москва начала отстраиваться, старушка возникла изъ-подъ своего пепла красивою, молодою, какъ царь-дѣвица, въ родныхъ ея сказкахъ, отъ живой воды. И Горевъ пришелъ въ Москву. Тяжкая болѣзнь два года продержала его въ постели. Товарищи его возвратились на родину въ чинахъ, въ крестахъ, а онъ все толькъ студентъ, потерялъ мать, невѣсту, состояніе, и былъ лишенъ судьбою даже удовольствія сражаться съ врагами своей родины. Часто онъ ходилъ на мѣсто, гдѣ былъ его красивый домикъ съ садикомъ, гдѣ зеленѣла бесѣдка, гдѣ онъ такъ бывалъ счастливъ; тамъ чернѣли кучи обгорѣлыхъ развалинъ—и только.

Впрочемъ, Николаю Федоровичу обѣщали мѣсто, разумѣется, не выгодное, но все же которое могло его избавить отъ голодной смерти. Даже онъ нашелъ Вареньку; она была гувернанткою у какой-то богатой дамы и жила въ довольствіи.

Николай Федоровичъ, испытывая всѣ непріятности нищеты, не могъ и думать о женитьбѣ, даже не хотѣлъ тревожить Вареньки, не являлся никогда передъ нею, а только сквозь заборъ смотрѣлъ на нее, когда она гуляла съ дѣтьми по саду. «Къ ней присватается порядочный человѣкъ», думалъ Николай Федоровичъ: «она съ нимъ будетъ счастлива, меня позабудетъ: долго ли дѣвушкѣ забыть любовь!... А если она, изъ любви ко мнѣ, выйдетъ за меня замужъ? что я предложу ей? кусокъ черстваго хлѣба, смоченный слезами! Нѣтъ, не хочу возмущать твоего покоя, моя радость! Живи-себѣ, мой ангель, счастливо».

И Николай Федоровичъ, со слезами на глазахъ, отхо-

дилъ отъ забора, и долго ему представлялся въ глазахъ голубой платочекъ Вареньки...

Вотъ какія картины прошедшаго являлись Николаю Федоровичу, когда онъ лежалъ въ темной комнатѣ Ульяны Михайловны. Ночь прошла, а воспоминанія Николая Федоровича дошли до вчерашняго приключенія съ квартальнымъ: онъ началъ припоминать всѣ подробности и вскочилъ съ постели. Странная, дикая улыбка пропыжала по лицу его; еще мгновеніе — и Николая Федоровича уже не было въ комнатѣ: онъ куда-то не шелъ, а бѣжалъ.

III.

Часу въ десятомъ утра Курилкинъ сидѣлъ дома въ богатомъ шелковомъ шлафрокѣ, который недавно подарили ему одинъ знакомый бухарецъ, и пилъ кофе изъ чашки — вѣмъ нѣть надобности знать изъ какой именно, и какой кофе: это домашніе секреты. Курилкинъ пилъ кофе и курилъ трубку.

— Какой ты добрый, мой душечка! говорила ему жена: — вчера ни за что, ни прѣ што далъ двугривенный этому сорванцу.

— Ахъ, моя крошка! какъ ты, проживъ столько лѣтъ на свѣтѣ, не знаешь, что есть такія вещи, которыя, покажи только, такъ радъ отдать послѣдній грошъ; я спорю, а тутъ ровнехонъко подъ носомъ пронесли утку этакую зарумяненную...

Курилкинъ улыбнулся.

— Все-таки, отвѣчала жена: — утка не ушла бы, и двугривенный былъ бы въ карманѣ.

— И безъ этого еще цѣлый десятокъ двугривенныхъ будетъ! А это, знаешь, можетъ-быть, такой чело-

ѣкъ, знаешь, подосланный отъ начальства узнать, что-нибудь насчетъ добросердечія, милосердія, добродѣтели или чего подобнаго—понимаешь?

— Баринъ, баринъ! гости! кричалъ Петрушка, вѣга въ комнату, гдѣ сидѣлъ квартальный съ женою.

— Чѣмъ за гости?

— Какой-то генералъ, кажись, полиціймейстеръ, да еще вѣтъ тотъ, что вчера былъ съ извощикомъ, какъ изволи обѣдать.

— Видишь! сказалъ тихо женѣ квартальный, значительно подымая кверху указательный палецъ.

Между тѣмъ, гости ходили уже по гостиной. Жена квартального приложила глазъ къ замочной скважинѣ, отскочивъ отъ двери, прошептала: — ей-богу онъ!

Квартальный надѣлъ мундиръ, шпагу, и явился передъ начальствомъ момодецъ-молодцомъ.

— Это ваше бюро? спросилъ Курилкина полиціймейстеръ.

— Мое-съ, ваше превосходительство..

— Побезпокойтесь выбрать изъ него всѣ вещи.

Квартальный робко посмотрѣлъ на генерала, однако скоро оправился, отворилъ бюро и началъ выбирать изъ ящиковъ деньги, бумаги, кошельки, янтарь, пуговицы, старые галуны и прочее... долго выбиралъ, большую кучу наложилъ на полу всякой всячины, наконецъ, вынуль изъ потаеннаго ящика серебряный свистокъ и изломанную ложечку, и остановился.

— Все ли вы взяли изъ ящиковъ? спросилъ генераль.

— Все, ваше превосходительство.

— Ничего въ бюро не остается?

— Ничего, ваше превосходительство.

— Попросите сюда вашу жену.

Вскорѣ явилась толстая жена квартального въ огромномъ чепчикѣ.

— Посмотрите сударыня, нѣть ли чего вашего въ этомъ бюро?

— Нѣть, ваше превосходительство.

— Можетъ-быть, вы забыли, гдѣ-нибудь въ потаенномъ ящикѣ, какія бумаги или деньги?

— Никакихъ нѣть, ваше превосходительство, ящики всѣ на лицо, отвѣчалъ квартальный: — другихъ не имѣется.

— Значить, бюро совершенно пусто.

— Пусто, ваше превосходительство.

— Извольте искать, теперь ваша очередь, сказалъ генераль, обращаясь къ Гореву.

— Это оно, бюро моей маменьки, отвѣчалъ Горевъ, взялъ ящикъ, прижалъ пружинку, и дно отскочило въ сторону; подъ нимъ лежала связка билетовъ.

— Вотъ оно, вотъ мое наслѣдство! вскричалъ Горевъ, подавая генералу билеты; здѣсь ровно пятьдесятъ тысячъ, вотъ и записка моей матери.

— Пути Божіи неисповѣдимы, сказалъ генераль, возвращая Гореву билеты. — Благодарите Его, а я въ этомъ дѣлѣ слѣпое орудіе случая.

Полиціймейстеръ уѣхалъ, Горевъ тоже. Квартальный и его жена долго стояли на одномъ мѣстѣ, а послѣ опомнились и сошли съ мѣста.

Съ этой поры у квартального къ двумъ прежнимъ присоединилась третья странность: онъ всякую старую мебель, которую ему удавалось покупать, подвергалъ строжайшему обзору, будто отыскивалъ въ ней непріятеля: жалъ руками, грызъ зубами, билъ ногами,нюхалъ,

прислушивался, и только послѣ этихъ опытовъ ставилъ спокойно на мѣсто.

Если вы одарены воображеніемъ, то можете представить, что Николай Федоровичъ на старомъ мѣстѣ выстроилъ новый, прекрасный домикъ, развелъ садъ, устроилъ бесѣдку, женился на Варенькѣ и сталъ жить да поживать. Право, такъ! Спросите у московскихъ жителей.

1839 г.

БЫВАЛЬЩИНА.

РАЗСКАЗЪ.

Раковая зола, брошенная въ стоячую
воду, производить раковъ.

ЭККАРТСГАУЗЕНЪ.

I.

Иногда добрая наша луна бываетъ, Богъ ее знаетъ, въ какомъ-то странномъ положеніи: новая еще не рождается, а старая, или соскучивъ скитаться между облачками, или предчувствуя свою скорую кончину, цѣлую ночь глазъ не кажеть людямъ; чуть передъ разсвѣтомъ блеснетъ на небѣ, а тутъ уже и день. Она въ это время похожа на исправника, дослуживающаго свой срокъ, между-тѣмъ какъ преемникъ, избранный дворянствомъ, ждетъ только нового года, чтобъ засіять на горизонте земскаго суда. Это самая скучная пора. Тогда бываетъ очень темно на бѣломъ свѣтѣ, какая-то грусть лежить на душѣ человѣческой, и нечистыя силы кутятъ на землѣ. Говорятъ, будто волки и лисицы очень рады этому времени. Можетъ-быть: на то они звѣри.

Въ одну изъ такихъ темныхъ безлунныхъ ночей отставной надворный советникъ Василій Ивановичъ ѿхалъ домой отъ своего сосѣда, Ивана Ильича...

— Какой странный человѣкъ! говорите вы: и что это за малороссийская привычка: рассказывать о Васильѣ Ивановичѣ, Иванѣ Ильичѣ, не познакомивъ съ ними читателя, какъ-будто весь свѣтъ долженъ знать какого-нибудь!...

Виновать! Скажите, что вамъ угодно: описание лицъ, характеровъ, одежды и т. п.? Извольте, хотя это очень старо, хотя это вы найдете въ любой школьной тетрадкѣ — такъ и быть, для васъ скажу нѣсколько словъ о моихъ герояхъ.

Иванъ Ильичъ и Василій Ивановичъ помѣщики одной изъ нашихъ южныхъ губерній. Иванъ Ильичъ, какъ и все мы, порядочного роста и пріятной наружности, а Василій Ивановичъ немножко выходитъ изъ общаго круга, какъ холлатый голубь изъ круга простыхъ голубей. Отличительную черту въ его физиономіи составляетъ прочнаго устройства изрядный нось. Во глубинѣ души своей онъ (т. е. не нось, а Василій Ивановичъ) таитъ полны коробъ отвлеченностей и бесконечное число залѣтныхъ взглядовъ.

Еще въ молодости Василій Ивановичъ было опасно занемогъ, разсуждая трои сутки о томъ, какимъ образомъ могли люди ходить по потолку амбара внизъ головами, какъ мухи, а что они ходили — не было никакого сомнѣнія: обѣ этомъ свидѣтельствовали грязные слѣды человѣческихъ ногъ, отпечатанные на одной изъ досокъ потолка. Едва успѣла увѣрить Василья Ивановича старая ключница, что доска лежала прежде на землѣ, и тогда кто-нибудь прошелъ по ней грязными ногами, а

мастера не заблагоразсудили обмыть ее, вдѣльвая въ потолокъ, потому-что, есть ли слѣды человѣческіе на потолкѣ, или нѣтъ ихъ — все равно; отъ этого никако не зависѣтъ прочность зданія. Мастеры были философы.

Внослѣдствіи природная наклонность Василя Ивановича къ отвлеченностямъ усовершенствовалась чтеніемъ «Ключъ къ Таинствамъ Натуры» Эккардсгаузена, «Угрозъ свѣтовостоковъ», чья-то физіология, психологія и астрономія развили совершенно душу мыслителя, а логика Баумейстера дала ей надлежащее направление. И этотъ человѣкъ непонятый, неоцѣненный живеть въ деревнѣ!...

Василій Ивановичъ Ѳздила когда-то въ Сибирь за чиномъ коллежскаго ассесора и привезъ вмѣстѣ съ чиномъ еще одну рѣдкость: это былъ экипажъ — предметъ на смѣшекъ всѣхъ сосѣдей и удивленіе деревенскихъ мальчишекъ. Экипажъ былъ въ-родѣ дрожекъ, хотя походилъ на нихъ какъ педантъ на умнаго человѣка; на низкихъ четырехъ колесахъ были положены двѣ жерди, аршинъ по семи длиною; посреди жердей возвышалось сѣдалище, очень похожее на раковину, въ которой обыкновенно Ѳздитъ по морамъ Венера на картинкахъ XVIII-го столѣтія; впереди, на концѣ жердей, устроены низенькие козлы для возницъ и оглобли, куда впряженая тощая пѣгая кобыла. Все это, двигаясь на маленькихъ колесахъ, какъ-то сливалось съ землею; только Василій Ивановичъ, взгромоздясь на сѣдалище, возвышался надъ толпою, и отъ колебанія упругихъ жердей, гордо покачивался въ стороны, причемъ кисточка его бархатнаго картузса моталась вокругъ своего центра, и несъ раскланивалась съ природой.

Ночь была темная. Василій Ивановичъ, какъ я уже

сказалъ, возвращался домой оть Ивана Ильича на свое мъ сибирскомъ экипажѣ. Проѣхавъ версты три степью, сибирскій экипажъ спустился съ горы и мелкою рысью запрыгалъ по плотинѣ. Плотина шла черезъ прудъ, а за прудомъ стоялъ дворъ Василья Ивановича. Густыя, вѣтвистыя вербы росли по обѣимъ сторонамъ плотины; вправо былъ прудъ, влѣво глубокая пропасть; на днѣ этой пропасти была небольшая лужа зеленоватой воды, въ которой Василій Ивановичъ хотѣлъ было завестъ раковъ и надѣлать угрей, по правиламъ древней науки целингенезіи, объясненной ученымъ Кирхеромъ; но попытка осталась безъ успѣха.

— Держи правѣ! сказалъ Василій Ивановичъ свое му возницѣ съ высоты сѣдалища:— еще правѣ! Развѣ тебѣ охота сломить шею въ пропасти?

Возница тронулъ возжами, и экипажъ покатился у самаго края плотины надъ прудомъ.

Василій Ивановичъ опять предался размышленіямъ. «Я, старый дуракъ» думалъ онъ: «полагаю, что на свѣтѣ только и есть проза да стихи; прозою мы говоримъ, а стихами поемъ; а иѣть, не тутъ-то было: это мальчишка, учитель дѣтей Ивана Ильича, совсѣмъ сбѣгъ меня съ толку, да еще поднялъ на смѣхъ: «вы, говорить, спорите о томъ, что всему свѣту извѣстно: то, говорить, проза, то стихи, а то еще среднее между ними»— вотъ этого я хорошенько не понять, прозолита, прозолюта какая-то что ли — нечистый ихъ знаетъ!... и даже показалъ обѣ этомъ книгу: «Риторику», напечатанную чуть ли не десятымъ изданіемъ въ С. Петербургѣ, книгу учебную... Чѣмъ теперь я знаю послѣ этого? Ничего не знаю! не знаю даже какъ я говорю: прозой, или стихами, или этимъ третьимъ?... Ученіе, ученіе!»

*

Эти мысли занимали тогда почтенного Василя Ивановича. Признаюсь, было отъ чего задуматься. Да и сама природа наводила думы: кругомъ ни сѣта, ни звука; ирачно дремали надъ плотиной вербы; изрѣдка въ темной вышинѣ просвѣстить крыльями дикая утка и, садясь на прудъ, замутить солнцемъ водою; изрѣдка падучая звѣздочка опинеть на небѣ скѣтлую струйку — и все станетъ еще темнѣе, еще помчаливѣ.

— Ай-ай-ай! пошелъ! громко закричалъ Василій Ивановичъ и схватился за лобъ. Какая-то невидимая рука такъ его хлеснула по головѣ — какъ самъ Василій Ивановичъ рассказывалъ — что бархатный картузъ полетѣлъ въ сторону и мильоны искрь запрыгали въ глазахъ.

Быстро помчался экипажъ съ плотины и едва остановился у крыльца: такъ мальчишка, перепуганный ярымъ крикомъ своего пана, помощю кнута привелъ въ бодрость пѣгую кобылу.

Василій Ивановичъ вошелъ въ комнату, послалъ людей, вооруженныхъ дубинами и ружьями, отыскивать свой картузъ, и съ отеческой заботливостью примочилъ водкою лобъ, покраснѣвшій отъ ушиба.

Вязло раздумье Василя Ивановича: кто бы это такой ударили его? Догадки смѣнялись другими, мысли путались. Василій Ивановичъ съчастъ просидѣлъ, наклоня къ землѣ свой красный лобъ, потомъ быстро поднялъ голову, улыбнулся, всталъ со стула и приказалъ позвать сапожника.

Прудъ составляетъ почти необходимую принадлежность хозяйства всякаго степнаго помѣщика. Изъ пруда со всею патріархальной простотой пьють воду стада разныхъ четвероногихъ; на немъ тихо плаваютъ бѣлосѣж-

ными стаями домашніе гуси. Если вы охотникъ пострѣять, всегда найдете, туда подалѣе, въ вершинѣ, чопорную семью дикихъ утокъ, или робкую водянную курочку, или нѣсколько паръ болотныхъ франтовъ-куликовъ. А какіе жирные, золотистые караси водятся въ прудѣ! еслибы вы ихъ покушали зажаренныхъ со сметаною, или хоть посмотрѣли, какъ ихъ ловятъ бреднемъ двѣ молодыя украинки, какъ хоочуть онѣ, какъ плещутся, и, плавно подвигаясь къ берегу, разбиваются легкія волны полною, упругою грудью... Какъ не любить пруда!...

Я навѣрное не знаю, любилъ ли сапожникъ кушать караси, или ловить ихъ, а знаю только, что, недѣли двѣ назадъ, его порядочно за что-то выругалъ Василій Ивановичъ на берегу пруда.

Выругалъ — ну, кажется, и концы въ воду, а вышло противное: когда Василій Ивановичъ, переѣзжая плотину, получилъ отъ неизвѣстной руки ударъ по лбу, то это его сильно заняло: «кто-бы такой это сдѣлалъ?» думалъ Василій Ивановичъ, «да еще такъ ловко угораздилъ, несмотря на тьму ночную».

Василій Ивановичъ началъ припомнить изъ логики Баумейстера статью о силлогизмахъ, и въ минуту у него созрѣлъ самый отчаянный силлогизмъ: «У пруда я недавно порядочно побрилъ сапожника, да и стоилъ: такой неблагопристойный мальчишка!... Да, у пруда я побрилъ сапожника, у пруда меня нѣкто ударилъ по лбу, слѣдовательно: ударилъ сапожникъ. Это яснѣе дня, а я не видѣлъ сапожника, потому-что мракъ покрывалъ всѣ предметы...» Исполать тебѣ, наука, научающая здраво мыслить!

— Позвать ко мнѣ сапожника! закричалъ Василій

Ивановичъ еще громче прежняго, и въ головѣ своей началь выдумывать кару для бѣднаго преступника.

Сапожникъ медлилъ приходомъ. Между-тѣмъ голосъ совѣсти шепталъ Василю Ивановичу: «не торопись наказывать человѣка; можетъ-быть, онъ не виноватъ». — «Какъ не виноватъ?» подумалъ Василій Ивановичъ: «онъ кругомъ виноватъ; я дошелъ по логикѣ, я знаю логику, я читалъ ее: тамъ такъ напечатано, вѣдь глупостей не печатаютъ». Вдругъ пришла ему на мысль книга, которой уничтожилъ его совершенно учитель дѣтей Ивана Ильи-ча, пришло на умъ незнаніе прозы, и проч. и проч., и Василій Ивановичъ усомнился въ вѣрности силлогизма. «Нечего дѣлать» подумалъ онъ: «хоть не хочется, а придется повѣриять свой выводъ практическіи».

Сапожникъ вошелъ въ комнату.

— Ты преступникъ! закричалъ на него Василій Ивановичъ.

Сапожникъ молчалъ.

— Ты преступникъ! самое молчаніе обвиняетъ тебя.

— Я не понимаю, что вы говорите.

— Не понимаешь? Развѣ я говорю не по-человѣчески? развѣ во мнѣ нѣть логическаго смысла? Ты смѣешь еще говорить здѣсь, рожденный подъ несчастною пла-нетой! Запереть его въ амбаръ!

Сапожника вывели.

Долго послѣ того ходилъ по комнатѣ Василій Ивановичъ, долго разсуждалъ и, не ужинавши, легъ спать, повторяя: «испытаніе, испытаніе, завтра же испытаніе!» потомъ раскрылъ какую-то книгу; переводъ съ нѣмец-каго, въ которой весьма убѣдительно было доказано, что голубой цвѣтъ, минорный аккордъ, флегматический темпераментъ, цвѣтокъ анемонъ, земля, флейта и лихо-

радка суть вещи равносильныя, т. е. въ случаѣ надобности, могутъ замѣнить одна другую. Эта статья совершенно успокоила Василья Ивановича; онъ заснулъ сладкимъ, пріятнымъ сномъ.

А сапожника заперли двумя замками въ томъ са-
момъ амбарѣ, гдѣ видны были на потолкѣ человѣческие
скелѣты.

II.

На другой день часу въ седьмомъ послѣ обѣда, толь-
ко-что собралось семейство Ивана Ильича пить чай,
какъ вошелъ Василій Ивановичъ.

— Василій Иванычъ! закричалъ хозяинъ: — куда и
откуда?

— Изъ дому, къ вамъ нарочно. Вы не можете по-
жаловаться, что я у васъ рѣдкій гость.

— Спасибо, сосѣдъ. Да отчего это у васъ перевя-
зана голова?

— Такъ, маленький ушибъ.

— Стыдитесь, Василій Ивановичъ! Вы человѣкъ хо-
лостой и закрываете лобъ; вамъ надобно бодриться, мо-
лодѣть; намъ, старикамъ — другое дѣло.

— Не слушайте его: онъ всегда говорить глупости,
сказала хозяйка. — Садитесь поближе къ самовару.

Василій Ивановичъ сѣлъ, но не могъ поддержать
общаго разговора. Иванъ Ильичъ, человѣкъ весьма тон-
кій, раза два начиналъ рѣчь о станціяхъ на собакахъ и
о самоѣдскомъ чернокнижіи; жена Ивана Ильича — о си-
бирской наливкѣ изъ княженики; учитель — о прозѣ и
стикахъ; но Василій Ивановичъ отвѣчалъ какъ-то не-
ловко, невпопадъ, часто посматривалъ на часы, и, когда
ударило девять, всталъ и началъ раскланиваться.

- Куда же вы торопитесь? спросилъ хозяинъ.
- У меня есть важное дѣло.
- Вы, право, странный человѣкъ! Останьтесь за-
кусить чего-нибудь на дорогу.
- Нѣть, не могу, право не могу, ей-богу не могу.
- Точь-въ-точъ какъ вчера: поднялся въ девять ча-
совъ; ни упросить ни умолить было нельзя.
- Вчера другое дѣло: я былъ пораженъ рѣчами
вотъ г-на учителя — имени и отчества не имѣю чести
знать — на счетъ риторики, и спѣшилъ домой пораз-
мыслить на свободѣ.
- Отъ эти мысли! Вы, право, когда-нибудь отъ нихъ
заболѣте. Ну, а сегодня?
- Сегодня? важное дѣло, очень важное. Пріѣзжай-
те завтра ко мнѣ обѣдать: я вамъ расскажу все, а те-
перь прощайте.
- Василій Ивановичъ прыгнулъ на сибирское сѣдали-
ще и поѣхалъ домой.
- Была такая же темная ночь, какъ и вчера. Вотъ
долговязый экипажъ опять уже на плотинѣ.
- Держи правый! закричалъ Василій Ивановичъ:
— еще правый, такъ, какъ ты вчера ѿхалъ.
- И колеса экипажа опять застучали по вербовыми
кореньями. Василій Ивановичъ сидѣлъ неподвижно, вы-
тянувъ голову впередъ, какъ-бы вызывая на поединокъ
таинственную руку, задѣвшую его вчера по головѣ.
Вдругъ, что-то запу碌ло мимо ушей его и разразилось
по лбу ударомъ; картузъ опять полетѣлъ въ сторону.
- Пошелъ! закричалъ Василій Ивановичъ, и по-
ѣхалъ прямо къ амбару.
- Принесли фонарь, явились люди. Василій Ивано-
вичъ, забывая боль отъ удара, досталъ изъ кармана

ключи и отперъ амбаръ. Сапожникъ спалъ растянувшись въ углу.

— Встань, другъ мой, сказалъ торжественно Василий Ивановичъ: — ты невинент; я напрасно подозрѣвалъ тебя. Нѣтъ, не ты ударилъ меня. Это было дѣйствіе стихійныхъ духовъ, какъ говорить мудрый Парцельсь. Теперь я все понимаю. На тебѣ рубль, поди, напейся водки и позабудь все.

Сапожникъ пошелъ домой съ цѣлковымъ въ карманѣ; Василий Ивановичъ — съ краснымъ лбомъ и удивительными мыслями. Вся дворня, вооруженная кто чѣмъ попало, отправилась на плотину, при свѣтѣ фонаря, отыскивать панскій картузъ.

Мнѣ случилось видѣть дневникъ Василья Ивановича: тамъ на одной страничкѣ было написано:

«19-го юля 18.... года. Вчера, близь пруда, на плотинѣ, я получилъ отъ стихійнаго духа пощечину. Сего дня подтвержденіе оной. Въ чемъ я твердо увѣренъ, основываясь на духѣ числа 9-го и на глубокомъ выводѣ, сдѣланномъ изъ онаго великимъ Эккардсгаузеномъ, ибо вчера было 18-е число, а $1 + 8 = 9$, да я поѣхалъ въ 9-ть часовъ, а $9 + 9 = 18$. Все ясно; больше говорить нечего!»

Вѣрьте или нѣтъ, а это случилось, давно когда-то, на бѣломъ свѣтѣ.

1839 г.

БРАТЬЯ.

ПОВѢСТЬ.

..... про одно ильное
Наслѣдниковъ сердитый хоръ
Заводить непристойный споръ.

А. Пушкинъ.

ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ ДАВНО, ВЪ СЕЛЕНИИ ЖАВОРОНКОВЪ.

I.

Въ четвергъ, на второй недѣльѣ петрова поста, Федоръ Федоровичъ кушалъ съ большимъ аппетитомъ жареную щуку, подавился косточкою и умеръ — умеръ какъ-будто отъ какой болѣзни. Въ субботу прѣѣхалъ спасать Федора Федоровича уѣздный докторъ, но засталъ его уже на дорогѣ къ кладбищу, снялъ почти-тѣльно шляпу, взялъ прогонныя деньги и уѣхалъ обратно. Въ домѣ Федора Федоровича остался неутѣшный сынъ его, Андрей Федоровичъ; другаго сына, Павла, не было дома: онъ служилъ гдѣ-то далеко въ полку.

Жаль мнѣ Федора Федоровича! Онъ былъ добрый человѣкъ; у него была прекрасная сливянка и не было

ни одного тяжебнаго дѣла въ уѣздномъ судѣ. Сосѣди любили Федора Федоровича.

Какъ нарочно, въ среду вечеромъ, его чумаки пріѣхали изъ Крыма и выстроили въ рядъ передъ крыльцомъ двадцать возовъ соли. Цѣлый вечеръ тогда сидѣлъ на крыльцѣ Федоръ Федоровичъ, куриль дюлбекъ изъ трубки, оплетенной мѣдною проволокой, слушалъ пѣсни соловья, разговариваль съ Андрющею о томъ, гдѣ и какъ сбыть соль повыгоднѣе, и, уходя спать, не велѣлъ трогать соли впредь до приказанія... А въ четвергъ вечеромъ — напрасно, рыдая, спрашивалъ Андрей Федоровичъ: *куда батюшка соль дѣвать?* — безответно лежалъ покойникъ на столѣ; въ изголовье горѣли свѣчи; однообразно, монотонно, безчувствственно читаль святую книгу приходскій дѣячокъ; въ растворенное окно вѣяль изъ сада теплый вѣтерокъ; въ саду, какъ и вчера, пѣлъ соловей. Вчера и сегодня, кажется близко, а между ними прошла цѣлая вѣчность для Федора Федоровича!...

Если вы когда-нибудь наблюдали людей, то-есть обращали болѣе вниманія на рѣчи и дѣла человѣка, нежели на его запонки (хотя и запонки иногда бываютъ очень красивы), то смѣю васъ увѣрить, вы встрѣчали характеры, которые я вамъ хочу описывать.

Видали ли вы человѣка средняго роста, худощаваго; онъ ходить немного наклоняясь впередъ; по лицу его разлита какая-то кроткая задумчивость; глаза его постоянно свѣтятся тихимъ огнемъ; онъ всегда улыбается выразительно: это не животная улыбка листца, не горькая юмориста, не безсмысленная дурака — нѣтъ, это улыбка отрадная, утѣшительная, она какъ-будто говорить: *прекрасенъ божій міръ, друзья мои! живите счастливо!* Если у этого человѣка тихій, глухой

голосъ, какъ бы выходящій изъ груди; если этотъ человѣкъ, видя васъ въ богатствѣ и знатности, старается быть отъ васъ подальше, а въ дни некогдахъ первыхъ подаетъ вашу руку помощи, то вы знаете очень хорошо Андрея Федоровича.

Братъ Андрея Федоровича, Павелъ Федоровичъ, человѣкъ другого десятка: онъ былъ тоже роста среднаго, но дородней и широкъ въ плечахъ; имѣлъ высокую грудь, звучный голосъ, полное лицо, глаза немного на выкатѣ и довольно-толстыми губы. Онъ принадлежалъ къ разряду людей, которые имѣютъ способность громко кричать о благородствѣ и возвышенности чувствъ и при первомъ случаѣ готовы сдѣлать всякую низость, никако не краснѣя. Не знаю, какъ вы думаете, а мнѣ кажется, эта способность порядочная.

Если Павелъ Федоровичъ зоветъ васъ къ себѣ въ гости, это значитъ, онъ въ васъ нуждается. Если онъ у васъ попроситъ взаймы денегъ на недѣлю — и въ лѣсъ лѣтъ не получите; а напоминте о долгѣ, онъ на васъ еще разсердится, не захочетъ говорить съ вами... Таковъ у него обычай!... По-мнѣ, и обычай недуренъ.

Если вы считаетесь другомъ Павла Федоровича, но вы губернскій секретарь или поручикъ, то не оскорбляйтесь, когда въ собраніи, гдѣ находятся полковникъ или коллежскій совсѣмъникъ, Павелъ Федоровичъ не замѣтить васъ. А подойдете къ нему съ вопросомъ, онъ торопливо скажетъ: «А, здравствуйте! извините, мнѣ нѣкогда», отворотится и пойдетъ отъ васъ къ значительному лицу, станеть сзади его или съ-боку, хоть ему тамъ и дѣлать нѣчего, и все будетъ стоять и улыбаться. Такая у него странность! Впрочемъ, и странность, какъ видите, благородная.

Павелъ Федоровичъ человѣкъ очень пріятный въ обществѣ. Дайте ему варенья — онъ разскажетъ что-нибудь замѣчательное о вареньѣ; попотчуйте ромомъ — явится анекдотъ о ромѣ.

Славный человѣкъ Павелъ Федоровичъ; но не дай вамъ Богъ, мой читатель, служить съ нимъ вмѣстѣ, жить подъ одною кровлей, даже встрѣтиться на дорогѣ. Своротите, въ сторону, право не проиграете. «Съ Павломъ Федоровичемъ», говорилъ одинъ мой знакомый, «очень хорошо дѣлить лихорадку; чуть заспорить — возьмите себѣ всю, Павелъ Федоровичъ!...»

Братья дѣлили отцовское имѣніе десять лѣтъ и, Боже мой! какой видъ оно принало! Возы съ солью, которые стояли передъ крыльцомъ Федора Федоровича, скнили и разсыпались, и никто не смѣлъ ихъ тронуть: все ждали окончанія раздѣла; на крышѣ дома росли и цвѣли разныя травы; она во многихъ мѣстахъ провалилась и дождевая вода лилась ручьями сквозь эти отверстія въ комнаты; на крыльцѣ не было двухъ первыхъ ступенекъ; плотины и мосты такъ разрушились, что съ трудомъ можно было по нимъ проѣхать — и никто ничего не хотѣлъ поправлять; всякий говорилъ: «это не мое». — «Да чье же?» — «А Богъ его знаетъ! кому достанется, того и будетъ».

Можеть-быть, до сего дня продолжался бы ихъ раздѣлъ, еслибъ одно обстоятельство сильно не подвинуло впередъ этого дѣла. На дворѣ покойнаго Федора Федоровича стоялъ старый амбаръ, состоящій изъ пространной комнаты, съ одною дверью. Братья, съ обоюдного согласія, провели на полу амбара, во всю ширину его, черту мѣромъ, которая и раздѣлила амбаръ на двѣ равныя части. Андрей Федоровичъ имѣлъ пять аршинъ ам-

бара и Павель Федоровичъ тоже. Въ одинъ вечеръ Андрей Федоровичъ возвратился изъ гостей чрезвычайно весель; ему кто-то подарилъ мѣрку овса Вольнаго Экономического Общества, который, какъ увѣряли, тайно провезенъ жидомъ черезъ радзивиловскую таможню. А жидъ, всякоуму извѣстно, провезетъ и отца роднаго безъ штемпеля. Вотъ Андрей Федоровичъ прѣѣхалъ домой, самъ отнесъ драгоценный овесъ въ амбаръ и пошелъ отдыхать. Павель Федоровичъ въ это время сидѣлъ на крыльцѣ, и сказалъ: *и.и!* Скоро пошелъ съ поля скотъ, а Павель Федоровичъ съ крыльца къ воротамъ.

Мимо воротъ тянулась пестрая толпа четвероногихъ разнаго рода и виду, наполняя воздухъ ржаніемъ, крикомъ, мычаньемъ, блеяньемъ... Павель Федоровичъ какъ-будто понималъ этотъ разноголосый разговоръ и, сочувствуя ему, улыбался; вдругъ скромная улыбка превратилась въ хохотъ:

— Ха-ха-ха! Гей! пастухъ! отчего эта пестрая свинья такъ весела?

— Кто ее знаетъ: она всегда такая веселая.

— Прекрасно! ха-ха-ха-ха! Какъ это мнѣ нравится: этакого любезнаго характера! Должно быть, прямодушное животное! Чья она?

— Какъ прикажете... то-есть, изволите видѣть, ея мать осталась послѣ покойнаго вашего батюшки, а это уже отъ той молоденъкай.

— Ага! значитъ, въ ней есть моя половина. Хорошо, я заплачу брату за остальную половину, а свинью возьму себѣ. Поймать ее и сейчасъ пустить въ нашъ амбаръ; да смотрите на мою половину: направо за черту.

Павель Федоровичъ еще сказалъ: *Гм!* и пошелъ спать. Вскорѣ уснуло и все Жаворонково.

Вѣроятно, по своимъ понятіямъ, свинья полагала, что братья живутъ между собой дружно и что черта, приведенная на полу амбара, была ни что иное какъ глупость; а можетъ-быть, она, при входѣ въ амбаръ, не замѣтила черты, а когда заперли дверь, то въ темнотѣ и замѣтить не могла. Какъ бы то ни было, но, по теоріи вѣроятностей, свинья начала практически прохаживаться по амбару, перешагнула черезъ завѣтную границу, нашла овесь и, не понимая его драгоцѣнности, скушала какъ простое кушанье... Сказано: свинья и въ барскомъ амбарѣ не оставила своихъ привычекъ!

На утро Андрей Федоровичъ разсердился на на шутку; укоры посыпались на Павла Федоровича.

— Отважись отъ меня, пожалуста! отвѣчалъ Павель Федоровичъ: — я пустилъ свинью въ свою половину амбара; спроси ее, зачѣмъ она перешла къ тебѣ? Отвернулся и пошелъ въ садъ стравливать кошку съ собакой.

— Нѣть, сказалъ почти сквозь слезы Андрей Федоровичъ: — этимъ обидамъ конца не будетъ! Пойду въ судъ: пусть онъ раздѣлитъ насъ, какъ-нибудь да раздѣлить; мнѣ покой дорогъ! И поѣхалъ въ городъ.

Павель Федоровичъ самъ въ городъ не поѣхалъ, а послалъ своего любимаго слугу, Бродягу, и при немъ нѣсколько подводъ съ мукой, масломъ, горохомъ, медомъ и прочимъ.

Чрезъ недѣлю отсчитали Андрею Федоровичу изъ отцовскаго имѣнія половину ревизскихъ душъ, слѣпыхъ, хромыхъ, или давно уже записанныхъ въ ревизію на ирачныхъ берегахъ Стикса, или путешествующихъ по

зелеными прибрежными Ингула и Буга. Павель Федорович отрубил половину отцовского дома, амбара, конюшни и голубятни, перевезъ за десять верстъ въ хutorъ и основалъ тамъ резиденцію, а Андрей Федоровичъ, залечивъ отрубленный яѣста тростникомъ, остался въ Жаворонковѣ.

II.

Какъ страненъ вкусъ у женщинъ! Иная дама готова Богъ-знаетъ на какое пожертвованіе, чтобы только прѣхать по городу съ военнымъ мужчиной. Тутъ есть своя хорошая сторона: очень пріятно, когда, при встрѣчѣ съ вами, солдаты снимаютъ фуражки. Но тотъ же самый мужчина выйди въ отставку — она не обратить на него вниманія. И это понятно. Нѣкоторые дамы любятъ мужчинъ здоровыхъ, плотныхъ, краснощекихъ — будь они глупыѣ поверстнаго столба. Даже и это понятно. Другая увидить какого-нибудь блѣднаго, узенькаго мужчину — и вздыхаетъ. Вотъ это для меня вовсе непостижимо!

Фридерика Карловна фон-Клокъ, яѣть десять назадъ, была молоденькая девушка, и задумывалась, смотря на серебряные эполеты Павла Федоровича; но какъ она была бѣдна, то Павель Федоровичъ не замѣчалъ ея *тихой прости*, а между-тѣмъ время летѣло. Павель Федоровичъ вышелъ въ отставку: эполеты исчезли съ его плечъ. Фридерика Карловна сдѣмалась умнѣе, начала разсуждать, и результатъ этого былъ: Андрей Федоровичъ добрѣе брата, слабѣе характеромъ, следовательно, имть гораздо удобнѣе *управлять*, а этотъ глаголь чрезвычайно нравился Фридерику Карловнѣ, и потому Павель Федоровичъ оставленъ, какъ выдохшійся двѣтокъ, и всѣ ласки обращены на Андрея Федоровича.

Сначала Андрею Федоровичу было очень совѣстно, когда двадцати-шести-лѣтняя дѣвица, распѣвавая извѣстный романсь: *Пойми меня...* обращала къ нему косвенные взгляды. Онъ всегда оборачивался назадъ: не стоитъ ли кто за нимъ; притворно чихать, барабанить по столу пальцами и думать: «неужли этакая воспитанная дѣвица можетъ любить меня?»

И когда, однажды, Фридерика Карловна подала ему конфетку, завернутый въ печатный билетикъ:

«Куда свой взоръ ни обращаю,
Вездѣ Амура я встрѣчаю.»

Андрей Федоровичъ рѣшительно не зналъ, чтѣ думать. Онъ много видѣлъ рисованныхъ амуроў и, сравнивая ихъ круглые, полные рожицы съ своимъ длиннымъ лицомъ, ихъ легкія одежды — съ своимъ шалоновыимъ сюртукомъ, сталъ въ-тупикъ. Первая мысль его была: «это насытѣшка!» но Фридерика Карловна такъ мило склонила голову; густой румянецъ горѣлъ даже на ушахъ ея!

«Нѣть, это любовь», подумалъ Андрей Федоровичъ: «надобно ободрить ее».

Онъ подошелъ къ тарелкѣ съ конфектами, выбралъ билетикъ:

«Прекрасна и свѣтла натура:
Я признаю въ тебѣ Амура.»

и подала его Фридерикѣ Карловнѣ; она пробѣжала билетикъ, выразительно посмотрѣла на Андрея Федоровича, торопливо поправила на груди косыночку — и билетикъ исчезъ.

А настоящій Амуръ въ это время, летя изъ Греціи

въ Лапландію, сѣль отдыхать подлѣ пары голубей, на конюшнѣ старого Германа, и смѣялся до слезъ, смотря въ окно на эти продѣлки.

Да кто же Фридерика Карловна и старый Германъ, на конюшнѣ котораго отдыхалъ Амуръ?

Фридерика Карловна, обрусьвшая нѣмочка, довольно-стройная, съ черными глазами и бѣлокурыми кудрями. Она очень проворно вяжетъ чулки, и когда чего-нибудь испугается, то препріятно вскрикиваетъ: *ахъ!* не такъ, какъ мы, православные, будто командуемъ отрядомъ глухихъ, а какъ-то потихоньку, втягивая въ себя воздухъ, этакъ: *ахъ!* неподражаемо!

Германъ Карлъ Адамовичъ, отецъ Фридерики Карловны; онъ долго былъ садовникомъ у графа Пустого-рохова; ростилъ ананасы и померанцы, и когда имѣніе его сіятельства было продано за долги съ публичнаго торга, онъ на сбереженные деньги купилъ себѣ домикъ съ огородомъ и садикомъ, гдѣ развелъ прекрасные цвѣты. Соѣди часто навѣщали стараго нѣмца (такъ они называли Германа) мужчины — покурить трубки и посовѣтоваться о посѣвахъ, а дамы — чтобы выпросить цвѣточныхъ сѣяній.

III.

У Андрея Федоровича былъ камердинеръ Иванъ Утка. Онъ часто являлся передъ своего барина безъ сюртука, часто вмѣшивался въ разговоры барина съ гостями — что весьма обижало поручика Буку — и въ отсутствіе барина всегда напивался пьяни такъ, какъ только можно быть пьяну.

«Уточка! Уточка! гей, Утка! Вотъ не слышать... Иванъ Утка! Иванъ Утка!» кричалъ Андрей Федоро-

вичъ, пріѣхавъ довольно - поздно отъ Германа. «Вѣрно, пьянь!» проворчалъ Андрей Федоровичъ, и опять принялся звать камердинера, и опять никто не являлся. Андрей Федоровичъ высѣкъ огня, зажегъ свѣчку и началъ раздѣваться, думая: «пусть высится человѣкъ! Я былъ въ гостяхъ, провелъ пріятно время съ Фридери-кою Карловной, а онъ, бѣдный, скучалъ».

За дверью послышался тяжелый сопъ; она потихоньку начала отворяться и въ комнату вошло какое - то четвероногое животное. Андрей Федоровичъ попытился назадъ, схватилъ свѣчку, и закричалъ: «Боже мой! это ты, Утка?»

Иванъ замоталъ головою и подползъ на четверенькахъ къ барину.

— Чѣдъ съ тобою? Стань на ноги!

— Не...мо...гу, съ разстановками прошепталъ Утка.

— Ты пьянь. Поди спать.

Иванъ моталъ головой и не подвигался съ мѣста.

— А, понимаю: ты хочешь мнѣ служить? Бѣдный! Ну, ладно, сними сапоги.

При этомъ Андрей Федоровичъ сѣлъ на стулъ, противъ своего слуги и протянулъ ему ногу. Утка, схватив обѣими руками сапогъ, присѣлъ на корточки, посмотрѣлъ на барина, улыбаясь, замоталъ головой, дернувшись за сапогъ и, потерявъ равновѣсие, опрокинулся назадъ, ударился затылкомъ объ полъ и умеръ на томъ же мѣстѣ!...

Андрей Федоровичъ бросился поднимать бездыханное тѣло Утки; лизъ на него гофманскія канки, муравийный спиртъ, холодную воду — все осталось безъ успѣха.

На крикъ Андрея Федоровича сбѣжались люди, и отнесли тѣло Утки въ людскую.

На другой день Андрей Федоровичъ хотѣлъ было послать за докторомъ, да подумалъ: «къ чему это? докторъ пріѣдетъ, какъ къ моему покойному батюшкѣ, на третій день, возьметъ прогоны и уѣдетъ, а помочь не поможетъ; между тѣмъ, пойдутъ, храни Божо, слѣдствія! Пожалуй, еще будетъ отвѣтъ и тотъ добрый человѣкъ, который напоилъ Ивана. Богъ съ нимъ! Лучше честно похоронить Уtkу.

И точно, къ вечеру Утка былъ похороненъ.

IV.

На широкомъ дворѣ ходилъ Павелъ Федоровичъ подъ руку съ откупщикомъ, жидомъ Самойломъ. У нихъ былъ жаркій разговоръ.

— Не могу, ей-богу не могу, любезнѣйшій Самойло, уступить тебѣ ни гроша; въ большомъ количествѣ — дѣло другое.

— Это въ этомъ какъ вамъ угодно. Я только изволилъ говорить, что, примѣрно, у вашего покойнаго батюшки имѣть уступку.

— У батюшки — другое дѣло: онъ могъ выкуривать вина вдвое болѣе и продавалъ дешевле; онъ былъ одинъ, а нась двое сидѣть на его имѣніи. Андрей тоже куритъ. Ты не заѣжалъ къ нему?

— Забѣгалъ по дорогѣ, да они въ такихъ хлопотахъ, что ой! Они хоронять своего человѣка, того, что былъ при нихъ человѣкомъ.

— Утку?

— Да, кажется, Утку, того, что любилъ выпить.

— Странно! Я третьягодня его видѣть живаго.

— Онъ вчера умеръ, скоро постижно.

— А сегодня хоронять! Бѣдный Утка!... Потомъ, помолчавъ немнога, Павелъ Федоровичъ продолжалъ:— Хоть братъ мнѣ Андрей Федоровичъ, а не скрою отъ тебя, любезный другъ, Самойло, что много грѣха онъ хватилъ тутъ на душу.

— Какъ-такъ?

— Да такъ! Вотъ видишь... какъ бы сказать... ну, да что тутъ церемониться! Андрей Федорычъ засѣкъ бѣднаго Утку до смерти... Не пугайся, Самойло! Я знаю, что человѣку съ хорошими правилами это даже слушать трудно; но что жъ дѣлать? Сердце мое разрывается на части, а долженъ высказать всю правду!... Я надѣюсь, ты будешь такъ добръ, другъ мой, что возьмешь маленькое письмо къ исправнику, котораго я долженъ извѣстить объ этомъ происшествіи.

— Такъ это вы изволите, то-есть, на братца...

— Чѣмъ жъ дѣлать, любезнѣйшій!... Гдѣ дѣло совѣсти, тутъ нѣть родства... Я на то дворянинъ, чтобы свято выполнять присягу. Ты самъ умный человѣкъ.

— Извѣстно, вы люди ученые. А какіе Андрей Федорычъ съ виду смиренныя! я никакъ бы не подумалъ...

— То-то и есть, любезнѣйшій. «Въ тихомъ омутѣ черти водятся» говорить пословица. Онъ не нашъ братъ: чѣмъ на сердцѣ, тѣ и на языке!...

Часа чрезъ три послѣ этого разговора жидъ Самойло, подпрыгивая на тряской повозкѣ, вѣзъ въ уѣздный городъ доносъ отъ Павла Федоровича, въ которомъ онъ съ прискорбиемъ извѣщалъ о противозаконныхъ поступкахъ своего брата, Андрея, и просилъ земскій судъ не замедлить выѣхать въ Жаворонково, для освидѣтель-

ствованія умерщвленного побоюши человѣка, котораго съ
найтиреніемъ похоронили прежде узаконеннаго срока.

А Павель Федоровичъ потиралъ руки и думалъ, ходя
скорыми шагами по своей комнатѣ: «теперь ты въ
моихъ рукахъ, рабчикъ! Или прикидывайся сумасшедшими
и отдай мнѣ Жаворонково, или... не бойсь, испу-
гаешься: дѣло уголовное! Впрочемъ, самъ виноватъ:
разграбилъ безъ меня отцовское наслѣдство. Ну, да Богъ
съ нимъ! жиль бы себѣ, пока умретъ; такъ нѣть, взду-
малъ еще жениться!... Пойдутъ наслѣдники и имѣніе,
нажитое трудами отца, перейдетъ чортъ-знаеть въ какія
руки! А все эта нѣмка: сама навязывается!... Андрей
до смерти не рѣшился бы жениться: такъ она сватается
да и только, забывъ всякую совѣсть!... Вотъ какова
теперь стала нравственность! А все проклятые новѣй-
шие романы... Гей, Бродяга!

— Чѣмъ прикажете, ваше высокоблагородіе, закри-
чалъ усатый лакей, въ военной курткѣ, вбѣгая въ комнату.

— Луна свѣтить?

— Свѣтить, ваше высокоблагородіе.

— Я сейчасъ иду съ тобой на рѣку, стрѣлять
утокъ.

— Слушаю, ваше высокоблагородіе.

V.

Какъ хорошо кладбище въ Жаворонковѣ! Это не ва-
ше сѣверное кладбище, гдѣ на песчаныхъ, полуразмы-
тыхъ дождемъ могилахъ торчатъ, наклоняясь въ сторо-
ны, дряхлые кресты и кое-гдѣ вытягиваются изъ без-
плодной почвы длинные, желтые травы. Мнѣ понятны
на сѣверѣ стихи Карамзина:

Страшно въ могилѣ хладной и темной!
Вѣтры здѣсь воютъ, гробы трясутся,
Бѣлые кости стучать!

Не то на югѣ! Вы похоронили, положимъ, друга, и на слѣдующую весну роскошная природа закидаетъ его могилу цвѣтами и зеленью: широкіе снопы колокольчиковъ лиловыми дугами склоняются надъ его прахомъ, рѣзкий горошекъ взбѣжитъ по кресту, обовьетъ его, опутаетъ зелеными прядями и повиснетъ на немъ небесно-голубыми гирляндами, или розовыми кисточками душистыхъ цвѣтовъ. Въ пышномъ, веселомъ нарядѣ предстанеть вамъ могила вашего друга! Живительная мысль о возрожденіи обвѣтъ печаль съ души вашей: вы инстинктивно познаете, что находитесь въ точкѣ соединенія земли съ небомъ, почуete душою присутствіе Великаго, Непостижимаго — и сердце ваше затрешетъ святымъ восторгомъ, и изъ тайника своего пошлетъ драгоценный алмазъ — чистую слезу на глаза ваши: и это будетъ слеза не скорби, не печали земной; вы сами себѣ не дадите въ ней отчета и пойдете съ могилы друга съ тихою радостью. Кто скажетъ на южномъ кладбищѣ.

Страшно въ могилѣ хладной и темной...

у того нечистая совѣсть, или онъ не христіанинъ.

Въ оградѣ, изъ густыхъ, вѣтвистыхъ черемухъ, дружно тѣснились зеленые могилы жаворонковскаго кладбища; ночные фіалки, расцвѣтая въ травѣ между ними, разливали вокругъ тонкий, приятный запахъ. Была полночь. Давно все снало. Прилегши къ землѣ, кажется, можно было бъ услышать, какъ бьется пульсъ природы —

такъ было тихо!... Нарядка на лугу пугливо вскрикнуть сонца чайка, и синть все могчить. Мѣсяцъ высоко плыть по чистому, темносилену небу, и подъ него и за него, какъ легкий паръ, пролетали серебристыи облака.

Вотъ скрипнули клаубищныи ворота и изъ-за черемухи протянулись по могиламъ дѣлъ тѣни, а за тѣнами показались два человѣка. Они торопливо пробирались между крестами, нашли въ углу скѣжую могилу и начали ее быстро раскапывать. Работа кипѣла; мѣсяцъ плыть по небу; все спало вокругъ: только въ тишинѣ раздавалось прерывистое, усиленное дыханіе гробокопателей, и съ шорохомъ разсыпалась по травѣ земля изъ-подъ ихъ заступовъ; вдругъ заступъ глухо стукнулъ въ крышку гроба — и все замолкло.

— Что ты сталъ, Бродяга! сердито прошепталъ человѣкъ, стоящий наверху.

— Страшно стало, ваше высокоблагородіе, отвѣчалъ другой изъ ямы: — такъ руки и опустились!

— Дуракъ, на берегу тонешь! Снимай крышу; подавай *его* сюда.

И черезъ минуту высунулась изъ ямы блѣдная голова мертвца; густой черный чубъ раздѣлился на лбу и висѣть по сторонамъ длинными космами, а открытое чело и лицо страшно сверкало, облитое серебряными лучами мѣсяца. Павель Федоровичъ схватилъ мертваго за волосы, отворотился въ сторону и вытащилъ его на траву; потомъ подаль руку Бродягъ и Бродага въ одинъ прыжокъ выскочили изъ могилы.

— Воля ваша, говорилъ Бродяга, дико озираясь въ стороны: — а... я... нѣть, ей-богу нѣть... посмотрите...

— Чѣдъ съ тобой?

— Ей-богу, онъ шевелить губами!

— Трусъ! Подай-ка арапникъ, воть я его пошевелю; ну же проворный! Завтра судъ пріѣдетъ, надо кончить поскорѣй.

Арапникъ хлопнуулъ.

— Ай, ай! Павель Федорычъ! закричалъ мертвый, поднимаясь на ноги.

Какъ мыши отъ кота, бросились бѣжать съ кладбища Павель Федоровичъ и Бродяга. Топотъ своихъ шаговъ они принимали за топотъ мертвца; собственныя тѣни, мелькавшія въ сторонѣ на дорогѣ, казались имъ безплотными руками какого-то чудовища, которое хотѣло ихъ схватить за затылокъ; въ воздухѣ, свистѣвшемъ мимо ихъ ушей, имъ слышалось сердитое шипѣнья злого духа.

V.

Мѣсяцъ высоко плылъ по небу. Спокойно спало Жаворонково; только не спалъ Андрей Федоровичъ: грусть о смерти Утки не давала ему покоя.

«Воть, уже давно за полночь, а я все сижу нераздѣтый, и не сплю, оттого, что нѣть моего Утки», думалъ Андрей Федоровичъ, глядя въ окно на небо. — «Говорятъ старые люди, будто душа умершаго трои сутки летаетъ вокругъ своего дома, какъ ласточка вѣтается вокругъ разоренного гнѣзда. Можетъ-быть, и душа Ивана теперь близко гдѣ-нибудь; а можетъ-быть, она вотъ ейчасъ пролетѣла легкимъ облачкомъ мимо мѣсяца! Извѣстно — душа Божія, гуляетъ себѣ по высотамъ, гдѣ нѣть ни печали ни вздоханія!... Ей нѣть другой работы».

Легкій стукъ въ окно прервалъ эти размышленія.

Андрей Федорович вздрогнул; стук повторился сильнее — ознобъ пробѣжалъ по тѣлу Андрея Федоровича. «Кто тамъ?» спросилъ онъ нетвердымъ голосомъ.

— Я, отвѣчалъ внизу, за окномъ, знакомый голосъ.

Андрей Федоровичъ взглянулъ внизъ и обмеръ: тамъ стоялъ Иванъ Утка.

— Впустите меня! жалобно говорилъ Утка.

Андрей Федоровичъ молчалъ.

— Впустите меня! Всѣ двери заперты, войти некуда, повторилъ Иванъ.

— Не пущу, Иване! Богъ съ тобою, лежи - себѣ спокойно.

— Гдѣ жь я тутъ лагу? Святые васъ знать, чѣмъ выдумали; трава мокра отъ росы. Впустите!

— Оставь меня въ покоѣ! Я знаю, что виноватъ передъ тобой; видить Богъ, я не хотѣлъ тебѣ сдѣлать зла: ты самъ напросился снимать сапоги, самъ упалъ, и самъ умеръ!

— Христосъ съ вами, баринъ! чѣмъ это вамъ приснилось?

— Не приснилось, Иване! О, когда бъ приснилось!... Иди себѣ съ миромъ да ложись въ могилу; я завтра за твою душу отслужу панихину, то и тебѣ будетъ спокойнѣе...

— Перестаньте шутить, баринъ! Я виноватъ, что вчера былъ немного пьянъ, да и заснулъ... за то вы уже довольно и посмѣялись надо мною... Впустите! мнѣ есть хочется.

— Оставь меня въ покоѣ! Видно, нечистая сила говорить твоими устами; тебѣ ненужна пища.

— Да развѣ я духъ какой, что мнѣ и хлѣба есть ненужно?

- А то жь кто?
- Я вашъ слуга, Иванъ Утка!... Вотъ заспались!
- А перекрестись.
- Хотъ десять разъ, коли вамъ хочется; смотрите...
- Такъ! А прочитай молитву.
- Иванъ началь читать «Отче нашъ».
- Нѣть, нѣть, нѣть, читай: «Да воскреснетъ Богъ».
- Иванъ прочелъ.
- Да ты въ самомъ дѣлѣ не мертвѣцъ и не какая-нибудь нечистая сила! Не-уже-ли ты Иванъ Утка, мой слуга?
- Ей-богу Иванъ Утка, вашъ слуга.
- «Это мнѣ снится чтѣ ли?» говорилъ про-себя Андрей Федоровичъ, крѣпко щипля свою руку, носъ и уши.
- Да какой чортъ снится! крикнулъ, разсердясь, Утка:—впустите скорѣе!
- Нехорошо, Иване, произносить имя черта — будь онъ проклятъ! — ночью; и безъ этого пропасть всякой дряни на бѣломъ свѣтѣ... Когда жь ты хочешь, чтобы я тебя впустилъ въ комнату, скажи, что у меня въ карманѣ?
- А кто въасъ знаеть! Развѣ я могу влѣзть въ вашъ карманъ?
- «Онъ долженъ быть человѣкъ», подумалъ Андрей Федоровичъ. — «Если бъ онъ былъ духъ, то знать бы, чтѣ у меня въ карманѣ».
- Ну, скажи мнѣ, что я третьягодня ужиналь?
- Галушки съ молокомъ.
- Правда!
- Колбасы четырехъ сортовъ.

— Такъ! Еще?
— Десять карасей со сметаною.
— Ну!
— Блюдо жареныхъ голубятъ.
— Да! а еще?
— Миску варениковъ.
— И только?
— А посажъ выпили кувшинъ молока.
— Правда, правда! А что я тогда говорилъ тебѣ?
— Говорили, что мало, что ужинъ безъ борща не-
годится...

— Такъ, такъ!... Ты вправду Утка!

Тутъ Андрей Федоровичъ, въ восторгѣ, открылъ окно и продолжалъ:

— Откуда ты пришелъ, моя Уточка?
— Вотъ этого-то я и самъ хорошенъко не знаю... Я бытъ немножко хибленъ и не помню, гдѣ спалъ. Сплю и слышу — меня ворочаютъ съ боку на бокъ и собираются бить арапникомъ; я по голосу узналъ Павла Федоровича; да такъ крѣпко спать хотѣлось, что подумалъ: «пусть - себѣ бьютъ, а я буду спать!» — Вдругъ, какъ ударить меня Павель Федоровичъ, да такъ больно, что куда и сонъ дѣвался! Я вскочилъ на ноги, а они отъ меня... Смотрю, кругомъ кресты да могилы; стало страшно! я скорѣй оттуда, да едва дошелъ сюда: съ шокомъ ноги не несутъ. ●

«Опять чепуха», подумалъ Андрей Федоровичъ: «ну, да онъ ли сошелъ съ ума или я, а только онъ именно человѣкъ, живой человѣкъ»; подумалъ, разбудилъ дворню, да и впустилъ Утку въ горницу. Всѣ крестились и чурали себя, когда вошелъ Иванъ Утка, и только тогда увѣрились, что онъ живой христіанинъ, когда

ею съѣль половицу жаренаго поросенка и выпил добрую чарку водки.

Куда было спать послѣ этакого происшествія! Пока поговорили, потолковали, подумали, а тутъ и день смотрѣть въ окно. Не успѣло солнце порядочно выйти изъ-за села, а по селу зазвенѣли колокольчики, и прямо на дворъ Андрея Федоровича прискакали два верховые казака, за ними почтовая телега, а въ телегѣ человѣкъ съ шею, обмотаною краснымъ платкомъ—это былъ земскій исправникъ, одинъ изъ числа нѣсколькихъ десятковъ тысячъ коллежскихъ секретарей Россійской имперіи. У него лѣто и зиму постоянно была обмотана шея краснымъ платкомъ яркаго цвѣта; причина этому мнѣ неизвѣстна. За первою телегою вслѣдъ скакала вторая: въ ней сидѣлъ человѣкъ почтенной наружности, въ картузѣ, съ предлиннымъ зонтикомъ: это былъ извѣстный въ уѣздѣ лошадиный барышникъ и главный заводчикъ свекловичнаго сахара, уѣздный докторъ. Въ третьей телегѣ сидѣлъ писецъ въ желтомъ панковомъ сюртукѣ; въ четвертой ѿхалъ фельдшеръ, съ виду очень похожій на молоденькаго зайца, а за нимъ скакали шесть верховыхъ казаковъ.

Андрей Федоровичъ, протирая глаза отъ изумленія, смотрѣлъ на гостей, которые съ шумомъ шли къ нему на крыльцо, будто на непріятельскую батарею, приказывая людямъ готовить посыпѣе обѣдь да засыпать побольше лошадямъ овса. Всѣ дверь изъ сѣней въ комнату распахнулась и на первомъ планѣ картины показалась красная шея исправника, изъ-за нея выглядывалъ длинноносый картузъ доктора, за картузомъ жесты сюртукъ писца, изъ-подъ мышки которого выгля-

дывала замчъя мордочка фельдшера; дальше нестрыли ка-
зачьи шапки.

— Мое почтеніе, Мадагаскаръ Ивановичъ, сказалъ
на встречу исправнику Андрей Федоровичъ, и хотѣлъ бы-
ло уже съ ними поцаловаться.

— Во-первыхъ... громко сказалъ исправникъ, отсту-
пая шагъ назадъ, да и чихнуль, потомъ утерся носо-
вымъ платкомъ и продолжалъ: — а во-вторыхъ я дол-
женъ дѣйствовать безъ всякаго лицепріятія, то-есть,
всѧдѣствіе законнаго основанія... а въ-третьихъ, извольте
отвѣтчать: гдѣ вашъ крестьянинъ Иванъ Утка?

— Вотъ онъ, отвѣталъ Андрей Федоровичъ, пока-
зыва на Ивана.

— Нѣть не этотъ, а другой Иванъ Утка.

— Да онъ одинъ только и былъ у меня.

— Какъ же это? Гдѣ же Утка, яко бы умершій
скороопостижно ударомъ и безсрочно-погребенный?

— Это онъ и есть!

Исправникъ поднялъ кверху плечи и брови, рас-
правилъ персты правой руки въ видѣ оцахала, а лѣвую
приложилъ къ подбородку, и вопросительно посмотрѣлъ
на обѣ стороны

.....

.....

Вы догадываетесь, что здѣсь начинается слѣдствен-
ное дѣло, которое ни вы не имѣете охоты слушать, ни
я разсказывать, тѣмъ болѣе, что вамъ известно, кто
правъ, а кто виноватъ.

Между-тѣмъ... ну, между-тѣмъ хоть прочитайте слѣ-
дующую страницу:

ЭПИЛОГЪ.

Въ юнѣ, въ самый полдень, тянулась по пыльной дорогѣ партія арестантовъ; они едва шагали, побрякивая тяжелыми цѣпями; впереди и сзади партіи шли старые солдаты инвалидной команды во всей походной амуниції. Вотъ, мимо партіи быстро промчалась коляска, запряженная четвернею пѣгихъ лошадей. Въ ней сидѣлъ Андрей Федоровичъ съ своею супругой, Фридерикою Карловной. Быстро приблизилась и исчезла коляска, осыпавъ печальныхъ путешественниковъ облакомъ пыли; но одинъ арестантъ, въ смуромъ кафтанѣ, съ широкою всклоченою бородой, долго смотрѣлъ вслѣдъ за нею, и когда она совершенно скрылась изъ виду, зашатался, поблѣднѣлъ и, судорожно хватаясь за товарища, грянулся о землю.

— Свистуновъ! чтò съ нимъ? спросилъ ефрейторъ.

— Должно быть, сомкѣлъ отъ жару, отвѣчалъ инвалидъ, шедшій сзади.

— Окати его водой!

И солдатъ, ставъ на колѣни передъ арестантомъ, началъ лить ему на лицо изъ манерки воду.

Арестантъ былъ — Павель Федоровичъ!...

1839 г.

ЗАПИСКИ СТУДЕНТА.

ПОВѢСТЬ.

Entre le commencement et la fin il y a la vie.

V. Hugo.

Я желалъ бы знать, что думаютъ лошади во время гололедицы?

Не знаю какъ вы, а я съ большимъ сожалѣніемъ смотрю на лошадей, когда улицы покроетъ гладкій ледъ и бѣдныя животныя, робко ступая, скользятъ, шатаются и всякую секунду готовы упасть, можетъ-быть, съ тѣмъ, чтобъ не встать болѣе. Особенно-гибельны въ это время торцовые мостовые и мосты. Люди — животныя разумныя, привыкшія ходить безъ опасенія на скользкомъ паркетѣ, и тѣ нерѣдко падаютъ во время гололедицы — а лошади, бѣдныя лошади! Право, жаль ихъ...

Осенью 1841 года, часу въ 10-мъ утра, въ Петербургѣ была знаменитая гололедица. Все живое, всякаго пола и возраста, болѣе или менѣе падало. Тучковъ мостъ представлялъ длинное поприще для этого упражненія.

Онъ былъ похожъ на арену, усыпанную побѣжденными. Особливо камнемъ преткновенія, о который разбивались всѣ усилия путешественниковъ, былъ маленький подъемный мостикъ посреди длиннаго моста на сваяхъ... Я предполагаю моихъ читателей до того образованными, что они очень-хорошо знаютъ Тучковъ мостъ, что, проѣзжая или проходя его, они на половинѣ своего пути подымались на холмикъ и, спустясь съ холмика, опять продолжали свой путь спокойно, даже до каменной мостовой — и очень-хорошо понимаютъ, что этотъ холмикъ не есть произведеніе природы, но подъемный мостъ, построенный инженерами для пользы общественной: ночью онъ растворяется и пропускаетъ корабли, а днемъ, имѣя подобіе естественной горки, пріятно разнообразить путешествіе...

Утромъ, во время знаменитой гололедицы, о которой уже сказано выше, я подходилъ къ подъемному мостику на Тучковомъ мосту; деревянная горка, остеклованная льдомъ, представилась глазамъ моимъ; передъ горкою стояла дюжая сѣрая лошадь, запряженная въ роспуски, и, поставя врозвъ всѣ четыре ноги, съ ужасомъ смотрѣла на предстоящую опасность; такъ-называемый ломовой извозчикъ, стоя съ боку, собралъ возжи въ одну руку и махаль ими надъ лошадью, приговаривая на распѣвъ: Ну! ну-у-у! у! На роспускахъ лежалъ бѣлый, досчатый гробъ, привязанный веревкою; сзади стояла женщина лѣтъ пятидесяти, въ голубой заячьей шубкѣ, съ желтымъ, поноженнымъ платкомъ на головѣ.

— Ну! ну! ну-у-у! крикнулъ извозчикъ, сильнѣе прежняго.

Лошадь съ ужасомъ ступила передними ногами на

мостикъ, зачастилъ ими, скользя винуть по льду, и упала на колени.

— Ну! разомъ! ну! Сѣрко! прикрикнулъ извозчикъ, ударивъ лошадь концомъ возжей. Сѣрко быстро всталъ, прыгнулъ впередъ, невѣрно цѣпляясь подковами, и стена растаянусь на мосту.

Два офицера выругали извозчика за то, что его лошадь мѣшала имъ пройти свободно.

Извозчикъ ругалъ мостъ и гололедицу, и быть возможами Сѣрко, который стональ, жалобно смотря на своего хозяина.

— Онъ не подымется: развѣ ты не видишь, у него ноги изломаны? сказалъ хладнокровно какой-то прохожий, въ синемъ картузѣ, съ красными выпушками.

— Ой, матушки! вскрикнула старуха въ голубой шубкѣ, стоявшая позади распусковъ: — бѣдный Яковъ Петровичъ! и тутъ ему талану нѣту: и на Смоленское сразу не дойдетъ!

— Ты родственника хоронишь, старуха? спросилъ я.

— Какого родственника! Это ихъ благородіе, дворянинъ, чиновникъ. Добрый былъ — царство ему небесное, а какой безталанный!... Вотъ, хороню на свои деньги... хоть сама не купчиха какая, не богачка... Богъ заплатить, ради доброго покойника...

Недавно члены какого-то человѣколюбиваго общества, сложась по четвертаку, склонили безроднаго бѣдняка. Цѣлую неделю говорили объ этомъ поступкѣ, и восемь разныхъ статей было написано о немъ въ газетахъ, между-тѣмъ, какъ о пріѣздѣ хивинскаго посланика говорили только сутки, о возвращеніи Тальони — двои, о привозѣ свѣжихъ устрицъ — трои сутки, о механическому движѣ и о *презосходительныхъ каменныхъ зубахъ* (наж-

даго изъ Вагенгеймовъ особо) публикуется въ «Полицейской Газетѣ» только по три раза.

Передо мною стояла простая, необразованная баба, которая, не будучи членомъ человѣколюбиваго общества, не складываясь ни съ кѣмъ, на послѣднія деньги, какъ могла, хоронила своего бѣднаго собрата-человѣка, и, какъ мнѣ казалось, даже далека была отъ мысли публиковать о своемъ пожертвованіи.

Я вообще очень привязанъ къ прекрасному полу: люблю безъ души молоденькихъ и чрезвычайно уважаю пожилыхъ; но я съ особеннымъ уваженіемъ смотрѣлъ на бѣдную старушку въ голубой шубкѣ, и какъ ниже ея въ то время показались мнѣ многія изъ прекрасныхъ дамъ, читающихъ французскіе романы, отчаянно играющихъ въ карты, и даже могущихъ доставить своему protégé выгодное мѣсто!...

Прохожій, котораго, по синей фуражкѣ, я счелъ за ветеринарного врача, болѣе солгалъ, нежели сказалъ правду, потому-что Сѣркѣ наконецъ не выдержалъ манипуляціи извоющика, всталъ на всѣ четыре ноги и, кое-какъ переправясь черезъ подъемный мостикъ, тихо потащилъ гробъ.

Я пошелъ за гробомъ, разговорился съ старухою и узналъ, что умершій былъ ея постоялецъ; что онъ во время болѣзни даже продалъ все свое платье; что умеръ не оставилъ ничего, кроме свертка бумагъ. «И умеръ надъ ними голубчикъ! За нихъ если дастъ лавочникъ пятачокъ — и то спасибо», прибавила старуха.

Вы догадываетесь, что я купилъ у старухи бумаги; она на другой день принесла мнѣ ихъ. Это былъ вседневный журналъ; между листами его лежали письма; каждое принадлежало къ тому дню записокъ, въ кото-

рой было получено; все это вмѣстѣ составило роль простой повѣсти, и я рѣшился ее напечатать, не измѣнив ни одного слова.

183... года 20 июня.

Экзаменъ оконченъ сего днѧ — и я вступаю въ новую жизнь... Миръ праху твоему, добрый человѣкъ, основатель лицея! Благословляю память твою!...

Давно ли я былъ еще ребенокъ? Какъ сегодня, помню день моего отѣзда въ лицей. Я на своей маленькой лошадкѣ хотѣлъѣхать гулять въ степь; меня позвалъ папенька.

— Послушай, сказалъ онъ мнѣ: — собери свои книги; мы сегодня пойдемъ далеко: я тебя отдамъ учиться въ лицей.

— А это очень-далеко? спросилъ я.

— Верстъ полтораста.

— Такъ мы завтра не воротимся?

— Нѣтъ; ты проживешь тамъ долго.

— Болѣе недѣли?

— Гораздо.

— Месяцъ?

— Больше.

— Не-уже-ли годъ?

— Шесть лѣтъ.

Меня обдало холодомъ. Ёхать въ такую даль, за 150 верстъ отъ дома, на шесть лѣтъ проститься съ папенькою, съ маменькою, съ моюю маленькою комнатой, съ бѣлою акашей, которую я поливала каждое утро, а она, какъ нарочно, такъ душмето расцвѣла теперъ!...

Грустно стало мнѣ; я вышелъ на крыльцо; моя лошадка, увидѣвъ меня, привѣтно заржала; я подошелъ

къ ней, машинально сѣть на нее и шагомъ выѣхать въ поле.

Нивы шумѣли отъ утренняго вѣтерка, росистая степь нестрѣла въ цвѣтахъ, жаворонки пѣли; но ничто меня не радовало. Я не спѣшилъ нарвать буketъ аиемоновъ; не старался поймать красивую бабочку, чтобы подарить ее маменькѣ — одна мысль тяготила меня: я долженъ все это оставить, оставить надолго!... Какъ хороша воля! подумалъ я и соскочилъ съ лошади. «Прощай, лошадка, сказалъ я: ступай на волю!» поласкалъ ее и бросилъ повода. Лошадка стояла передо мною. «Глупенькая, ты будешь гулять!» Я обнялъ ее и махнулъ руками. Черезъ минуту, только ея головка далеко ныряла между цвѣтистою зеленою; еще минута и я уже не видѣлъ ничего: все зарадужилось, закружилось въ глазахъ моихъ, наполненныхъ слезами.

Послѣ обѣда мы съ папенькой выѣхали изъ дома. Прощаясь, маменька уговаривала меня не грустить, обѣщала прїѣхать ко мнѣ, дала мнѣ коробочку конфектъ — и я уѣхался.

И вотъ я въ лицѣй. Меня ввели и оставили въ этомъ огромномъ зданіи. Все незнакомыя лица, все такія страшныя, классическія физіономіи профессоровъ, все такъ сухо, такъ важно! Папенька уѣхалъ.

Я подошелъ къ окошку; оно было въ третьемъ этажѣ; внизу краснѣли крыши одноэтажныхъ домиковъ; далѣе, стройно вытянулась улица, за нею стояла березовая роща, а тамъ — Боже мой! гладкое поле; на немъ змѣилась дорога на мою родину!... По дорогѣ неслось облако пыли; мнѣ казалось, что я вижу въ немъ нашу коляску, даже казалось, что папенька машетъ мнѣ изъ

каплики платкомъ; но вотъ и это облако слилось съ горизонтомъ... я стоять и тихо плакать. Тутъ подошелъ ко мнѣ Ш.; онъ такъ мало заговорилъ со мною, такое принялъ участіе въ моей печали, что мы съ того дня сдѣлались друзьями.

Милый Ш.! Мнѣ теперь смѣшино, когда вспомню, какъ онъ утѣшалъ меня. Онъ говорилъ, что лицей непремѣнно долженъ сгорѣть, потому-что въ немъ много несчастныхъ, подобныхъ намъ; а когда онъ сгоритъ, то мы снять пойдемъ по домамъ. И какъ эта глупая мысль восхиппала меня! Я цѣлый мѣсяцъ ложился спать, на-передъ хорошенъко увязавъ всѣ свои книги и плаТЬе, чтобы сейчасъ же бѣжать, когда начнется пожаръ. Вся кровь, бывало, бросится въ голову, когда услышишь запахъ дыма, или кто пройдетъ ночью по коридору со свѣчою: все ждешь, вотъ загорится, вотъ будетъ тревога, вотъ разольется огонь по комнатамъ... Но угрюмо дремали во мракѣ каменные стѣны огромнаго зданія; изрѣдка гдѣ-нибудь хлюпнетъ незатворенное оконко, или въ дальнемъ коридорѣ простонутъ тяжелые шаги старого инвалида, и опять все тихо, тихо... такъ и захочется спать.

Но вотъ, сегодня шесть лѣтъ, какъ я здѣсь; завтра день выпуска. И сколько перемѣнъ съ того времени!... Наука открыла передо мною свои святыя сокровищницы; мой умъ смѣло ширяетъ въ тучахъ и разлагаетъ громы и молніи; я дерзаю вычислять пути свѣтиль небесныхъ; наука увлекаетъ меня на дно моря и показываетъ жемчугъ и подводныя чудовища, сводить въ кѣдра земли, гдѣ ростуть жилы золота и зреютъ драгоценныя камни; она рассказала мнѣ судьбы народовъ, и дѣла давно минувшія, переходятъ въ умъ моемъ яркою фан-

тасмагорій; я изучаю природу, изучаю человѣка, самаго себя, и люблю Творца, какъ благодѣтеля моего, люблю по убѣжденію.

А позія? Боже! и есть люди, которые не понимаютъ позії?!... Бѣдные, жалѣю о васъ: вы не знаете лучшаго наслажденія въ жизни! вы не понимаете ни Жуковскаго, ни Шиллера, ни Байрона, ни Пушкина, великаго Пушкина! Вы произносите эти имена, какъ имя славнаго портного, парикмахера — и ваше сердце не трепещетъ сладкимъ восторгомъ. Жалкіе! плачете о вашемъ невѣжествѣ и дивитесь этимъ именамъ, какъ проявленію неба на землѣ... Шесть лѣтъ — и какъ я выросъ духовною жизнью!...

Я долженъ сказать прости моимъ милымъ товарищамъ, съ которыми я росъ вмѣстѣ, съ которыми дѣлилъ и радость, и горе, съ которыми не разъ тепло молился передъ святымъ алтаремъ; я долженъ сказать имъ прости. Долгъ чести зоветъ меня: я долженъ служить отечеству. Сколько разъ я завидовалъ мудрымъ Сципионамъ, Фабриціямъ, Аристотелямъ... И вотъ передо мною широкое поле жизни, поле чистое. Какой разгуль для дѣятельности! Впередъ! какое раздолье быть полезнымъ ближнему... Мой девизъ: презирать все низкое, любить одно возвышенное... Я... увидимъ, что я сдѣлаю!...

27 июня.

Вотъ я опять въ нашей маленькой деревнѣ. Свободень; какъ Божія птица. И Кантъ, и Юстиніанъ, и несносный Лакруа забыты до времени.

28 июня.

Чудная жизнь въ Малороссіи лѣтомъ! Вчера я прѣхалъ домой; отецъ обнялъ меня и поздравилъ «заслу-

холмъ; мать заплакала; сбежались братья, подняли шумъ, хохотъ — такъ прошелъ цѣлый день. Сегодня мы отвели квартиру, какъ говорить батюша, въ саду, въ бесѣдкѣ. Эта бесѣдка утонула въ зелени деревьевъ; передъ моими окнами цвѣтутъ цѣлыми пирамиды душистаго горошка, стройно колеблются разноцвѣтныя мальвы, а розы, полныя, пышныя розы, тянутся густою гирляндою вдоль по сторонамъ темнозеленой аллеи. Если бы живописецъ могъ нарисовать такую картину, онъ умеръ бы отъ восторга.

29 июня.

Сегодня день моего ангела. Я проснулся рано поутру. Въ-головахъ у меня стояла огромная ваза только-что расцвѣтшихъ розъ. Человѣкъ сказалъ мнѣ, что съ восходомъ солнца моя маменька сама поставила эти розы и ушла тихонько, перекрестивъ меня... Какъ я сладко сегодня молился Богу; эти розы курились чистымъ еніамомъ къ Его престолу! Есть минуты въ жизни, которыми выкупаются всѣ страданія человѣчества.

Люди! понимаете ли вы, что такое мать? понимаете ли вы это страдательное существо, эту вѣчную, безграничную, безкорыстную любовь? Мужчины, благоговѣйте передъ матерью: это алтарь, на которомъ неугасимо горитъ любовь къ человѣчеству, можетъ-быть, одна любовь въ мірѣ безъ холоднаго эгоизма.

У насъ были гости: человѣка четыре сосѣдей, все люди отставные съ мундиромъ. Цѣлый почти день рассказывали о разныхъ слuchаяхъ войны; мой отецъ говорилъ о взятіи Очакова такъ подробно, какъ-будто вчера только его брали. Тутъ были свидѣтели и семилѣтней войны и войны отечественной. Какая поэтическая жизнь

военного человѣка! Сегодня здѣсь, завтра тамъ, послѣ въ третьемъ мѣстѣ; вездѣ новыя лица, новыя знакомства, прелесть отдыха, грусть разлуки — все это должно тревожить сердце, возбуждать духъ къ дѣятельности. А это глубокое самоотверженіе, эта всегдашняя готовность пожертвовать для блага общаго самыи драгоцѣнныи для человѣка — жизнью, не возносить ли это меня самого въ глазахъ моихъ? Какъ понятна благородная гордость рыцарей, надѣявшихъ мечъ! Нѣть, я непремѣнно посвящу себя войнѣ; я буду кавалеристомъ; мои предки жили и умирали на коняхъ; я послѣдую ихъ примѣру.

11 июля.

У насъ есть два сосѣда, статскіе; одинъ Щука-Окуневскій, говорить, удивительный вѣстовщикъ и любить говорить свысока, а другой Сутяговскій; обѣ этомъ отзываются какъ объ умномъ человѣкѣ. Они оба вышли въ отставку и прѣѣхали изъ губернскаго города въ уѣздъ, въ свои деревни, когда я былъ въ лицѣ.

• 14 июля.

Я очень не люблю нашего сосѣда Сутяговскаго, хотя онъ и пользуется какого-то особеннаго рода уваженiemъ всего уѣзда: всѣ за-глаза его руваютъ, а въ глаза какъ-будто его боятся; даже видъ Сутяговскаго мнѣ не нравится: высокій мужчина, вѣчно наклоненный впередь; на лбу всегдашняя дума о чёмъ-то недоброму; голосъ — хриплый басъ, похожий на ворчанье бульдога; глаза постоянно опущенные внизъ; о чёмъ бы ни говорилъ онъ, съ кемъ бы ни говорилъ, они всегда устремлены на одно мѣсто, на полъ. Мнѣ кажется, онъ долженъ быть большой грѣшникъ и боится поднять глаза

43*

чтобъ не увидѣть наль себѣ парящей ласкии пра-
восудія. Важность, съ какою суть ходить въ комнату,
какъ накрашаетъ медалью на шеѣ оранжевую ленту, какъ
принимается простакомъ, чтобъ балше еще высказатьъ
свою ученость, которая, *entre nous soit dit*, не слиш-
комъ-глубока — все это нестерпимо. Куда бы ни при-
ѣхала она, всѣгдѣ перекалуетъ, начиная съ холода до
послѣднаго гостя, хотя бы ему кто быть и назначить —
ему все-равно; идетъ по-тихоньку вокругъ комнаты,
схватить человѣка въ объятія, подталкиваетъ разъ, два,
три, заворачивать какую-то любезность или заклинаніе —
кто его разбереть! — и принимается за другаго, пока
всѣхъ обойдеть... Да это такъ важно, будто она Богъ-
знаетъ какая значимость, и не хочетъ никого обидѣть,
лишить частички своей высокой ласки.

Я недавно видѣлъ, какъ въ сѣти паука попалась
муха: въ одну секунду паукъ былъ уже во мнѣ своей
жертвы, схватилъ ее, прижалъ къ своей груди и долго
обнималъ ее двумя передними лапками, опутывая роко-
вой паутиной; потомъ прокусилъ бѣдной мухѣ голову,
выпилъ изъ нея кровь и преспокойно возвратился въ
свою засаду, какъ ни въ чемъ не бывалъ, только по-
толстѣлъ немного. Съ этихъ поръ я не могу равнодушно
смотретьъ на Сутяговскаго: когда онъ обнимаетъ человѣка, мнѣ все кажется: вотъ запищитъ бѣдный стра-
далецъ, вотъ сосьдъ прокуситъ ему голову...

Сутяговскій тоже меня не очень жалуетъ: то экза-
менуетъ меня и чрезвычайно важничаетъ, когда я, чтобъ
не огорчить батюшку, отвѣщаю ему, какъ профессору;
то беретъ на себя трудъ дѣлать мнѣ наставленія, поѣтъ
съ бемольного тона о нравственности, какъ пресви-
теріанецъ временъ Кромвеля. Несмотря на все это, въ

немъ сильно отзыается духъ прошедшаго XVIII вѣка, неслишкомъ нравственнаго.

Какую онъ состроилъ сердитую рожу, когда я сказа́ль, что не считаю Вольтера великимъ поэтомъ! Онъ готовъ быть скушать меня, какъ паукъ муху, проворчалъ себѣ подъ-носъ, вѣроятно, какую-нибудь глупость, и, сразу перемѣнивъ разговоръ, началъ проповѣдывать о чести, обязанности всякаго дворянина служить отечеству, о томъ, что молодому человѣку гораздо приличнѣе служить даже въ городской ратушѣ, нежели заниматься пустыми мечтами, ведущими къ растлѣнію нравовъ; что встарину такъ не бывало; оттого было болѣе и учтивства, и утонченной вѣжливости, иличного всякому обращенія... Я вышелъ изъ комнаты; и возвратился, увида, что Сутяговскій уѣхалъ.

Несносный человѣкъ!

15 июля.

Скоро будетъ въ Р* ярмарка; весь нашъ уѣздъ приходитъ въ движение; только и толкуютъ о ярмаркѣ; чрезъ недѣлю половина нашего народонаселенія движется въ Р*.

Батюшка тоже хочетъѣхать и меня береть съ собою. Я скучаль бы этою поѣздкою, еслибы не надѣялся увидѣться съ Ш., съ моимъ милымъ товарищемъ.

19 июля, полдень.

Мы въ дорогѣ. Скоро я увижу доброго Ш. Онъ живеть въ томъ уѣзде, гдѣ будетъ ярмарка. Какъ приятно будетъ наше неожиданное свиданіе! Я желалъ бы перелѣтѣть въ Р*. Но мы єдемъ на своихъ лошадяхъ, сдѣлали упряжку 30 верстъ, и, говорять, надою отдохнуть лошадямъ, покормить ихъ. На постоянныхъ дворахъ

останавливаться теперь нѣть никакой возможности: тамъ жарко, миллионы мухъ, а всякаго народу еще больше; шумъ, крикъ — несносно! Мы выѣхали изъ селенія и сейчасъ же остановились въ тѣнистой дубовой рощѣ, которая отъ дороги спускалась по отлогой горѣ до свѣтлой, быстрой рѣчки.

Пока лошади єдятъ овесь, а поваръ, разведя въ стоникѣ огонь, хлопочетъ около обѣда, мы вышли изъ коляски и усѣлись въ тѣни на раскинутомъ коврѣ. Батюшка читаетъ «Московскія Вѣдомости», я пишу отъ-нечего-дѣлать. Ба! къ намъ еще подѣзжаетъ экипажъ... останавливается... Господи! да это Сутяговский; его лошадей отпрягаютъ; онъ уже идетъ сюда, и я часа два долженъ буду слушать его широковѣщательные пошлости... Нѣть, прощайте.

Вечеромъ.

Въ первый разъ въ жизни я благодаренъ Сутяговскому: чтобы избавиться его присутствія, я взялъ ружье и пошелъ къ рѣкѣ, будто на охоту, всѣхъ извѣстить меня, когда лошади будутъ готовы. По берегу рѣки шла узенькая проселочная дорога; въ двухъ шагахъ отъ дорожки стояла распряженная кибитка, поднявъ къ небу оглобли; на оглобляхъ было натянуто полотно, изъ котораго тройка гнѣдыхъ лошадей кушала овесь; двое мальчиковъ, лѣтъ около десяти или двѣнадцати, подбирали на берегу раковины и цвѣтные камешки; недалеко отъ берега, на песчаной отмели, сидѣлъ въ водѣ пожилой человѣкъ, выставивъ изъ воды свою усатую голову, покрытую кожанымъ треугольнымъ картузомъ; голова весело разговаривала съ дѣтьми:

— Батюшка, бросьте намъ еще раковинъ.

— Ладно! отвѣчала голова: — я вамъ достану са-

мыхъ пестрыхъ, и отодвинулась еще далѣе отъ берега...

— Гдѣ же раковины? кричали дѣти.

— Господи! что это?! я ёду въ пропасть... Ухъ!... вскрикнула голова и исчезла подъ водою; треугольный картузъ быстро поплылъ по течению... Секунды черезъ три опять показалась голова, ухнула, и опять скрылась...

— Батюшка тонеть!... вошли дѣти: — онъ не умѣеть плавать.

Въ-минуту я былъ уже въ водѣ, схватилъ утопленника, кое-какъ вынесъ на берегъ, скоро привелъ его въ чувство и возвратился къ экипажу, душевно благодаря Сутяговскаго.

Я пришелъ весь мокрый. Сутяговскій, увидя меня, началъ басить моему отцу: — Да, я вамъ говорю, совсѣмъ не то время: все теряетъ свою цѣну; имъ тяжело послушать часъ-другой опытнаго старика, лучше пойдутъ въ болото, убьютъ какую-нибудь пичужку — заряда не стоять! ни пуху, ни перьевъ, ни мяса, въ ротъ взять нечего; а зарядъ денегъ стоять, а платье и того болѣе, все перепачкаешь, изгадишь... Мы, бывало, у нашихъ стариковъ изволь носить пестрядиное, холстинное и прочее... такъ наинковому платью и цѣну, бывало, знаешь: а суконное — если дождемся суконнаго — бывало, бережемъ какъ свою душу: коли черное, такъ черное, ни пятнышка благо не допустимъ; а теперь наряжаются въ будни какъ подъ вѣнецъ; различія нѣтъ между возрастами... Право нехорошо!...

Батюшка крѣпко обнялъ меня, когда я рассказалъ ему свое приключеніе, а Сутяговскій началъ ворчать:

— Благородно, не спорю, да неразсудительнѣ; онъ, вы говорите, толстъ и здоровъ, а вы молоды и малосильны;

прими дѣло другой оборотъ — осиротили бы своихъ родителей, а пользы никакой...

Тутъ Сутяровскій началъ поправлять на шеѣ свою орденскую ленту, а мы уѣхали.

21 юла.

Любопытно знать, какимъ способомъ распространяются новости въ уѣздныхъ городахъ? Этотъ вопросъ для меня занимательнѣе вопроса о Востокѣ. — Самые быстрые телеграфы, электрическіе, гальваническіе — какие вамъ угодно, ничто передъ быстротою уѣздныхъ вѣстей. Положимъ, вы спали одни въ комнатѣ, никого не было даже въ соседнихъ покояхъ, и въ-продолженіе ночи раза два кашлянули; поутру, вы не успѣли выйти на крыльцо, вамъ мимоходомъ клянется Борисъ Ивановичъ и спрашиваетъ:

— Каковъ вашъ кашель? легче ли вамъ?

* — Да кто вамъ сказалъ, что у меня кашель?

— Полно скрываться! весь свѣтъ это знаетъ; я заходилъ въ аптеку, тамъ уже часа полтора для васъ катаютъ пилюли.

— Ахъ они проклятые! кто ихъ просилъ?

— Именно проклятая пилюли, хоть и изготавливаются по рецепту патентованного медика Лейбы Францовича. Лучше, я вамъ совсѣмъ, напиться огуречнаго разсолу — испытанное средство.

— Много благодаренъ!

— Не за чѣд! Да, еще Александра Ивановна, проѣзжомъ въ чужой уѣздъ, остановила меня на рынкѣ и говорить: «Скажите (тутъ она упомянула ваше имя и отчество) чтобъ поберегся, да пиль липовый цвѣтъ съ патокою». — До свиданія! берегитесь. Охъ, перенесъ и я въ прошломъ году кашель!

Да, чудная вещь! пока вы спали, духъ сплетенье незримо прокраля въ вашу спальню, подслушалъ вашъ кашель и вынесъ его на свѣтъ Божій; вы спите, а за васъ уже не дремлють ближніе; катаютъ на вашъ счетъ пилюли; докторъ записалъ васъ въ свою приходную книгу; не только Борисъ Ивановичъ, но даже и Александра Ивановна уже знаетъ о вашемъ кашлѣ и, смотрите, черезъ недѣлю изъ чужаго уѣзда пріѣдутъ дальние родственники спорить о вашемъ наслѣдствѣ, а вы еще и не думаете умирать. — Непонятная вещь!

Еслибы я былъ англичаниномъ, непремѣнно назначилъ бы огромную премію тому, кто вычислитъ съ математическою точностью быстроту провинціальныхъ сплетней.

Первое знакомое лицо, которое попалось мнѣ на встрѣчу въ Р*, было мой милый Ш.; онъ обнялъ меня и поздравилъ съ добрымъ дѣломъ. Боже мой! ужъ и здесь всѣ знаютъ о томъ, что я вытащилъ изъ воды человека. Мы пошли съ батюшкою *въ ряды*; народу было множество; всѣ разспрашивавъ меня объ утопленникѣ, осыпаютъ меня нелѣпыми похвалами; они уже успѣли узнать, что человекъ, спасенный мною, называется Ивановымъ, что онъ богатый мѣщанинъ нашего города, перекрещенецъ изъ жидовъ и т. п. Знакомые указывали на меня пальцами людямъ незнакомымъ.

Не-уже-ли самое высокое чувство должно отравляться глупостью? Не-уже-ли святая минута восторга, которую я испыталъ, спасая жизнь ближняго, должна выкупиться оскорбительными часами безтолковаго удивленія праздной толпы, которая черезъ часъ еще съ большими вниманіемъ станетъ смотрѣть на канатнаго плясуня, удивляться его прыжкамъ, станетъ толковать

о жить отъ-ничего-дѣлать. Да и чѣ тутъ необыкновенаго — вытащить изъ воды утопающаго человѣка? Не-уже-ли кто-нибудь изъ этихъ господъ могъ бы склонно смотрѣть на гибнущаго собрата и не подать ему помощи?

22 июля.

И охъ изъ грудь разсѣть мечомъ
И сердце трепетное вынуль,
И угль, пылающій огнецъ,
Во грудь отверстую вдавиуль!...

Да, угль, пылающій огнецъ, пламенѣть въ груди моей. Чудные вопросы рождаются въ умѣ моемъ: и что со мною? и что я? и для чего я? и что такое жизнь наша?... Одинъ известный римскій писатель задалъ себѣ остроумный вопросъ: *Quid est nostra vita?* (что такое наша жизнь?) и самъ же отвѣтчаетъ: *est forum in quo venditur et emitur* (рынокъ, на которомъ продаютъ и покупаютъ).

Господи! какой прозаический отвѣтъ: рынокъ, гдѣ продаютъ и покупаютъ!!! Какъ это отзывается вѣкомъ паденія великаго царства, вѣкомъ, въ который изнѣженные потомки доблестныхъ, безкорыстныхъ римлянъ съ разсвѣтомъ дня выходили за ворота своихъ великолѣпныхъ домовъ, съ вѣсками въ рукахъ, и отдавали проходящимъ въ-ростъ золото!... Нѣтъ, въ жизни есть цѣль выше торгащества...

Какъ хороша сестрица Ш.! Сегодня меня Ш. звалъ къ себѣ обѣдать; я немного опоздалъ. Вхожу въ переднюю — никого нѣтъ; въ соседней комнатѣ обѣдаются, стучать тарелками, весело разговариваютъ... «Я его люблю» говорилъ нѣжный, почти-дѣтской голосъ: «за его благородный поступокъ и желала бы видѣть...» Отворя дверь, я прервала начатую фразу.

— Легокъ на-поминъ! закричалъ Ш.: — а мы думали, что ты измѣнишь, и сейчасъ только о тебѣ говорили. Рекомендую: это мои братья и сестры, а вотъ эта мечтательница — полно краснѣть! — сю минуту публично призналась, что тебя любить.

Меньшая сестра Ш., о которой онъ говорилъ, наклонилась къ тарелкѣ; густые, темные локоны почти закрывали все лицо ея, только по ярко-розовымъ ушкамъ можно было заключить о пожарѣ, который вспыхнулъ на лицѣ ея отъ словъ брата.

Но долго ли продолжается смущеніе женщины?

Чрезъ нѣсколько секундъ она оправилась, подняла голову, рѣзво раскинула рукою кудри, улыбаясь, посмотрѣла на меня — и, Боже мой, какой отрадный, утѣшительный ея взоръ!... Я весь затрепеталъ отъ этого взора... затрепеталъ отъ полноты восторга, какъ трепещетъ прозрѣвшій слѣпецъ, впервые увидя міръ Божій, какъ изгнаникъ, услыша пѣсню далекой родины.

Ея лицо мнѣ знакомо: я гдѣ-то видѣлъ его, и видѣлъ не разъ, если не на яву, такъ во снѣ; въ немъ много роднаго, близкаго моему сердцу; я гдѣ-то слышалъ ея рѣчи, эту чудесную музыку голоса человѣческаго; она мнѣ напомнила лучшія мѣста безсмертныхъ созданій Бетховена и Моцарта: въ нихъ отзывается ея рѣчами, — только отзывается, и отъ-того эти созданія такъ хороши! А тутъ сами ея упоительные звуки!... Мнѣ было невыразимо-хорошо, невыразимо-весело у Ш.. Послѣ обѣда я остался пить чай и сидѣлъ у нихъ весь вечеръ.

Пришелъ домой и вдругъ на меня нашла невыносимая тоска. Я легъ въ постель — жарко; отворильт окно въ садъ — въ саду пѣлъ коловей; у самаго окна

цвѣль душистый кустъ фіалокъ... Не знаю, почему фіалки мнѣ напомнили *её*, въ звукахъ соловья было сходство съ *её* голосомъ... какая-то гармонія, успокаивающая душу.

Пой, соловей, пока ты свободенъ; быть можетъ, завтра сѣти человѣка опутаютъ тебя, и въ тѣсной клѣткѣ ты станешь повторять свои вдохновенные пѣсни! Можетъ-быть, завтра и эти фіалки, сорванныя жадною рукою, очутятся въ богатой фарфоровой вазѣ и, оторванные отъ роднаго корня, станутъ разливать предсмертное благоуханіе въ покояхъ богатаго. Можетъ-быть, и *она* — чудесное созданіе... Но нѣть, не-уже-ли какой-нибудь эгоистъ завладѣеть этимъ сокровищемъ?!... Господи! и откуда такія черныя мысли? отчего эта душевная тревога? Давно уже соловей умолкъ, дремля около своей подруги, счастливецъ!... давно уже полночь; луна зажглась, все спить... а ко мнѣ не слѣтаетъ сонь-утѣшитель...

23 июля.

Сегодня я опять видѣлъ ее, слушалъ ее — словомъ, быть счастливъ цѣлый день. Странное чувство овладѣло мною: отчего, когда подхожу къ ней, въ груди у меня что-то трепещетъ, будто пойманная птичка въ рукахъ охотника? хочу говорить — голосъ прерывается, а между-тѣмъ я вездѣ найду ее по какому-то странному инстинкту: въ рядахъ, между сотнею соломенныхъ шляпокъ съ розанами, я безошибочно узнаю ея шляпку, такую же соломенную, съ такими же розанами, какъ и другія — отъ-чего это?

Не-уже-ли это любовь? не-уже-ли меня постыдило это неразгаданное, таинственное, святое чувство, чувство, возвышающее человѣка до невозможности, си-

ла, хранящая весь міръ, альфа и омега благости Прорицанія, сила, которая заставляетъ бездушный цветокъ трепетать и склоняться къ другому, сдвигаетъ противоположные полюсы твердаго магнита, проявляется въ притягаемости разнороднаго электричества, влечеть тучи небесныя къ землѣ и соединяетъ небо съ землею огненными нитами молніи; краеугольный камень нашей божественной религіи: «любите и враговъ вашихъ!» сказалъ Богъ устами человѣка...

Да, это ты, любовь! это ты, желанная гостья! Я скрою тебя какъ драгоценность. Пусть теплится во мнѣ тихое, беспредѣльное чувство, я никому не скажу о немъ — ни другу, ни брату: они, можетъ-быть, улыбнутся, слушая меня, а и этого довольно, чтобъ возмутить непорочное чувство. Я не скажу ей: боюсь оскорбить ее; даже бумага не стану передавать всѣхъ сокровенныхъ помысловъ души моей... Теперь я понимаю глубину стиховъ Пушкина:

Пью за здравіе Мери,
Милой Мери моей.
Тихо заперъ я двери,
И однѣ, безъ гостей,
Пью за здравіе Мери.

Человѣкъ истинно-любящій не станетъ хвалиться любовью своею, не станетъ пить ея здоровье въ кругу товарищей, чтобъ не слышать любимаго имени, произнесенного нечистыми устами, чтобъ не подать повода никому даже думать о ней; нѣтъ, онъ одинъ, въ тишинѣ, какъ древній жрецъ, совершаєтъ жертву своему идолу; онъ пить ея здоровье отъ полноты души передъ Свидѣтелемъ, которому извѣстны всѣ тайные помыслы человѣка; я даже никогда не рѣшусь напи-

сать имя ея... Кто знает будущее? можетъ-быть, чей-нибудь взоръ оскорбится, читая это имя. Оно всегда въ душѣ моей.

16 августа.

Вотъ уже и лѣто приходитъ къ концу: вездѣ жатва, вездѣ видно довольство — чудное время! Съ дѣтства я любилъ тихую семейную жизнь; и по цѣлымъ часамъ смотрѣлъ на картинки прошедшаго вѣка, подписанныя *les douceurs de l'automne*; тамъ, въ саду, передъ дверью домика съ навѣсомъ, сидить за столомъ счастливое семейство; полныя кружки стоять на столѣ, два-три стакана, разговаривая, курятъ трубки; прелестный ребенокъ играетъ на колѣнахъ матери; хорошенъкая, круглолицая девушка срываетъ съ дерева яблоки, а молодой человѣкъ поддерживаетъ ее тѣкъ лукаво... Она покраснѣла, какъ яблоко, которое держитъ въ одной рукѣ, а другою бѣть по рукамъ дерзкаго шалуна; но это наказаніе сопровождается такою милою улыбкою, что самъ желаешь быть вѣчно наказаннымъ. Далѣе, видны виноградники; въ нихъ кипитъ веселая работа: кто обрѣзываетъ зрѣлые грозды, кто несетъ полную корзину плодовъ; другіе складываютъ виноградъ въ деревянные чаны; какой-то проказникъ опрокинулъ пустой чанъ на бокъ, усѣлся въ немъ, какъ въ будкѣ, и смеется; въ сторонѣ двѣ девушки хоочутъ и бросаютъ въ него виноградомъ.

Такъ, бывало, легко и весело, когда смотришь на подобную картину, забываешь, что эти поселяне ни-датъ-ни-взять маркизы мужскаго и женскаго пола вѣка Лудовика XIV, что они въ чарикахъ, фижмахъ, въ розовыхъ бантикахъ, какъ фарфоровые статуйки, полученные въ наслѣдство отъ покойнаго дѣдушки — все забываешь, глядя на картину тихаго счастья...

У насъ поля покрылись, какъ войскомъ, безконечными рядами копенъ хлѣба. Я всякий день хожу любоваться на полевые работы. Поселяне весело жнутъ и ожидаютъ съ восторгомъ праздника обжинковъ; говорятъ, онъ скоро будетъ.

20 августа.

Никогда Малороссія не была для меня такъ хороша, какъ теперь. Царь потребовалъ отъ нея казачьихъ полковъ — и вдругъ все зашевелилось: цѣлляя села готовы вооружиться, чтобы исполнить желаніе своего государя. Гдѣ нужно взять пятьдесятъ человѣкъ рядовыхъ казаковъ, тамъ является сто охотниковъ; восемь полковъ выступили весною; теперь набираются резервы.

На-дняхъ въ уѣздномъ городѣ будетъ дворянское собраніе для выбора офицеровъ. Я имѣю ученую степень — она тоже офицерскій чинъ; попрошу согласія батюшки и матушки и пойду служить. Теперь война; сколько случаевъ быть полезнымъ отечеству! сколько случаевъ отличиться, сдѣлать добро!...

Одного я боюсь: если простой народъ, бросая свои мирныя занятія, стекается толпами подъ знамена, которые далеко шумѣли громкою славою при ихъ предкахъ, стекается толпами, болѣе многочисленными, нѣжели нужно, то что будеть въ дворянскомъ собраніи, куда явятся люди образованные? а у насъ осталось еще довольно дворянъ, служившихъ въ военной службѣ: имъ отдадутъ преимущество — тогда прощай мое желаніе, моя охота!

Я сказалъ батюшкѣ о своемъ желаніи служить въ казакахъ; онъ согласенъ. Мы завтра ёдемъ на выборы.

21 августа.

Итакъ, я офицеръго малороссийскаго казачьяго полка. Сомнѣнія мои были напрасны... Маршалъ на-шего уѣзда сидѣлъ уже въ собраніи, когда я вошелъ туда. Дворянъ было очень-довольно, чтобъ набрать офи-церовъ на два полка; а тутъ шло дѣло о избраніи од-ного обер-офицера. Сутяговскій, пользуясь штаб-офи-церскимъ чиномъ и старостью, преважно расхаживалъ и басилъ о пользѣ и важности выборовъ: «Если бъ мнѣ не подагра, я не посмотрѣлъ бы на свою сѣдину — на коня и въ поле: все-таки придушилъ бы кого-ни-будь; жена сама управилась бы съ картофелемъ, а винокурню въ аренду перекресту Иванову — человѣкъ хороший, честный; это былъ бы второй я...»

Почтенный старишокъ-маршалъ почти дремалъ въ спокойномъ креслѣ; подлѣ него стоялъ письмоводи-тель, тощій, испитой человѣкъ съ головкою, загнутою напередъ въ-родѣ крючка; вообще онъ былъ очень-по-хожъ па цветочный стебелёкъ, убитый морозомъ. Пись-моводитель принесъ списокъ; началось избраніе. Я съ удовольствіемъ замѣтилъ, что большая часть дворянъ, находившихся въ собраніи, были то коллежскіе ассес-соры, то майоры, то подполковники, то надворные со-вѣтники; а требовался обер-офицеръ; наконецъ дошло до мелкихъ чиновниковъ

• • • • •

Мой аттестатъ былъ прочитанъ и я провозглашенъ казачимъ офицеромъ, ко всеобщей радости собранія. Маршалъ всталъ съ кресла, дверь въ соѣднюю ком-нату отворилась, и всѣ отправились завтракать, или, по словамъ маршала, перекусить послѣ трудовъ.

Чрезъ недѣлю будуть готовы лошади, и мы выступаемъ въ походъ.

22 августа.

Обычай старины всегда для меня священны: въ нихъ отзывается патріархальная простота нашихъ предковъ. И нѣть, по-моему, лучше обычая и веселѣе праздника обжинковъ. Когда совершенно кончится жатва, поселяне и поселянки сплетаютъ изъ хлѣбныхъ колосьевъ вѣнокъ, украшаютъ его цветами и ягодами, выбираютъ изъ среды себя девушку, лучшую по красотѣ душевной и тѣлесной, вѣнчаютъ ее этимъ золотымъ вѣнкомъ и съ пѣснями, нарочно сочиненными по случаю праздника, идутъ веселою толпою поздравлять помѣщика съ окончаніемъ полевыхъ работъ.

Еще съ утра батюшка увѣдомилъ близкихъ сосѣдей о празднике. Къ обѣду прїѣхало нѣсколько человѣкъ гостей.

Стало вечерѣть; длинные тѣни отъ нашего сада вытянулись по двору; верхи пирамидальныхъ тополей, бѣлые трубы дома и крылья далекой вѣтряной мельницы вспыхнули красноватымъ цветомъ; въ воздухѣ стало свѣжѣе, и вотъ далеко въ степи послышались пѣсни; звонко неслись они съ широкой степи, все ближе, громче и громче, и наконецъ огласили весь дворъ. Разнохарактерная дворня высыпала со всѣхъ угловъ смотрѣть на веселыхъ поселянъ, которые довольно-тихо шли подъ пѣсню. Впереди, окруженная старѣйшинами села, шла, потупя въ землю глазки, царица праздника, премиленькая, быстрая брюнетка; на ней былъ вѣнокъ изъ золотистыхъ колосьевъ ржи, перевитыхъ, словно кораллами, пунсовыми гроздями калины, что очень шло къ ея смуглому лицу и чернымъ косамъ.

Мы вышли на крыльцо; девушка подошла к намъ, поклонилась въ-поясъ и, снявъ съ головы вѣнокъ, подала его батюшкѣ, а старики въ это время поздравляли съ окончаніемъ работы; батюшка взялъ вѣнокъ, поцаловалъ его, поцаловалъ царицу праздника и, кланяясь, поблагодарилъ крестьянъ за ихъ лѣтие труды. Пѣсни раздались громче прежняго... Мой отецъ-старикъ твердаго характера; но когда онъ положилъ вѣнокъ на столъ, свѣтлая слеза, какъ чистая росинка, засверкала, качаясь, на золотомъ колосѣ.

На дворѣ разставлены были столы и поселяне усѣлись кушать. Послѣ обѣда или ужина—не знаю какъ назвать правильнѣе—у крестьянъ явилась скрипка; начались танцы. Мы пили чай въ залѣ: въ растворенные окна съ чистымъ вечернимъ воздухомъ долетали къ намъ веселыя пѣсни, хохотъ и быстрый, звонкій стукъ подковъ. Высоко уже взошла луна, когда разошлись пировавшіе; мало-по-малу пѣсни умолкали на селѣ; сосѣди поужинали и разѣхались; послѣдняя удалилась бричка Петра Федоровича, стуча и дребезжа всѣми членами. Всѣ ея стукъ замеръ въ отдаленіи—всѣ спать, а мнѣ опять не спится... Странное дѣло! девушки въ вѣнкахъ напомнила мнѣ *её*; не то, чтобы она была похожа—нѣть, а такие же волосы, такого же цвета глаза, почти такой же ростъ—и этого довольно! вся кровь прилегла у меня къ сердцу. Не-уже-ли я ее неувижу? а дней чрезъ пять я долженъ уѣхать, и, можетъ-быть, на всегда!

24 августа.

Она здѣсь; да, здѣсь! Я не вѣрю глазамъ своимъ; я опять видѣлъ *её*, опять слышалъ очаровательные звуки ея голоса. Сегодня мы всѣ сидѣли за круглымъ сто-

ломъ и пили чай; батюшка курилъ трубку и рассказывалъ мнѣ, какъ военному человѣку, о взятии Очакова; меньшіе братья жались ко мнѣ отъ страха, слушая, какъ турки, отъ-нечего-дѣлать, обрѣзывали своимъ плѣнникамъ носы и уши; матушка сквозь слезы посматривала на меня; сестра оканчивала кошелѣкъ мнѣ на дорогу; вдругъ къ крыльцу подѣхала коляска и изъ нея вышелъ Ш. съ братомъ и сестрою. Я не помню, чтобъ я когда-нибудь обнималъ Ш. такъ, какъ въ эту минуту. Семейство Ш. ѓдетъ къ одному своему родственнику, живущему въ нашемъ уѣздѣ, и мой добрый товарищъ очень кстати заѣхалъ увидѣться со мною. Узнавъ, что я скоро иду въ походъ, они согласились прожить у насъ до моего отѣзда.

27 августа.

Прошли три дня, какъ три минуты... *Она* дивно-хороша!... А завтра день моего отѣзда... Ужь все готово; мой быстрый черкесъ подкованъ, пистолеты вычищены, добрая тройка выкормлена; завтра прощай все, чтѣ мило и дорого сердцу! Кто знаетъ, что застану я, возвратясь на родину, и когда возвращусь? да и возвратишься ли?... Прочь, темныя мысли! Скоро я обниму отца и матушку, покажу имъ георгіевскій крестъ... *Она* меня любить!... Сегодня мы гуляли по саду:

— Вы завтра уѣзжаете непремѣнно? сказала *она*.

— Да, грустно отвѣчалъ я.

Мы замолчали и прошли длинную аллею. Потомъ я началъ что-то говорить, самъ не понимая хорошенько, что такое; тогда оно казалось очень-умно и складно, а какъ припомню — выходить удивительная чепуха; она тоже говорила о постороннихъ вещахъ, но такимъ голосомъ, такой смыслъ выходилъ въ рѣчахъ ея, что я ободрился

и покорилъ ей на камъкъ вѣточку памыни. Сашь не зналъ, кътъ я убралъ на подобную деревень; отдалъ вѣточку и сейчасъ же готовъ былъ отнять ее, готовъ былъ прощаться съ нею злово, боялся поднять глаза, чтобы не увидѣть, кътъ моя вѣточка, избреко синтага, съ улыбкою будеть брошена на землю и съ нею вѣтъ не счастіе, некой, будущность. Я слыхалъ, что женщины всегда, улыбаются, дѣлаютъ подобныя вещи.

Мы вчера читали «Селинъ», роскошный камъкъ прѣтъ, и еще III. очень сказала, что памыни дано значеніе:

Твой образъ, забытъ сонъ.
Съ послѣдней мыслю сплю.

Но памынь не брошена; къ ней прибавлено два или три мелкие цветочки—и этотъ букетъ будь цѣлый день приколотъ къ ея груди.

Вечеромъ она подошла къ роскошному кусту цвѣтущихъ камелій, сорвала одинъ цветокъ и ребко отдала мнѣ на память. Я пришелъ въ свою комнату, схватилъ «Селинъ», началъ быстро отыскивать камелию...

Передо мною мелькали: анемонъ, акация, барбарисъ, вѣтrenница, василѣкъ, гвоздика и проч. и проч. Вотъ и камелія... тутъ я прижалъ пышный цветокъ къ губамъ своимъ—камелія: *я люблю тебя*. Я еще разъ прочелъ, не вѣря самъ себѣ... точно, напечатано: *я люблю тебя!* Я пишу, и камелія лежитъ передо мною; ея лепестки, кажется, вытягиваются ко мнѣ, кажется, шевелятся... кажется, шепчутъ: «я люблю тебя». Люблю! какое гармоническое слово! сколько мягкости и нѣги въ этомъ словѣ! какъ очаровательно должно быть оно въ устахъ ея! Еслибы мнѣ удалось услышать отъ нея мелодические звуки этого слова!...

28 августа.

Сегодня я простился съ роднымъ домикомъ. Отслужили молебень, матушка надѣла мнѣ на шею образъ Спасителя, отецъ благословилъ меня саблею, съ которой онъ во время Екатерины впереди своихъ храбрыхъ гусаръ врѣзывался въ турецкія колонны и казачество-валъ въ отечественную войну. Я обнялъ отца, матушку, братьевъ, сестеръ, милаго Ш., поцаловалъ ея ручку, которая видимо затрепетала въ моей рукѣ, и поскакалъ на тройкѣ. Я скоро догналъ казачій отрядъ, выступившій уже въ походъ.

1 сентября.

Третій день мы идемъ, и нашъ походъ очень похожъ на торжественное шествіе: вездѣ народъ встрѣчаетъ насъ съ восторгомъ; ненужно посыпать впередъ квартиргеровъ: старшины казачьихъ сель, куда мы приходимъ на ночлегъ, на-перехватъ приглашаютъ казаковъ на квартиры, кормить ихъ, кормить лошадей, и ни за что не хотятъ брать ни гроша. Это пріятно, но утомительно; такой незаслуженный тріумфъ несносенъ: дѣло другое, еслибы мы возвращались побѣдителями... Когда бы скорѣе попасть въ непріятельскую землю!

2 сентября.

Вѣчно мнѣ ничего не удается! Пришедши въ городъ П***, я уже засталъ приказъ остановиться и дожидать дальнѣйшихъ распоряженій.

Очень весело стоять въ дранномъ городкѣ, гдѣ даже нѣтъ порядочнаго трактира пообѣдать, а какая-то скверная харчевня! Для первого моего дебюта въ харчевнѣ ничего болѣе не отыскалось, кромѣ жареной курицы и половины поросенка, вѣроятно заявленныхъ на медлен-

номъ огнѣ въ средніе вѣка за еретичество. Эти кушанья представили въ лицахъ поговорку: «видѣть око, да зубъ нейметь». Спросилъ чаю — мнѣ дали сбитню, и какая-то скверная рыжая борода, называвшая себя хозяиномъ харчевни, смѣясь еще увѣрять, что это чай, и что почти всѣ семинаристы пьютъ его подъ этимъ названіемъ. А тутъ еще нѣтъ квартиры! Это уже не казачье село, а городъ; здѣсь ужѣ никакого толку не добьешься. Едва ночью показали квартиру, и я голодный легъ спать.

10 сентября.

Вотъ уже недѣля, какъ стоимъ въ П***, а о походѣ и слуха нѣтъ. Тамъ люди получаютъ почести, отличия и славныя раны за отечество, а здѣсь изволъ сидѣть да скучать. Городъ осмотрѣлъ въ два часа; раза три ходилъ къ Днѣпру: отъ воды сырьо; наступаетъ осень, погода дѣлается холодище...

Вчера ко мнѣ явился мой хозяинъ, человѣкъ очень фантастическій, въ сѣрыхъ брюкахъ и въ синей вейгерской курткѣ; его маленькая головка постепенно съуживалась и, выдвигаясь впередъ, перешла въ большой красный носъ, отчего мой хозяинъ очень похожъ на птицу, называемую дубельшнепомъ; онъ улыбался, то есть, приподнявъ немного кверху носъ, оскаливъ зубы и, кланяясь, поставилъ на землю порядочной величины гробъ, который принесъ подъ мышкою.

— Что вамъ угодно? спросилъ я.

— Ничего, милостивѣйший государь. — Я полагаю, вамъ должно быть скучно, и принесъ вамъ утѣшеніе.

«Хороша утѣха» подумалъ я и сказалъ:

— Согласенъ, что это утѣшеніе для всякаго христианина, но...

— Извините, милостивый государь, и до христіанства у іudeевъ это было въ большомъ употреблениі, какъ средство, разгоняющее темныя мысли.

— А иногда, я полагаю, и нагоняющее...

— Извините, милостивый государь.

— По-крайней-мѣрѣ я бы просилъ васъ избавить меня отъ этого странного уг҃шнія. Смотрѣть на гробъ, хотя онъ и выкрашенъ, какъ вашъ, для меня неочень пріятно.

— Хе-хе-хе! государь мой любезный! вы не поняли дѣла; оно сходственно, да совсѣмъ не то; это добrogласные гусли.

Тутъ онъ поставилъ свой ящикъ на столъ, поднялъ крышку, и я засмѣялся своей ошибкѣ; это были точно гусли; мой хозяинъ попросилъ позволенія сыграть и забавлять меня цѣлый вечеръ.

4 октября.

Вотъ и мѣсяцъ, а о походѣ и слуха нѣть; война, говорять, утихаетъ. Не-уже-ли придется кончить службу, не выходя изъ П***? Здѣсь умрешь со скуки. Жизни, однообразиѣ моей, и выдумать невозможно. Рано поутру выслушаешь донесенія урядника, поѣдешь на конюшню: тамъ лошади ёдятъ овесь; монотонный звукъ отъ ихъ челюстей, жующихъ зерна, уже нагоняетъ скуку. Возвратясь домой, пьешь чай, долго пьешь — часа два, чтобы убить время; потомъ стрѣляешь въ цѣль изъ пистолетовъ, тамъ обѣдаешь; послѣ обѣда или свисшишь, или, глядя въ окно, барабанишь по стекламъ пальцами, пока не настанетъ время отправиться на конюшню; на конюшнѣ по-старому слышишь, что «все обстоитъ благополучно», и лошади опять ёдятъ овесь. Прїедешь домой, напьешься чаю, поучишь часъ-другой

собаку носить пижеску, и снять вера. Завтра то же, то же и то же!...

Еще, пока было теплое, меня веселили какие-то два ученика въ тиховыхъ халатахъ удивительными дуэтами: у меня передъ окномъ растетъ пребольшая шелковица; каждый день, бывало, при солнечности закатъ являются два учныхъ существа, одно лѣтъ шестнадцати или семнадцати, а другое лѣтъ двѣнадцати. Старій учный усаждается, бывало, въ поддерева верхомъ на толстомъ суку и, болтая ногами, звучнымъ баритономъ начинаетъ спрягать латинскій глаголь *ato*, а меньшой изберается на самый верхъ шелковицы, совершенно укроется въ вѣтвяхъ — только и видишь изъ зелени одну торчащую книжку въ красномъ переплѣтѣ — и самымъ пронзительнымъ дискантомъ распѣваешь какое-то греческое склоненіе. Да какъ припустить, бывало, вдвоемъ — истинная музыка! Ни одна баба не пройдетъ мимо двора, не остановясь минуты на двѣ, чтобы послушать иностранного пѣвца.

— Съ трудомъ дается наука, милостивѣйшій государь мой! всегда, бывало, скажеть мой хозяинъ, поглаживая красный носъ, когда услышитъ латино-греческий дуэтъ.—Смѣю вамъ доложить, что лучше бъ согласился пахать землю, нежели пѣть подобнымъ образомъ по деревьямъ.

Теперь я лишился и этого удовольствія; осень оборвала почти всѣ листья на деревѣ, вечера стали холодные и пѣвцы скрылись невѣдомо куда. Хозяинъ и его гуси мнѣ стали противны: всякий день играетъ одно и то же; выпросить у меня стакана два пуншу, напьется и начнетъ пѣть такія гадости, что слушать отвратительно...

Уже начались мелкие осенние дожди и цѣлый день не выпускаютъ изъ комнаты; въ городѣ нѣть ни одной книжной лавки, хоть улицы полны такъ-называемыи учеными народомъ, а винныхъ погребовъ, кажется, около десятка. Я очень жалѣю, что не взялъ съ собою изъ дома ни одной книги; приказалъ своему человѣку говорить сказки, да у него какія-то лакейскія сказки — все барыни, да господа, да нѣмцы... Чѣмъ ты мнѣ не рассказываешь про Бабу-Ягу, про Змѣя Горынчика, про Гаркушу, про Наливайку?... «Все это, сударь, музыцкія сказки, я такихъ не знаю...» Чѣмъ съ нимъ дѣлать? Вотъ полупросвѣщеніе! вреть нелѣпости на новый ладъ и знать не想要 старину! Толковалъ ему, толковалъ — ничего не понимаетъ!

4 декабря.

Наконецъ я опять дома, въ своей деревнѣ, въ кругу своего семейства! Наши резервы распущены по домамъ. Вотъ и конецъ моей службы! Какая злая настышка судьбы надо мною! Гдѣ мой кресть? гдѣ моя слава? чѣмъ я сдѣлалъ полезнаго? Мнѣ совѣстно смотрѣть на людей. Мой походъ похожъ на гору, родившую мышонка; я разыгрывалъ роль синицы, которая собиралась зажечь море. Рыцарская страсть къ приключеніямъ, жажда опасностей и славы — все это дало результатъ: изъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ убийственной скуки и горечи разочарованія, одна польза — опытъ.

138., 4 января.

Часто, улыбаясь, смотрѣль я на танцы и мысленно повторялъ извѣстный стихъ:

Да изъ чего бѣсniуетесь вы столько?

Люди, кажется, и порядочные, и говорятъ довольно-

умно, и знают приличія — мужчины не станутъ ни прыгать по комнатѣ отъ скуки, ни свистѣть за столомъ, дамы ходятъ тихо, плавно, будто боясь вывихнуть себѣ ногу, все опускаютъ глазки, ни на волосъ изъ устава *Куту* китайцевъ о десяти тысячахъ церемоній; загиграла музыка, эти люди стали въ кружокъ — и пошла потѣха! Замахали руками, зашаркали ногами, засуетились, запрыгали. Кто скакетъ прямо, кто бочкомъ, кто толчется на одномъ мѣстѣ; да всѣ такъ храбрятся, точно воробы надъ просыпанною крупой.

Уморительно-смѣшно! А теперь я самъ танцую съ утра до вечера, съ вечера до утра... Согласенъ, что танцоватъ, такъ, лишь бы танцоватъ съ кѣмъ попало, для vis-à-vis, для компаний, и т. п.—мученіе; танцоватъ съ дамою, которую не только любить, но даже уважать не можешь — жесточайшая казнь; но танцоватъ съ *нею*, кружиться подъ волшебные звуки вальса Штрауса въ какомъ-то обаятельномъ мірѣ фантазіи, забывая и людей, окружающихъ меня, и все, кроме *ея*, держать это чудное созданіе въ объятіяхъ, чувствовать какъ бьется, трепещетъ подъ рукою сердце, за которое радъ бы отдать и мечты прошедшаго, и будущность, пить *ея* дыханіе, слышать легкое прикосновеніе *ея* кудрей къ лицу вашему, обдающее васъ электрическимъ огнемъ — верхъ блаженства! Выносить всю нѣгу этихъ ощущеній можетъ душа любящая, но передать ихъ — никто!... Съ недѣлю какъ *она* прїѣхала съ своими родными и гостить у насъ, и я, прежде танцовавшій только для приличія, сдѣлался страстнымъ охотникомъ до танцовъ — все почти танцую съ *нею*.

Какъ *она* добра и умна! Матушка моя очень полюбила *ее*, а она полюбила мою маменьку. Съ дѣтства ли-

шения отца и матери, она круглая сирота; ей любо отогреть душу любовью.

1 мая.

Настала весна. Весело щебечутъ въ полѣ жаворонки, цвѣтутъ подснѣжники, зазеленѣли рощи, зацвѣли сады; соловей прилетѣлъ уже и цѣлыми ночи поетъ свои страстныя пѣсни; все живеть, все радуется, а мнѣ скучно...

Какъ весело встрѣчалъ я весну, будучи ребенкомъ! какъ меня радовала первая травка, зазеленѣвшая на пригоркѣ! я съ восторгомъ встрѣчалъ южныхъ гостей— перелетныхъ птицъ. Природа и теперь все та же; отчего же мнѣ грустно? Какое тяжелое чувство тѣснить грудь мою и слезы готовы брызнутъ изъ глазъ? Отчего это? Я не бѣденъ, отецъ и мать мои живы и такъ любятъ меня; а люблю *ее* и любимъ — не верхъ ли это благополучія? Женюсь и стану жить въ тишинѣ и спокойствіи... Нѣть, я такъ люблю *ее*, что не могу теперь жениться... Какое имя я принесу ей? *дѣйствительный студентъ!*... Это значитъ унизить ее предъ уѣздною спѣсью, такъ овладѣвшую моими землячками, что нѣкоторые даже подписываются на пріятельскихъ запискахъ: *майора и кавалерса N.N.* и проч. въ родѣ этого. Нѣть, я долженъ служить, сдѣлаться хоть чѣмъ-нибудь, и тогда... Да и батюшка мнѣ это совѣтуетъ; а я не хочу быть послушникомъ его воли... Мнѣ необходимо служить; я долженъ употребить на пользу отечѣства мои познанія.

Въ военную службу я теперь ни за что не пойду; война кончилась: что я буду дѣлать? опять закочую изъ села въ село, изъ городка въ городишко; скучать или волочиться за дочками помѣщиковъ, чтобы отъ-не-

14*

чего-дѣлать какъ-нибудь убить праздное время? Нѣтъ, я перемѣню саблю на перо, поѣду въ столицу, въ Петербургъ: тамъ широкое поле для умственной дѣятельности, тамъ столько министерствъ, тамъ я съ пользою употреблю мои познанія.

Рѣшено: єду въ Петербургъ. Года два, много три — и я надѣюсь отличиться; я постараюсь укоротить, облегчить дѣловыя переписки; профессоръ правъ такъ много намъ толковалъ о нихъ; я ночей не стану спать... Я достигну чего-нибудь и возвращусь домой. Тогда какъ будетъ пріятно съ гордостью подать ей руку и сказать: «все для тебя!...» Ёду, єду, въ Петербургъ! тамъ же есть братъ моей матушки, человѣкъ въ чинахъ, давно уже дѣйствительный статскій совѣтникъ. Батюшка говоритъ, что онъ его когда-то отправилъ на свой счетъ въ Петербургъ... Ну, да это въ сторону; довольно, что онъ братъ моей беззѣнной матери. Я пріѣду, обниму этого доброго старичка, передамъ вѣсти о матушкѣ, о нашемъ житьѣ, о своихъ надеждахъ; онъ вѣрно не оставитъ меня на первый разъ своимъ совѣтомъ и покровительствомъ.

10 мая.

Несносный Сутяговскій былъ у насъ и мучилъ цѣлый день своими хитрыми и злыми рассказами. Когда смотрю на него, невольно приходятъ на умъ стихи Пушкина:

И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ!

Намеки его на мою праздную жизнь нестерпимы; я сказалъ ему, что єду въ Петербургъ: ему, кажется, это досадно. Онъ ворчалъ батюшкѣ о высокомъріи моло-

дыхъ людей, о выгодѣ служить сначала въ уѣздномъ казначействѣ и постепенно переходить даже до сената, гдѣ можно, дослужась до секретаря, быть *человѣкомъ* — да я и не слушаль его вздора.

Сегодня прѣѣжалъ Ивановъ; онъ разсыпался передо мною въ благодарностяхъ; говорилъ, что онъ обязанъ мнѣ жизнью и просилъ моего батюшку дать ему въ залогъ нашу деревню на какія-то соляные озера, обѣщая за это заплатить за крестьянъ подати. «Мнѣ, говоритъ, многіе съ радостью дадутъ имѣнія для этой операции; но, какъ я обязанъ вашему сыну жизнью, то хочу какъ-нибудь быть вамъ полезнымъ, хоть ващимъ крестьянамъ. Это дѣло моей совѣсти, позовольте облегчить ее; а между тѣмъ и вы дадите мнѣ возможность получить огромныя выгоды и составите счастіе моихъ дѣтей». Отецъ мой согласился и даетъ Иванову довѣренность. Сутяговскій очень одобряетъ это и, по своему образу мыслей, сказалъ, что можно бы еще было сорвать съ Иванова тысячу-другую.

30 мая.

Вчера я простился съ *нею*. Это было на степномъ хуторѣ ея дяди, гдѣ все семейство Ш. гостить теперь. Часу въ десятомъ утра она пошла въ степь искать полевой земляники; я пошелъ съ ружьемъ стрѣлять перепелокъ и нашелъ ее около версты отъ хутора.

Утро было чистое, ясное; мы сѣли въ долинѣ; все вокругъ улыбалось; цветы весело помахивали головками; душистый чаберъ благоухалъ въ долинѣ. Грустно сидѣли мы; я рассказалъ *ей* необходимость поѣздки въ Петербургъ. Судорожно обняла меня она, какъ-бы боясь выпустить, потомъ, склонясь на грудь мою, тихо заплакала... Я тоже плакалъ... Горьки были для меня эти

минуты, тяжко было на душѣ моей, а вокругъ все было свѣтло, весело: птички пѣли, ароматные цвѣты ярко пестрѣли. Мы немного успокоились, поклялись въ вѣчной любви и обмѣнялись кольцами. На небѣ не было ни облачка; но когда она стала надѣвать мнѣ на руку свое колечко съ незабудкою, вдругъ на лицо ея набѣжала тѣнь — мы разомъ вздрогнули, взглянули вверхъ: надъ нами вился степной коршунъ. Кто бы могъ повѣрить, что такое ничтожное твореніе могло заставить насъ затрепетать отъ неизвѣстнаго страха?...

Нѣсколько минутъ мы сидѣли неподвижно, смотря другъ на друга; я еще разъ обнялъ ее, наконецъ оторвался отъ прощального поцалуя и побѣжалъ въ степь; она тихо возвратилась на хуторъ. Къ обѣду мы сошлися оба печальные, а послѣ обѣда я уѣхалъ.

15 июня.

На-дняхъ я выѣду въ Петербургъ; мнѣ приготовили хорошую дорожную брику на рессорахъ;ѣхать будетъ спокойно; долго ли проскакать полторы тысячи верстъ? Чрезъ недѣлю я увижу нашу приморскую столицу, увижу новый свѣтъ; образованность, науки, художества — все тамъ имѣть свою цѣну. Чудный городъ!... что ты готовишь мнѣ?

Почекина станція. 23 июня.

Давно ли — еще сегодня утромъ я былъ окружены милыми моему сердцу — и вотъ я одинъ брошенъ въ свѣтъ; съ каждою минутою удаляюсь отъ знакомыхъ мѣсть моего счастливаго дѣтства и беззаботной жизни, и приближаюсь Богъ-знаеть къ чѣму, къ худому ли, къ добруму ли, во всякомъ случаѣ къ могилѣ. Когда я отправлялся въ походъ на войну, гдѣ готовъ быть

всякую минуту стать лицомъ-къ-лицу смерти, я не грустить ни мало, мнѣ было весело; отчего же теперь грущу? Отчего я такъ плакалъ, въ послѣдній разъ обнимая добрыхъ моихъ родителей? отчего мнѣ безпрестанно мерещется этотъ проклятый, зловѣштій коршунъ, съ распущенными крыльями, съ раздвинутыми когтями, висящій надо мною?

Выѣхавъ изъ дома, я все смотрѣлъ назадъ, пока не скрылась изъ виду наша деревня; долго еще была видна вершина пирамидального тополя; подъ нимъ еще вчера мы весело пили чай... вотъ и онъ скрылся изъ виду; я вздохнулъ, прилегъ на подушку и подъ однообразную пѣсню моего ямщика:

Какъ жена била мужа
Да еще пошла на него жаловаться,

вздремнулъ. Въ минуту я былъ въ какомъ-то безграничномъ храмѣ; тамъ множество народа; вотъ батюшка, матушка, братья и сестры; бѣгу къ нимъ — они отъ меня отодвигаются; далѣе, въ нишѣ, стоитъ она, въ вѣнчальномъ нарядѣ; я къ ней, хватаю ее за руку — она отнимаетъ руку, строго смотрѣть на меня... я кличу ее по имени, спрашиваю: узнаешь ли ты меня? — она презрительно улыбается и говоритъ: «я васъ не знаю». Я вздрогнулъ и проснулся... Какой нелѣпый сонъ!...

Вотъ я уже три часа сижу на станціи; долговязый писарь говорить: «нѣть лошадей». — «Не вѣрьте ему бездѣльнику» говорить какой-то проѣзжій, котораго я засталъ здѣсь: «онъ на водку хочетъ. Вотъ я шестой разъ сижу на этой дурацкой станціи и ни разу не выѣхалъ, не давъ четвертака этому пьяницѣ — вотъ онъ чего

хотеть!...» Принесть ехать, содержатель станции, поднялся крикъ, скора, споръ — писать невозможно.

7 июля.

Къ безчисленному множеству именъ, порожденныхъ проективиенемъ, должно также отнести и прославленную быструю русскую почтовую ъзду. Четыридцать сутокъ ъду день и ночь, и не могу проѣхать полторы тысячи верстъ: то нѣтъ лошадей, то лошади не везутъ... А беспрестанныя непрѣятности, просьбы ямщиковъ и старость на водку, а рублевая порція телеги, которыхъ мало десяти человѣку позавтракать — все это нестерпимо.

Здѣсь встрѣтилъ меня человѣкъ въ родѣ откорыленнаго кабана, въ красной рубахѣ, съ рыжею бородою, съ претолстою шею, сквозь которую едва пробивается хриплый голосъ: это былъ самъ староста. Онъ посмотрѣлъ на мою подорожную и посовѣтовалъ мнѣ идти въ гостиницу, потому-что лошадей нѣть. Я отыскалъ смотрителя и подалъ подорожную.

- Надобно спросить у старости, сказалъ онъ.
- Я старосту видѣмъ.
- Чѣмъ же онъ?
- Говорить: нѣть лошадей.
- Вотъ видите! Я вамъ говорю: гонъ ужасный!... Хоть сами посмотрите въ книгу... у меня каждая лошадь записана.
- Скоро ли будуть лошади?
- А Богъ знаетъ. Часовъ черезъ шесть, можетъ, соберемъ, если кто не подоспѣетъ по казенной.
- А если подоспѣетъ, то мнѣ опять придется ждать?

— Дѣлать нечего, у насъ иногда сутокъ по двое сидять: подъ столицею разгонъ всегдашній. Бейся, бейся, какъ рыба обѣ ледъ — бѣдовое дѣло!

— Нѣть ли у васъ своихъ лошадей?

— Куда намъ держать! служимъ изъ хлѣба; а если хотите, здѣсь есть вольный извозчикъ, у него лошади знатныя: мигомъ васъ доставить въ Питеръ.

— Ради Бога, пошлите за нимъ.

— Только онъ менѣе сорока рублей не возьметъ за тройку.

— Богъ съ нимъ, лишь бы доставилъ скорѣе.

— Такъ вы пожалуйте деньги, я ему отдамъ.

— Возьмите.

Добрый старичокъ смотритель! Онъ взялъ деньги, открылъ окно и закричалъ! Омка, живѣе барину тройку! Пожалуйте вашу подорожную.

— Для чего жь это? вѣдь я поѣду на вольныхъ.

— Конечно; но все, знаете, оно безопаснѣе; вы уѣзжаете изъ станціи, надобно беречь себя.

— Развѣ здѣсь шалить?

— Богъ миловалъ; а на всякий случай не мѣшаешь, знаете, ради острѣстки.

Смотритель, записавъ подорожную, отдалъ мнѣ ее, приговаривая: «Вотъ такъ лучше! Ну, теперь съ Богомъ». Добрый человѣкъ этотъ смотритель!

8 юля.

Много радости приносить намъ фантазія, а еще больше печалей. Какъ сравнишь мечту съ дѣйствительностью — вѣчный проигрышъ на сторонѣ послѣдней, и человѣкъ — постоянная жертва разочарованія. Я въ Петербургѣ, и недоволенъ имъ! Моя фантазія состроила

идеаль этого города; существенность не подошла къ идеалу, и Петербургъ мнѣ не нравится. Я ожидалъ гораздо лучшаго... Неоштукатуренные дома некрасивой архитектуры, въ родѣ фабрикъ, поразили глаза мои непріятнымъ ощущенiemъ. Даже, мнѣ кажется, мало въ немъ жизни, мало движения для столицы. Впрочемъ, я не видѣлъ еще главной улицы — Невскаго проспекта. На этой улицѣ живеть мой дядюшка. Завтра пріодѣнусь и поѣду къ нему.

9 июля.

Я пріѣхалъ къ дядюшкѣ въ 10 часовъ утра. «Его пре-восходительство изволять почивать», сквозь зубы про-ворчалъ мнѣ надутый лакей и захлопнула передъ но-сомъ дверь. Прихожу въ одиннадцать: «чай кушаютъ!» отвѣчаетъ также ливрейная кукла.

— Доложи, братецъ, что я племянникъ генерала пріѣхалъ изъ губерніи и привезъ ему отъ родной сестры письма.

Лакей окинулъ меня глазами съ головы до ногъ и, указавъ рукою на дверь, ведущую въ пріемную, сказалъ: «обождите тамъ».

Цѣлый часъ бродилъ я по комнатѣ, разматривая эстампы, висѣвшіе на стѣнахъ, и не переставая удивлять-ся, отчего бы дядюшкѣ не пригласить меня выпить съ нимъ чашку чаю. Ударило двѣнадцать; лакей отворилъ дверь въ гостиную и просилъ меня войти.

Дядюшка въ виц-мундирѣ, съ звѣздою на груди, си-дѣлъ на диванѣ; возлѣ него въ креслѣ почти лежалъ молодой гвардейскій офицеръ, а возлѣ офицера сидѣла дѣвушка блѣдная, худая, перетянутая до-нельзя, очень похожая на стрекозу. При первомъ взглядѣ на дядюшку, меня оставила мысль броситься къ нему на шею. Это

быть чопорный старики, одетый съ изысканностью, съ бѣлымъ фарфоровымъ лицомъ, безъ жизни, безъ выраженія. Когда я ему отдалъ письма, онъ, не читая ихъ, подалъ мнѣ два холодные, какъ ледъ, пальца и хладнокровно проговорилъ: — Очень радъ, садитесь. Вы, вѣроятно, прѣѣхали на службу?

— Точно такъ.

— Здѣсь чрезвычайно-трудно доставать мѣста по статской службѣ.

Тутъ вѣжаль въ комнату какой-то чиновникъ и пренизко поклонился дядюшкѣ; дядюшка обнялъ его, усадилъ на диванъ и началъ толковать о вчерашинемъ

Мой дядюшка одушевился, глаза его какъ-то задвигались скрѣе; онъ засыпалъ своего гостя сюркупами, онѣрами; три левэ, два лева, четыре левэ такъ и лились съ языка. Противникъ не плошалъ и быстро отстрѣливался фразами въ родѣ: тузъ, король и дама самъ-пять.

Дѣвушка шептала съ офицеромъ, смѣялась и изрѣдка посматривала на меня въ лорнетку. Кажется, мой провинциальный костюмъ очень тѣшилъ ее: такъ, по крайней-мѣрѣ, я заключилъ изъ немногихъ словъ, долетѣвшихъ до меня; а офицеръ держалъ оппозицію, увѣряя, что въ Польшѣ, во время похода, онъ видѣлъ много подобныхъ оригиналовъ, что это въ провинціи въ модѣ. Вѣроятно, язычокъ милой дѣвицы уже слишкомъ заѣхалъ далеко: она сдѣлала какое-то замѣчаніе на ухо офицеру и, лукаво кивая головкою, громко сказала: *n'est ce pas?* а тутьprehладнокровно отвѣчалъ: *je crois que non.*

— *Dites encore, que la neige n'est pas blanche!* съ сердцемъ скоро проговорила дѣвушка, сжала отъ злости губки, отворотилась отъ офицера и, презрительно посмотрѣвъ на меня, вышла изъ комнаты.

Офицеръ не тронулся съ мѣста, только зѣвнулъ.

Видя, что мною никто не занимается, я раскланялся. Дядюшка на этотъ разъ не подалъ мнѣ и одного пальца, только сказалъ, слегка кивая головою: «Когда устроишься, извѣстите меня: мнѣ будетъ пріятно слышать; да кланайтесь вашимъ родителямъ, если будете писать». Въ передней я спросилъ слугу:

- Кто эта дѣвушка и офицеръ?
- Это дѣти его превосходительства.
- А гость во фракѣ?
- Сочинитель Единороговъ.
- Чѣмъ же онъ сочиняетъ?

— Не могу доложить. Кажется, онъ намъ сказывалъ, писать исторію дома его превосходительства. Писать лишь бы охота, а домъ большой, съ флигелями, съ конюшнями...

Грустно я вышелъ на улицу. Мой дядюшка человѣкъ надутый; его дѣти—жалкія, пустѣйшія созданія! Никогда нога моя не будетъ въ этомъ домѣ. Еслибъ мнѣ пришлось умереть на улицѣ отъ холода, я не укроюсь у него подъ воротами. Гдѣ радужный пріемъ, о которомъ я мечталъ всю дорогу? гдѣ, наконецъ, благодарность? Опять разочарованіе!...

8 августа.

Вотъ уже мѣсяцъ живу я въ Петербургѣ; всѣ мои занятія—обѣдъ, сонъ и прогулка. Чѣмъ болѣе узнаю я Петербургъ, тѣмъ болѣе ему удивляюсь. Очаровательный городъ!... Острова его—заглядѣнья. Еслибы холодная сырость, проникающая васъ по закатѣ солнца, не напоминала о близкомъ сосѣдствѣ съ Лапландіей, можно бы подумать, что находишься подъ небомъ счастливой Италии: кругомъ прелестныя рѣчки съ зелеными берегами;

въ ихъ чистыя воды глядятся изящно-красивые домики, тѣнистые сады, цѣлый міръ цвѣтовъ. Вы идете; пахнуль вѣтерокъ и обдалъ васъ благоуханіемъ цвѣтушихъ померанцовъ. На чистой площадкѣ сада, усыпанной бѣльмъ пескомъ, вы видите извѣстную статую Меркурія флорентинскаго, онъ вылетаетъ изъ куста прекрасныхъ синихъ колокольчиковъ.

Перстъ указуетъ на даль, на главѣ развилися крылья,
Дышетъ свободою грудь, съ легкостью давною овъ,
Въ землю удара крылатой ногой, видается въ воздухъ...
Мигъ — и учится...

Боишься отвѣсть глазъ, чтобы не потерять этотъ мигъ...

Далѣе, въ павильонѣ изъ розъ и акаций, Амуръ обнимаетъ Психею; ихъ позы полны нѣги и сладострастія; съ какою любовью смотритъ Амуръ въ очи Психеи, будто читаетъ въ нихъ вѣчную, безпредѣльную повѣсть счастія! Ег҃ мраморныя крылья, кажется, трепещутъ отъ восторга, и эта группа облита темнымъ полусвѣтотомъ, проходящимъ между зеленыхъ вѣтвей акаций, обвязана тонкимъ ароматомъ розъ... Тамъ ярко пестрѣеть широкополосная, въ восточномъ вкусѣ, шелковая палатка; шалунъ-вѣтерокъ мимолетомъ тронетъ ее — и роскошно заволняются, перельются въ радужныхъ отливахъ ея фантастическая полы, и засверкаютъ алые снурки и кисти, перевитыя золотомъ. Тише!... вы слышете звуки, будто летящіе къ вамъ съ вышинами — это бѣглая проба на арфѣ, аккордъ, другой — и чистый голосъ запѣлъ въ палаткѣ итальянское болеро; струны арфы то гремятъ, то замираютъ подъ руками, и голосъ пѣвицы, проходя по всѣмъ измѣненіямъ страсти, дрожитъ, перерывается,

*

растаяваетъ въ какомъ-то самозабвениі и сливается съ арфою; голосъ умолкъ, одна только арфа, какъ далекое эхо, въ тихихъ аккордахъ повторяетъ страстную мелодію... Очаровательно!...

4 сентября.

Теперь уже Невскій проспектъ началь оживать; впрочемъ, посѣща его въ извѣстные часы нѣсколько дней ераду, я замѣтилъ, что онъ похожъ на огромную гостиную: народу пропасть, а встрѣчаешь все однѣ и тѣ же лица. Я ни съ кѣмъ незнакомъ въ Петербургѣ, но знаю очень много людей по физіономіи и, кажется, узналъ бы ихъ, еслибы встрѣтился съ ними въ Америкѣ; особенно обратилъ мое вниманіе одинъ почтенный старичикъ: въ четвертомъ часу онъ каждый день идетъ по Невскому, въ коричневомъ длинномъ сюртукѣ и шляпѣ съ широкими полями; лицо у него важное — такъ много на немъ думы; глаза всегда съ размышеніемъ опущены въ землю. Я, ежедневно встрѣчаясь съ нимъ, вчера только замѣтилъ, что у него на лѣвомъ глазу бѣлье. Можетъ-быть, это одинъ изъ свѣтыникоў науки, какой-нибудь извѣстный въ мірѣ ученый, академикъ. Четверть часа ранѣе встрѣчаются два молодые франта — должно быть, высокіе аристократы; они идутъ вѣчно вмѣстѣ обѣ-руку другъ съ другомъ; вѣчно веселы, громко говорятъ, хоочутъ... что за манеры у нихъ: то искоса мигнуть на встрѣчу субретку, то слегка задѣнуть тросточкою бѣгущую мимо собаку — прелестъ!... Полчаса спустя, послѣ стариичка въ широкой шляпѣ встрѣтишь... Ну, да Богъ съ ними! и въ недѣлю не опишешь Невскаго. Весело, а все-таки нѣтъ мѣста!

Въ какомъ министерствѣ я не былъ! вѣдѣ примутъ

ласково, и отвѣчаютъ: «къ величайшему сожалѣнію, нѣть ваканціи». Одинъ добрый секретарь даже сказалъ мнѣ, что такъ уважаетъ мои таланты и такъ полюбилъ меня (поговоря минутъ пять), что готовъ самъ умереть, лишь бы доставить мнѣ ваканцію. Нечего сказать, народъ вѣжливый!....

.5 сентября.

Наконецъ я опредѣленъ. Проходя по улицѣ, вымощеной камнемъ, я замѣтилъ надпись: «Департаментъ***». Я взялъ свой аттестатъ и явился къ начальнику. Начальникъ, маленький, толстенький человѣкъ, съ круглымъ, веселымъ лицомъ и коротко-выстриженными волосами, зачесанными кверху, вышелъ въ приемную и, быстро поворачивая въ рукахъ золотую табакерку, спросилъ: «что вамъ угодно?» Я объяснилъ ему о намѣреніи служить подъ его начальствомъ и просилъ о мѣстѣ. Директоръ протянулъ ко мнѣ руку и, какъ-бы ожидая, что я подамъ ему письмо, спросилъ:

- Кто вамъ рекомендовалъ нашъ департаментъ?
 - Никто.
 - И вы ни отъ кого не имѣете письма?
 - Ни отъ кого.
 - Но вы имѣете руку?
 - Даже и двѣ, чтобы работать все полезное.
 - Нѣть, вы меня не поняли, вы имѣете знакомство, связи, родство?
 - Никакого.
 - Да какъ же это вы такъ?... Кто за васъ поручится? Извините меня...
 - Мое происхожденіе, мое воспитаніе...
 - Ха-ха-ха! извините меня, это неслыханное дѣло!
- Петръ Иванычъ! Егоръ, позвони Петра Иваныча!

Скоро пришелъ Петръ Ивановичъ, высокій, сухощавый человѣкъ.

— Послушайте, Петръ Ивановичъ, говорилъ директоръ: — вотъ молодой человѣкъ пришелъ безъ рекомендательного письма опредѣляться на службу — безъ рекомендательного письма! Да это оригиналльная шутка! Мне бы хотѣлось определить его; у насъ есть вакансіи?

— Есть одна; отвѣчалъ Петръ Ивановичъ, мрачно посмотрѣвъ на меня: — на первый окладъ.

— Прекрасно! напишите, молодой человѣкъ, просьбу, приложите ваши бумаги и отдайте Петру Иванычу. Удивительное приключеніе! Я сегодня же расскажу объ этомъ въ англійскомъ клубѣ — похочетъ князь Федоръ!...

Чрезъ часъ я былъ уже определенъ въ какіе-то чиновники 1-го оклада. Вотъ какъ! разомъ въ 1-й окладъ! Завтра явлюсь на службу.

6 сентября.

Меня упрытали, просто, въ писаря, съ жалованьемъ 420 рублей ассигнаціями въ годъ!...

— Вы учились ариѳметикѣ? спросилъ меня начальникъ отдѣленія, Петръ Ивановичъ. Я не успѣлъ отвѣтить на этотъ нелѣпый вопросъ, какъ онъ продолжалъ: — такъ возмите у журналиста Кокоровкина вѣдомость, повѣрьте въ ней итоги и подведите общий итогъ. Кокоровкинъ дослужился до надворнаго советника, славно запечатываетъ и надписываетъ пакеты, а все не знаетъ сложенія: самъ вызвался составить вѣдомость о людяхъ, да и концовъ не сведеть: все въ итогѣ приходится то половина, то третья человѣка!

Канцелярія засмѣялась, и я пошелъ къ журналисту.

При первомъ взглѣдѣ на журналиста я замѣтилъ въ немъ разительное сходство съ старишкомъ въ широкой шляпѣ: такой же глазъ съ бѣльмомъ, та же важная физіономія, только вместо коричневаго сюртука журналистъ былъ въ виц-мундирѣ. Я взялъ вѣдомость, посмотрѣлъ на итогъ и чуть не захочатъ во все горло: въ итогѣ было написано $5643\frac{3}{4}$ человѣка; послѣ $\frac{3}{4}$ были зачеркнуты карандашомъ и сверху приписано $\frac{5}{8}$.

— Вѣдомость, должно быть, трудная? спросилъ я у журналиста.

— Попробуйте, такъ и узнаете.

— Отчего же у васъ тутъ вышло $\frac{3}{4}$ человѣка?

— Нѣтъ, должно быть $\frac{5}{8}$.

— А пять восьмыхъ отчего?

— Отчего? чортъ его знаетъ отчего! такъ выходитъ. Попробуйте, такъ перестанете смеяться. Тутъ такое, я вамъ скажу: и мертвые души, и несовершеннолѣтнія... такая путаница, самъ чортъ ногу сломить.

— А у него непрочныя ноги?

— Попробуйте-ка, попробуйте, перестанете смеяться.

Еще я замѣтилъ здѣсь двухъ молодыхъ писцовъ — презнакомыя лица, какъ-будто я гдѣ-то ихъ видѣлъ, или они снились мнѣ: въ старыхъ сюртучкахъ, обиныхъ галунами; сидѣть они за особымъ столомъ и Петръ Ивановичъ въ-продолженіе всего присутствія ворчалъ на нихъ, выговаривалъ, что они русской грамотѣ не знаютъ и не хотятъ слушать, только озорничаютъ, и грозился оставить ихъ въ департаментѣ безъ сапоговъ. «Я, говорить, дескать, вспомню старыя времена, когда я служилъ въ вашемъ чинѣ».

Въ три часа директоръ уѣхалъ. Петръ Ивановичъ ушелъ въ-слѣдъ за нимъ, и въ департаментѣ поднялась

кутерьма: все прятали бумаги; первые выскочили въ переднюю два писца, надѣли короткіе сюртучки, взяли тросточки и помчались по Невскому; теперь только я ихъ узналъ совершенно — моихъ невскихъ аристократовъ. Немного погода, вышелъ журналистъ, натянуть сверхъ виц-мундира коричневый сюртукъ, покрылъ мудрую голову шляпою съ широкими полями и важно двинулся по Невскому. «Такъ вотъ мой академикъ, механикъ, астрономъ!» подумалъ я и, увлеченный общимъ потокомъ, пошелъ тоже по Невскому — домой.

1 декабря.

Третій мѣсяцъ служу я и все переписываю бумаги скучныя, безжизненныя! Стѣло для этого бѣхать въ Петербургъ! Я могу, при счастіи, лѣтъ чрезъ пять поступить на жалованье 750 р. и все-таки буду переписывать; а я еще при вступленіи нажилъ себѣ непріятеля въ лицѣ Петра Ивановича: онъ приберегать мѣсто, которое я занялъ, своему крестнику, и вдругъ я какъ съ облаковъ свалился.

Петръ Ивановичъ называетъ меня вольнодумцемъ оттого, что я, переписывая его бумаги, исправляю букву лъ, которую онъ ставить какъ попало; онъ напишетъ *веденіе*, а я поправлю *вѣденіе*; споримъ часть, и кончится тѣмъ, что онъ разскажетъ сказку, какъ яйцы курицу учили, и тому подобные любезности, и согласится принять одно лъ и пишетъ *вѣденіе*.

Ванька несетъ съ почты письмо. Въ сторону журналь! Что-то новаго мнѣ пишутъ изъ дома?

«Милостивый государь,

«Яковъ Петровичъ!

«Будучи въ сосѣдствѣ и находясь въ пріязни съ домомъ вашимъ, я всегда питалъ къ вамъ чувства моего почтенія, иначе выражаться, чувственную привязанность, не находивъ въ васъ трагическаго духа. Съ особеннымъ неудовольствіемъ спѣшу извѣстить васъ о недѣліи вашего черкеса: онъ палъ, иначе выражиться, издохъ отъ сильнаго перегона, будучи посыпанъ за докторомъ по причинѣ удара, приключившагося вашему батюшкѣ, отъ коего онъ и померъ; ваша матушка осталась теперь во вдовствующемъ положеніи, но что же дѣлать! Не печальтесь, ибо мы всѣ ходимъ подъ Богомъ и кончаемся за грѣхи Адама. Въ васъ на похоронахъ было много почету и нашъ предводитель генералъ Н. Н., который, можно выражаться, и генералъ и человѣкъ генеральный, и Сутяговскій очень оскорбился и плачалъ, и прочие, всѣ извѣстные, были въ сильномъ расположеніи и въ слезахъ, а послѣ обѣда разѣхались. За симъ съ чувствомъ глубочайшаго высокопочтитанія и совершенной преданности имѣю честь пребыть вашимъ, милостивый государь, покорнейшимъ слугою—

Иванъ Щука-Окуневскій.

183... года, ноября 15 дня.

Село Скоробрехи.

«Прилагаю при семъ рецептъ, доставленный для васъ нашимъ аптекаремъ для самопалительныхъ сѣрныхъ спичекъ.

Возьми: Phosphor: gr. x. т.-е. фосфору 10 грановъ,

Flor. Sulph. — j — стѣрныхъ цвѣт. 1 гравъ,

Kalioximurialici 3j — солянокислаго поташа 1 драхму,

разотри въ тридцати гравияхъ сиюи архайской канеди
и обмакнай спички, а посль суми въ сухомъ воздухѣ.»

29 декабря.

И еще иѣзжъ; я все переписываю бумаги; въ по-
ложенные часы прихожу, и выхожу въ положенный
чась; я сдѣлался сущимъ автоматономъ!... Вирочень, со
смерти моего доброго отца, я хожу какъ въ туманѣ,
неспособенъ понять ни одной живой мысли, и для меня
занятіе переписчика очень по-руки; даже я не могъ ни-
чего написать въ своей памятной книжкѣ: онъ умеръ —
и больше ничего! Я даже сидѣлъ, читая безтолковое
письмо съ старыми спичками, а на грудь будто легъ
тяжелый камень, голова трещала отъ жара, а руки ста-
ли холодны какъ ледь.

Сегодня немного мнѣ легче; слезы брызнули изъ
глазъ, и мнѣ такъ стало жалко доброго моего старика! Я
вспоминаль, какъ онъ прощался со мною и плакалъ,
обнимая меня, какъ долго смотрѣлъ вслѣдъ за уѣзжав-
шимъ моимъ экипажемъ; какъ его сѣдая голова мед-
ленно кланялась мнѣ изъ окна... И зналь ли я тогда,
что прощаюсь съ нимъ на вѣки... что я скрою его...
что мои попадуи были надгробное лобзаніе сходившему
въ могилу? Блаженъ человѣкъ, что не вѣдаетъ бу-
дущаго!...

183 .. 1 января.

Сегодня новый годъ. Коллежскій ассесоръ Алеут-
никовъ, служащий въ одномъ со мною отдѣлениіи, зата-
щилъ меня поздравить съ праздникомъ Петра Ивано-
вича. Петръ Ивановичъ одѣвался, однако принялъ насть
очень ласково и, разговаривая о погодѣ, началъ повя-
зывать передъ зеркаломъ галстухъ. Петръ Ивановичъ

не любить бантовъ и всегда завязываетъ галстукъ на затылкѣ; теперь, какъ-нарочно, концы платка не сходились, руки двигались врозь, и Петръ Ивановичъ начиная морщиться отъ досады. Въ два прыжка низенький Алеутниковъ очутился сзади своего патрона, вытянувшись на цыпочкахъ овладѣль галстукомъ и повязавъ его. Я невольно улыбнулся.

— Чувствительно обязанъ! сказалъ Петръ Ивановичъ, быстро оборотясь къ Алеутникову, и даже взялъ его за руку, а на меня бросилъ самый мрачный взоръ.

2 января.

Косо посмотрѣль на меня въ департаментѣ Петръ Ивановичъ и почти бросилъ передо мною бумагу, исписанную ужаснѣйшими крючками и хвостами, сказавъ сердито: «переписать скорѣе, да не ошибиться. Эти учёные много о себѣ думаютъ, а мало дѣлаютъ».

Началь я разбирать кудрявое письмо моего благодѣтеля, по слову, по два переводить на бумагу и къ концу присутствія явилось очень чистенькое отпошеніе отъ лица нашего директора къ одному важному духовному лицу. Петръ Ивановичъ долго разматривалъ мою копію, сличая ее съ оригиналомъ, придирился къ запятый, и вдругъ поблѣдѣль отъ ужаса и, гордо поднявъ голову, грозно посмотрѣль на меня:

— Какъ вы смѣете дѣлать подобныя дерзости, невѣжественности? Вотъ что значитъ принимать на службу неизвѣстныхъ лица!

— Какія дерзости?

— Еще и какія! Какъ вы могли смѣть исказить смыслъ бумаги, данной вамъ начальникомъ?

— Гдѣ же, позвольте узнать?

— Гдѣ же! гдѣ же! вы хотите подъ судъ меня упра-
тать? еще гдѣ же?... Этакое фанфаронство, съ позве-
лениемъ сказать, вольнодумство, сущее безбожіе! неуваже-
ніе властей...

— Я васъ не понимаю.

— Не хотите понимать, лучше скажите... Да, возь-
мите, читайте, что тутъ написано: съ совершеннымъ и
прочая... читайте!

Съ совершеннымъ высокопочтеніемъ честь имѣю...

— Довольно, довольно! какъ вы сказали, съ совер-
шеннымъ?...

— Высокопочтеніемъ.

— Да, высокопочтеніемъ, еще и смотрить такою
невинностю! развѣ можно писать такъ неуважительно?

— У васъ такъ написано.

— Неправда, подайте сюда! видите: — выс. Поч. и
только — это значитъ, что я даять вамъ только намекъ,
надѣясь на ваше образованіе, а вы и этого не знали,
или не хотѣли знать, я полагаю.

— Чѣмъ же здѣсь написать надобно?

— Съ совершеннымъ высокопочтаниемъ — понимае-
те? не почтеніемъ, а почитаніемъ; это означаетъ сте-
пень великаго уваженія. Хоронѣ бы я быть, еслибы по-
далъ къ подписанію его превосходительству эту бумагу,
и вдругъ бы мнѣ наклеили носъ, вотъ какой — при этомъ
словѣ Петръ Ивановичъ приставилъ къ своему носу
указательный палецъ и сдѣлался очень смѣшонъ.

Петръ Ивановичъ еще пѣтушился, еще ворчалъ, но
я уже не слышалъ его замѣчаній: сторожъ принесъ
мнѣ письмо; я вышелъ въ приемную, чтобы прочитать...
нѣть, прописать... или да, точно, прочитать и прочи-

таль, перечиталъ, нѣть, зачиталъ... голова кружится—
жарко — не могу писать... лягу прочитать.

«Дорогой товарищъ мой!

«Давно мы съ тобою не видались. Какъ вышли изъ лицея, подали на прощаныи другъ другу руки и разошлись по разнымъ дорогамъ: ты зажилъ въ деревнѣ, а я отправился къ своему дядѣ, командовавшему мѣ уланскимъ полкомъ, получилъ *virtuti militari*, чинъ поручика, и теперь стою съ полкомъ въ уѣздѣ. Славный уѣздѣ! помѣщиковъ пропасть, ребята все веселые, *хорошенькихъ* бездна — извини за армейскій слогъ: гдѣ намъ угоняться за вами, столичными! У насъ, вмѣсто зеркала блестаетъ свѣтлой сабли полоса, и диваны замѣняютъ куль овса, какъ тамъ поется въ этой гусарской пѣснѣ — ты знаешь; я не мастеръ былъ и въ классѣ заучивать стихи; грѣшенъ только въ четырехъ строкахъ, которая профессоръ приводилъ въ примѣръ слога, не помню какого роста, чуть ли не высокаго, и за которые я сидѣлъ три дня въ карцерѣ; врѣзались въ память проклятые! вотъ они, возьми ихъ себѣ на здоровье:

Хоть съ вами бѣ Россы къ намъ достигли
Поящи западъ быстрины,
Хотѣ бы вы на насъ воздвигли
Союзы ваши всѣ страны...

А дальше, хоть убей, не знаю. Желалъ бы и этихъ не помнить, да запали въ голову какъ смертный грѣхъ. А за стихи ты, по старой дружбѣ, сослужи службу: вышли по первой почтѣ двѣ пары эполетъ, одну форменную, а другую бальную, побольше, потолще, поблестящее, со всевозможными блѣстками. Чѣдѣ будетъ стоять,

деньги я вышию. А propos! Я забылъ-было! Въ здѣшнемъ уѣздѣ живеть нашъ товарищъ Ш.; растолстѣль, братецъ; все спить послѣ обѣда, а у него сестрица — объяданье, такая сантиментальная! Я къ нимъ очень часто ъезжалъ прежде съ корнетомъ фон-Шпекъ. Лихой малый, говорить по-нѣмецки, и по-русски объясняется порядочно: можно понять; играетъ шибко — вотъ бѣда! Такой бѣшеный нѣмецъ: все ставить на карту, пока есть чтѣ на немъ; радь бы и душу загнуть на уголъ, да на чтѣ кому она? никто и въ грошъ не приметь! прошли времена Громобоевъ...

Съ нимъ было уморительное приключение: сестрица Ш. начала на него заглядываться; онъ быть дорогой гость въ домѣ. Однажды Шпекъ проигрался въ пухъ и цѣлую недѣлю питался картофелемъ и солью; я, ъедучи къ Ш., взялъ Шпека съ собою. Дорогою Шпекъ мнѣ рассказалъ о своемъ картофельномъ постѣ. Пріѣзжаемъ — намъ очень рады. Приходитъ пора обѣдать. Шпекъ съ удовольствиемъ посматриваетъ въ столовую. Сѣли за столъ: первое кушанье — картофельный супъ; я посмотрѣлъ на Шпека и не могъ не улыбнуться; подаются соусъ картофельный, другой тоже изъ картофеля, жареный картофель и пирожное изъ картофельной муки. Шпекъ то блѣднѣлъ, то краснѣлъ; онъ принялъ это въ насыщку, тѣмъ болѣе, что при всякой перемѣнѣ черные глазки т-ле Ш. быстро посматривали на Шпека. Я человѣкъ неслышкомъ тонкій, а каюсь, подумалъ, что это насыщка на нѣмецкую натуру моего товарища. Послѣ обѣда Шпекъ закапризился ъехать домой; я боялся, чтобъ онъ не состроилъ какой сцены, и мы уѣхали.

Дорогою Шпекъ разразился въ проклятияхъ. «Дьяволъ бы побралъ всѣхъ этихъ быстроглазыхъ!» кричалъ онъ:

«сама дала мнѣ поводъ волочиться за собою, а теперь издѣвается. Да чтѣ она мнѣ? Еслибъ не ея имѣніе я и не смотрѣлъ бы на нее. Я знаю себѣ цѣну; въ сюртукѣ еще ничего, а надѣну уланскій мундиръ — всѣ дамы засмотрятся на меня; выбирай любую! Рѣшительно голоденъ; въ желудкѣ пусто какъ въ карманѣ! А вы, чай, и хлѣба не видали, Федотовъ?»

Федотовъ, денщикъ Шпека, сидѣвшій на козлахъ вмѣстѣ съ моимъ кучеромъ, сдѣлалъ пол-оборота направо и, приподнявъ фуражку, отвѣчалъ: «Никакъ нѣтъ-съ, ваше благородіе, до отвалу накормили; едва могу сидѣть на козлахъ, да и ко мнѣ прибѣгала только что мы пріѣхали, горничная барыни, да все спрашивается: «да скажи, Федотычъ, что твой баринъ больше всего любить?» — Наше дѣло служивое, ваше благородіе; я и говорю: «вотъ такихъ чернавочекъ». Она хватъ меня по рукѣ, да и говоритъ: «не о томъ спрашиваются; что твой баринъ любить кушать?»

— Все, чтѣ люди єдятъ.

— Да чтѣ больше всего єсть?

— Коли голоденъ, что подашь первое, то и єсть больше всего.

— Да чтѣ чаще всего ему готовятъ?

— Вотъ съ недѣлю, моль, все єсть картофель.

— Такъ бы и давно! — и побѣжала отъ меня словно угорѣлая.

Шпекъ, слушая разсказъ денщика, былъ въ восторгѣ. Теперь объяснилась причина картофельного обѣда: ему хотѣли угодить. Я поздравлялъ Шпека съ завоеваніемъ, взялъ съ него честное слово послѣ вѣнца купить мнѣ одному бутылку шампанскаго, а я обязался при немъ и при женѣ его выпить. Вчера бутылка выпита,

свадьба была нешумная — только свом. Шпекъ едва утерпѣлъ, чтобы въ день свадьбы не сѣсть играть отъ радости. Его молодая супруга была въ восхищении; ея черные глазки такъ и ссыпалы искры... Чрезъ мѣсяцъ назначено огромный балъ у молодыхъ, а тамъ и пойдутъ танцы — то у того, то у другаго изъ родственниковъ. Очень радъ, что узналъ твой адресъ; поспѣши выслать эполеты къ этому времени; авось и мы выкинемъ такую штуку... Прощай, топ ange, какъ пишутъ молоденьки пансіонерки. Не забудь твоего друга.

«А. Завитакъ.»

25 января.

Третій день, какъ я началъ прохаживаться по комната; силы мои быстро возстановляются. Сегодня я уже могу писать и докончить описание ужаснаго дня... Два раза перечиталъ я письмо Завитаева и началъ читать уже въ третій разъ, какъ понялъ страшную истину и судорожно измѣялъ его въ рукѣ. Мысль, что Завитаевъ ничуть невиноватъ, быстро мелькнула въ умѣ моемъ; я молча спряталъ письмо въ карманъ; въ это время кольцо съ незабудкою блеснуло мнѣ въ глаза, я сорвалъ его съ пальца и хотѣлъ выбросить въ окошко.

— Погодите, ваше благородіе, сказалъ сторожъ Егоръ.

- А что?
- Вы хотите выбросить на улицу колечко.
- Тебѣ какое дѣло?
- Такъ, вѣдь оно, кажись, золотое?
- Ну, да.
- Пожалуйте лучше мнѣ его.
- А тебѣ на что?

— У меня, сударь, есть дочка, девчонка лѣтъ пятнадцати, да какая охотница до перстеньковъ.

— Нѣть, еслибъ ты хотѣлъ его пропить въ кабакѣ, я, можетъ-быть, отдалъ бы тебѣ его, а дочери твоей не отдаамъ. Не хочу я, чтобъ въ добрыхъ рукахъ было это кольцо.

— На улицѣ могутъ поднять его и добрые люди.

— Это правда; спасибо за совѣтъ.

Я спряталъ предательское кольцо въ карманъ; но оно не давало мнѣ покоя, шевелилось, жгло меня. Пойду къ Невѣ, думалъ я, и брошу въ Неву гадкій перстень; но Нева такъ хороша, всегда такъ величественно, благородно несеть свои синія, прозрачныя волны: не хочу осквернить ее моимъ кольцомъ. Въ этихъ мысляхъ шелъ я по Невскому и уже былъ на Полицейскомъ мосту. Была оттепель; у ногъ моихъ, какъ змѣя, вилась грязная Мойка; ея густыя, зловонныя струи лѣниво переливались въ широкой проруби... «Вотъ достойное мѣсто для *ея* подарка», подумалъ я, досталъ кольцо, положилъ его на руку, по старой привычкѣ попаловаль его, и щелчкомъ сбилъ въ Мойку. Долетая до воды, оно еще разъ сверкнуло, повернулось ко мнѣ голубымъ цвѣточкомъ и — ушло на дно.

Въ эту минуту что-то будто порвалось въ груди моей, и я почувствовалъ необыкновенно-пріятную теплоту; я кашлянулъ — кровь хлынула изъ горла. Пришелъ на квартиру, я сѣѣ пару апельсиновъ, выпилъ стакана два со льдомъ воды и волненіе крови унялось. Я сталъ, по-видимому, спокойнѣе, даже сѣѣ писать свои записки, но не могъ кончить... Иванька говорить, что онъ нашелъ меня въ креслѣ въ обморокѣ, уложилъ въ постель, и я на третій день едва очнулся отъ сильного

бреда. Доктора взяли меня въ руки, поехались порадкомъ надо мною, и травили цѣльми стаами азыхъ пиявокъ, и чёго не дѣлали они, а спасибо — помогли.

1 февраля.

Я хочу не думать о *ней*, я презираю *её*; а несносное воображение безпрестанно мнѣ *её* представляетъ; она не стоитъ того, чтобы я о *ней* думалъ: она хоть и хорошенький бюстикъ, но безъ души; ей глаза хоть и глядять такъ упоительно, но въ нихъ свѣтится огонь сладострастія — и больше ничего; ея улыбка хоть и очаровательна, но полна лжи... такъ вовсе я не хочу думать о *ней*, хочу заставить себя забыть ее, и между темъ все больше думаю... Странное созданіе человѣкъ!

3 февраля.

Сегодня я проснулся; мой Иванька стоять у постели моей и плачеть.

— О чёмъ ты плачешь? спросилъ я его.

— Ничего, отвѣчалъ онъ, смѣшившись: — такъ.

— Быть не можетъ; развѣ ты боишься сказать мнѣ?

— Вотъ видите что. Вы спали, а я смотрѣлъ на васъ, да мнѣ даже страшно стало: лежите вы блѣдные, ни кровинки въ лицѣ, словно мертвый; щоки запали, на рукахъ хоть кости считай!... Такой ли вы были дома, какъ прѣхали изъ лицея, подумалъ я, кровь съ молокомъ!... Бывало, смыетесь, такъ въ пятой горницѣ смынино, а какъ сядете на коня, на черкеса, да какъ пуститесь по степи, ястреба васъ, бывало, не обгонятъ!... А теперь что?... Ни живой, ни мертвый, голосу не отведете. И зачѣмъ мы прѣхали въ этотъ Петербургъ? что тутъ хорошаго? Я съ первого дня покачалъ

головою, какъ нарядили въ узкія нѣмецкія брюки. Сейчасъ увидѣть, что тутъ толку мало... Сколько вотъ служите, а и зюлотовъ не даютъ вамъ. А знаете что?

— А что, Иванька?

— Пойдемъ домой, пойдемъ въ наши степи. Тамъ у насъ весело, тамъ широко, привольно, много полей, много всякаго хлѣба, много плодовъ — всего довольно. Чего намъ искать здѣсь? Что мы потеряли? Выздоровливайте, да пойдемъ скорѣе!... Станете гулять по степи, стрѣлять дичь, опять станете веселы... Дасть Богъ женитесь, а тутъ ей-богу, вы умрете.

И добрый Иванька плакалъ и царапалъ мои руки...

— Полно, Иванька, перестань, я и самъ думаюѣхать.

— И слава Богу! Заживемъ опять дома, уѣдемъ отсюда! Чѣдь это за городъ! безъ гроша воды не дадутъ напиться, а войдешь въ лавочку, тотчасъ бороды на смѣхъ подымутъ: и «хохоль голоухій», и то и другое... Богъ съ ними!

6 февраля.

Я изъ департамента получилъ записку, въ которой экзекуторъ, по приказанію начальства, приглашаетъ меня сегодня же явиться на службу, а въ случаѣ невозможности — прислатъ просьбу объ увольненіи. Даѣе говорится, что я только занимаю мѣсто, безпрестанно болѣнъ, отчего останавливается теченіе дѣлъ: другой, дескать, быль бы полезнѣе на моемъ мѣстѣ. Я съ радостью написалъ просьбу и отправилъ.

7 февраля.

Мой Иванька разсуждалъ благоразумно. Чѣдь я тутъ буду дѣлать? Пойду въ деревню. Матушка одна: ей надобно пособить въ управлѣніи имѣніемъ, пристроить

братьевъ и сестеръ. Рѣшено: завтра же пишу къ матушкѣ, чтобы выслала денегъ на прогоны, да и расплатиться здѣсь: я въ болѣзнь задолжалъ таки-порядочно — и прощай Петербургъ, въ тебѣ очень-холодно.

Иванка съ утра поетъ въ-полголоса свои родныя пѣсни и собирается въ дорогу; ему кажется, будто мы завтра должны выѣхать; я и самъ цѣлый день мечталъ о тихой деревенской жизни... И иногда мнѣ приходило на мысль: не будетъ ли воспоминаніе о *ней* тревожить меня въ мѣстахъ, бывшихъ свидѣтелями первой любви нашей? Нѣтъ, я уже простилъ *её!*

Кто сердцу юной дѣвы скажеть:
Люби одно, не измѣнись!...
Утѣшься, другъ! — она дита.
Твое унынье безразсудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя...

Эти стихи великаго сердцевѣдца нашего, Пушкина, примирили меня съ нею, обвѣяли тишиною тревожную мою душу. Мнѣ жаль даже кольца: зачѣмъ я его бросилъ, да еще въ такую скверную тину! оно бы мнѣ напоминало лучшія минуты въ жизни, которая даровала мнѣ судьба; не всегда же быть человѣку вѣчно счастливу:

Порою всѣмъ дается радость;
Что было, то не будетъ вновь.

Нѣтъ, я былъ злымъ человѣкомъ въ минуту, когда бросилъ перстень въ Мойку... Спасибо Пушкину, онъ успокоилъ меня. Какой-то, чуть-ли не греческій, балагуръ сказалъ, что поэта должноувѣнчать и выпроводить изъ города. Желалъ бы я посмотрѣть въ лицо этому мудрецу; оно должно быть нелѣпѣе суздальской картинки.

8 февраля.

Сегодня я только-что сталъ писать домой о своей отставкѣ и о высылкѣ мнѣ денегъ на прогоны, какъ Иванька подалъ мнѣ письмо съ почты. Со смерти отца я не получалъ ни одного пріятнаго письма, и какъ прежде, было, бываетъ сердце отъ радости, когда увидишь киверъ почтальона, такъ теперь трепещетъ оно отъ какого-то темнаго предчувствія. Я взялъ письмо и даже боялся его распечатать; почеркъ Сутяговскаго — странное дѣло! «Теперь уже я не поѣду», — сказалъ я Иванькѣ, пробѣжавъ письмо: «а ты одинъ будешь дома...» Онъ робко посмотрѣлъ на меня, какъ-бы стараясь прочесть что-нибудь въ глазахъ моихъ, и когда я ему прочелъ письмо Сутяговскаго, громко закричалъ: «Этому не бывать! я уйду съ первой станціи!»

«Милостивый государь,

«Яковъ Петровичъ!

«Любя васъ и уважая память покойнаго родителя вашаго, я спѣшу извѣстить васъ о непріятномъ положеніи дѣль вашихъ: г. Ивановъ оказался несостоительнымъ по причинѣ различныхъ неудач въ соляной операциі, и ваше имѣніе, бывшее по сему случаю въ залогѣ, продано съ публичнаго торга. Я, какъ ближайшій сосѣдъ, не хотя пустить его въ незнакомыя руки, купилъ оное ѿ законнымъ образомъ введенъ во владѣніе; но, разсматривая ревизскія сказки, я не отыскалъ въ наличности одного человѣка, Ивана Добряка; а какъ по справкамъ оказалось, что онъ мой крестьянинъ, Иванъ Добрякъ, находится у васъ въ услуженіи, то я и отнесся въ санктпетербургскую полицію о высылкѣ означенного Ивана на мой счетъ

по этапу, и, не желая огорчить вась нечаянностью, рѣшился писать къ вамъ объ этомъ. Впрочемъ, уважая память покойнаго вашего батюшки, я ничего не стану требовать съ вась за услуги означенного моего крестьянина, до отправлениія его изъ Петербурга, надѣясь, что вы, съ вашей стороны, не оставите за сіе снабдить его на дорогу приличнымъ платьемъ. Я полагаю, что вы, какъ человѣкъ ученый всяkimъ наукамъ, не станете скорбѣть о потерѣ пустаго имѣнія. Блага земныя ненрочны, и въ свѣтѣ все такъ дѣлается, какъ сказано въ новѣйшихъ Россійскихъ прописяхъ: «Всякій въ свою очередь является на сцену и сходитъ съ нея». Я учился по этой прописи и теперь мой сынокъ Павлуша ее пишетъ. За симъ, при желаніи вамъ всѣхъ благъ, имѣю честь быть вашимъ покорнымъ слугою

«И. Сутяговскій.»

183... года, января 24.

С. Грабуново.

9 февраля.

Сегодня получилъ письмо отъ матушки. Она пишеть, что когда Ивановъ объявилъ себя банкротомъ, Сутяговскій пріѣхалъ къ ней, уговорилъ ее не писать объ этомъ ничего комнѣ, чтобы не потревожить меня — какое человѣколюбіе! — а самъ Сутяговскій плакаль передъ нею, говоря, что и онъ немного виноватъ въ этомъ, совѣтовавъ покойнику дать залогъ Иванову и, сознавая свою ошибку, самъ поѣхалъ хлопотать объ этомъ въ губернскій городъ, откуда возвратился уже владѣтелемъ нашей деревни. Сама же матушка съ дѣтьми, не желая пользоваться ничьимъ снисхожденіемъ, наняла въ городѣ у одного мѣщанина небольшой домикъ и живеть кое-какъ. Нашъ домъ занялъ какой-то шлахтичъ, управитель Сутяговскаго.

16 февраля.

Иванька отправился по этапу. Тяжело было мнѣ разстаться съ нимъ: онъ у меня былъ одно существо, съ которымъ я могъ дѣлить радость и горе; онъ понималъ меня, сочувствовалъ мнѣ, когда я говорилъ о родинѣ... Теперь я одинъ, сирота въ шумномъ городѣ!... Прощаясь, я уговорилъ Иваньку не бѣгать ни съ первой, ни съ какой станціи, совѣтовалъ честно служить новому господину, и мы разстались... Чрезъ четверть часа опять входитъ Иванька въ комнату.

— Что тебѣ надобно?

— А вотъ, баринъ, я нечаянно унесъ вашъ ножикъ: онъ былъ у меня въ карманѣ, да я такъ и ушелъ; вспомнилъ дорогою, да такъ стало совѣстно, что подумаете, можетъ-быть, будто я нарочно взялъ его. Едва уговорилъ солдата воротиться къ вамъ на минуту.

Онъ подалъ мнѣ ножикъ; руки бѣднаго Иваньки дрожали, крупные слезы падали на землю.

Еще разъ обнялъ я моего доброго слугу, и болѣе уже не видалъ его.

17 февраля.

Теперь я *долженъ* остаться въ Петербургѣ, *долженъ* работать, жить скромно, *долженъ* сколько-нибудь помогать моему бѣдному семейству: я не допущу, чтобы матушка, добрая матушка, которая такъ любить меня, дожила до необходимости питаться трудами рукъ своихъ. Я не напрасно учился; здѣсь много пансионовъ, отыщу себѣ гдѣ-нибудь мѣсто — надѣюсь, что мой аттестатъ будетъ уваженъ учеными людьми — и стану передавать свои знанія молодымъ людямъ. Мнѣ кажется, нѣтъ святѣй этой обязанности... Я понимаю науку не какъ сухое собраніе правилъ, которыя *долженъ задолбить* себѣ

въ голову бѣдный ученикъ — нѣть, наука, по-моему, есть известная форма, посредствомъ которой мы передаемъ молодымъ умамъ живую идею, обогащая умъ знаниемъ и вмѣстѣ согрѣвая душу любовью къ прекрасному, высокому... А прежде всего мнѣ нужно расплатиться съ долгами.

20 февраля.

Мебель, часы и всѣ лишнія вещи проданы; денегъ было довольно, а какъ расплатился съ долгами, и въ аптеку, и за квартиру, и за то, и за другое — осталась въ карманѣ двадцати-пяти-рублевая ассигнація и гривенникъ; на эти деньги не раскутишься, а пока мѣста нѣть... Сегодня же поищу квартиру и завтра перѣду на нее. Говорить, должно искать дешевую квартиру на Петербургской Сторонѣ.

24 февраля.

Едва отыскалъ квартиру по своимъ деньгамъ — все дороги. Теперь моя резиденція въ Теряевой улицѣ на Петербургской Сторонѣ. Кто бывалъ на Петербургской, на Большомъ проспектѣ, или около кадетскихъ корпусовъ, тотъ не имѣеть никакого понятія о характерѣ Теряевой улицы: тамъ аристократія Петербургской Стороны, здѣсь чистый плебсъ; тамъ домики довольно-опрятные, выкрашенные, — здѣсь мрачного, желѣзного цвѣта; тамъ вы иногда увидите и солиднаго чиновника, Ѣдущаго на своей лошадкѣ, и атласный салопъ, иногда услышите звуки фортепьяно, если погода позволяетъ открыть оконечко; иногда на улицѣ наступите ногою на сотерновую пробку или на листокъ газеты, — здѣсь подобныя вещи баснословіе! Тишина изумительная; въ шесть часовъ на улицѣ нѣть живой души; съ вечера упадетъ снѣжокъ, а утромъ вы увидите подъ

вашими окнами свѣжіе слѣды волка!... Можетъ-быть лѣтомъ будетъ веселѣе.

Я занимаю маленькую комнату отъ жилицы, за 15 рублей ассигнаціями, со столомъ, на условіи, учить грамотѣ ея семилѣтнаго сына *Ваську*. Хозяйку мою зовутъ Анисья Карповна, а домъ принадлежитъ какому-то отставному арапу. Впрочемъ, онъ человѣкъ бѣлый: я его разъ видѣлъ.

2 марта.

Цѣлую недѣлю ходилъ по пансионамъ — и вездѣ отказъ. Всѣ спрашиваютъ: кто рекомендовалъ васъ? Былъ и у т-г Кукы, и у т-г Коко, и у т-те Шнейбахъ, и у т-те Гольцкопфъ, и у цана Ютржицкаго, и у десятаго, и у двадцатаго — не береть!... Одинъ посылаетъ къ другому, другой — къ третьему... Еще пытаюсь; говорить, гдѣ-то за Черною-Рѣчкою есть, на болотѣ, пансионъ отставнаго капитана Лисицына, и у него всегда найдешь вакансію, лишь бы подешевле.

«Уживетесь ли вы съ нимъ долго — за это не отвѣчаемъ: у него никто больше мѣсяца не выживетъ, а принять-то онъ приметъ» — такъ говорили люди о Лисицынѣ. Люди не всегда правду говорятъ, и иногда охотнѣе скажутъ дурное, нежели хорошее, я думаю; притомъ же не умирать мнѣ съ голоду; пойду въ пансионъ на болотѣ.

4 марта.

Договоръ съ Лисицынымъ сдѣланъ. Я вотъ уже недѣлю учу его школу читать, писать и ариѳметикѣ за 50 рублей ассигнаціями въ мѣсяцъ. Я долженъ быть въ пансионѣ каждый день съ семи часовъ утра до двѣнадцати, и съ двухъ часовъ до семи вечера; а опаздываешь минуты двѣ-три — все Лисицынъ записываетъ и,

при окончаніи мѣсяца, слагаетъ минуты въ часы и, по разсчету, вычитаетъ изъ жалованья.

Незавидна моя участъ: съ утра до ночи толковать безмозглымъ шалунамъ одно и то же, толковать имъ изъ послѣднихъ силъ, что дважды-два — четыре, и замѣтать, что слушатели въ это время или спятъ, или рисуютъ съ меня карикатуры, между-тѣмъ, каждый день выносить невыносимо-холодный и презрительный взглядъ сѣдаго капитана Лисицына, регулярно каждый день слышать одну и ту же фразу: «У васъ мало старанія! Получая деньги, надобно заниматься дѣломъ!...» Надменный человѣкъ! будто я не понимаю своихъ обязанностей... Видно, онъ проводитъ свой вѣкъ, обучая рекрутъ!... О, деньги, деньги! сидите вы у меня на сердцѣ.

Говорить, бѣдность не порокъ. Безсовѣстная ложь: порокъ бѣдность, ужасный порокъ, отлучающій человѣка отъ общества, кладущій печать отверженія на лицо человѣка, убивающій душу и тѣло!... Одна религія спасаетъ меня... Благославляю минуту, въ которую она озарила меня истиннымъ свѣтомъ Евангелія... Придешь домой съ душою истерзанною, съ тѣломъ истомленнымъ, станешь на колѣни передъ образомъ Спасителя, простишь обиды гордому человѣку — *не вѣдаетъ бо что творитъ* — и слезы и молитвы текутъ изъ успокоенного сердца, и всѣ печали отлетятъ отъ тебя, и станеть свѣтло и легко на душѣ, и духъ и тѣло укрѣпятся на завтра, на новую битву съ жизнью, на новые страданія..

5 апреля.

Мѣсяцъ прошелъ. Я получилъ жалованье. Съ меня вычли рубль пять копеекъ — отняли сухарь у нища.

го!... Изъ этихъ денегъ пошли красную ассиграцію матушкѣ...

27 мая.

Настала весна и мученія мои умножились: на дачи наѣхало пропасть празднаго народа и, гуляя отъ нечего-дѣлать, всякая сволочь заходить въ пансионъ. Лисицынъ сейчасъ начинаетъ экзаминовать воспитанниковъ, для поддержанія славы заведенія. Приходящіе отъ скучи даютъ Лисицыну разные совѣты, а онъ сейчасъ же проводить ихъ въ исполненіе...

Бѣда учить русскому языку! Каждый лавочникъ, умѣя записать расходъ и приходъ, воображаетъ, что онъ знаетъ русскій языкъ! и каждый лавочникъ — смѣю васъ увѣрить — дасть какой-нибудь безтолковый совѣтъ касательно русскаго языка, только попросите его. Начнешь опровергать какую-нибудь нелѣпость, Лисицынъ сдвинеть сѣдые брови и скажетъ такую любезность, что всѣ внутренности перевернутся; а молчишь... О бѣдность!...

16 июня.

Лѣто не веселитъ меня; даже ни разу я не былъ на островахъ... Богъ съ ними! Тамъ все такія веселыя лица... Погода непостоянная: то жаръ нестерпимый, то холодъ съ дождями. Придёшь изъ пансиона, поучишь Ваську, помолишься — и спать пора... Моя хозяйка очень добрая баба; ей лѣтъ за пятьдесятъ, бывала замужемъ за солдатомъ, три года какъ овдовѣла и живеть одна съ сыномъ, занимаясь мытьемъ бѣлья.

2 сентября.

Приходитъ осень; падаютъ листья, вечера дѣлаются длиннѣе, по утрамъ морозъ бѣлѣетъ по заборамъ. Моя

грудь начинаетъ опять болѣть; я два дня не былъ въ пансіонѣ — не могъ дойти туда: въ ногахъ тяжело и во всемъ тѣлѣ какая-то слабость, все спать хочется. На третій день Лисицынъ прислалъ мнѣ отказъ, извѣщая, что онъ не намѣренъ содержать богадельню, что больной человѣкъ, не принося пользы, наносить уже вредъ. При концѣ онъ прибавилъ, что отказываетъ мнѣ не изъ каприза, но *по долгу*, и весьма обо мнѣ сожалѣеть.

Я замѣтилъ, что Лисицынъ не такъ золъ отъ природы, какъ выказывается въ своихъ поступкахъ. Онъ прочелъ «Исторію Наполеона», замѣтилъ, что тотъ часто, для пользы государственной, ставилъ въ ничто и жизнь и счастіе одного человѣка, и сталъ примѣнять это къ своему пансіону... Слабость человѣческая! онъ даже и руки складываетъ *à la Napoleon*. Богъ ему судья!

Анисья обѣщала мнѣ отыскать работу: переписывать что-нибудь; она моетъ бѣлье на какого-то сочинителя. Спасибо, хоть та польза отъ моей службы въ департаментѣ, что выучился четко писать. Работать нужно. Послѣднія деньги я отправилъ къ матушкѣ, въ надеждѣ на жалованье изъ пансіона. Чѣмъ стану жить, чѣмъ заплачу за квартиру? а обременять собою добрую старушку-хозяйку я не намѣренъ.

4 сентября.

Былъ сочинитель, это — Единорогъ, котораго я видѣлъ у дядюшки. Онъ не узналъ меня — и къ лучшему! Онъ мнѣ привезъ свое сочиненіе.

— Будетъ ли имѣть эта книга успѣхъ? спросилъ я.
— Невѣроятный; я ее *посвящаю* одному важному

лицу — и я въ барышахъ. Для этого вотъ вамъ четьре печатныя книги; вы выпишите только изъ нихъ въ одну общую тетрадь все, чтò отмѣчено карандашомъ — и книга составится.

— А эта тетрадь? спросилъ я.

— Здѣсь ничего нѣтъ, кромѣ заглавія; вы въ эту тетрадь и выписывайте. Надѣюсь, что мы останемся довольны другъ другомъ. Современемъ я похлопочу о васъ; графъ Б., графиня С., баронъ П. и всѣ за васъ постараются — это все мои друзья; а между-прочимъ, позвольте спросить, чтò вы берете съ листа?

Этотъ вопросъ сбилъ меня съ толку; я покраснѣлъ и едва могъ сказать:

— Я не знаю; чтò вы другимъ платите?

— Я моему писарю плачу сорокъ копеекъ мѣдью съ листа.

— И я на это согласенъ.

— Но, позвольте, любезнѣйшій, тотъ пишеть съ писанаго — это труднѣе, а вы будете писать съ печатнаго: здѣсь нѣтъ никакой трудности — читай-себѣ и пиши! По этому, я надѣюсь, вы возьмете по 35-ти копеекъ съ листа?

— Пожалуй.

— Еще одно условіе: чтобъ завтра къ вечеру все было готово; я долженъ поднести мою книгу его превосходительству въ день его рождения. Прощайте, тороплюсь на завтракъ къ князю Прохору Иванычу.

Единороговъ уѣхалъ на прекрасной парѣ собственныхъ лошадей.

5 сентября.

Сегодня къ вечеру я окончилъ работу, но уже не могъ самъ отнести ее: моя грудь разболѣлась — и не

удивительно: я написалъ въ сутки около тридцати листовъ. Кровь сильно показалась изъ горла. Холодно, а голова горитъ. Лягу въ постель.

6 сентября.

Я слегъ. Анисья принесла мнѣ отъ Единорогова деньги, безъ гравенника: «тѣ, сказалъ, послѣ отдать: мелочи нѣть. На долго ли станетъ этихъ денегъ? а мое здоровье все хуже и хуже. Анисья—добрая баба, а никакъ не соглашается топить у меня въ комнатѣ. «Богъ съ тобою» говорить: «теперь еще начинаются утренники, а тебѣ, кормилецъ, топи печку! Что же зимой дѣлать?» Хорошо ей ходить съ утра до вечера въ своей голубой шубѣ: ей тепло.

8 сентября. Утро.

Вѣрно я крѣпко боленъ: Анисья безъ моей просьбы истопила печку и пошла за докторомъ, какъ говорилъ Васька.

Вечеръ.

Къ вечеру пришла Анисья, ругая наповалъ всѣхъ докторовъ: «Экіе они какіе!» ворчала старуха: «которому ни разскажу о тебѣ, всѣ говорятъ: «некогда, бабушка». Въ-силу отыскала одного и оставила адресъ».

Часа черезъ два пріѣхалъ докторъ — мальчикъ лѣтъ восемнадцати; онъ очень-важко вошелъ, поговорилъ со мною издалека, безпрестанно нюхая какія-то капли, будто я лежалъ въ чумѣ, сказалъ словъ пять по-латинѣ и увѣрялъ, что эта латинщина моя болѣзнь; по томъ прописалъ рецептъ на полулистѣ, приказалъ принимать микстуру (которая должна родится изъ его рецепта) чрезъ часть по ложкѣ, и уѣхалъ, объявивъ Анисьѣ, что въ другой разъ онъ ни за что въ свѣтѣ не прѣдетъ въ такую чертовскую даль.

4 октября.

Вотъ уже мѣсяцъ я лежу въ постели, и все въ одинакомъ положеніи: ни лучше, ни хуже. Не будь я слабъ, я быль бы совершенно здоровъ. На дворѣ октябрь; грязно, сыро; у меня надъ постелью появилась течь; въ комнатѣ тяжело пахнетъ глиною. Вчера продалъ послѣднюю книгу «Сочиненій Пушкина», подаренную мнѣ въ лицѣ за успѣхи въ наукахъ.

7 октября.

Сегодня отдалъ старый серебряный рубль Петра-Великаго, именинныи подарокъ моей матушки, когда я еще быль ребенкомъ. Двадцать лѣть я носилъ его съ собою; онъ быль мнѣ вдвойдѣ дорогъ — какъ память матушки и память о великомъ государѣ. Впрочемъ, я его отправилъ въ лавочку, съ уговоромъ выкупить современемъ. Нѣмного оправлюсь, и хоть стану дрова рубить, а достану денегъ на выкупъ.

8 октября.

Какой-то поэтъ сказалъ, что юноша вступаетъ въ свѣтъ въ вѣнкѣ изъ прелестныхъ цвѣтовъ. Человѣкъ живеть — и опытъ неумолимою рукою обрываетъ на вѣнкѣ, одинъ за другимъ, всѣ цвѣты; остаются подъ конецъ только засохшіе стебельки, которые, какъ терны, мучать человѣка. Въ этомъ вѣнкѣ онъ сходитъ въ могилу... Давно ли я смотрѣмъ на жизнь какъ на веселый праздникъ! Всѣ люди были мнѣ пріятелями, всѣ девушки казались чистыми, непорочными Сильфидами. Я быль окруженъ родными; отецъ, матушка, братья любили меня... она — горькое воспоминаніе! — такъ жарко клялась въ безпредѣльной любви, въ вѣрности до гроба... мнѣ совѣстно за нея! И все исчезло, прошло

какъ сонъ, какъ разлетается отъ вѣтра позолоченная гора облаковъ... Я имѣть достатокъ и могъ помочь ближнему, а теперь моя матушка въ бѣдности, и я не могу помочь ей! Самъ лежу безъ куска хлѣба, одолженъ существованіемъ милостынѣ отъ бѣдной солдатской вдовы!...

Часто смотрю по цѣлымъ часамъ въ окно; у самаго окна стоитъ береза; на черныхъ безлистыхъ вѣтвяхъ ея трепещетъ запоздалый, блѣдный листочекъ... Гдѣ его товарищи, съ которыми онъ такъ сладко шептался въ знойные часы лѣта? ихъ давно умчали холодный вѣтеръ; онъ одинъ остался сироткою, и тихо лепечетъ между вѣтвями свои жалобы, пока порывъ бури не уничтожитъ туда,

Куда и листъ лавровый мчится
И легкій розовой листокъ!...

Мнѣ жалко бѣднаго листочка: его моетъ осенний дождь и нѣть товарища прикрыть его... защитить его. Его судьба похожа на мою. Я люблю его: онъ мнѣ родной... А далѣе, тамъ, за березою, несутся по небу сѣрыя тучи, одна другой темнѣе, мрачнѣе, тяжелѣе!... И день и ночь грустно тянутся онѣ, какъ погребальное шествіе за гробомъ прекраснаго лѣта. Куда летятъ онѣ, гонимыя буйнымъ вѣтромъ? и зачѣмъ летятъ онѣ?... Въ этомъ туманномъ небѣ, обремененномъ тяжелыми тучами, въ этомъ тоскливомъ вѣтра, какъ въ зеркалѣ, отражается душа моя. Мнѣ любо слушать и созерцать грустную природу... Современемъ вѣтеръ перенесеть облака, опять засвѣтить солнце—и міръ оживеть снова; а я?... Кто знаетъ, можетъ-быть, мнѣ придется сказать съ Жильберомъ:

Je meurs, et sur la tombe où lentement j'arrive,
 Nul ne viendra verser des pleurs.
 Salut, champs que j'aimais, et vous, douce verdure,
 Et vous, riant exil de bois!
 Ciel, pavillon de l'homme, admirable nature,
 Salut pour la dernière fois...

Во всякомъ случаѣ будущее отрадно—если не здѣсь, то тамъ, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія, тамъ отдохну отъ страданій...

16 октября.

Какъ благодѣтельна природа! При однообразномъ моемъ положеніи, при нестерпимой скучѣ, которая есть меня, какъ ржа желѣзо, она мнѣ даровала какую-то способность дремать; стоять только закрыть глаза — сейчасъ передо мною чудесныя картины: горы, лѣса, рѣки; все живеть, движется, говорить, поеть... невыразимо-пріятно! А между-тѣмъ я слышу шаги Анисы, или частый стукъ дождя по оконнымъ стекламъ.

Болѣе всего мнѣ представляются картины моего дѣтства. Кажется, утро. Солнце только-что поднялось надъ землею; вездѣ блеститъ роса; мы съ сестрою выбѣжали въ садъ и ёдимъ клубнику. Ягоды такія крупныя, сочныя... «Стыдно, дѣти, есть безъ спросу ягоды!» говорить маменька, отворяя окошко. — Мы такъ и сгорѣли отъ стыда!... Бѣжимъ въ комнаты, а на встрѣчу намъ папенька: «Куда, дѣти? ко мнѣ; на шею!» И мы бросились целовать его... Вотъ мы всѣ ёдемъ по степи въ линейкѣ, а вокругъ етолько цвѣтковъ, да такие душистые... Мы, дѣти, побѣжали срывать цвѣты — такъ весело! на цвѣтахъ садятся и ползаютъ хорошенкіе жучки — и золотые, и серебряные, и красные... Я подбѣгаю къ кусту ракиты... порхъ изъ куста птица и лолетѣла, свистя крыльями. «Какая это птица, папенька?» — «Стре-

петь». — «Угъ, какое странное название! слава Богу, она далеко улетѣла.» — «Ты трусь!» говорить папенька. «Нѣть, я не трусь, посмотрите» — и я иду къ ракитѣ, толкаю кустъ иногою, а сердце такъ и бьется, такъ и кажется, еще выпетить другой стрепетъ. Иногда въ иѣсколько минутъ выростаешь — и вотъ я казачий офицеръ, стою у оконка и слушаю дузъ школьниковъ на шелковицѣ, а между-тѣмъ думаю: «любить ли она меня?» Является она, полна невинности, очаровательно-хороша, улыбается мнѣ и даетъ цветокъ камелии; а хочу обнять ее... скрипнула дверь, я открылъ глаза — все улетѣло: и цветы, и сады, и чистое небо, и зелень лѣсовъ, и милые лица...

Опять дышешь гнилымъ воздухомъ, видишь сырья, гразныя стѣны. За окнами шумитъ дождикъ, и одинокій желтый листочекъ дрожитъ и трепещетъ отъ вѣтра на обнаженной вѣткѣ. Закроешь глаза — и снова являются знакомые образы, и снова душа полна блаженства. Такъ проходяты мои дни и ночи.

20 октября.

Поутру я смотрѣль въ окно и не видѣлъ уже желтаго листочка: онъ улетѣлъ куда-то темною ночью, и уже не кланяется мнѣ такъ привѣтно... еще я осиротѣлъ болѣе. Писемъ изъ дома нѣть; хоть бы еще разъ увидѣть руку матушки, поцаловать ея строки! А тучи идутъ по небу мрачнѣе вчерашняго...

21 октября.

Сегодня я всю ночь беспѣдоваль съ батюшкою.

— Скажите, пожалуста, говорилъ я ему: — вы живы и здоровы и даже попрежнему веселы, а мнѣ писалъ Щука-Окуневскій, что будто вы умерли.

— Нѣть, мой другъ, это неправда, отвѣчалъ батюшка.

— Я такъ и думалъ. Старый сплетникъ Окуневскій вѣчно лжетъ.

— Не брани человѣка; можетъ-быть, такъ надобно было.

Я началъ думать и убѣдился, что Окуневскій правъ, что иначе сдѣлать было нельзя, какъ написать ко мнѣ такое письмо. Послѣ долго мы говорили съ старикомъ. Восла Анисья—и видѣніе исчезло; но я ясно слышалъ слова «до свиданія!» и за Анисѣй въ темномъ углу что-то кивнуло мнѣ головой.

— Кто здѣсь былъ? спросилъ я у Анисѣи.

— Никого, батюшка; ты бредишь!

Я не хотѣлъ спорить съ доброю женщиной, а попросилъ придвигнуть ко мнѣ столикъ и подать мою памятную книжку.

— Куда тебѣ писать! сказала она, покачивая головою: — чай пера въ рукахъ не удержишь. Однако подала, и я пишу-пишу, а писать не хочется — такъ очаровательны видѣнія! такъ и хочется закрыть глаза... До пишу послѣ... чудесныя видѣнія... вотъ батюшка... вотъ еще кто-то

Недавно я былъ въ Большомъ театрѣ. Давали «Озеро Волшебницъ». Театръ былъ полонъ. Волшебница Тальони, обвязывъ рукою рѣзвую Шлефохтъ, неслась по сценѣ въ живомъ галопадѣ. Вотъ онѣ летятъ къ зрителямъ: минута — и удаляются въ глубину сцены, подъ прихотливые звуки оркестра, восхитительно улыбаясь,

сладострастно мани руки какого-то счастливца. Восторгу не было границъ, театръ дрожалъ отъ браво...

— Какъ вамъ нравится нашъ театръ? спросилъ одинъ мой знакомый у толстаго человѣка съ огромными усами, сидѣвшаго рядомъ со мною въ креслагъ.

— Изрядно! отвѣчалъ толстякъ.

— Кто этотъ жирный чудакъ? въ свою очередь спросилъ я, въ антрактѣ, знакомаго: — этотъ толстякъ, съ которымъ говорилъ ты?

— Извѣстный человѣкъ, даетъ чудесные обѣды! Откупщикъ Ивановъ.

— Онъ не здѣшній, какъ видно?

— Да, онъ недавно прїѣхалъ изъ...

— Мне кажется, онъ былъ банкротомъ?

— Богъ его знаетъ! впрочемъ, онъ выдастъ свою дочь замужъ за какого-то секретаря и обѣльиваетъ всѣ дѣла подъ его именемъ. Да мнѣ что за дѣло? Онъ славный малый; простовать немнога, немнога материаленъ, а обѣды даетъ поэтическіе. Хочешь, я тебя завтра представлю къ нему прѣмѣ въ столовую? По рукамъ, что ли? / А

— Ни за что въ свѣтѣ!

1840 г.

КУЛИКЪ.

ПОВѢСТЬ.

Всякъ куликъ свое болото хвалить.
Народная пословица.

Куликъ
Не великъ
А все-таки птица!
Философская пѣсня.

I.

Россія — страна богатая, изобилуетъ водами, лѣсами и пажитями; въ ней есть много золота и серебра, много драгоцѣнныхъ камней, а еще болѣе отставныхъ поручиковъ.

Я намѣренъ познакомить васъ съ однимъ изъ безчисленнаго множества этихъ поручиковъ, Макаромъ Петровичемъ Медвѣдевымъ; онъ служилъ въ кавалеріи корнетомъ года полтора, и вышелъ въ отставку поручикомъ вслѣдствіе разсужденія:

«Служба отъ меня много не выиграетъ; я тоже не хочу быть фельдмаршаломъ, да, признаться, и трудно!... Много есть людей бѣдныхъ, которые рвутся служить, а

у меня порядочное состояніе; уѣду въ деревню, женюсь-
себѣ, да и буду жить бариномъ».

Подумалъ, взялъ оставку, сѣлъ въ коляску и уѣхалъ.

Пріѣхавъ на родину, Медвѣдевъ сшилъ себѣ модную
венгерку, привелъ въ порядокъ охотничыи ружья, ку-
пилъ въ Ромнахъ на ярмаркѣ парные дрожки и же-
нился на хорошенъкой брюнеткѣ, Аннѣ Андреевнѣ, до-
чери сосѣднаго помѣщика.

Теперь Медвѣдевъ женатъ, независимъ, спокоенъ:
живи - себѣ да толстѣй! Завидная перспектива, право
завидная!

Не улыбайтесь такъ злу, мой пріятель съ пожелѣв-
шею, поношенною физіономіей; вы ненавидите всѣхъ
толстяковъ, потому-что сами высохли отъ злости, какъ
насѣкомое; вѣчно бранитесь, клевещете, сплетничаете,
какъ старая дѣва; пѣняйте на себя, сами виноваты...
Изъ-за чего хлопочете? Согласитесь, что тихая дере-
венская жизнь чего-нибудь да стѣтитъ? Тѣнистый садъ,
съ своими золотыми, румяными плодами, чистое озеро,
по которому такъ весело гуляетъ ваша лодка, прудъ об-
саженный плакучими ивами, на прудѣ подъ-вечеръ роб-
кое стадо дикихъ утокъ, за прудомъ звонкія пѣсни по-
селянокъ идущихъ съ поля домой... А поле съ душисты-
мъ сѣнокосомъ? а молодая супруга - красавица, не
растратившая первыхъ дней жизни въ безсонныхъ но-
чахъ однообразныхъ баловъ, супруга, привѣтствующая
возвратъ вашъ крѣпкимъ поцалуемъ? а этотъ свѣжій,
чистый поцалуй?... ай-ай! сколько тутъ поэзіи, сколь-
ко... нѣтъ, полно, лучше замолчатъ.

Вы теперь знаете отставнаго поручика Медвѣдева,
знаете, что онъ женатъ — кажется, и все тутъ. Позволь-
те, еще есть одно замѣтительное лицо: это — Петрушка,

слуга Макара Петровича, его крестьянинъ и вмѣстѣ съ тѣмъ крестный сынъ. Макаръ Петровичъ почти рось вмѣстѣ съ Петрушкою, и когда уѣзжалъ въ полкъ, то уговорилъ покойнаго своего отца отдать Петрушку въ уѣздное училище. Баринъ служилъ, крестьянинъ учился. Макаръ Петровичъ, пріѣхавъ домой, нашелъ Петрушку красивымъ 18-ти лѣтнимъ парнемъ, да еще грамотнымъ и проворнымъ; онъ взялъ его къ себѣ, любилъ какъ сына, и даже немножко баловалъ, какъ говорили сосѣди, позволяя читать всѣ книги изъ своей доревенской библіотеки.

II.

Чацкій: !

Молчалинъ: Мне завѣщалъ отецъ....

Горк отъ Ума.

Медвѣдевъ въ началѣ ноября, часу въ седьмомъ вечера, съ своею супругою пилъ чай; они сидѣли на диванѣ передъ круглымъ столомъ, на которомъ кипѣлъ свѣтлый бронзовыи самоваръ, и въ тяжелыхъ старинныхъ подсвѣтникахъ горѣли двѣ свѣчки; у двери стоялъ, съ подносомъ въ рукахъ, Петrushка; на қоврѣ, у ногъ Макара Петровича, сидѣлъ Трезоръ—большая лягавая собака.

Въ комнатѣ было тихо. Изрѣдка раздавалось протяжное: *ти-бо! ти-бо!* потомъ скорое: *пиль!* потомъ нѣсколько секундъ было слышно, какъ Трезоръ ъль сухарь, и опять все умолкало. Анна Андреевна, отъ-нечего-дѣлать, очень прилежно ловила ложечко въ чашкѣ чайный листочекъ; Макаръ Петровичъ затягивался и потомъ какъ-то особеннымъ образомъ перепускалъ чрезъ усы табачный дымъ.

Супруги, съ позволенія скакать, скучали—не то, что-

бы они наскучили другъ другу — Боже сохрани! нѣть нѣть; а только просто скучали. Осеній дождь стучаль однообразно въ окна, самоваръ шепталъ какую-то усыпительную легенду, свѣчи горѣли тускло. . Въ такія минуты въ деревнѣ особенно пріятно зѣвается. Тогда гость — дорогой человѣкъ, неоцѣненный подарокъ, благодѣяніе судьбы.

Въ гостиной Макара Петровича тишина продолжалась по-прежнему. Вдругъ Трезоръ тревожно поднялъ голову, вытянуль шею, заворчалъ и бросился въ переднюю съ громкимъ лаемъ.

— Назадъ, назадъ, Трезоръ! Тибо! тибо! закричалъ Медведевъ: — Кто тамъ, Петрушка?

— Не беспокойтесь, это я! сказалъ, улыбаясь, тоинъкій гость, въ синемъ фракѣ, и началъ вѣжливо рѣклиничаться.

— Ба, ба! Юліанъ Астафьевъ! мое почтеніе! Откудова, братецъ — а?

— Мое почтеніе, Макаръ Петровичъ! изъ П—вы, прямо изъ канцеляріи губернатора, посланъ курьеромъ въ П...ъ.

— Здоровы ли вы?

— Слава Богу! слава Богу!

— Очень радъ! слава Богу!

— Мое почтеніе вамъ, Анна Андреевна. Здоровы ли вы?

— Слава Богу!

— И слава Богу!

— Полно вамъ строить комплименты! Эти губернскіе господа такъ и засыплють рѣчами!... Лучше давай-ка жена поскорѣе чаю: онъ озябъ съ дороги.

— Ваша правда, грѣшный человѣкъ. Ба! да какъ Петрушка вырось, поздоровѣть! Ну, подойди сюда, попа-

люемся; мы съ тобой пріятели. Экой молодецъ! Въ прошедшемъ году, когда пріѣзжалъ съ вами на выборы, онъ бытъ гораздо моложе... А! Трезоръ! не узналь меня? злая собака! только одного барина и любить. Позвольте ему дать сухарикъ?

— Перестаньте возиться съ собакою, вы ее вѣчно балуете! пейте чай, да расскажите намъ, какъ тамъ у васъ въ губернскомъ свѣтѣ? что новенькаго?

— Рѣшительно ничего. Войны не слыхать, набора тоже.

— Набора тоже?

— Тоже!...

— Это хорошо. А Катерина Федоровна чтѣ?

— Слава Богу! здорова; велѣла вамъ кланяться. У нея для дочери есть женихъ на примѣтѣ... Что вы говорите, сударыня?

— Военный?

— Да, военный, сударыня, и, говорять, очень богатъ: гдѣ-то въ Олонецкой губерніи свои виноградники...

— Скажите! какая завидная партія!

— Да, и еще, говорять, у него есть гдѣ-то возлѣ Торжка свой судоходный каналъ; чтѣ прошла лодка — гривна въ карманѣ; барка или тамъ чтѣ другое — двадцать копеекъ. Такое заведеніе!...

— Не-уже-ли!?

— Да, сударыня! и нашъ совѣтникъ Горохъ Дорожовичъ, и Ульяна Ульянова... и... всѣ говорять; а самъ такой молодецъ, эполеты какъ жаръ горятъ...

— И въ чинахъ? спросилъ Макаръ Петровичъ.

— Чинъ офицерскій; уже восьмой мѣсяцъ прапорщикомъ.

— Ну, такъ послужить бы еще немногого.

— Говорять, ему въ этомъ году приходится въ подпоручики.

— Понимаю, черезъ годъ въ отставку поручикомъ— это другое дѣло... Ну, да пусть-себѣ онъ убирается къ болотному дѣдушкѣ, наше дѣло сторона. А сама-то Катерина Федоровна?

— Ничего! живеть по-прежнему; недавно купила у барышника для себя старого рысака.

— А Петръ Потапычъ? спросила Анна Андреевна.

— Все танцуетъ мазурку.

— Охота же спрашивать объ этомъ чурбанѣ! перебилъ Медвѣдевъ.—Чтѣ нашъ почтеннѣйший Тузъ Ивановичъ?

— На прошлой недѣлѣ схоронили.

— Схоронили?

— Да, схоронили; впрочемъ, потѣшилъ-таки онъ весь городъ. Представьте себѣ, въ духовномъ завѣщаніи запретилъ своей женѣ покупать карету.

— Какъ такъ?

— Такъ; написалъ просто: «Какъ-де моя жена происходитъ изъ хвастливаго рода, да и въ продолженіе многолѣтняго супружества нашего всегда оказывала неимовѣрную наклонность къ суетности и тщеславію, чтѣ неоднократно выражалось неялѣпыми требованиями о покупкѣ кареты, то я, сохрания пользу дѣтей нашихъ и не желая видѣть ихъ современемъ нищенствующими, защищаю, подъ опасеніемъ моего проклятія, женѣ моей покупку кареты, не только новой, но даже и поѣзженой, какъ вещи, могущей служить поводомъ къ разоренію моего семейства».

— Ха-ха-ха! экой пострѣль! Царство ему небесное! Утѣшилъ!

— Что же бѣдная его вдовушка? спросила Анна Андреевна.

— Тутъ нечего спрашивать, душа моя: вѣрно ругается.

— Изволили отгадать: сильно ругается, ругаетъ по-крайности, и дома, и въ гостяхъ, и на улицѣ. Такая стала сердитая; недавно сдѣлала большой афронтъ жениху дочери Катерины Федоровны.

— Оставьте его въ покоѣ: смерть не люблю прaporщиковъ, которые сватаются, лучше бы вы сами женились.

— Это единственная цѣль моей жизни; я радъ жениться, но, вы знаете, я человѣкъ небогатый...

— А если бы я тебѣ, пріятель, нашелъ невѣсту съ состояніемъ?

— Полноте шутить!

— Нѣтъ, право. Помнишь ли ты полковницу Фернамбукъ, которая цѣлое лѣто прожила съ дочерью въ губернскомъ городѣ?...

— Какъ же, я ее имѣлъ честь часто видѣть у Катерины Федоровны, еще у нея дочка сущій амуръ или грація!

— Ни амуръ, ни грація, а такъ, дѣвушка недурнаная, съ 300 душъ приданаго. Эта самая дама безъ души отъ тебя. Какъ прѣхала въ деревню, все твердила: «вотъ человѣкъ, Юліанъ Астафьевъ, какой вѣжливый, услужливый, толковый!...» Влюблена въ тебя да и баста!...

— Шутите! Она, кажется, уже степенныхъ лѣтъ.

— Экой приказный! ей лѣтъ за шестьдесятъ; женись на ея дочкѣ...

— Куда намъ! такого счастія я и во снѣ не видывалъ.

- Чтò за счастье? ты молодецъ, добрый малый, дворянинъ. Чего этой бабъ еще надобно?...
- Она можетъ найти себъ зятя офицера.
- Стыдись, братецъ, развѣ ты не офицеръ? какой на тебѣ чинъ?
- Губернскій секретарь.
- Чортъ васъ разберетъ! переведи; братецъ, какъ это будетъ по-христіански.
- Въ рангѣ поручика.
- И прекрасно! чѣмъ ты не женихъ? Хочешь, я женю тебя?
- Будьте благодѣтелемъ! Да нѣть, меня смѣхъ береть, ха-ха-ха! вотъ оказія!... впрочемъ, дѣлайте, что хотите!
- Ладно? Куда ты ёдешь курьеромъ?
- Въ П—въ.
- Сколько ты можешь прожить у меня?
- Дня два.
- Вздоръ! ты долженъ прожить недѣлю.
- Невозможно, Маркъ Петровичъ!
- Почему? какія-нибудь дрянныя бумаги нужно отдать кому? Это можно сдѣлать: я пошлю въ П—въ форейтора Васыку, онъ ихъ отдастъ по адресу, а на другой день привезетъ отвѣтъ. П—въ всего отъ настъ 50 верстъ. Остаешься? Завтра же начну дѣйствовать — и не будь я Медвѣдевъ, если ты не женишься на молодой Фернамбуковой. Поѣдешь — пѣнай на себя.
- Дѣлать нечего, сказаль Юліанъ Астафьевичъ.
- Люблю за обычай. Давай, приятель, руку! Благодари, жена: теперь не будемъ скучать цѣлую недѣлю въ эту скверную погоду. А я право женю молодца!...
- Если дастъ Богъ вамъ успѣхъ, сказала Анна

Андреевна: — какой вы будете близкій сосѣдъ: деревня Фернамбуковой отъ насъ всего три версты; только че-резъ рѣку.

— Скажите: и сосѣдъ, и вашъ покорнѣйший слуга.

— Это уже много; а шутки въ сторону, у меня будеть къ вамъ просьба.

— Приказывайте, сударыня.

— Если вы женитесь, прежде всего должны исправить плотину и мостъ, а то всякий разъ, какъ переѣзжаю плотину Фернамбуковыхъ, я прощаюсь съ бѣлымъ свѣтомъ: кажется, такъ коляска и слетить съ плотины или провалится подъ мостъ.

— Будьте увѣрены, что въ мірѣ не будетъ другой подобной плотины: самъ пойду работать, лишь бы угодить вамъ.

— Что за страсть, подумаешь, у этихъ губернскихъ франтовъ нести такую чепуху! Полно, братъ, мою жену морочить, а я себѣ выговариваю право стрѣлять дичь во всѣхъ твоихъ дачахъ безданио и безпошлино.

— Помилуйте, Макаръ Петровичъ! на что миѣ эта дичь? Я самъ отъ-роду не стрѣлялъ изъ ружья и не знаю, какъ оно стрѣляетъ. Вся дичь — ваша. Мое почтение къ вамъ всегда было непреложно, и если вы пособите моей карьерѣ такою выгодною женитьбою, то я... и проч... и проч...

Въ такомъ родѣ разговоръ продолжался до самого ужина.

Четверо сутокъ изволилъ кутить Макаръ Петровичъ на радостяхъ, что поймалъ губернского гостя, и каждый вечеръ губернскій гость почти сквозь слезы говорилъ Медвѣдеву: «Боже мой! когда же мы будемъ сватать *elle* Фернамбуку?»

— Погоди, братецъ, время впереди, отвѣчалъ Медвѣдевъ: — не возьметъ ее нечистая сила, завтра непремѣнно поѣдемъ.

Приходило завтра, и опять та же история.

Наконецъ на пятый день Медвѣдевъ представилъ своего гостя семейству Фернамбуку, а еще чрезъ день поѣхалъ самъ съ рѣшительнымъ предложеніемъ.

Это былъ роковой день для Юліана Астафьевича. Задумчиво ходилъ бѣдный губернскій секретарь по комнатѣ, по временамъ щелкая пальцами; лицо его было блѣднѣе обыкновеннаго; принужденная улыбка на тонкихъ губахъ его превращалась въ какое-то судорожное кривлянье; иногда онъ, тяжело вздыхая, обращалъ глаза къ образамъ, иногда, подойдя къ окну, очень правильно барабанилъ по стеклу, модную пѣсеньку:

Во всей деревнѣ Катенька
Красавицей слыла.

Онъ очень хорошо чувствовалъ, что въ эти минуты рѣшалась судьба всей его будущности; отъ да или нѣтъ, зависѣло быть ему достаточнымъ человѣкомъ или прозябать въ канцеляріи съ перспективою сѣдыхъ волосъ, при великомъ счастіи секретарскаго мѣста и чахотки.

Напрасно Анна Андреевна старалась развеселить Чуринскаго (это была фамилія Юліана Астафьевича) своими шутками: онъ, противъ обыкновенія, не понималъ ихъ, не старался предупредить окончаніе какого-нибудь анекдота, давно известнаго всей губерніи, улыбкою удивленія или громкимъ хохотомъ. Юліанъ Астафьевичъ былъ не похожъ на самого себя.

Пришло время обѣдать — нѣть Макара Петровича;

воть и вечерѣть — нѣть его; воть уже и самоваръ на столѣ — все его нѣть. Несносный день, несносный человѣкъ Макаръ Петровичъ!

Но воть зазвенѣлъ колокольчикъ, борзая тройка остановилась передъ крыльцомъ, и въ комнату вошелъ Медвѣдевъ.

Съ первого взгляда можно было замѣтить, что Фернамбуковы его приняли за *юстя*: лицо Макара Петровича горѣло румянцемъ удовольствія, глаза блестѣли; онъ живо переступалъ съ ноги на ногу, потирая руки.

— Ну чтѣ, почтеннѣйшій Макаръ Петровичъ? решайте мою участъ! отказать? гарбузъ? говорите, говорите, я напередъ это знаю!

— Въ чистую, братецъ, безъ мундира и пенсіона!

— Такъ, такъ, я это зналъ. Душа моя это предчувствовала. На смѣхъ подняли!... И не грѣхъ ли вамъ меня, беззащитнаго сироту, вводить въ такія исторіи, будто я не понимаю, что я, а что онѣ? Богъ свидѣтель, я никогда и не думалъ о Фернамбуковыхъ; вы сами затѣяли неподобное; вамъ смѣхъ, а я чтѣ теперь стану дѣлать? еще подъ арестъ посадять!...

— Чтѣ, пріятель, впятыль тебя въ бракъ — а?

— Хорошо вамъ издѣваться, что меня забраковали, какъ лошадь никуда негодную, а мнѣ каково?...

— Ха-ха-ха! у тебя страхъ и разумъ-то выгналъ! Кто тебѣ говорить о негодности? Ха - ха - ха! Запиши, жена, каламбуръ: въ бракъ тебя введемъ, т. е. въ законное супружество — вотъ что! давай руку! поздравляю! И старуха и дочь сначала-было, знаешь, этакъ немножко закуражились, да какъ я имъ объяснилъ все толкомъ: и ты что за человѣкъ, и то, и другое, и прочее — онѣ и сдались, и дѣло въ шляпѣ, какъ гова-

риваль мой эскадронный командир — понимаешь?... Завтра ъедемъ къ Фернамбурковымъ вмѣстѣ; завтра же надо извѣстить сосѣдей, а послѣ завтра — и подъ вѣнецъ. Куй желѣзо пока горячо!... Не радъ, что ли?

— Понимаю, что значить въ бракъ! Я кажется не подалъ повода къ шуткамъ. Грѣхъ вамъ, Макаръ Петровичъ!

— Прямое ты, братъ, чучело гороховое! еще и пѣтушишься! прошу покорно!... Коли не хочешь — сейчасъ ъду къ невѣстѣ и въ полчаса все разстрою, заварю такую кашу, что весь домъ пойдетъ вверхъ дномъ. Эй! Петрушка, лошадей!...

— Перестаньте, что вы, что вы! ей - богу, я не знаю, какъ принимать слова ваши, мнѣ все не вѣрится! Не уже ли?... счастіе такъ велико!...

— Такъ велико, что я остался ъесть обѣдъ съ деревяннымъ масломъ — Господи, прости мое согрѣшеніе! — и выпилъ лишнюю рюмку гадкой наливки. Уговорь лучше денегъ: сейчасъ послѣ свадьбы прошу запретить во всемъ домѣ употребленіе деревяннаго масла, и улучшить питейную часть...

— Какъ прикажете! что угодно! вы благодѣтель мой, второй отецъ!...

Юланъ Астафьевичъ обнималъ Медвѣдева, цалялъ руки Анны Андреевны и даже, въ торопяхъ, толкнувъ нечаянно Трезора, взялъ его за морду и пренѣжно сказалъ: «извини, душа моя!...»

Макаръ Петровичъ, человѣкъ добрый отъ природы, былъ очень радъ счастію знакомаго, тѣмъ болѣе, что эта свадьба доставляла ему развлеченіе въ скучные осеннеіе дни, когда, какъ нарочно, ненастье препятствовало ъездить на охоту. Онъ хлопоталъ объ экипажахъ,

о лошадяхъ, созвалъ своихъ музыкантовъ и приказалъ имъ повторять увертюры изъ «Калифа, Багдадскаго» и «Двухъ Слѣпыхъ».

— Слушай, жена, кричалъ онъ: — вѣдь Юліанъ Астафьевичъ нашъ гость, мы его женимъ; послѣ свадьбы будетъ у насъ балъ; смотри, не ударь лицомъ въ грязь, прикажи наготовить по болѣе всякой всячины: пирамидъ, кремовъ и разной этакой дряни, а я ужъ потребую свой погребъ — кутить такъ кутить!... О чемъ ты, Юліанъ Астафьевичъ, опять загрустилъ?

— Знаете ли чтѣ? сказалъ Юліанъ Астафьевичъ, взявъ тихонько Медвѣдева за полу венгерки и, отведя его къ окну, повторилъ въ полголоса: — знаете ли что?

— Ровно, братецъ, ничего не знаю.

— Не кричите такъ. мнѣ кажется, что намъ не слѣдуетъ вѣнчаться такъ скоро.

— А почему?

— Да такъ, видите, мнѣ невозможно.

— Это чтѣ значить? сказалъ Медвѣдевъ, прищуривая лѣвый глазъ. — Понимаю, какія-нибудь шашни.

— Нѣть, нѣть, нѣть, Боже сохрани! не думайте, чтобы я что-нибудь такое, или этакое — нѣть!

— Такъ чтѣ жь?

— А вотъ видите, я выѣхалъ изъ П — вы налегкѣ, со мной нѣть приличнаго платья.

— Вадоръ, братецъ! есть о чёмъ думать! сегодня же пошлю человѣка на всю ночь, и завтра къ вечеру все здѣсь будетъ.

— Къ чemu посылатъ? это лишнее беспокойство, лучше я самъ сѣѣзжу и чрезъ недѣлю- другую явлюсь.

— Пустое, тебя-то не пущу! Эй, кто тамъ? человѣкъ!

— Не дѣлайте шуму и не посыпайте, потому-

Часть I.

47

что я не знаю хорошенъко, отдалъ ли мой пріятель не-
много передѣлать мой фракъ; сукно отличное, самъ
платилъ по 18 р. за аршинъ, да фасонъ некрасивъ;
если привезутъ непередѣланный, то еще хуже!...

— Прямо сказать: у тебя нѣтъ фрака вовсе; давно
бы такъ и говорилъ! Не беспокойся: у меня цѣлая дю-
жина этихъ дурацкихъ фраковъ, выбирай любой. Да,
кажется, у тебя нѣтъ ни бѣлья, ни прочаго? Полно
краснѣть, прикажи Петрушкѣ приготовить, что нужно,
изъ моего гардероба. Не къ чему скромничать! Эхъ,
странный народъ, эти господа статскіе!...

III.

Милостивый государь, любезнѣйший другъ,

Кузьма Демьяновичъ!

По обстоятельствамъ я женился на прекраснѣйшей
дѣвицѣ, извѣстной фамиліи Фернаамбуку. Еще въ П—въ
я плѣнилъ сю дѣвицу своимъ свѣтскимъ обраще-
ніемъ, и теперь, мимоѣздомъ, окончилъ начатое, а что
главнѣе всего, получилъ въ приданое 300 душъ кресть-
янъ. Я теперь намѣренъ жить, ни мало не беспокоясь
насчетъ службы, буду служить по выборамъ дворян-
ства. Еще есть къ вамъ моя просьба, а именно: вамъ
извѣстно, что я взялъ, въ угодность Катеринѣ Федо-
ровнѣ, билетъ въ собраніе на всю зиму, и со взносомъ
25 р. записался въ члены; а какъ я теперь, по даль-
ности разстоянія, бывать въ собраніи не могу, то
вспомнилъ о Григоріѣ Михайловичѣ, который когда-то,
кажется, при васъ выразился: «Я взялъ бы зимній би-
летъ, да дорогъ, анаѳемскій, по нашему, еслибы рубли-
ковъ 15—никуда бы шло!» Я, любя Григорія Михайло-

вича, рѣшился уступить ему онъ билетъ за 15 р. хотя и понесу убытку 10 р. И еще сдѣлайте одолженіе: у меня на квартире остался горшокъ коровьяго масла, подаренный мнѣ Катериной Федоровной, масло очень хорошее, доброго качества и пріятнаго вкуса; его было десять фунтовъ, мною израсходовано онаго масла 2 фунта, слѣдственно осталось 8; безъ меня же оно убыть не могло, ибо, уѣзжая, я запечаталъ горшокъ собственною моею вензеловою печатью, а потому возьмите на себя труда, посмотрѣвъ предварительно, не нарушена ли печать; взять горшокъ и приказать вашему Петькѣ продать заключающееся въ немъ масло; еще разъ повторяю, что масло очень хорошее, чтобы Петька, при продажѣ, не опростоволосился. Не вѣрьте, если, паче чаянія, хозяинъ квартиры моей станетъ претендовать на масло: онъ всегда былъ грубіянъ. Скажите ему, въ случаѣ надобности, что еслибъ онъ былъ почтительнѣй и не входилъ ко мнѣ въ комнату въ колпакѣ, то я и ему удѣлилъ бы что-нибудь изъ означенного масла. Надѣюсь, вы не замедлите выслать деньги за билетъ, равно и за масло, а прочія мои вещи, какъ-то: старый фракъ, сапожныя щетки, двѣ пары ножей съ костяными колодочками, и проч. сохраните у себя до моего прїѣзда: хочу по зимнему пути побывать въ П — вѣ съ женою.

Имѣю честь быть вашимъ, милостивый государь,
благопріятелемъ

Юланъ Чурбинскій.

18.7 года, ноября 12 дня.

Деревня Фернамбуровка.

P. S. На случай, сие письмо затеряется, то я сюже почту пишу и отсылаю другое, точно таковаго же содержанія, къ Марку Титовичу, въ коемъ, упомянута о

*

вышепрописанномъ вамъ порученіи, прошу и его принять участіе, въ случаѣ вашей (чего Боже сохрани!) болѣзни, или чего другаго. — . — Еще просьба: еще съ прошедшаго лѣта я обѣщалъ Аннушкѣ, знаете, которая мнѣ мыла манишки, купить золотыя сережки. Дѣлать нечего! изъ полученныхъ денегъ за мои вещи возьмите 80 копеекъ ассигнаціями и купите ей сережки, изъ металла, называемаго *семилёрѣ*: этотъ металлъ немного дешевле золота, по вѣнѣ носкѣ пріятнѣе и имѣеть разительный блескъ. Я полагаю, послѣдняя порученность вамъ не безъ пріятности.

IV.

Милая моя сестрица,

Анисья Парамоновна!

Наказалъ меня Богъ, сестрица, наследствомъ въ глупой сторонѣ: ни сосень, ни ёлокъ, ни людей нѣту — все чучелы; крестьяне безъ бородъ; и бань не строятъ, и въ семикѣ не пляшутъ, и сохой не пашутъ. Одинъ, кажись, былъ человѣкъ изъ сосѣдей — Медвѣдевъ, да и тотъ, какъ я узнала, змѣя подколодная. Я писала къ тебѣ, милая, что выдала дочку за Чурбинскаго: золотой малый, ни въ чемъ не перечитъ, такъ нась любить, мнѣ и платокъ подаетъ, и скамеечку подъ ноги ставить, да въ дѣла не мѣшается, говорить: «имѣніе ваше, и я вашъ, дѣлайте, что хотите». А мы съ дочкой чтѣ знаемъ? наше дѣло женское; вотъ мы и хотимъ ему записать нашу деревню, авось охотнѣе дѣломъ займется. Только зять мой все упрашивается: «не говорите, дескать, обѣ этомъ Медвѣдеву». А что? я спросила. Вотъ онъ тутъ мнѣ всю правду и рассказалъ:

что онъ совсѣмъ не пріятель нашему дому, что настѣхается надъ нашимъ хлѣбомъ-солю, говорить, что у насъ въ кушаньяхъ скверное деревянное масло... ужасъ такія наговорилъ, что бѣда! Меня вотъ такъ лихорадка и взяла, а онъ, говоритъ: «сваталъ меня изъ своихъ интересовъ; и плотину почини, чтобы его женѣ было хорошоѣздить, и то, и другое; да еще обращается со мною, какъ съ какимъ-нибудь лакеемъ, все твои да братецъ, при публикѣ такъ унижаетъ». Третьягодня обѣдалъ у насъ окаянный Медвѣдевъ; я сама нарочно подлила во всѣ кушанья деревянного масла — что жь? и неѣль ничего, надуль усы, словно сомъ-рыба, и сидитъ. «Что не кушаете, сосѣдъ? я спросила. Можетъ статья, у насъ не умѣютъ готовить?» — «Нѣть, говоритъ онъ, что-то голова болить», да и уѣхалъ сейчасъ послѣ обѣда. Вотъ что, моя милая сестрица, а я только и надѣялась на одного сосѣда, а и тотъ въ лѣсъ смотрѣть!... Я уже совсѣмъ своему зятю не позволять наступать себѣ на ногу. Да, моя милая! скверная сторона! скоро петровъ день, клубника у насъ отошла, а была крупная; черешень въ саду пропасть, и бѣлыхъ и красныхъ, и черныхъ, да все скверные ягоды, какъ сахаръ сладкія; и вишни поспѣваютъ, и шелковицы, а нѣть ни клюквы, ни брусники, ни черники, ни голубики, ни одной ягоды съ кваскомъ, я уже о морошкѣ и не вспоминаю... Сахаръ у насъ дорогъ, а медъ свой; варю варенье больше медовое для поста. Прощай, моя милая сестрица, пришли записку, какъ дѣлать шипучку, моя гдѣ-то затерялась. Прощай милая сестрица,

Полковница О. Фернамбука.

18.8 года, июня 26 два.
Деревня Фернамбуковка.

V.

Свѣтлое юльское солнце взошло уже высоко; былъ часть десятый утра; широкій склоненный лугъ Юліана Астафьевича далеко развернулся свѣтлозеленою скатертью, испещренною частыми копнами сѣна, на которыхъ, то тамъ, то тамъ, сидѣли, охорашиваясь, маленькие степные ястреба; на горизонтѣ луга, какъ оазы, виднѣлись темнозеленые кусты тростника; тамъ были небольшія озера; надъ ними, легкимъ облачкомъ, безпрестанно менѣя формы, носилось стадо скворцовъ, подлѣ одного озера паслась стреноженная пѣгая лошадь; съ полверсты въ сторону человѣкъ около сотни крестьянъ сметывали копны сѣна въ одну огромную скирду.

По дорогѣ къ озерамъѣхалъ какой-то вооруженный экипажъ, въ-родѣ блаженной памяти испанской армады; разсмотрѣвъ хорошенько, можно было узнать въ немъ широкую, длинную и глубокую брику безъ верха; на козлахъ сидѣлъ кучерь и два человѣка, съ ружьями въ рукахъ; на запятахъ тоже два человѣка съ ружьями; изъ самой внутренности брики торчало пять или шесть головъ въ картузахъ, столько же ружейныхъ стволовъ и четыре собачьи морды. Брика остановилась у озера; изъ нея выскочили человѣкъ, въ сапогахъ до пояса, въ зеленой курткѣ и такихъ же шараварахъ; черезъ правое плечо у него висѣла охотничья сумка съ сѣткою для дичи, черезъ лѣвое, на зеленомъ снуркѣ, деревянная черкесская трубка, съ короткимъ чубукомъ. Едва-едва въ этомъ рыцарѣ изумрудного образа можно было узнать Макара Петровича. За Макаромъ Петровичемъ выскочили Трезоръ, далѣе начали выгружаться

пріятели и егеря Медвѣдева. Всѣхъ набралось человѣкъ около десятка.

— Рекомендую вамъ, господа, чудесное озеро, сказаъ Медвѣдевъ:— здѣсь мы найдемъ пропасть молодыхъ утокъ. Охъ! жаль, что бекасы еще нехороши. Впрочемъ, не давать и имъ спуску, коли попадутся.

Пріятели молча осматривали ружья.

— За работу, что ли? продолжалъ Макаръ Петровичъ.— Выпьемъ на дорогу, да и съ Богомъ. Петрушка! дорожную фляжку!

На этотъ разъ пріятели оставили ружья и подошли къ Медвѣдову.

Петрушка подалъ барину плоскую, обшитую краснымъ сафьяномъ, фляжку. Медвѣдевъ отвинтилъ на ней серебряную крышку, которая имѣла форму и вмѣстимость порядочнаго стаканчика, наполнилъ этотъ мудрый сосудъ, выпилъ и передалъ слѣдующему. Отставной капитанъ Здравъ, съ золотою головою, закусиль кусочкомъ чернаго хлѣба съ солью; другой сосѣдъ, русскій нѣмецъ, досталъ на этотъ случай изъ своего ягдташа сухую корку голландскаго сыра, погрызъ ее немного и, завернувъ въ бумажку, опять спряталъ въ карманъ. Прочие ѿли чтò понадобилось подъ-руку.

Перекусивъ, охотники осмотрѣли ружья, подсыпали на полки свѣжаго пороху, выстроились въ рядъ и мѣрными шагами вступили въ болото; собаки шныряли впереди охотниковъ; иѣсколько паръ испуганныхъ утокъ поднялось съ озера и, сопровождаемыя выстрѣлами, сновали надъ болотомъ. А между тѣмъ, оставивъ работу, съ дикими крикомъ и воплями бѣжала къ озеру толпа полупульныхъ мужиковъ, вооруженныхъ граблями и вилами. Въ минуту озеро было окружено.

— Стой, стой! причали кумаки: — отчий ружье,
представай въ судь — таёй приказано!

Стрельба остановилась.

— Что жаль надоено? закричал Медведевъ.

Крестыни Чуринскаго, какъ ни были пыны, однако
узнали Медведева, и уваженіе, которое народъ некогда
имѣлъ къ кореннымъ панамъ фамильи, въ па-
ниту пробудилось. Славъ паны, стола толка, а при-
кащикъ Потановить, въ синемъ кафтандѣ, подкованый
шестрымъ кумакомъ, подошелъ къ Медведеву,
разглядывъ длинные усы и, низко кланясь, сказалъ:

— Извините, пане, мы васъ не узнали: но все-таки,
видите, стрѣлять невозможно — я въ этомъ не причиною.

— А какой же дьяволъ?

— Оно, разумѣется, вы люди ученые, и знаете, что
дьяволъ, когда восходитъ, принимаетъ образъ человѣка,
ибо хитра сила нечистая, но все-таки это не безплот-
ный дьяволъ, а нашъ многопочитаемый баринъ причиной.

— Убирайся съ твою чепухою, не ишай намъ
охотиться!

— Да что вамъ въ этомъ болотѣ, такое гадкое,
только лягушки водятся... лучше бы поѣхали вотъ
версты за три на болото генеральши Оглоблинной. Гос-
поди твоя воля, чего тамъ иѣть!... чтõ шагъ, то иѣс-
топодложеніе, всякая дичь кишмя-кишить.

— Полно вратъ. Намъ и здѣсь хорошо; впередъ,
ребята!

— Иѣть, ей - богу иѣть, пане! я буду въ отвѣтѣ.
Не мои вина, а стрѣлять все-таки нельзя, не приказано. Говорить баринъ: «пусть птица плодится; можетъ
быть я, когда-нибудь, возьму ружье, попрошу кого знаю-
щаго зарядить, да и поѣду стрѣлять на озеро; къ то-

му времени дичь освоится и зарядъ не пропадетъ да-
ромъ: сразу убью паръ десятокъ» говоритьъ.

— Кого другаго не пускай, а мнѣ вѣрно не ста-
нетъ запрещать твой баринъ.

— Будь кто другой, а не ваша милость, мы бы его
давно спровадили въ городъ — такъ приказано. Гово-
рить: «лови, Потаповичъ, всѣхъ мою рукою, да и въ
судъ, да и въ судъ, хотя бы мой родитель, говорить,
пришелъ, и того въ судъ; не его земля, моя земля!»

— Что онъ, съ ума сошелъ?

— Уповательно это ихъ воля, и я обѣ этомъ прямо
сказать не могу; а если хотите, я пошлю хлопца спра-
виться: вѣрно баринъ вамъ позволить.

Озеро было верстахъ въ двухъ отъ дома Чурбин-
скаго, а потому охотники тутъ же, въ болотѣ, присѣли
на кочкахъ, въ ожиданіи, пока сынъ прикащика, про-
ворный мальчикъ, поскакавшій во весь духъ на отцов-
ской лошади къ барину, привезетъ милостивый фир-
манъ.

Чрезъ четверть часа обратно прискакалъ мальчикъ,
слѣзъ съ лошади и, утирая рукавомъ съ лица потъ и
пыль, крестился и кричалъ:

— Не можно, пусть я пропаду если можно.

— Врешь! ты вѣрно не разслышалъ, сказалъ Мед-
ведевъ.

— Какъ бы то не разслышалъ? Я прѣѣжаю, а ба-
ринъ стоять въ красномъ халатѣ у амбара, гдѣ дѣвки
подточиваютъ ишеницу, и такие веселенькие; вотъ я и
говорю имъ: «Какъ зволите прикажете, у насъ стрѣля-
ютъ на болотѣ птицу». — «Зачѣмъ же ты прѣѣхалъ?
говорятъ они: ловите ихъ бездѣльниковъ, дармоѣдовъ,

да и въ судъ». Я иль поклонился да и говорю: «такой человѣкъ, что и ловить нельзя, настоящій пань». — «Губернаторъ что ли?» — «Не знаю, можетъ иль и такъ дразнить, а мы все зовемъ ихъ Медвѣдевыть». — «Дуракъ!» сказали баринъ, топнувъ ногою, «я такой же пань, какъ и Медвѣдевъ, когда не почине его. Скажи, чтобы сейчасъ убирался вонъ изъ болота. А твой отецъ за чѣмъ смотритъ? вотъ я его, старого осла!»

— Такъ, таки, такъ! я такъ и думаль, ворчаль Потаповичъ.

— И только? спросилъ Медвѣдевъ.

— Нѣть, еще оборотились къ Фескѣ, дочери нашего кузнеца, взяли ее за подбородокъ, да и говорятъ: «Отчего ты такъ раскраснѣлась, Феодосія?» Я вижу, что это уже не ко мнѣ, взяль да и уѣхалъ.

Макаръ Петровичъ съ досады кусаль усъ.

— Какъ изволите, замѣтилъ ему, кланяясь прикащикъ: — а неудобно ли вамъ убираться; не моя воля; не вини гвоздь, что лѣзеть въ стѣну, коли его колотить по головѣ обухомъ.

Молча вышелъ изъ болота Медвѣдевъ и его спутники. Мужики значительно переглядывались между собою, не вѣря сами: какъ это можно Медвѣдева выгнать изъ болота?...

По моему мнѣнію, куликъ самая безхарактерная птица; иногда онъ увидитъ человѣка за версту, подымется съ места, кружить надъ болотомъ, кричить, свистѣть, будить всю окрестность; иногда занестить въ болотную тину свой носъ и сидѣть себѣ въ травѣ преснокойно, развѣ tolkniшь его подъ бокъ, тогда только онъ

схватится, зачастить крыльями, завопить какъ... ну, какъ человѣкъ, когда затронуть его самолюбіе.

Петрушка выходилъ изъ болота, и вдругъ изъ-подъ ногъ его выпорхнулъ куликъ и съ жалобнымъ крикомъ понесся въ степь; Петрушка выстрѣлилъ — и бѣдная птица, закружась въ воздухѣ, упала передъ прикащикомъ.

— Не дурачиться! закричалъ Медвѣдевъ, и подошелъ къ толпѣ мужиковъ. Въ это время прикащикъ поднялъ застрѣленного кулика и, разсмотривая его, ворчалъ: «экое страданіе!...»

— Дѣлать нечего, ребята, скажите вашему пану, что такъ дѣлать нехорошо; онъ жалѣть для меня нерелетной птицы, а я не пожалѣль ему дать къ вѣнцу и свое платье, и... можетъ, слыхали!

— Мы сами небезъизвѣстны обѣ этомъ, заговорили мужики; но Потаповичъ погрозилъ пальцомъ — и все притихло.

— Прощайте, ребята. Вотъ вамъ рубль серебра: выпейте по чаркѣ водки; теперь жарко.

— А вашъ куличокъ? сказалъ прикащикъ, подавая Петрушкѣ застрѣленную птицу.

— Отвезите его, лядюшка, своему барину, пусть онъ имъ подавится.

Охотники уѣхали, мужики ушли, скворцы улетѣли, и возлѣ озера опять только осталась стреноженная пѣгая кобыла...

VI.

Мѣсяца за два до женитьбы Чурбинскаго, Медвѣдевъ съ женою были въ гостяхъ у Фернамбуковыхъ. Въ гостиной старуха Фернамбукъ рассказывала о вче-

разненье вистъ, какъ она съ управителемъ сдѣлаа шлеинъ, а играли четверо: она, ея дочь, управитель и ея сосѣдъ, отставной юнкеръ; какъ у нея на рукахъ быль валетъ и т. п. Богъ съ иею, она всегда разсказываетъ скучныя вени. Молодая Фернамбуку показывала Аннѣ Андреевѣ баночку духовъ съ надписью: *Extrait triple à la violette*, привезенную будто-бы изъ Парижа, нюхала пробку и, подымая глаза къ небу, восторженно шептала: «Ахъ, какое благованіе! ахъ, какъ должно быть хорошо въ Парижѣ!» Медвѣдевъ дѣлать по временамъ странныя ужимки, пересиливая зѣвоту, и посматривалъ на жену, какъ бы спрашивая: не пора ли домой?

Въ передней было веселѣе. Петрушка, сидя на длинной зеленой скамейкѣ, толковалъ Филькѣ, лакею въ тиновой курткѣ, какъ цвѣтуть орѣхи, и отчего на орѣахъ бываетъ цвѣтъ двухъ родовъ.

— Э, Петрушка, надуваешь! протяжно говорилъ Филька, нюхая табакъ изъ тавлиники.

— Придетъ весна — посмотри самъ.

— Развѣ посмотрю, а такъ не повѣрю, и ты не вѣрь книгамъ: тамъ, я думаю, все написано такое!... Филька машиуль рукою.

— Иль нельзя иначе цвѣсть.

— Такъ, конечно, орѣхи, небойсь, у тебя спрашиваютъ?

— Не спрашиваютъ, а это оттого...

— Хе-хе-хе! ну, отчего?

— Оттого... послушай, Филька, что это за барышни перешла черезъ комнату?

— Вотъ тебѣ и грамотный! знать отчего орѣхи цвѣтутъ на-двоє, коли-то еще цвѣтутъ, а нашего брата

называеть барышнею! Это, братъ, Машка, горничная нашей барышни.

— Полно, Филька, кто она?

— Я не грамотъй, надувать не умѣю, сказалъ разъ— и правда. Не диво, что ты ее первой разъ видиши: она шесть лѣтъ училась около моря въ Адестахъ у мамзели убирать головы, знаешь, разными цацками; вотъ какъ наша барышня на порѣ замужъ, такъ и вынисали Машку для уборовъ; вотъ уже другая недѣля, какъ она прїѣхала, да какая, братъ, бойкая, и книги читаетъ по-твоему, и день въ день ситцевое платье носить, а на нашего брата и смотрѣть не хочетъ; на что прикащикъ Потапычъ — человѣкъ и почетный и грамотный, третьяго дня подошелъ къ ней и началъ заигрывать — она хватъ его по рукамъ. «У васъ» говорить «сѣдина въ головѣ, а не умѣете обращаться съ дѣвушками», замѣялась ему подъ-носъ и убѣжала. «Тю-тю» сказалъ Потапычъ, «для нея судовой паничъ ростетъ! Бросьте ее, хлопцы, вишь какая бучная!...» А мы такъ и показались по землѣ отъ сиѣха. Вотъ что, ей-богу!... Эта-кая! а сама не больше, какъ дочь нашего коновала Ивана. — О чемъ ты задумался?

— Ничего, такъ; а какая хорошенъкая эта Маша!

— Да, нечистой ее не взять; сухопара немного.

Маша была очень хороша: ей было 17 лѣтъ. Высокий, стройный ростъ даваль ей какую-то особенную величавость; ея черные волосы были украшены алою маковою маковкою; смуглолатое лицо Маши, оттѣненное легкимъ румянцемъ — признакъ чистой украинской крови — длинныя, пушистыя рѣсицы, большие голубые глаза, легкая походка, даже самый покрой платья, отличный отъ здѣшняго — все очаровывало Петрушку...

При первомъ взглѣдѣ на Машу ейъ затрепеталъ отъ удовольствія; какое-то тревожное и вмѣстѣ пріятное чувство запало въ грудь его.

Люди много толкуютъ о сочущество душѣ; я мало вѣрю людямъ, но въ этомъ случаѣ въ-половину соглашаюсь.

Когда Петрушка и Филька разговаривали, дежая дворовая дѣвка внесла въ переднюю коробку яблокъ. Минуты черезъ двѣ вышла Маша, подошла къ коробкѣ и, несмотря ни на кого, сказала: «снеси, Дуняша, эти яблоки въ дѣвичью, барыня приказала сосчитать ихъ».

— А позовите узнать, какія это яблоки, кислыя или сладкія? спросилъ Петрушка, подойдя къ коробкѣ, да и покраснѣлъ, самъ не зная чего.

— Не знаю, отвѣчала Маша, посмотрѣла на Петрушку и сама покраснѣла еще болѣе Петрушки, взяла изъ коробки яблоко и начала вертѣть его въ рукахъ.

— Его можно попробовать, сказалъ Петрушка:
— вотъ прекрасный ножикъ.

Петрушка вынулъ изъ кармана складной охотничій ножъ своего барина и подалъ его Машѣ.

Маша разрѣзала яблоко и отдала половицу его, вмѣстѣ съ ножомъ, Петрушкѣ.

— А какой это удивительный ножъ! замѣтилъ Петрушка: — это у насъ, въ Россіи, въ Тулѣ такіе великие мастера.

— Да, отвѣчала Маша.

— Вотъ, видите, точно нѣмецкій складной, и какъ уино все придума но одинъ большой ножъ — видите? одинъ маленький, вотъ пробошникъ, огниво, гвоздь — чистить трубку, и уховертка. Говоря это, Петрушка раскрывала ножъ и показывала каждую штуку особенно.

— Спрячь-ка, приятель, свой ножъ, сказалъ Филька:
— а вы съ яблоками проваливайте: застанеть старая барыня, что вы ёдите фрукты, надаеть вамъ тумаковъ и
минъ, какъ свидѣтелю, достанется — слышь? идуть!

Дѣвушки ушли въ боковую дверь, въ переднюю вошелъ Медвѣдевъ и приказалъ подавать лошадей.

Такъ началось знакомство Петрушки съ Машею, а если хотите — и любовь ихъ.

Съ-этихъ-поръ всякий разъ, когда прѣѣжалъ Медвѣдевъ къ Фернамбузовымъ, Маша всегда находила какой-нибудь предлогъ прийти въ переднюю. Петрушка, съ своей стороны, всегда имѣлъ что-нибудь любопытное передать Машѣ; мало-по-малу они до того ознакомились, что Петрушка началъ привозить Машѣ изъ гостиной библиотеки романы: *Природа и Любовь*, Лафонтена, *Алексисъ или Доликъ въ лѣсу* Дюкре-Дюминиля, и другіе, подобные.

VII.

Замѣтили ли вы, господа, что, пируя на свадьбѣ, холостые люди и дѣвушки бываютъ какъ-то особенно настроены; они откровеннѣе, мечтательнѣе, рѣшительнѣе, разговорчивѣе, довѣрчивѣе?... Право! Музыка ли располагаетъ къ этому человѣческія сердца, или веселыя, счастливыя лица новобрачныхъ, или яркое освѣщеніе — не знаю; но увѣряю васъ, что мое замѣченіе справедливо.

На свадьбѣ Чурбинскаго пиръ приходилъ къ концу. Музыка играла мазурку. Юліанъ Астафьевичъ танцевалъ въ первой парѣ съ своею супругою, да же Макаръ Петровичъ съ Еленою Павловною, еще Василий Александровичъ съ Александрою Ивановною, и еще много, много паръ. Можете представить, какъ было весело!

Лакеи и горничные пребывали гости в столовыхъ у дверей залы и съ изумлениемъ смотрѣли, какъ умѣлый учитель математики, приглашенный на свадьбу ради величайшаго искусства и знания танцевальнаго дѣла, изогнувшись въ длину ему Богомъ, обыкновенную человѣческую фигуру въ искаженную букву S, отчаянно пытаясь не заѣхть въ угла въ уголъ; правую рукою поддерживая ость за кончики пальцевъ огромную даму, а въ лѣвой держащъ за уголокъ блѣдый косовыи платокъ, который, какъ флагеръ, шумѣлъ, кружился, плескалъ въ воздухѣ и летѣлъ за своимъ господиномъ, точно хвостъ за кометою. Зрѣлище диковинное и не для однихъ лакеевъ.

Маши не было въ толпѣ любопытныхъ зрителей. Петрушка и прежде видѣлъ эти танцы, потому онъ и не тискался впередъ, закинувъ за спину руки и стоялъ почти у самой двери, ведущей въ сѣни. Вдругъ ему послышалось будто за нимъ отворяется дверь; онъ взглянулъ — нѣть никого; чрезъ минуту кто-то дернулъ его сзади за сюртукъ: оглянулся — опять никого; немного погодя, чья-то нѣжная ручка робко пожала его руку: въ секунду Петрушка былъ за дверью въ большихъ темныхъ стѣнахъ — ему на встрѣчу какая то женщина, бросилась на него и обвила жаркими руками.

— Это ты, Маша?

— Я, Петруша!

— Я, не вѣрю самъ себѣ, это ты, моя ненаглядная! Что съ тобою? Ты плачешь?

— Грустно мнѣ, Петруша: они пляшутъ, веселятся, а мнѣ грустно, грустно... такъ и хочется заплакать... да все хочется говорить съ тобою: кажется, все и отливаетъ отъ сердца отъ твоихъ рѣчей. Какъ я люблю те-

бя Петруша! Смѣйся надо мною, а я давно хотѣла тебѣ сказать это ...

Петрушка отвѣчалъ длиннымъ поцалуемъ.

— Ахъ, Петруша, какъ ты хорошъ! Я сегодня все на тебя смотрѣла, пока начали надо мною смѣяться. Дунька такая злая! «Посмотрите, говорить, Марья Ивановна и на пановъ не смотрѣть, какъ въ танцахъ прохлаждается, да все на Петрушку, и глазъ съ него не спустить». А я себѣ думаю: «Петрушка стойти того», и нарочно хотѣла на тебя глядѣть, да такъ стало совсѣмъ; ушла въ дѣвичью и оттуда въ щелку все на тебя смотрѣла — ты лучше всѣхъ!

— Я давно люблю тебя, да сказать боялся: ты такая быстрая, кажется, съ-разу на смѣхъ подымешь.

— Грѣхъ тебѣ говорить это, Петруша! Не бойся меня, что я быетра. Сова тиха, да птицъ душить; а ласточка цѣлый день летаетъ да щебечетъ, только хвалить Бога, зла никому не дѣлаетъ. Скажи мнѣ еще разъ, что ты меня любишь — мнѣ такъ весело слушать... отъ радости, кажется, не доживу до утра.

— Люблю, люблю, моя радость!... А я все не вѣриль, что ты меня любишь, хоть Филька и божился... Вздумаю — было тебѣ сказать такъ что-нибудь стороною, да вспомню, какъ ты насмѣялась надъ прикащикомъ — и языкъ опѣмѣеться.

— Богъ съ тобою! То прикащикъ, съдой дурень, а то ты — мой ясочки: съ тобой и жить и умереть готова...

— Послушай, завтра же, если хочешь, я скажу своему барину: насть перевѣнчаютъ — и будемъ жить счастливо.

— Дѣлай какъ знаешь, мой голубь сизый.

Тутъ музыка перестала играть; въ смыкъ раздался

звонкий подалъ. Маша выбѣжала изъ сѣней въ садъ, а Петрушка тихо вошелъ въ переднюю.

Дни черезъ два Петрушка сказалъ Машѣ, что Маркъ Петровичъ не соглашается теперь его сватать: скажутъ, дескать, что нарочно женилъ Чурбинскаго, чтобы чрезъ него отнять у Фернамбурковыхъ ученую дѣвочку, «а ты, говорить, молодъ, и она молода, потерпите до осени — это менѣе года: тогда я самъ буду сватомъ; если не согласятся господа ее выдать, я имъ заплачу, чтѣ они захотятъ».

— Какъ не согласяся! отвѣчала Маша: — вѣдь, ты самъ говорилъ, что у Чурбинскаго ни кола ни двора, а твой баринъ женилъ его на такой богатой невѣстѣ; да и на чтѣ я имъ? нѣтъ, не станутъ противиться, будемъ ждать да молиться Богу!...

— Будемъ, отвѣчалъ Петрушка! — А нескоро придетъ эта осень!... Зима, весна, лѣто, а тамъ ужъ осень!...

VIII.

Я очень люблю начало осени, особенно на Украинѣ: томительный жаръ лѣта смѣняется прохладою; природа наградила труды людей своими дарами: вездѣ довольство; вездѣ веселыя лица. Щедрая полемъ: — и направо и налево отъ дороги длиннымъ строемъ вытягиваются конны хлѣба; въ сторонѣ гдѣ-нибудь краснѣеть запоздалая нива гречихи, тяжелыя, черныя грозди ея, какъ виноградъ, клоются къ землѣ на вѣтвистыхъ, пурпурныхъ стебляхъ... Вечерѣетъ. Крикливыя стада журавлей пирутъ на поляхъ, вереницы утокъ шумятъ надъ головою... передъ вами вѣтъ чистоты воздухъ легкій дымокъ. Вы подъѣзжаете къ куреню банданика (такъ

у насть называютъ стариковъ, которые смотрять надъ бахчею), старичекъ разложилъ огонь передъ своимъ шалашомъ и варить къ ужину кашу. Пламя съ трескомъ обхватываетъ вѣти степнаго ракитника, голубоватый дымъ тоцкою струйкою вьется кверху и исчезаетъ въ воздухѣ; противъ старика сидить его внукъ — ребенокъ лѣтъ десяти; онъ разбиль арбузъ, чуть не въ себя ростомъ, рвать руками его сочное, алое, сахаристое мясо, есть и хохочеть отъ удовольствія; за шалашомъ лежить косматая сѣрая собака и весьма пристально разсматриваетъ летающаго вечерняго жука; далѣе кучи арбузовъ и дынь... и эта тихая картина облита яркимъ золотомъ заходящаго солнца. По дорогѣ вы обгоняете возы, нагруженныя тяжелыми спонами; въ деревнѣ изъ-за хатъ выглядываютъ золотые стоги, какъ залогъ благоденствія многихъ людей; въ садахъ цѣлыя семейства собираютъ яблоки, груши и бергамоты; на вѣсъ вѣетъ благоуханіе душистыхъ плодовъ; вы слышите въ саду хохотъ и пѣсни дѣвушекъ...

Хороша, богата природа! Невольно снимешь шапку и отъ души церекрешишься! Стоить ли человѣкъ прекрасныхъ даровъ Божіихъ?

Кромѣ того, осень — время свадебъ; поселяне, кончивъ уборку хлѣба, хотятъ отдохнуть, повеселиться. А гдѣ же лучше попировать какъ не на свадьбѣ? Старосты, перевязанные чрезъ плечо поясами, начинаютъ ходить по улицамъ. Не одна пара черныхъ дѣвичихъ глазъ высматриваетъ ихъ, жданныхъ гостей; не одна роскошная, полная грудь дрожитъ отъ страха и сомнѣнія: *любой или нелюбъ* шлетъ къ ней сватовъ?..

Августъ приближался къ концу. Въ селеніи Медвѣдева изъ улицы въ улицу ходили толпы свадебныхъ



гостей, съ музыкой, съ пѣснями, съ красными звѣнами...

Петрушка загрустилъ... Отъ рокового дни охоты на озерагъ Чурбинскаго, онъ раза два видѣлъ Машу къ церкви; но Маша такъ печально говорила ему: «Чусть мое сердце, что не бывать на нынѣ счастливымъ; на нынѣ баринъ готовъ съѣсть нашего барина; не отдать онъ меня за тебя!» Петрушка утѣшалъ ее какъ могъ, но къ душѣ и самъ чего-то боялся напоминать барину о его обѣщаніи, грустить, скучать — и слегъ въ постель.

Медведевъ, узнавъ о причинѣ болѣзни Петрушки, написалъ къ Чурбинскому письмо, предлагая за Машу тысячу рублей или болѣе, если Юліанъ Астафьевичъ будетъ согласенъ, и въ ответѣ получилъ на лоскуткѣ бумаги четыре слова: *ничего не хочу, не бываетъ этому.*

Оправился отъ болѣзни Петрушка или нѣтъ — Богъ его знаетъ... только онъ всталъ съ постели, взялъ ружье и пошелъ на охоту; подошелъ къ рѣкѣ и побрелъ тихими шагами берегомъ прямо къ деревнѣ Чурбинскаго.

Утреннее солнце свѣтило ярко, стада дичи, подымаясь съ рѣки, кружили надъ головою Петрушки — онъ ничего не видѣлъ, ничего не слышалъ. Вотъ и деревня Чурбинскаго, вотъ и роща надъ рѣкою; по рѣкѣ плаваетъ большое стадо свойскихъ утокъ; на берегу, подъ кустомъ, сидитъ босоногая дѣвка въ лохмотьяхъ. Петрушка смотрѣть и не видить — идетъ далѣе.

— Петруша! закричалъ кто-то позади его; бѣднякъ вдругъ очнулся, будто тяжелый сонъ слетѣлъ съ глазъ его. «Кажется, голось Маши», подумалъ онъ и

началь осматриваться. Дѣвка въ лохмотьяхъ стояла передъ нимъ — это была Маша.

Ружье выпало изъ рукъ Петрушки.

— Ты ли это? прошептала онъ.

— Я, мой милый, ненаглядный, отвѣчала Маша, обнимая его: — а ты и не узналь меня... не-уже-ли платье такъ перемѣнило меня?... а я все та же, такъ же люблю тебя; чѣмъ они злѣе, тѣмъ больше я люблю тебя. Пусть они... Богъ съ ними.

..... Ты былъ болень, мой голубчикъ, я все слышала, а меня и болѣзнь не береть... Рыданія заглушили голосъ Маши.

— Успокойся, моя рыбка... сядемъ вмѣстѣ да разскажи мнѣ, чтѣ у васъ такое дѣлается и отчего ты такая простоволосая?...

— Охъ, много я вынесла! Была бы я давно рыбою, бросилась бы въ самую быстрину, еслибъ не хотѣла хоть еще разъ увидѣть тебя...

Маша обняла Петрушку, склонилась головою къ нему на грудь и тихо плакала.

— Богъ съ тобою, моя горлица, успокойся: все будетъ хорошо...

— Маша покачала головою.

— Садись вотъ здѣсь, продолжалъ Петрушка: — здѣсь будетъ покойнѣе... Господи! ты босая!... теперь холодна осенняя роса, холоденъ мокрый рѣчной песокъ... возьми мою шапку, положи въ нее свои ножки, пусть отогрѣются...

— И вспомнить страшно, какъ разсердился баринъ, получа письмо отъ твоего барина. «Это, говорить, на-смѣшка; меня обидѣли и еще сватаютъ мою дѣвушку за урода, который публично желаетъ мнѣ подавиться

куликомъ»; кричать, кричать, ругался, а послѣ и говорить: «да у меня для Мары есть женихъ получше этого сорванца, я ее сдѣлаю счастливою. Позвать ко мнѣ Машу!» Я пришла ни живая, ни мертвая. «Послушай, Маша», сказалъ баринъ, «я давно хочу наградить тебя за службу и составить тебѣ *партию*. Потапычъ, нашъ прикащикъ, очень желаетъ на тебѣ жениться; я, съ своей стороны, согласенъ... Что же ты молчишь?» — «Помилуйте, баринъ, сказала я», у прикащика дѣти отъ первой жены старѣе меня; мнѣ Потапычъ годенъ въ отцы, а не въ мужья». — «Дура!... а богатство его развѣ ничего не значить?» — «Богатство, пусть останется при немъ, мнѣ ничего не нужно!...» — «Ого - го! сударыня, такъ вамъ прикажете выписать жениха изъ губернского города?...» — «Будьте милостивы» сказала я и бросилась ему въ ноги, «не разлучайте меня съ Петрушкою; или за нимъ, или ни за кѣмъ не буду замужемъ...» Какъ онъ толкнуть меня ногою прямо въ лицо! какъ закричть... я и свѣта не взвидѣла... «Такъ и ты за одно съ моими врагами! они и тебя, знать, подкупили на мою обиду. Вотъ я тебѣ самъ отъишу жениха, а до времени... Гей! Потапычъ! сейчасъ съ нея долой панское платье да въ черную работу».

— Обрадовался Потапычъ этому приказанію. «Помните, Марья Ивановна, сказалъ онъ мнѣ», вы говорили, что я не умѣю обходиться съ дѣвушками — вотъ увидимъ. Пока отправляйтесь варить для работниковъ галушки, да поварачивайтесь проворище! я человѣкъ сердитый, знаете, отъ старости: берегитесь, отеческое наказаніе у меня въ рукахъ» и онъ, улыбаясь, посмотрѣлъ на свою длинную палку.

— Трои сутки варила я галушки, носила воду тяжелыми ведрами, мыла чугунную посуду... оть не-привычки работы валилась изъ рукъ моихъ. Сердитый Потапычъ за всякую бездѣлицу безъ милосердія меня наказывалъ... Вчера я нечаянно опрокинула огромный горшокъ кипятку и — вотъ видишь, совсѣмъ обварила себѣ лѣвую руку... меня все - таки наказали и до выздоровленія заставили пасті господскихъ утокъ...

— Бѣдная моя Маша! шепталъ Петрушка, целуя ея болѣвую руку.

— Еще не все. Сегодня... когда я гнала сюда утокъ, повстрѣчался мнѣ Потапычъ и говорить: «я старъ, Марья Ивановна, и глупъ, и непригожъ, и не гожусь вамъ въ мужья, а все-таки люблю васъ, отыскать вамъ жениха, и баринъ приказалъ завтра вечеромъ перевѣнчать васъ... знаете Фомку-дурачка, что пасеть господскихъ свиней; правда, онъ не пересчитаетъ на рукахъ пальцевъ, за то человѣкъ молодой; готовьтесь къ вѣнцу.

— Да онъ пугалъ тебя, сказалъ Петрушка.

— Охъ, нѣть! Еще вчера баринъ приказалъ выстричь и вымыть Фомку и дать ему новую рубашку... Весь дворъ удивился, за что такая милость къ этому дураку .. а теперь я знаю... я не переживу своего несчастія!...

— Нѣть, Маша! нѣть, быть не можетъ, чтобъ эти ясныя очи, черные косы, бѣлая грудь, это сердце, такое доброе, которое такъ меня любить... чтобъ все это досталось неумытому дураку... онъ — это животное, станетъ ласкать тебя, станетъ целовать тебя... нѣть, Маша, этого быть не можетъ!...

— А будетъ!... едва слышно сказала Маша.

Молчаніе.

— Послушай, говорила Маша: — ты любишь меня и я люблю тебя болѣе всего на свѣтѣ; насть еще можно счастись, насть никто не разлучить... послушай меня...

И, притянувъ къ себѣ на грудь Петрушку, она что-то стала шептать ей.

Петrushка пришелъ домой веселѣе, спокойнѣе; необыкновенная радость блестала въ глазахъ его.

— Тебѣ лучше, Петрушка?. Спросилъ Медведевъ.

— Лучше, баринъ, я совсѣмъ здоровъ.

На другой день рано поутру, чутъ стало солнышко показываться изъ за лѣсу, Петrushка, съ охотничьему сумкой за плечами, съ ружьемъ въ рукахъ, былъ уже въ рощѣ Чурбинскаго на берегу рѣки; немного погодя, пришла Маша. На ней была бѣлая, шитая шелкомъ рубаха, завязанная красною лентою; косы лежали на головѣ чернымъ вѣнкомъ и между ними блестали осенняя бѣлые астры...

— Хороша твоя невѣста? сказала Маша, подходя къ Петрушкѣ!...

Петrushка бросился целовать ее.

— Погоди, Петrushка, не целуй меня: станемъ молиться Богу, чтобы онъ не разлучалъ насть и въ будущей жизни...

Они упали на колѣни и тихо молились; въ рѣчномъ тростникѣ пѣла пѣничка... Солнце величественно выходило на небо... Село начинало пробуждаться...

Помолившись, Петrushка подошелъ къ Машѣ, обнялъ ее, и уста ихъ слились долгимъ поцелуемъ.

— Слышишь, говорила Маша: — они придутъ сюда —

и все пропало! поспѣшишъ, моя радость: тамъ нась не разлучать. До свиданія!...

Она стала на колѣни и распахнула рубашку на полной груди своей.

— Смотри же, мой милый, стрѣляй прямо въ сердце, вотъ оно, вотъ бьется, стрѣляй сюда, а какъ я умру, и самъ за мною скорѣе: безъ тебя мнѣ будетъ скучно и минута... Ахъ какъ весело умереть отъ твоей руки!...

Петрушка поднялъ ружье и прицѣлился.

— Чего же ты ждешь? я душею чую, что идуть сюда! и отадутъ меня Фомкѣ!...

Выстрѣль раздался—и Маша упала на траву. «Приходи ко мнѣ скорѣе...» были послѣднія слова ея... алая кровь теплымъ ключомъ била изъ ея раны; свѣтлые глаза подернулись смертнымъ туманомъ.

Петрушка торопливо началъ заряжать ружье, а между тѣмъ въ рощѣ раздавались голоса: «Кто смѣеть стрѣлять! Лови, лови, да и въ судъ, кто бъ ни былъ, мою рукою... барская земля!» и Потаповичъ съ тремя десятниками бѣжалъ къ Петрушкѣ.

Вотъ они уже близко. Петрушка спѣшишь прибить зарядъ, взводить курокъ, упирается дуломъ ружья въ грудь и, перегнувшись впередъ, спускаетъ курокъ: щелкъ!... не выстрѣлило: Петрушка въ торопяхъ забылъ насыпать на полку пороху.

Десятники схватили Петрушку.

— И умереть не дадутъ! простонала Петрушка.

— Прощай, Маша; я сдержу слово; скоро увидимся!...

IX.

Былъ осенний вечёръ. Въ гостиной Медвѣдева, по старому, на кругломъ столѣ кипѣлъ самоваръ и горѣли

Часть I.

18

же сейчас тъ пожелать покойничать: из листк. у стола, Анна Андреевна разливала чай, въ пресль сидѣла Медвѣдева, только не было Третяра, а первъ заминали сидѣть сокѣль съ большинствомъ, прутаныи лежать, за у двери, кието Петрушки, стоять лежащій чернющій лакей.

— Пресжмершия погода! говорить, скверась, сестры: давно ли было тепло, и вдругъ стало холодно! кажется, и не пора бы: еще половина сентября!

— Будто очень холодно? спросила Анна Андреевна.

— Нѣтъ, оно не холодно, а дождикъ идетъ, такой, знаете, ехидный, такъ всего и измочить, кажется, и не большой, а провзятельный.

— Такъ вы такъ бы и говорили, перебыль Макарь Петровичъ.

— Нельзя же иначе выражаться, когда хочется съ дороги пуншу!

— Ну, то-то! Охъ, Евграфъ Пантелеимонычъ, вы все еще не спроста говорите, все смекай его, да смекай, куда чтѣ сказано! Откуда же васъ Богъ несетъ?

— Изъ нашего уѣздиаго города.

— Чѣмъ тамъ цовенькааго?

— Новенькааго? ги! особеннаго ничего. Развѣ, что вашъ Петрушка вчера умеръ.

— Царство ему небесное! въ одинъ голось сказали, перекрестясь, и Медвѣдевъ и его супруга.

— Да, умеръ и, знаете, очень странно; со дня вступленія въ тюрьму, онъ все худѣлъ, таялъ, какъ свѣчка; послали и доктора — не признается: я, говорить, совершило здоровъ, а все чахнетъ, все день отъ дня хуже, да вчера и умеръ!... Чѣмъ жь бы вы думали? весь хлѣбъ, чѣмъ ему давали, нашли у него подъ постелью;

ничего не ъѣлъ и умеръ съ голода!... Вирочемъ, тутъ вы много виноваты: зачѣмъ было давать ему читать книги?!!... самъ бы не выдумалъ такой штуки! прочиталъ гдѣ-нибудь — и баста!...

Медвѣдевъ молча всталъ и началъ скорыми шагами ходить по комнатѣ.

— А вы зачѣмъ ъѣздили въ городъ? спросила Анна Андреевна.

— Избирать судью на мѣсто умершаго въ прошломъ мѣсяцѣ, нашего почтеннѣйшаго Цвиринковскаго.

— И выбрали?

— Общимъ голосомъ Юліана Астафьича.

1840 г.

ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ ЗАЙЦА.

— Очень любопытно иметь дойную корову и получать отъ нея молока.
— Да-съ, есть животные очень любопытны.

А. Кокандо.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Основьяненко сказалъ великую истину, что все на свѣтѣ измѣняется: теперь уже и политика не та, и архитектура не та, и обычай, и настойки — все измѣнилось! Съ этимъ легко всѣ согласятся; но вы не повѣрите, какъ измѣнилось просвѣщеніе: мы сдѣались энциклопедистами, судимъ, рядимъ обо всемъ поверхностно, торопимся жить, спѣшимъ освободиться изъ рукъ доброй, заботливой няни, чтобы поскорѣе надѣть университетскій мундиръ; не успѣемъ порядочно прослушать двухъ лекцій профессора — уже его осуждаемъ, уже онъ намъ наскучилъ, насы тяготять наши познанія, и мы меняемъ шпагу студента на мечъ воина или на покойное мѣсто въ департаментѣ... И вотъ является въ свѣтѣ новый гражданинъ, новый членъ общества; ему только 17 лѣтъ, но у него высшіе взгляды, у него

запасъ свѣтскихъ идей, куча свѣдѣній!... Привѣтствуя васъ, новый членъ общества, желаю вамъ всякаго благополучія и — отхожу отъ васъ подальше. Мы люди простые: наше дѣло сторона!...

Не такъ учились встарину; я еще помню многихъ стариковъ изъ сосѣдей моего отца, которые были люди небогаты, а окончили курсъ въ разныхъ иностраннныхъ университетахъ. Бывало, если родители замѣтятъ въ сынѣ наклонность къ наукамъ, то отдаютъ его въ киевскую академію учиться; учится долго птенецъ, лѣтъ пять брѣеть бороду, а все учится, и наконецъ, получивъ аттестатъ, является въ домъ отца.

— А зачѣмъ ты пришелъ? спрашиваетъ отецъ.

— Окончилъ всѣ науки.

— Такъ ты уже все знаешь?

— Все, чemu учили.

— Врешь, ты ничего не знаешь, ты дуракъ. Отдохни съ недѣлю, да ступай во Львовъ поучиться, я тебѣ дамъ для этого два червонца.

Долго-ли идетъ недѣля, особенно въ домѣ родителей? Вотъ ея какъ не бывало, и молодой студентъ вышелъ изъ роднаго села, напутствуемый благословеніемъ отца и матери; въ его ушахъ отдаются послѣднія слова: «будь добръ и честенъ». На черномъ казакинѣ студента еще блеститъ прощальная слеза матери; у него въ карманѣ звенятъ два червонца; во рту дышится походная трубка; сердце полно грусти, голова — чудныхъ замысловъ... На крыльцѣ стоитъ старушка-мать, и дрожащею рукою креститъ ему дорогу; за темнымъ кустомъ бузины мелькаетъ красная лента и сверкаютъ въ слезахъ черные глаза молодой казачки: ей совѣтно показать предъ людьми любовь свою.

А студентъ все падеть... И вотъ уже его пожаръ...
Долго еще въ убоготъ сельской храмѣ предъ иконою
скорбящей Богоматери ставила свѣты старуха-матерь и
жарко молилась и клала земные поклоны; долго жало-
дал казачка цѣльныя ноги плакала, ходя одна по зеленому
саду... А студентъ во Львовѣ учится, учится, кон-
чаетъ курсъ, и уже безъ помощы ужаетъ, что онъ —
почти ничего не знаетъ; посещаетъ Кёнигсбергъ, Лей-
пцигъ, вездѣ получаетъ ученье дипломы и возвращается
на родину образованій и въ школѣ науки и въ школѣ
горькихъ опытовъ. Не въ обиду будь намъ сказано,
эти старики куда больше насть знали! Мы, если знаемъ
два-три иностранные языка, хоть бы и плохо понимали
свой, русскій, сейчасъ кричимъ: и Шекспиръ не то, и
Байронъ не такъ, и Гёте негодится, и того передъ-
лааемъ, и этого поправимъ; это по-китайски не такъ,
cie по-санскритски невозможно! Намъ, ли дескать, не
знать? мы все знаемъ, насть всѣ знаютъ!... Поневолѣ
вспомнишь золотой стихъ:

А онъ давить
Свой только муравейники!...

Нѣть, господа! вотъ я вамъ расскажу про моего
двоюроднаго дѣдушку: онъ, можно сказать, былъ пред-
ставителемъ ученыхъ блаженнаго старого времени —
разумѣется, по моему крайнему разумѣнію; онъ все-
гда говорилъ: «я ничего не знаю, а въ этомъ-то и вся
мудрость!» Чего онъ не зналъ, Боже мой!...

Не стану говорить здѣсь о его глубокихъ познаніяхъ
во всѣхъ наукахъ; умолчу о способности рѣшать арио-
метическія задачи римскими и арабскими цифрами; но
не могу вспомнить его даръ говорить на всѣхъ воз-

можныхъ языкахъ. Да, милостивые государи! дѣдушка бытъ, кажется, такъ-себѣ человѣчекъ, штучка небольшая: ходить лѣтомъ по саду въ бѣломъ холстинномъ сюртукѣ и соломенной шляпѣ, изъ-подъ которой какъ хвостикъ, торчитъ сѣдая коса, ходить и поетъ подъ-нось:

Весна весела, цветы приносятъ,
Пастушокъ пастушку во лузи проситъ,
Пастушка столь рада
Овечки погнала
Въ тія луга, въ тія луга!...

Со стороны подумаешь: дѣячокъ какой-нибудь, а это самъ дѣдушка. Попробуй пріѣхать жidъ, съ нимъ дѣдушка ни слова по-человѣчески, все по-жидовски, заговорить, закашлять, захлопаетъ ртомъ — настоящій арендаторъ Ицька, если вы его изволите знать — даже подергиваетъ плечомъ по-жидовски!... Осенью привезутъ татары продавать виноградъ — уже дѣдушка съ татарами пріятель, сидить съ ними подъ арбою, есть виноградъ и говорить по-татарски лучше нежели сами татары; у татаръ все-таки разберешь какое-нибудь слово: *Иванъ*, или что-нибудь подобное, а у дѣдушки ровно ничего не поймешь: какъ заговорить, языкъ словно колетушка болтается во рту, такъ и стучить, будто деревянная пробка въ пустомъ боченкѣ... бойкость необыкновенная!... Однажды онъ схватился на рѣчахъ съ плѣннымъ французомъ... вѣроятно, болѣе я не услышу и не увижу подобного разговора: ярые иностранные звуки быстро летѣли изъ устья дѣдушки, глаза хлопали, брови ёжились, уши шевелились, ноги топали, а руки вольно махали во всѣ стороны, какъ крылья у вѣтреной мельницы. Французъ сначала было огрызался, пожималъ плечами, а послѣ спасовалъ и

молча отошел к оконку... Такъ французскій разговоръ! поговори такъ полгода, устанешь какъ отъ доброй старинной изгурки. «Ну, чѣ, спросилъ всѣ гости у дѣдушки, что говорить французъ?» — «Развѣ вы не слышали?» отвѣчала дѣдушка: «о, онъ просто дуракъ! скажешь, что здоровъ слава Богу, да и молчать...» Мало этого! не только всѣ людскіе языки, но и всѣ животные знаютъ дѣдушка. Бывало, сидѣть у оконка и не смотреть на дворь; вдругъ защищать воробы — «кормунъ летитъ» скажетъ дѣдушка, и точно: выбѣжитъ на дворь, смотришь — кормунъ вѣтается гдѣ-нибудь надъ кустомъ сирени, машетъ широкими крыльями, а въ кустѣ штука десять воробьевъ не знаютъ куда дѣваться отъ страха, прыгаютъ съ вѣточки на вѣточку, суетятся и кричатъ какъ бабы на рынке. Иногда, бывало, лѣтомъ погода такая прекрасная; солнце свѣтло и ярко зайдетъ за гору, вечеръ теплый; роняютъ ночныхъ бабочекъ на сиреневый цветникъ, такимъ упомятельнымъ запахомъ вѣтеть отъ цветущей каприфоліи, тѣкъ на душѣ весело... «Дѣдушка, дѣдушка!» закричишь, бывало: «завтра пойдемъ въ степь, наберемъ полевой клубники».

— Нѣть отвѣчаетъ дѣдушка: завтра будетъ дождь.

— Отчего же? Вы шутите, только меня пугаете.
На небѣ ни облачка, откуда взяться дождю?

— Развѣ ты не слышишь?

— Ничего, дѣдушка.

— А чѣ, говорять на рѣкѣ лягушки? Прислушайся.

И точно, вдали, на рѣкѣ, безпрестанно повторялись однообразные звуки: кумъ, кумъ, кумъ!

— Пустое, дѣдушка. Это лягушка зоветъ своего кума въ гости.

— Это лягушка говорить: будетъ дождь.
— Да вы отчего знаете?
— Поживите съ мое, побывайте въ иностранныхъ земляхъ, и вы узнаете.

Шутить дѣдушка, подумаешь, и ляжешь спать, мечтая о завтрашнемъ днѣ, о веселой прогулкѣ, о вкусной клубникѣ, которая такъ пріятна со сливками.

На-завтра проснешься, скорѣе къ окну — такъ и руки опустятся: откуда набрались сѣрыя тучи и заволокли чистое небо; густой дождикъ, какъ сквозь сито, съется на землю, скрывая подъ сѣдымъ туманомъ всѣ окрестности; деревья опустили листочки, цвѣты — головки, съ нихъ льется вода; на дворѣ лужи... скучно становеть, готовъ заплакать; ляжешь опять въ постель и заснешь, думая: какой умный дѣдушка!

Какъ жаль, что онъ умеръ, когда я еще былъ ребенкомъ, и только предъ смертью успѣлъ выучить меня писать арабскія цифры; всѣ знанія погибли съ нимъ!...

Осеню мы съ дѣдушкою гуляли въ полѣ. День былъ прекрасный; на скошенномъ лугу пестрѣли, какъ звѣзочки, на короткихъ стебелькахъ, розовыя гвоздички; на сжатой нивѣ гуляла стая голубей; по дорогѣ перепархивали золотогрудые подорожники. А какъ хороша была роща, къ которой мы подходили! грушевыя деревья будто окутались въ красныя мантіи; жимолость покрылась темно-синимъ цвѣтомъ; кудрявые липы красовались въ желто-золотыхъ листочкахъ, и между ними свѣтлозелеными конусами высился тополи и выбѣгали серебряные стволы березокъ, перевитые темнозелеными прядями вѣтвей. Надъ рощею вилася запоздалая пара горлицъ; въ рощѣ цвѣли голубыми букетами осенне колокольчики.

— Коль хорошо здесь, лысунка' сказалъ я, бросаешь, сажь не можъ для того, на него лысуну спаси.

— Да, прекрасное и умнѣсть прекрасно!

— Чѣмъ, чѣмъ такое лысунка?

— Ничего, другъ мой. И лысунка отъ матки не краснѣе газза.

— Смотрите, смотрите: вотъ къ какъ орелъ летитъ!

— Это не орелъ, а кажется Петръ Ивановичъ.

— Разъ Петръ Ивановичъ умѣеть летать?

— Онь екакъть къ какъ верхомъ на лошади.

Точно, это екакъть Петръ Ивановичъ; а отчего онъ къ показался летящимъ орломъ — вотъ причина: Петръ Ивановичъ, нашъ соѣдъ, былъ очень величъ ростомъ и худъ, не то, чтобы онъ былъ худой, т. е. нехорошій человѣкъ — нѣть, нась Богъ избавилъ отъ такихъ соѣдей, а Петръ Ивановичъ былъ худъ, сухощавъ, т. е. сухощарь, иначе выражаться — тонокъ. У Петра Ивановича была верховая лошадь маленькая, очень маленькая; у странствующаго иѣца - комедіанта она бы съ пользою носила поноску, какъ лягавая собака. У Петра Ивановича, кроме лошадки, была борзая собака Великанъ, ростомъ немного поменьше лошадки. Петръ Ивановичъ очень любилъ въ праздное время — а оно всегда у него было праздное — Ѳздить на охоту по полямъ верхомъ на своей лошадкѣ и травить Великаномъ зайцевъ. Для этого онъ обыкновенно надѣвалъ длинную бекешу бураго сукна, доходившую до самыхъ пять, садился верхомъ на лошадку, бралъ въ руки арапникъ, въ карманъ бутылочку пѣнника, привязывалъ къ поясу турецкій кинжалъ и выѣзжалъ въ поле. Пока Петръ Ивановичъ Ѳхалъ спокойно, ша-

гомъ, то еще ничего, ноги на два вершка не досягали до земли, и полы бекеши, какъ длинная мантія, скрывали отъ глазъ половину лошади; но когда, бывало, Великанъ подыметъ зайца, Петръ Ивановичъ вскрикнетъ дикимъ голосомъ, распустить арапчикъ, опишетъ имъ надъ головою какой-то фантастический знакъ — въ родѣ вензеля покойного турецкаго султана — и, опустивъ повода лошадкѣ, понесется въ слѣдъ за убѣгающимъ звѣркомъ. Тутъ картина совершенно измѣняется: Петръ Ивановичъ пригнется къ лукѣ сѣда, ноги прикорчить къ лошадиному крестцу, и доселѣ спокойная бекеша, развѣваемая противнымъ вѣтромъ, подымаетъ свои полы, какъ птица крылья; выше головы Петра Ивановича. Если вы такъ счастливы, что онъ скачеть къ вамъ, то увидите совершенное подобіе баснословнаго грифа, летящаго надъ землею во всемъ блескѣ красоты и величія. Изумленіе окуетъ ваши чувства. А если вы отъ природы робкаго характера, то, пожалуй, и струсите. Въ профиль онъ былъ похожъ на бабочку, увеличенную въ миллионъ разъ; но это до насть не касается... Не успѣлъ я хорошенько разсмотрѣть Петра Ивановича, скакавшаго прямо на насть по дорогѣ, какъ онъ былъ ужъ очень недалеко; передъ нимъ скакали еще два существа — заяцъ и Великанъ. Бѣдный заяцъ бросился намъ подъ ноги, испугался, оторопѣлъ, свернулъ въ сторону, а тутъ Великанъ хватъ его за шею и понесъ на воздухѣ. Какъ ребенокъ закричалъ несчастный звѣрокъ, но скоро затихъ подъ кинжаломъ Петра Ивановича.

— Ахъ, дѣдушка, какой злой Петръ Иванычъ! къ чemu онъ зарѣзалъ бѣднаго зайца?

— Нѣтъ, ты ошибаешься: Петръ Иванычъ доб-

рѣйчайший членъ, а зайца отъ забытья — такъ, для
увольнѣтія, отъ вѣчнаго забытья.

— Бѣдняжка, какъ отъ забытья жалко! Я знаю
гдѣ не забуду его стона: совершенно лить въ камы-
бели!... Чѣмъ отъ кричаль лѣдунка? вѣдь вы знаете?

— Жаловался на судьбу.

Въ это время Петръ Ивановичъ увлекъ свою до-
бычу въ торока, сѣлъ на ломадку и сказалъ лѣдунку:

— Мое почтеніе. Вы гуляете?

— Гуляемъ.

— А что, какова погода?

— Прекрасная.

— А каковъ заяцъ?

— Отличный!

— А каковъ мей Великанъ?

— Удивительный!

— Именно удивительный! прекурѣзная собака! Ахъ,
ты мой Великанушка, ты мое золото! — Прощайте.

— Прощайте!

И Петръ Ивановичъ уѣхалъ, разговаривая съ со-
бакою.

— Несчастная судьба этого зайца! сказалъ дѣ-
душка, помолчавъ немного.

— А вы его знали?

— Нѣтъ; но я знаю исторію его жизни.

— Онъ вамъ рассказывалъ?

— Я читалъ.

— Гдѣ же вы читали? развѣ зайцы пишутъ?

— Пишутъ; теперь всѣ животныя грамотны, и лѣс-
ныя, и полевыя, и водяныя: всѣ пишутъ; даже насѣ-
комыя имѣютъ свою грамоту и своихъ писателей!

— Ахъ, какъ это весело!...

— Не очень, другъ мой!...

Дѣдушка наклонился, сорвалъ листокъ лошадинаго щавеля и, показавъ мнѣ на красныя точки и черточки, изпещрившія весь широкій темно-зеленый листокъ, сказалъ:

— Вотъ одинъ листъ изъ рукописи этого зайца.

— Переведите мнѣ это на языкъ человѣческій.

— Пожалуй, нарви ихъ побольше.

Мы съ дѣдушкой возвратились домой, неся большую связку листьевъ щавеля, которые, мы думаемъ, расписываетъ такими красивыми письменами рука осени, между тѣмъ, какъ это литература зайцовъ.

На завтра мнѣ дѣдушка сдѣлалъ переводъ, который и предлагаю въ подлинникѣ. Если не понравится, ругайте покойнаго дѣдушку: онъ уже умеръ, отбраниться не станетъ. Это же и въ духѣ времени!

ЗАПИСКИ ЗАЙЦА.

I.

Заяцъ оставляетъ свою родину.

— Идутъ, идутъ, оставь меня, бѣги, мой другъ!

— Прощай, моя радость!...

Онъ торопливо поцаловалъ ее и выбѣжалъ въ садъ, забывъ даже притворить дверь. Изъ сосѣдней комнаты вошелъ, съ арапникомъ въ рукахъ, въ длинной бекешѣ, Петръ Ивановичъ.

— Здорово, жена! а я вотъ это съ охоты, хотѣль-было заночевать на хуторѣ, да блохи кусаются.

— Какъ я рада! Мне что-то нездоровится, другъ мой.

— Да, ты вся горишь!

Петръ Ивановичъ началъ целовать свою жену, а я пробрался въ полуотворенную дверь, прыгнулъ съ крыльца въ кусты и, скорѣе нежели кошка можетъ съѣсть порядочную крысу, быль въ своей родимой рощѣ.

Вся польза двадцатидневнаго пребыванія моего въ домѣ людей была та, что я выучился понимать ихъ рѣчи и сдружился съ прелестною Сиволапушкой, любимой кошечкой жены Петра Ивановича.

Какая *милашка* Сиволапушка! Она такая же сѣренъкая, какъ и мы, зайцы, только на шейкѣ бѣленько пятнышко, за то глазки — прелестъ! Я готовъ трои сутки не кушать молодаго гороха, чтобы у моей будущей жены были такие глазки: зеленые — презеленые, какъ листочки свѣжей травки послѣ теплаго весенняго дождика. Шерсть на ней мягкая, пушистая; походка скромная; движенія тихія, плавныя — вѣжливость нѣобыкновенная! Поутру, бывало, только-что я начну есть молоко, поставленное для меня подъ столомъ въ чистенькой тарелочкѣ, тотчасъ явится Сиволапушка, станеть противъ меня, изогнувъ дугою спину, надуетъ усики и скажетъ на общемъ звѣриномъ языкѣ (разумѣется, кошачьимъ выговоромъ):

— Какъ прекрасно вѣтихое утро освѣжать свою натуру благовоннымъ молокомъ.

Я не люблю говорить кушая, и потому въ отвѣтъ очень благосклонно махну правымъ ухомъ.

Я полагаю, извѣстно всемъ звѣрямъ, что у нась, у зайцевъ, махнуть правымъ ухомъ значитъ изъявить радость, согласіе, удовольствіе и прочее — словомъ, этимъ

движениемъ выражается все приятное. Махнуть лѣвымъ ухомъ — значитъ показать неудовольствіе, даже презрѣніе; обѣими ушами мы, зайцы, машемъ только въ случаѣ изумленія.

— Смѣю ли просить иностранного гостя о милости участвовать въ его приятномъ занятіи?..

Я махну два раза правымъ ухомъ — и Сиволапушка начнетъ кушать со мною молоко изъ одной тарелки, нѣжно, ловко, снисходительно... и послѣ завтрака такъ благоприлично утреть пущистою лапкою свою розовую мордочку, такъ лестно начнетъ благодарить, что мое правое ухо разъ пятнадцать махнетъ ей передъ самимъ носомъ. Будь у Сиволапушки подлиннѣе уши да покороче хвостъ, она была бы красивѣе всѣхъ зайчихъ на бѣломъ свѣтѣ.

Сиволапушка очень великодушна. У Петра Ивановича висѣлъ на окошкѣ въ проволочной клѣткѣ снѣгирь. Чуть забрежжется день, уже снѣгирь просыпается, клюнетъ зернышко-другое коноплянаго стѣмени, сѣль на жердочку, надуетъ свою красную грудь и свиститъ потихоньку, цѣлый день свиститъ, пока станетъ темно, придетъ пора спать.

— Отчего это у вѣсть такъ свиститъ снѣгирь? спрашивали, бывало, Петра Ивановича сосѣди.

— Отчего же ему и не свистѣть? отвѣчаетъ Пётръ Ивановичъ: — корма достаточно, вода свѣжая, воздухъ чистый, живи-себѣ припѣвающи!

А у меня душа разрывалась, слушая пѣсню снѣгиря: съ утра до ночи онъ жаловался на судьбу свою, воспоминаль родной лѣсокъ и чащу терновника, гдѣ у него было гнѣздо, была подруга, были дѣти; онъ пѣлъ и просилъ у неба смерти; онъ пѣлъ, что «Пётръ Ивановичъ

хуже совы, которая ночью нападает на беззащитных птичекъ, потому-что сова поймать птицу да и съесть, а Петръ Ивановичъ мучить ее для своего удовольствія; ему любо, дескать, какъ я плачу⁹. Хорошо, что Петръ Ивановичъ не понималъ снѣгиря.

Вотъ что случилось въ одинъ ясный, солнечный день:

Въ комнатѣ никого не было, кроме меня и Сиволапушки. Съ восхода солнца тихо жаловался снѣгирь на свою судьбу и ругалъ Петра Ивановича; моя участіе очень походила на участіе снѣгиря; я задумался.

— О чёмъ вы мечтаете? спросила Сиволапушка, нѣжно трогая меня лапкою.

— Ни о чёмъ, сударыня, такъ.

— Быть не можетъ! въ вашихъ глазахъ отражалось такъ много чувства...

— Это правда; меня разжалобилъ снѣгирь.

— Ахъ! и меня тоже!

— Ему, бѣдняжкѣ, жизнь въ тягость.

— Я сама такъ думаю, и давно хочу помочь ему.

— Помогите, ради прекрасной погоды и свѣтлого солнышка!

Съ истиннымъ самоотверженіемъ начала взбираться чувствительная кошечка вверхъ по окошку, хватаясь безпрестанно за шнурокъ, которымъ была привязана стопа; бѣдная Сиволапушка то висѣла вытянувшись всемъ тѣломъ, то сжавшись въ мячикъ, словно нашъ лѣсной колдунъ-ёжъ, качалась на шнурочкѣ, какъ яблоко на тонкой вѣточкѣ. Нѣть, за два кочна самой свѣжей капусты я бы не продѣлала подобной штуки!... Смотрю—уже Сиволапушка на клѣткѣ, обхватила ее всеми четырьма лапами и кротко, любовно глядитъ на снѣгиря, а онъ, дуракъ, будто угорѣлый мечется по клѣткѣ. Не-

много погодя, моя кошечка просунула въ клѣтку правую лапу и тихо начала водить ею надъ птичкою; снѣгирь припалъ на дно клѣтки; лапа быстро опустилась надъ нимъ, подняла его на воздухъ. Откуда явилась быстрая и сила у Сиволапушки! Снѣгирь пищалъ: «помогите, помогите!»

— Я помогаю тебѣ, ворчала кошечка, и проворно тянула снѣгира изъ клѣтки между прутиковъ... Клѣтка кружилась, плясала, кормъ сыпался изъ клѣтки, вода плескалась, пухъ и перья носились въ воздухѣ... Наконецъ Сиволапушка спрыгнула на полъ, держа въ лапѣ снѣгира.

— Освобожденъ! закричалъ я и подбѣжалъ къ снѣгиру, но, увы, онъ былъ безъ дыханія! — Сиволапушка положила его у ногъ своихъ; слезы горести катились изъ глазъ ея на трупъ бѣдной птички.

— Чѣмъ вы надѣялись? спросилъ я.

— Хотѣла облегчить участъ несчастнаго и нечаянно умертвила его. Ахъ!...

— Бѣдняжка!

— Впрочемъ, благодарю судьбу: я хоть что-нибудь для него сдѣлала: онъ жаловался на жизнь, она была ему въ тягость, и я сняла съ него эту тягость. Уже отъ этого сердце мое бѣется радостнѣе.

— Въ-самомъ-дѣлѣ!... Мне и въ голову не пришло это сначала! Какъ вы добры Сиволапушка!

— Я родилась съ наклонностями ко всему добромъ и прекрасному. Разумѣется, маменька примѣрнымъ воспитаніемъ развila и укрѣпила ихъ... шептала кошечка сквозь слезы, разматривая снѣгира.

— Оставьте его! это зрелище слишкомъ жестоко для вашего чувствительного сердца.

— Нѣть, любезный иностранецъ, я не оставлю его:

я не хочу, чтобы люди нечистыми руками трогали эту красивую птицу.

— Какая чувствительность!... Такъ возьмите ее и спрячьте въ саду въ густую траву, или заройте въ песокъ.

— А настѣкомы!... фи!... не могу, не могу.

— Чѣдѣ же вы съ нимъ сдѣлаете?...

— Я думаю... я сдѣлью его.

— Скушаете?... птичку? да это, я полагаю, не-
вкусно!...

— Что жь дѣлать? лучше перенесу маленькое не-
удовольствие, нежели... И Сиволапушка начала, вздыхая,
кушать сиѣгрия.

«Господи!» подумалъ я: «до чего доводить иногда нашего брата, звѣра, илиииняя доброта!... Положить, кошка употребляетъ мышей, какъ враговъ своихъ, да и мыши все-таки звѣри, имѣютъ шерсть — это какъ-то акуратнѣе; а то рѣшиться скушать птицу, единствено для того, чтобы избавить ее непріятности попасть въ чьи-либо руки, птицу въ перьяхъ!... Я взялъ одно перышко, чтобы узнать какой въ немъ вкусъ... грызъ, грызъ, да и выплюнулъ: рѣшительно никакого вкуса; сухо, жестко, хуже гречневой соломы!...

Вотъ какъ великодушна, добра и чувствительна была Сиволапушка! вотъ какого друга пріобрѣлъ я, живя двадцать дней съ людьми!...

Можетъ-быть, кому-нибудь изъ почтенныхъ дикихъ звѣрей покажется страннымъ, что я, будучи природнымъ кореннымъ зайцомъ, настоящимъ дикимъ звѣремъ, сдружился съ кошкою; можетъ-быть, мнѣ скажутъ, что выбирать друга должно по шерсти, т. е. одного рода. Въ такомъ случаѣ я попрошу господина звѣря пожить не-

дѣльку въ домѣ Петра Ивановича — и онъ перемѣнить свои мысли.

Повѣрите ли, мои дичайшіе, я тамъ видѣлъ поросенка — очень порядочнаго юношу, съ обширнымъ умомъ и прекраснымъ аппетитомъ, который былъ друженъ со столбикомъ — да, со столбикомъ! Чѣдѣ бы, кажется, такое могло быть въ столбикѣ? а поросенокъ не отходилъ отъ него; отлучится на самое малое время, для какихънибудь необходимыхъ занятій: покушать свеклы, или что-нибудь подобное, и бѣжитъ скорѣе къ столбiku и ласкается къ нему, и чешетъ обѣ него свою спину, и называетъ его всѣкими пріятными именами, да и заснетъ тутъ, прислонясь къ нему... Этому я самъ былъ свидѣтель! Почему же мнѣ не быть дружнымъ съ кошечкою? Да, коли на правду пошло, такъ и шерсть-то у насть одинаковая: оба сѣренъкіе!...

Но пора къ дѣлу. Я заговорился о Сиволапушкѣ. Чѣдѣвать? любовь и дружба любять болтать.

Первый предметъ, который попался на мои глаза въ родной рощѣ, была матушка. Горесть очень измѣнила черты ея лица; она сидѣла подъ кустомъ малины, сложа лапки, опустивъ голову; ея уши развѣсились въ разные стороны, какъ листья на увядшемъ кустѣ лилій; она держала въ зубахъ вѣточку дикой мяты, вѣроятно, хотѣла скушать это лакомое растеніе, но, отъ горести, задумалась и забыла. Легкимъ, ровнымъ, самымъ приличнымъ скокомъ приближался я къ матушкѣ и, соблюдая всю дикую вѣжливость, при каждомъ прыжкѣ ловко наклонялъ на бокъ голову, причемъ мое правое ухо почти касалось земли. Чего же болѣе? иной отъ этихъ знаковъуваженія получилъ бы позывъ на пищу, а матуш-

ка даже не замѣтила моего приближенія — такъ меланхолія овладѣла ею!...

Шага за три я остановился и началъ лапками разгребать землю; шорохъ отъ этой вѣжливости вывелъ матушку изъ задумчивости; она вздрогнула, быстро поднялась на переднія лапки, выронила изо рта вѣточку мяты и проворно замахала обѣими ушами...

— Матушка! развѣ вы не узнаете вашего сына, пойманиаго, назадъ двадцать дней, какимъ-то человѣкомъ, и проданного Петру Ивановичу за рюмку водки?... Это я! я! я! я!... *)

— Сынъ мой, какъ ты выросъ! какъ перемѣнился! двадцать дней — шутка ли!...

Тутъ матушка замолчала; я тоже. Въ сильныхъ ощущеніяхъ слова какъ-то не вяжутся, путаются; гораздо выгоднѣе молчать. Мы сѣли другъ противъ друга, смотрѣли другъ на друга, лизали мордочки и кивали правыми ушами; такъ застала насть ночь. Тихо, спокойно заснуль я въ родимой норкѣ, на сухихъ клено-выхъ листьяхъ, поужинавъ двумя листочками заячьей капусты.

Петръ Ивановичъ кормилъ меня молокомъ и цветною капустою; я спалъ у него на мягкой подушкѣ, нарочно для меня приготовленной; но никогда у него я не былъ такъ сытъ, такъ спокоеенъ!...

Жизнь моя опять пошла попрежнему: рано утромъ, до восхода солнца, мы съ матушкою выбѣгаемъ на опушку лѣса; вездѣ еще тихо, тихо... въ воздухѣ свѣжо, такъ и хочется прыгать; всѣ травы покрыты круп-

*.) Животные вообще очень любятъ мѣстоименіе я.

Примѣч. дѣдушки.

ными каплями росы; тронешь нечаянно. какой-нибудь кустик — въ-мигъ обдастъ тебя частый дождикъ; встрепенешься — онъ скатился на землю, а ты опять сухъ, опять прыгаешь высоко, широко, привольно!.. Взойдетъ солнышко — еще станетъ веселѣе; все пробудится; птички, оставя гнѣзда, начнутъ пѣть... чего не услышишь въ это время! Жаворонокъ, поднявшись высоко надъ землею, разсказываетъ всему свѣту, чтѣму видно: какія рѣчки, поля, лѣса, озера, сады, города — все разсказываетъ. Малиновка сто разъ повторяетъ, какой она видѣла сонъ; чижикъ кричитъ на всю рощу, что онъ выпилъ три капли самой чистой росы и готовъ драться хоть съ ястребомъ; соловей очень-откровенно болтаетъ о своихъ ночныхъ похожденіяхъ; ястреба подъ облаками перекликаются куда имъ летѣть на охоту; далеко въ деревнѣ собаки начинаютъ ругать весь свѣтъ и самихъ себя; но вотъ и люди пошли на работу; мы съ матушкой прячемся въ молодой, колосистый овесь; люди близѣхонько идутъ мимо насть и не видятъ, а мы только слышимъ, какъ они съ первымъ кускомъ хлѣба, которымъ завтракаютъ на дорогѣ, осуждаютъ своихъ близкихъ и начальниковъ, поносить своихъ братьевъ, идущихъ сзади, а идущіе сзади, въ свою очередь, взводятъ небылицы на переднихъ, и такъ далѣе... Я до-тѣхъ-поръ перевожу матушкѣ людскія рѣчи, пока она маинетъ лѣвымъ ухомъ и поскачетъ въ глубь овеянной нивы; я послѣду за нею.

Настанетъ полдень — и мы роскошно отдыхаемъ въ овесь; частые, колосистые стебли заткнуть надъ нами сѣтку, непропускающую солнечныхъ лучей; вѣтерокъ, гуляя по нивѣ, скользить отъ верхушекъ до корней растеній и освѣжаетъ насть; захотѣлъ ъсть — стоять

только поднять мордочку — и есть пшеничка, воло-
дьма, сочный зернышко овса присоадает къ тебѣ
въ роть; покушай и дремлемъ. Придетъ вчерь —
снять въ рожу сажень, прыгашь, рѣзаныша; на ночь
въ норку, на кленовые листы... Чудная жизнь!...

Въ одинъ день мы съ матушкою лежимъ въ овѣ, и
слышимъ, кто-то идетъ къ намъ, шума и ломая осенние
стебли; шелестъ все ближе и ближе. Мы, прятая уши,
положомъ выбрались на опумку ивы, смотримъ: на дру-
гомъ концѣ стоять Петръ Ивановичъ верхомъ на своей
лошадкѣ, а по ивѣ прыгаетъ Великанъ: то подымется
на заднія лапы, сверкая во всѣ стороны жадными гла-
зами, то опять нырнетъ въ зеленый овесъ. Я взглянулъ
на матушку: она маинула лѣвымъ угомъ, и мы съ-разу
быстро понеслись по небольшой полянѣ въ свою рожу.

Ого-го! у-лю-лю! а-ту! а-ту! закричалъ Петръ Ива-
новичъ; за нами раздался топотъ лошадки, шелестъ прыж-
ковъ Великана; мы слышали его радостные взвизги, но
спасеніе недалеко: вотъ знакомый кустарникъ, вотъ зна-
комыя деревья, вотъ наша норка! Я первый юркнулъ въ
нее; матушка за мною. Отлегло отъ сердца!... Я,
какъ былъ моложе и вдвое меньше матушки, то и за-
бился въ боковую норку, а матушка осталась въ глав-
ной, тутъ же, возлѣ меня, такъ что мнѣ было ее видно.
Не успѣли мы спокойно вздохнуть, какъ надъ нашими
головами послышался топотъ лошадки; онъ умолкъ, и
вдругъ, я слышу, посыпалась въ норку земля, и что-то,
сопя, лѣзетъ къ намъ; сопѣ все болѣе и болѣе прибли-
жался; душно стало мнѣ; и вотъ мимо меня сверкну-
ли глаза и просунулась острая вооруженная страшными
зубами морда Великана, схватила мою матушку и по-
вleкla изъ норки...

Бѣдная матушка! какъ жалко застонала она въ зубахъ этой собаки! «Сынъ мой» прошептала она задыхавшимся голосомъ: «бойся собакъ и людей!...» только я и слышалъ! Бѣдная матушка! много дней прошло съ-тѣхъ-поръ, но и теперь, вспоминая послѣднія слова твои, я плачу какъ ребенокъ.

Ко мнѣ въ норку долетали предсмертные вдохи матушки; но они скоро затихли; опять послышался страшный сопъ Великану, опять показалась его морда и остановилась противъ меня; глазъ сердитой собаки горѣлъ какъ раскаленный уголь и, казалось, готовъ былъ сжечь меня; отъ страха я прижался еще плотнѣе къ стѣнкѣ своей норки, вросъ въ землю. Великану, чтобы взять меня, нужно было повернуть голову въ сторону, но голова его была очень велика, а норка узка; злобно зашипалъ онъ, искрививъ, сколько могъ, свою морду на бокъ въ мою норку и защелкалъ зубами; судорожно разводилъ онъ и сжималъ челюсти, оскаливъ на меня свои кривые зубы — все напрасно: зубы задѣвали только верхушки моей шерсти; вытянувъ свой длинный, сухой языкъ, онъ дотрогивался имъ до меня, обдавая меня жаркимъ дыханьемъ... Это были страшныя минуты въ моей жизни!... Еще немного — я бы умеръ отъ ужаса.

«Назадъ, назадъ! Великанъ, назадъ! полно вратъ!» закричалъ наверху Петръ Ивановичъ. Великанъ, сдѣлавъ послѣднее усилие, щелкнулъ зубами почти у самой моей кожи и попятился изъ норки... Вскорѣ хлопнула арапникъ, затопотала лошадка — и опять все утихло.

Только ночью я рѣшился выползть изъ норки. Все было тихо; мѣсяцъ высоко плылъ по небу; широкіе дубы, какъ темныя горы, рисовались на темно-голубомъ небѣ; роща дремала; между травою блестѣли свѣтлаки,

въ орѣшникѣ, какъ и прежде, спала сорока; далеко въ болотѣ за рощею лягушки, какъ и всегда, хоромъ спорили о какомъ-то новомъ танцѣ; ничто не измѣнилось, кроме моего положенія: я остался сиротой на бѣломъ свѣтѣ! Не съ кѣмъ мнѣ сказать слова, не съ кѣмъ раздѣлить ни печали, ни радости! Матушка, добрая матушка! я тебя не увижу болѣе!... Гдѣ ты, моя родная? чтѣ съ тобой? О, Петръ Ивановичъ! о Великанъ!... Я горько заплакалъ.

— О чѣмъ ты плачешь, дитя мое? спросилъ меня знакомый голосъ; смотрю — передо мною стоитъ нашъ дѣдушка-колдунъ єжъ, покашливаетъ и жуетъ какой-то корешокъ.

— О чѣмъ я плачу? Ахъ, еслибы вы знали, дѣдушка-колдунъ, я лишился матери! И, рыдая, я рассказалъ ему свою насчастную исторію.

— Подлинное несчастіе, сказалъ єжъ, глотая остатки корешка.— Жаль, жаль, очень жаль твоей матушки! я ее зналъ еще въ дѣвицахъ; она была очень дикая особа... И тебя-то жаль, мой другъ, рано остался безъ подпоры.

— Правда ваша, дѣдушка-колдунъ!

— Я никогда не лгу, мой другъ — это мое правило. Чѣмъ же, у тебя норка теперь пуста?

— Да, много ли для меня нужно мѣста?

— Ну, такъ и быть, я тебѣ окажу услугу: это въ моемъ характерѣ; остаюсь у тебя жить, тебѣ будетъ веселѣе, а я старъ-звѣрь, беспокоить тебя не стану; захочешь слушать — скажу сказочку, а нѣтъ — и замолчу.

— Вы благодѣтель мой! сколько дикости въ этомъ поступкѣ!... Пойдемте, расположитесь въ норкѣ на су-

хихъ листьяхъ, гдѣ почивала моя матушка; будьте какъ у себя...

Ежъ вошелъ въ мою норку, проворчалъ-себѣ подъносъ какія-то волшебныя слова, перекрутился раза четыре на одномъ мѣстѣ и, свернувшись въ комокъ, уснуль. Я сдѣлалъ тоже въ боковой норкѣ.

На-завтра, возвратясь съ прогулки, я не узналъ своего жилища: вся боковая норка была завалена лягушками, ящерицами, змѣями и другими гадами. Ежъ очень хладнокровно и съ большимъ любопытствомъ разматривалъ небольшаго ужа.

— Фи! дѣдушка-колдунъ! чѣдѣ это? Къ чѣму вамъ эта мерзость?

— Необходима, другъ мой, для моихъ практическихъ занятій, для опытовъ.

— Для какихъ опытовъ?

— Видишь, узнаю, чѣдѣ вкуснѣе.

— Это нестерпимо, дѣдушка-колдунъ! Гдѣ же я буду спать?

— Гдѣ угодно.

— Вытаскайте изъ моей норки этихъ уродовъ!

— Этого не будетъ, другъ мой; спи возлѣ меня, здѣсь.

— Но ваши иглы колются; около васъ близко быть страшно.

— Молодъ другъ мой, поживи съ мое и у тебя выростутъ такія иглы... А боишься меня — можешь провести ночь на вольномъ воздухѣ.

— Да въ васъ нѣть никакой дикости! это самый образованный поступокъ: въ чужомъ домѣ распоряжаться какъ въ собственномъ и почти выгонять хозяина.

— Можетъ-быть.

— Не можетъ быть, а есть. Прощайте! И я выскочилъ изъ норки, съ напрѣсеніемъ провести ночь гдѣ-нибудь вблизи; но пахнула вѣтерокъ, нагнала тучи и пошелъ частый дождикъ. Дѣлать нечего: я опять въ норку. Что жь бы вы думали? не успѣть сѣмь двадцать шаговъ, лѣзеть инѣй настѣнѣ єжъ, уставя противъ меня свои иглы; я назадъ — онъ остановится; я въ норку — онъ опять противъ меня.

— Чѣдѣ это значить, дѣдунка-колдуна?

— Ничего, другъ мой. Во инѣй нѣть дикости; я самыи образованный звѣрь!

— Вы хотите выгнать меня изъ моей родной норки, лишить меня наслѣдія родителей?

— Можетъ-быть.

— Не можетъ быть, а есть... Вы неблагодарны! Какъ можно въ дождикъ выгонять на дворъ хозяина!

— Это тебѣ урокъ, молодой звѣрь, чтобъ ты умѣль уважать старшихъ себѣ...

Дѣлать нечего! я махнулъ лѣвымъ ухомъ и оставилъ родное жилище. Дождь лилъ рѣкою; я измокъ и, согнувшись подъ кустомъ, едва имѣлъ силы дождаться утра, пока взошло солнышко и осушило меня, сиротку, лишенную даже роднаго пріюта.

Грустно провелъ я весь день, и къ вечеру брелъ по рощѣ безъ цѣли, безъ намѣренія, не зная, гдѣ преклоню свою голову; смотрю — идетъ Сиволапушка.

— Здравствуйте, Сиволапушка! закричалъ я, прыгая ей на встрѣчу.

— А! мое почтеніе! отвѣчала она, очень грациозно шевеля пушистымъ хвостомъ.

— Какъ вы попали въ нашу рощу?

— Единственно чрезъ свое добродуше: Петръ Ива-

нычъ, вмѣсто снигирия, котораго я освободила, посадилъ въ клѣтку чижика: я и этого избавила оть неволи...

— И также мертваго?

— Нѣть, этотъ, по выходѣ изъ клѣтки, у меня въ лапахъ еще вздохнулъ раза два.

— Ага!... это хорошо. Чѣдже далѣе?

— Мѣсто чижика занялъ скворецъ, такой печаль-ный!... Два дна смотрѣла я на него, и наконецъ на третій рѣшилась, во чѣдже бы ни стало, освободить; все шло какъ-нельзя-лучше, но этотъ дуракъ поднялъ такой крикъ, что прибѣжалъ Петръ Иванычъ и...

— Чѣдже такое?

— И... надѣяла мнѣ многое непріятностей, такъ-что я рѣшилась тогда же оставить домъ этого грубяна, и только по ночамъ посѣщаю иногда кухню и комнаты, чтобы покушать чего-нибудь да послушать какихъ-ни-будь исторій.

— Я понимаю; это очень пріятно.

— Даже и полезно. Сегодня, напримѣръ, я слышала вѣсточку, которая, можетъ-быть, спасеть васъ оть смерти.

— Какъ?

— Съ-нѣкоторыхъ-поръ, именно съ того времени, какъ привѣзли молодаго студента учить сынка Петра Иваныча, бѣдная наша барыня все хвораетъ, и все посылаетъ своего мужа доставать дичи, такъ-что онъ часто по цѣлой недѣлѣ пропадаетъ; то заохаетъ же-на: «убей мнѣ цаплю съ бѣльмъ хохломъ: кажется, какъ посмотрю на нее, станетъ легче». Привезетъ Петръ Иванычъ цаплю — опять стоны: «еслибы была съ чер-нымъ хохломъ». Вотъ такъ все и капризничаетъ.

— Да, это и при мнѣ бывало, и учителя-то я знаю: онъ меня нѣхотя выпустилъ на свободу.

*

— И прекрасно! Слушайте жь: воть вчера сижу я подъ кроватю и слышу: «Накорми меня, Петръ Иванычъ, зайцомъ, да тѣмъ самымъ, чтò у насть жиль». Петръ Иванычъ отвѣчаетъ, что онъ затравить цѣлую сотню, хотя теперь порядочные люди и не ловятъ зайцевъ, а ждутъ осени; «я, дескать, и третьягодня затравилъ для тебя, да ты и не ъма.» — «Потому-что тотъ быль старикъ», отвѣчала жена, «а я хочу молоденькаго, воть того, чтò у насть роєсь да ты выпустиль». — «А узнаешь ты его?» спросилъ Петръ Ивановичъ. — «Узнаю». — «Ну, ладно, завтра же обшарю всѣ кустики во всемъ околоткѣ». — «Эгэ! подумала я: надобно извѣстить объ этомъ моего пріятеля» — и побѣжала въ рощу, а вы, какъ нарочно, идете на встрѣчу.

— Что жь мнѣ дѣлать?

— Сидите цѣлый день въ норкѣ. Ночью покушайте да и опять въ норку: дня въ три буря пройдетъ.

— Да у меня проклятый колдунъ отнялъ норку.

— Въ такомъ случаѣ путешествуйте. Люди всегда путешествуютъ, когда хотятъ чего-нибудь избавиться.

— Куда же? Не оставьте меня вашимъ совѣтомъ.

— Я думаю, какъ вы звѣрь молодой и ловкій, вамъ не безполезно было бы побывать въ Муромскихъ лѣсахъ: тамъ-то, говорить, настоящее звѣрство, неподѣльная дичь. Тамъ, говорить, наше невѣжество — сущее образованіе; тамъ-то можно перенять превосходныя дикия манеры, темные мысли, неистовыя чувства... Ахъ, путешествуйте! туда, туда!...

— Рѣшено: путешествую! сказалъ я, протягивая лапу Сиволапушкѣ.

— Будьте счастливы, прощептала мнѣ очаровательница, и исчезла, какъ видѣніе.

Не успѣло еще разсвѣсть порядочно, какъ я уже былъ въ дорогѣ; съ сосѣднаго пригорка взглянуль еще разъ на рощу и поскакалъ далѣе и далѣе, все на восходѣ солнца: тамъ, говорять, Муромскіе лѣса!...

II.

Заяцъ знакомится съ нѣкоимъ насѣкомымъ.

Вотъ скаку-себѣ все далѣе и далѣе, скокъ да скокъ, впередъ да впередъ... Далеко осталась за мною родимая роща; давно уже ея не видно. Прощай, моя зеленая! Кажется, о чемъ бы мнѣ грустить? матери у меня не осталось, моимъ жилищемъ завладѣлъ старый колдунъ съ колючками — скверный ёжъ; меня тамъ ждетъ неминуемая смерть, коли не отъ Петра Иваныча, такъ отъ собаки Великаны. Гадкая роща! пропадай она совсѣмъ отъ верхушки до корня! А все-таки ее жаль, самъ не знаю отчего. Я плакалъ бы, еслибы путешествіе не было такъ пріятно. — Ахъ, авѣри, звѣри! и малые и большиe, и стѣрые и пестрые, путешествуйте, путешествуйте! Я теперь только понимаю высокое наслажденіе мыши-пеструшки *), которая, оставляя свою родину, часто отправляется путешествовать безъ цѣли, безъ намѣренія, такъ, лишь бы путешествовать.

Что шагъ впередъ, то открываются передо мною новые виды: незнакомыя рощи, темные лѣса, широкіе луга... подъ небесами плаваютъ орлы, въ болотѣ пресмыкаются разнообразные гады, на ветрѣчу летять стаи скворцовъ, ползутъ насѣкомыя, сороки сплетничаютъ, воробы врутъ чепуху — скачешь и упиваешься

*¹) *Mus lemmus*. Linn.

Примльчанѣе дѣдушики.

блаженствомъ: вездѣ такая прекрасная дичь!... ни слова, ни звука образованнаго, ни лица, ни голоса человѣческаго; все мы, звѣри, и прочія животныя. Чѣм же ожидаетъ меня въ Муромскихъ лѣсахъ?

Прокакавъ одну порядочную рощу, я выбѣжалъ на чистое, обширное поле; по полю шла дорога; по обѣимъ сторонамъ ея кое-гдѣ росли кусты ракиты. День былъ жаркій, полуденное солнце не грѣло, а просто жгло безъ милосердія. Кто меня гонить? подумалъ я и, своротя съ дороги, улегся спокойно въ тѣни ракитового куста. Легкая дремота начала овладѣвать мною; вдругъ почти у самого моего уха раздался какой-то пронзительный, пискливый голосъ; прислушиваюсь: кто-то поетъ пѣсню:

Ахъ, ахъ, ахъ! какъ ты прекрасно, солнце, свѣтишь!
Повѣрь мнѣ, солаще, я одинъ лишь правду говорю;
Всмоторись, о' царь свѣтиль! и ты съ высотъ тотчасъ прямѣтишь,
Что дремлетъ птица, звѣрь, и гадъ, и цвѣтъ, и злакъ, а я одинъ пою!
Возможно ли сравнить съ тобою блѣднью луну и звѣзды?
Всѣ знаютъ здѣсь меня; я знаю всѣхъ и потому
Прилично воспѣвать тебя всегда мнѣ одному,
Когда перватые пѣвцы убралисъ въ гвѣзды!...

— Перестань, сосѣдъ, пищать! сказалъ пѣвцу какой-то голосъ.

— Не перестану, почтеннѣйший! не могу. Посмотри, какъ прекрасно оно, это благодѣтельное свѣтило — не могу: я весь проникнутъ признательностью; моя пѣсня — чистое изліяніе души.

— Не дальше, какъ прошлую ночь, ты мнѣ не дай спать, напѣвая такую же пѣсню лунѣ.

— Тогда щла луна по небу, а теперь идетъ солнце; ночью и луна хороша, а днемъ она дрянь — это мое

убѣжденіе, почтеннѣйший. До свиданія, сосѣдъ. Не хотите послушать?

Ахъ, ахъ, ахъ, ахъ! какъ ты прекрасно, солице, свѣташь!...

Я поднялъ голову и увидѣлъ недалеко отъ себя поюще настѣкомое: оно было худощаво, желтоватаго цвѣта, съ зеленоватыми глазами и длинными, тоненными, сухими ножками; скорчившись, оно сидѣло подъ листкомъ чертополоха и, надрываясь, кричало нелѣпую пѣсню солнцу. Вотъ что значитъ путешествовать, подумалъ я, у насъ въ рощѣ нѣть такихъ настѣкомыхъ; само маленькое, невзрачное, поджарое, а кричить какъ добрый поросенокъ, да какую великолѣпную дичь!... Настѣкомое, замѣтивъ, что я смотрю на него, сдѣлало ловкій прыжокъ и, очутясь возлѣ самого моего носа, начало присѣдать и шаркать самымъ вѣжливымъ образомъ, безпрестанно повторяя: «какъ я радъ, что имѣю удовольствіе видѣть на нашемъ полѣ иностраннаго зѣря — сына рощи и лѣсныхъ предѣловъ».

— Какъ это дико! отвѣчалъ я.

— Помилуйте-съ, на этомъ только и живемъ, это уже наше дѣло; все окрестное поле меня знаетъ; спросите у всякаго, вотъ недалеко муравейникъ — хотите справиться?

— Покорно васъ благодарю! Но позвольте васъ спросить: какъ вы узнали, что я иностранецъ?

— Вы вовсе непохожи на нашихъ полевыхъ животныхъ.

— А вы постоянный здѣшний житель?

— Да-съ. Впрочемъ, насъ живетъ искони на этомъ полѣ множество и, для различія, ихъ именуютъ разно:

здесь живеть полевая мышь¹), полевой жаворонокъ²), полевой жукъ³), полевой скакунъ⁴), и проч., всѣхъ не перечтешь и до вечера.

— А вы?...

— Я полевой сверчокъ, — къ вашимъ услугамъ⁵).

— Очень приятно!

— А! вы, вѣрно, обо мнѣ слыхали многое чего?

Это правда, меня всѣ знаютъ, да и я таки-понялъ эти окрестности. Положа лапку на сердце, осмѣлюсь вамъ дложить, мой добрый путешественникъ, что въ томъ, чѣо я вамъ буду говорить, есть многое занимательнаго и поучительнаго.

— Рассказывайте.

— Наше поле обширно; много животныхъ населяетъ его, но въ особенности я счастливъ моими родственниками: иѣкоторые изъ нашей породы, известные подъ названіемъ саранчи⁶), опустошаютъ поле человѣка и, подивитесь! что тѣ, чтѣ посвяено съ трудомъ и стараніемъ, поѣдаетъ саранча въ одно мгновеніе, и чтѣ въ то же время мы, что называется, благодѣтельствуемъ гордому человѣку, потому-что другую нацу породу люди

¹⁾ *Mus arvalis* (Linn.), le carmagnol, ou petit rat des champs. При благопріятныхъ обстоятельствахъ, эти животныя до того размножаются, что дѣлаются настоящими бичомъ, казнью неба. Если полѣки заведутся въ какихъ-нибудь мѣстахъ, то бывають причиной голода. (Зоол. Эдварса, ч. II. стр. 293).

²⁾ *Alauda arvensis*. Linn.

³⁾ *Scarabeus agricola*. Linn.

⁴⁾ *Cicindela campestris*. Linn.

⁵⁾ *Grillus campestris* (Linn.). Le Grillon des champs. Il se creuse sur les bords des chemins, dans les terrains secs et exposés au soleil des trous assez profonds, où il se tient à l'affût des insectes, dont il fait sa proie... Le mâle produit un bruit aigu et désagréable (Cuvier).

⁶⁾ *Grillus migratorius*. Linn.

Примѣчанія дѣдушки.

ѣдять вмѣсто хлѣба¹⁾). Мы казнимъ, но мы же и ми-
луемъ человѣка; мало этого, чтѣ сказать я, мы, чтобы
что-нибудь сдѣлать ему пріятное, за грабежи нашихъ
родственниковъ отрядили искони одну отрасль нашего
рода жить къ нему въ домъ и увеселять его прекрас-
ными пѣснами. Этотъ пѣвецъ извѣстенъ подъ именемъ
запечнаго сверчка²⁾.

— Знаю, знаю сверчка: когда я проживалъ въ домѣ
Петра Иваныча, то часто слушалъ его пѣсни.

— Ну, вотъ видите, я вамъ говорилъ, что тѣ, что³⁾
я вамъ скажу, будетъ очень для васъ поучительно. И
я готовъ перекричать всѣхъ наскомыхъ, что Петръ
Иванычъ великий человѣкъ.

— Ваша правда, очень великий: будетъ съ поверхст-
ный столбъ, который стоитъ при началѣ этой дороги,
если знаете.

— Я все знаю! Но позвольте вамъ доложить, что
одинъ изъ сверчковъ, именно братъ дѣдушки моего
пріятеля, жилъ во время оно въ домѣ пастуха Демида—
а вамъ небезызвѣстно то, что пастуха уважаютъ и
слушаются всѣ, даже быки и кони! — жилъ, быть ува-
жаемъ и пѣлъ такъ громко, что заглушалъ синичку,
летавшую всю зиму по избѣ, съ которой онъ былъ въ
непріязненныхъ отношеніяхъ, потому-что боялся, чтобы
она его не сѣла. Обиталище его было подъ печкой,

1) *Aesridum*. Сю саранчу въ Аравіи и другихъ восточныхъ стра-
нахъ различно пріготовляютъ и употребляютъ въ пищу, и также
дѣлаютъ изъ нея муку для печенія хлѣбовъ. (Ест. Ист. Ловецкаго).

2) *Grillus domesticus*. Linn.

3) Чѣ—безпрестанно встрѣчается въ рѣчахъ полеваго сверчка,
а потому я рѣшился оставлять эту частицу, какъ она была въ ori-
gиналѣ, для сохраненія самостоятельности слова.

Примѣчанія дѣдушкі.

въ глубокой, уединенной трещинѣ, откуда онъ только выходилъ ночью и, покровительствуемый глубокимъ мракомъ, воспѣвалъ отъ полноты души восторженный пѣсни!... Мало этого, родь человѣческій уже давно оцѣнилъ заслуги нашего рода и даже сочинилъ въ похвалу нашъ какое-то пріятное изреченіе¹⁾). Я пытался перевести его на наше нарѣчіе, потому-что знаю языкъ человѣческій...

— Вотъ видите! это величайшая рѣдкость! Гдѣ же вы учились языку человѣческому?

— Почти нигдѣ. Я разъ какъ-то подслушалъ, какъ проѣзжавшій мимо извозчикъ бранилъ лошадей; эту фразу я взялъ за основаніе, составилъ себѣ систему, а остальное дополнило воображеніе... и вышло очень хорошо — спросите у всѣхъ. Пойдемте въ муравейникъ.

— Увольте меня, ради знонаго дня.

— Какъ вамъ угодно. Теперь я разскажу вамъ о себѣ: Я... ахъ! извините... мнѣ должно пѣть, видите, взлетѣла на горизонтъ птица, да какъ высоко летить!... Пою, пою...

И полевой сверчокъ затянулъ пѣсню:

Привѣтствую тебя, прекраснѣйшая птица:
Какая прелестъ, красота, пернатая, въ тебѣ видна!
О! недоступная для нашихъ глазъ ты быть должна,
Всѣмъ соколамъ, чижамъ, скворцамъ и воробьямъ сестрица.
Лети себѣ, крылами воздухъ разсѣяя.
Счастливъ я и на землѣ, тебя лишь воспѣваю!. .²⁾.

Окончивъ пѣсню, полевой сверчокъ высунулъ го-

1) Я полагаю: энай сверчокъ свой шестокъ.

2) Всей красоты подлинника невозможно передать языкомъ человѣческимъ; однако въ прозу въ стихи полеваго сверчка я старался переводить какъ можно ближе, сохранивъ въ послѣднихъ даже размѣръ подлинника.

Приложанія дѣдушки.

ловку изъ-подъ листка и, увидя, что птица уже пролетѣла, немного успокоился.

— Ваша пѣсня довольно дика, замѣтилъ я изъ вѣжливости.

— Помилуйте-сь! скажу вамъ откровенно, что въ томъ, чтоб поется на бѣломъ свѣтѣ, никто не знаетъ болѣе толку, чѣмъ я. Я самъ пою безпрестанно; ничто не уйдетъ отъ моей пѣсни; я перепою всѣхъ животныхъ. Да, если по правдѣ сказать, то кто теперь поетъ? жаворонки, зяблики, скворцы, соловьи и прочіе... Сами посудите, чтѣ это за народъ! ни одного настѣкомаго! всѣ—птицы. Птицы! Эка невидаль какая!... Рады, что живутъ въ гнѣздахъ повыше нашего брата! А самъ ихъ соловей учился у меня. Вы слыхали соловья?

— Какъ же! прекрасно поетъ.

— Да, порядочно; но главная красота его пѣнія заключается въ звукахъ: чикъ, чикъ, чикъ, чикъ! и это онъ у меня перенялъ.

— У васъ?

— Да-съ. Прежде соловей пѣлъ какъ-то странно: пикъ, пикъ... Но я первый рѣшился запѣть чикъ, чикъ— и соловей нѣсколько разъ прилеталъ къ муравейнику, у которого я пѣлъ, и сиживалъ долго, изучая мое пѣніе. Послѣ слышу: онъ поетъ чикъ, чикъ!... Да-съ! перенялъ; а злоба и зависть даже и на это не соглашаются! Вообразите: мои недоброжелатели распустили слухъ по всему полю, что соловей прилеталъ къ муравейнику, гдѣ я пѣлъ, не за тѣмъ, чтобы учиться пѣть, но чтобы покушать муравьиныхъ яичекъ!

— Это ужасно!

— Именно ужасно! Поютъ какія-нибудь верхолётки, которые порхаютъ по верхушкамъ деревьевъ, а нашему

брату, изучающему природу въ ея основаниі, при корнѣ, не даютъ хода! То ли было въ старины времена! Здѣсь пѣль пѣтухъ, потерянный на нашемъ полѣ хмѣльною бабой, да, самъ нѣтухъ, котораго даже люди разводятъ въ домахъ своихъ ради пѣнія; мало этого, здѣсь свистѣль свои пѣсни сурокъ, изучавшій природу, какъ и мы, въ уединеніи, въ нѣдрахъ темной норки. И теперь не могу вспомнить равнодушно о томъ, какъ свистѣль онъ: его рѣзкій свистъ рѣшительно заглушалъ все и даже самого пѣтуха. Да, было времечко! Охъ, старина, старина!...

— Вы полагаете встарину было лучше?

— Несравненно! Тогда даже одинъ соловей пѣль пѣсни кузнеціку, одному изъ моихъ знаменитыхъ родственниковъ.

— Вашему родственнику?

— Да-съ, родственнику: онъ былъ двоюродный дядя брата сожительницы моего прадѣда, умерш资料的енного сѣропѣгого жабою исполинскаго роста, въ достопримѣчательную эпоху, известную въ исторіи подъ именемъ войны мышей съ лягушками.

— Развѣ онъ былъ мышь?

— Нѣть; онъ былъ тоже полевое насѣкомое, а попалъ въ войну единственное по добротѣ сердца и врожденной храбрости: не могъ терпѣть трусовъ. Мыши поколотятъ лягушекъ — онъ тотчасъ къ мышамъ и поеть имъ похвалу. Лягушки ли одержать верхъ — онъ въ станѣ лягушекъ, и танцуетъ съ ними галопадъ, и превозносить ихъ удальство, и поеть имъ пѣсню. Сколько разъ говорили ему родственники: «Эй, кузнецикъ, не юли! не ярись!» и слушать не хотѣть, пока, пойманый въ непріятельскомъ лагерѣ, не былъ предательски

умершвленъ огромною сѣропѣгрою жабей!... Не правда ли, что тѣ, чѣмъ я вамъ говорю, послужить вамъ источникомъ къ размышеніямъ?

— Согласенъ. Но скажите, ради вашего прекраснаго голоса, какой это птицѣ вы пѣли похвалу?

— Удовлетворить вполнѣ васъ я не могу, потому что самъ хорошенько не знаю ея породы, но полагаю, что она птица сильная, отъ того, что летить wysoko; слабая птица такъ не подымется: побоится; сверхъ-того, она полетѣла по направлению къ Муромскимъ лѣсамъ, а тамъ, вы знаете, что все отъявленная дичь, такъ пусть и о нась тамъ слово скажеть, что, дескать, и въ полѣ не безъ дичи-сь.

— А! такъ я ее еще увижу?

— Извините-сь, повѣрьте, что я все знаю; вы ее не увидите, потому что она полетѣла въ Муромскіе лѣса.

— Да и я, вѣдь, скачу туда же.

— Какъ, и вы въ Муромскіе лѣса? и вы туда же путешествуете?

— Чѣмъ тутъ удивительнаго?

— Разумѣется, ничего, мой благородный гость. Я восклицаю отъ радости, что, наконецъ, познакомился съ животнымъ, которое такъ необразовано... такъ...

— Перестаньте листить!

— Я не льшу; кладу лашку на сердце и уверяю васъ, что не льшу. Ахъ! еслибы вы знали, что и я давно уже собираюсь путешествовать. Еслибы вы знали, чѣмъ я терплю на поле за свое добродушіе и правдолюбіе! Вотъ, напримѣръ, мой сосѣдъ, полевой скакунъ — мой злѣйший врагъ! онъ готовъ сдѣлать мнѣ всевозможныя непріятности... даже вотъ недавно, передъ началомъ на-

шего пріятнѣйшаго знакомства, не захотѣлъ слушать моей пѣсни солнцу.

— А я думалъ, что онъ вашъ пріятель. Вы, кажется, его называли почтеннѣйшимъ сосѣдомъ!...

— Изъ одной только политики. Дай мнѣ побольше силы — онъ бы заплясалъ по моей дудкѣ. Но я, слабое, тощее, обиженное природой настѣкомое, чтѣ могу я сдѣлать? только терпѣть, или удалиться. Рѣшаюсь на послѣднее: путешествую! Скачемъ вмѣстѣ, мой добрый гость?

— Вотъ моя лапа.

Полевой сверчокъ съ чувствомъ схватилъ мою лапу своими двумя лапками и, присѣдая на одномъ мѣстѣ, пожалъ ее. Чрезъ нѣсколько времени я скакалъ уже далѣе и полевой сверчокъ, взмостясь мнѣ на спину, кричалъ всѣмъ встрѣчнымъ животнымъ: «не нужно ли вамъ чего въ Муромскихъ лѣсахъ? мы, вотъ, туда путешествуемъ!»

III.

ПОЛЕВОЙ СВЕРЧОКЪ ЛѢСТИТЬ ЖУРАВЛЯМЪ.

Скачу да скачу я, все дальше и дальше; кругомъ меня исчезаетъ всякая образованность и возникаетъ дичь. Ахъ, какъ весело!... уже рѣдко встрѣчаются обработанныя поля и нивы, лѣса становятся чаще, пустыри огромнѣе, кустарники и дикій верескъ почти не проходимы. Я скачу, у меня на шеѣ сидить мой товарищъ, полевой сверчокъ, и поеть пѣсни — очень весело! Послала же мнѣ судьба такого прекраснаго товарища! Меня удивляетъ непонятная способность

полеваго сверчка пѣть обо всемъ; вѣдемъ въ лѣсъ— онъ поетъ:

О лѣсъ, о лѣсъ, о лѣсъ, великий лѣсъ,
Пою тебя, кладу на сердце руку
И говорю: о лѣсъ! всегда ты здѣсь:
Не перенесть съ тобою мнѣ разлуку!...

Прискакали въ рощу — ужь онъ пищить другую пѣсню:

О, роща! я тебя люблю, какъ человѣки квасъ и кашу;
И лѣсъ противъ тебя — естественный дуракъ.
Собой ты прославляешь, роща, землю нашу...
Я говорю, пою — такъ это вѣрно такъ...

Выскочу я изъ рощи на степь, полевой сверчокъ покрѣпче ухватится мнѣ за шею задними лапками, пе-реднія подыметь кверху и дико запищить:

О степь! о трогательный видъ!
И лѣсъ и роща — дрянь передъ тобою!
Кто, гляди на тебя, спокойствіе хранить,
Или о рощахъ смѣеть говорить,
Тотъ низокъ, тотъ не дикъ душою!...
Я знаю толкъ во всемъ — повѣрь мнѣ, не шута!
Что, гляди на тебя, я плачу какъ дитя...

И много, много, подобной дичи напѣвалъ мнѣ надъ самимъ ухомъ мой товарищъ; иногда дичь доходила до такой нелѣпости, что выразить ее неѣтъ никакихъ словъ на языкѣ звѣриномъ, даже, сколько я понимаю, и на языкѣ человѣческомъ. Часто я, слушая пѣсни полеваго сверчка, останавливался на всемъ бѣгу и, пораженный, уничтоженный высочайшею ихъ необразованностью и звѣрствомъ, стоялъ благоговѣйно, какъ пень, какъ мерз-лая лягушка. Нѣтъ, кто чтѣ ни говори, а по-моему по-

левой сверчокъ — умѣйшее насекомое: чего онъ не знаетъ, чего онъ не вѣдѣтъ! Запечного сверчка я не уважаю; но полевой — дичайшій звѣрь!...

Разъ, подвечерь, мы встрѣтились съ дикимъ кроликомъ; разговорились о томъ, о другомъ, вышло, что онъ мнѣ съ родни. Славный малый, почти безъ образованія; далеко выше стоитъ тѣхъ, которыхъ я видывалъ на дворѣ Петра Ивановича: тѣ, живя съ людьми, почти потеряли свою дикость, изнѣжились, ослабѣли, бредятъ какимъ-то комфортомъ (должно быть, слово рыбьяго языка, котораго я не знаю), стали очень довѣрчивы и отъ того часто, не думано, не гадано, попадаютъ въ супъ, а супъ такая гадость, которую, я полагаю, ни одинъ хоть немного дикий звѣрь не можетъ попробовать, не потерявъ на цѣлую сутки аппетита.

Мы съ родичемъ сѣли листка по четыре хорошей заячьей капусты. Полевой сверчокъ не отказался раздѣлить нашу трапезу. Между разговорами, кроликъ сказаъ мнѣ: «и такъ вы, любезнѣйший родственникъ, скоро достигнете цѣли вашего путешествія, проскакавъ денёкъ-другой, будете въ Муромскомъ лѣсу — славное мѣсто! заросли необыкновенныя, собаки не бѣгаютъ, люди тоже — прелестъ!...

— Ахъ, какъ я радъ! сказаъ я.

— Только, продолжалъ кроликъ: — если вы любите овесь, то совсѣмъ покушать его сегодня вдоволь.

— А развѣ въ Муромскихъ лѣсахъ нѣть овса?

— Нельзя сказать, чтобъ не было — чего тамъ нѣть! но, видите, его очень мало и вообще онъ пойдется звѣрями сильными, большими: лошадьми, оленями, зубрами; даже простой быкъ не рѣшается кушать овса, боясь непріятностей, потому-что тамъ овесь звѣринный,

а не съянный людьми. Но сегодня вы еще можете воспользоваться. Недалеко отсюда какой-то человѣкъ вздумалъ засѣять ниву овса, и мы, звѣри, считая это нарушениемъ своихъ правъ, опустошаемъ его частенько. Мое почтеніе, любезнѣйший родственникъ. Кланитесь отъ меня тушканчикамъ *), познакомьтесь съ ними: ребята теплые, отличные прыгуны, они же намъ съ родни приходятся.

- Прощайте! А овесъ я гдѣ найду?
- Тутъ, недалеко, вамъ по дорогѣ будетъ нива.
- Прощайте, почтенѣйший, запищаль полевой сверчокъ. — Минуты вашего драгоценнаго знакомства никогда не изгладятся изъ моего сердца.
- Прощайте, доброе настѣкомое.
- Кроликъ ускакалъ, и я отправился своею дорогой.
- Вашъ родственникъ, не чета вамъ, сказалъ полевой сверчокъ, когда кроликъ скрылся изъ виду.
- Какъ такъ?
- Да такъ; я повседневно, можно сказать ежечасно, удивляюсь вашему уму, а онъ...
- А онъ?
- Дуракъ, чистый дуракъ, образованный, съ позволеніемъ вашего ...
- Не слишкомъ ли это? вы ошибаетесь.
- Повѣрте, то, что я говорю, всегда правда; это я знаю, и все знаютъ, я говорю по убѣженію.
- По какому?
- Развѣ вы не замѣтили, что когда вы сказали слово комфортъ, какъ онъ глупо махнулъ лѣвымъ ухомъ; онъ решительно не понимаетъ этого слова, хотя тѣ, что

*¹) *Mus jacalus* (Pall.)

Примѣчаніе дѣдушки.

вы замѣтили, что это слово изъ рыбьяго языка — чрезвычайно справедливо.

— Вы полагаете?

— Помилуйте-сь, совершенно увѣренъ, на этомъ живемъ-сь! Комфортъ значить камышинка; и если, положимъ, говорять: улитка влѣзла въ комфортъ, это значитъ улитка спряталась въ камышинку. Ужъ я знаю рыбій языкъ; между нами сказать: скверный язычишка; кажется, и смысла нѣть по нашему, очень образованно, а по ихъ это хорошо, дико.

Убивац время подобными разговорами, мы наконецъ прискакали къ желанной нивѣ съ овсомъ и услышали очень дикую музыку. На нивѣ было гостей множество — цѣлое стадо журавлей. Пять или шесть особъ изъ этого стада стояли въ концѣ нивы, каждый поджавъ подъ себя одну ногу, и во все горло кричали на голосъ стариннаго экоссеса извѣстную журавлинную пѣсню:

Прилетѣли на овесъ
И покушали овесь.
Ай люля, ай люля! (bis.)
Хоть не любимъ мы овса,
Но отвѣдали овса.
Ай люля, ай люля! (bis.)
Мы бродили по овсу,
Честь мы сдѣлали овсу.
Ай люля, ай люля! (bis.)
Мы пѣвалися овсомъ,
Подкреплялись овсомъ.
Ай люля, ай люля! (bis.)

Музыканты играли неутомимо, а прочie журавли танцевали препріятный танецъ: то собирались въ кругъ, подымая кверху крылья, то, разсыпаясь, пры-

гали по нивѣ и каждый въ одиночку неподражаемо плуталъ длинными ногами и выдѣльвалъ самыя дикия пѣ.

Я хотѣлъ-было, вздохнувъ, проскакать мимо овсяной нивы, но мой товарищъ зашипалъ мнѣ: «не дѣлайте этого, вѣдь вамъ журавли хоть и не большие пріятели, но и не враги; насть, другое дѣло, эти невѣжки часто очень образованно хватаютъ своими длинными носами; полевой сверчокъ самое несчастное животное!... А вы можете воспользоваться пищѣй, да не забудьте унести и для меня во рту одинъ колосокъ.

— А вы куда? спросилъ я.

— Э, почтеннѣйший! журавли враги мнѣ, я спрятчусь; ужь позвольте мнѣ влѣзть въ ваше ухо: я помѣщусь въ немъ очень спокойно, оно такое большое; признательно сказать у васъ уши, какъ у доброго дикаго осла — удивительныя уши, чуть ли не больше ослиныхъ; я даже гдѣ-то читалъ объ этомъ, кажется, въ диссертациѣ о превратности счастія, сочиненія сѣраго попугая Попки, или синей мясной мухи — не могу сказать утвердительно, а помню даже форматъ этой лапописи: — на зеленомъ лапушномъ листѣ въ полекачка длиною.

Говоря такимъ образомъ, полевой сверчокъ залѣзъ мнѣ въ ухо и шепнулъ, чтобы я бѣжалъ смѣло къ нивѣ. Ему хорошо было давать совѣты спрятавшись, а меня немного взяло раздумье: «что если одинъ изъ этихъ болвановъ, для потѣхи, такъ разыгравшись, мимоходомъ задѣнетъ меня носомъ: шутки плохи: можно лишиться глаза», и я робко подскочилъ къ музыкантамъ и остановился въ недоумѣніи. Музыканты разомъ повернули ко мнѣ свои шеи и, увидѣвъ, что я не изъ числа враговъ, занялись своимъ дѣломъ. Вдругъ мое ухо запѣ-

ло — да, полевой сверчокъ началъ изъ моего уха подпѣвать журавлямъ! Чуть музыканты окончатъ:

Ай лули, ай лули,

а полевой сверчокъ и подпоетъ:

Патріоты журавли!

танцоры скоро заметили эту прибавку въ стихахъ экоссеса и шумной толпой подбѣжали къ музыкантамъ, крича: «браво! браво! молодцы!»

— Кто это изъ васъ такъ хорошо подхваливается? спросилъ самый большой журавль, вѣро, начальникъ.

— Не можимъ знать, отвѣчали въ одинъ голосъ музыканты.

— Быть не можетъ, я самъ слышалъ.

— И мы, и мы, закричало все стадо.

— Не бойтесь ничего, это дѣло хорошее, сказалъ старый журавль: — не къ чему запираться.

— Право-слово, не можимъ знать. Развѣ вотъ они.

Говоря это, музыканты показали на меня. Стадо стояло въ недоумѣніи; старый журавль призадумался съ минуту и сказалъ музыкантамъ: «а ну-тка еще!» Музыканты вытянули шеи и начали отхватывать прежнюю пѣсенку; но чуть они кончили:

Ай лули, ай лули,

полевой сверчокъ подпѣлъ изъ моего уха громче прежняго:

Патріоты журавли!

Прелесть — наши журавли!

— Стой! закричала старый журавль: — теперь понимаю.

Музыканты остановились, а онъ подошелъ ко мнѣ, расшаркался самымъ вѣжливымъ образомъ, *произнесъ* рѣчь, въ которой изъявилъ свое удивленіе, встрѣтивъ между четвероногими такого пріятнаго пѣвца, наговорилъ мнѣ кучу любезностей и пригласилъ раздѣлить съ его стадомъ человѣческій овесъ. Я покушалъ препорядочно и еще унесъ съ собой нѣсколько самыхъ сочныхъ вѣточекъ. Удивительно сметливое и находчивое настроение — полевой сверчокъ!

IV.

ЗАЯЦЪ ПРИСКАКАЛЪ БЛАГОПОЛУЧНО.

Наконецъ мы прискакали въ Муромскій лѣсъ. Чудное мѣсто! Глубочайшая дичь! Кругомъ чертополохъ, репейникъ, терновникъ, шиповникъ и всякия добрыя растенія, далѣе — дубы, сосны, ели, березы... трава не вылезная... Мой товарищъ, сидя у меня на шеѣ, еще издали началъ громко хвалить Муромскій лѣсъ, сравнивалъ его съ другими и ругалъ, насмѣхался надъ другими лѣсами, называя ихъ лѣсишками — даже наскучилъ мнѣ. Узенькой тропинкой я выскочилъ на небольшую чистенькую площадку, тетервинный точекъ, какъ я узналь послѣ; на площадкѣ гордо ходилъ пѣтухъ, подлѣ площадки, въ болотномъ камышѣ, сидѣлъ селезень и лежала большая свинья. Я хотѣлъ было проскочить мимо, какъ пѣтухъ загородилъ мнѣ крыломъ дорогу, гордо отставилъ одну ногу впередъ и крикнулъ на извѣстный напѣвъ кукареку: «кто такіѣ?»

- Путешественникъ, отвѣчалъ я, низко кланяясь.
— Кто такіѣ? повторилъ пѣтухъ, громче прежняго.

— Я заяцъ, сѣрый заяцъ, русакъ, что называется, а это мой искренний другъ, полевой сверчокъ, невообразимо-дикій пѣвецъ.

— Такъ, такъ, дѣти, такъ! заговорилъ хриплымъ голосомъ селезень, выбираясь изъ камыша.

Пѣтухъ свысока, надмѣнно смотрѣлъ на насъ; селезень тоже подошелъ, переваливаясь съ боку на бокъ, любопытно оглядѣлъ насъ кругомъ и сказалъ: — такъ, такъ!

— Полно кричать! спать не даютъ проклятые, проворчала свинья, приподнявъ немнога изъ болота свою жирную голову, и опять улеглась.

Селезень тоже убрался въ камышъ, повторяя:

— Такъ, такъ, такъ!..

— Убирайтесь! прокричалъ пѣтухъ прежнимъ напѣвомъ и пошелъ ровнымъ шагомъ по площадкѣ, а мы поскакали въ самую чащу лѣса.

V.

ЗАЯЦЪ НЕМНОГО РАЗСУЖДАЕТЪ.

Хороши Муромскіе лѣса, а правду сказать въ нихъ часто придется нашему брату, маленькому звѣрю, умирать съ голода. Я началъ-было ѣсть траву подлѣ терновника; откуда ни возьмись коза, привѣтливо раскланялась и говорить:

— Позвольте узнать, что вы намѣрены дѣлать?

— Хочу немного перекусить, отвѣчалъ я.

— Минѣ очень жаль, сказала она, что я должна вамъ отказать въ этомъ удовольствіи: я персона бѣдная, только и имѣю, что это мѣсто для корма; и если буду позволять всякому пользоваться, то, посудите сами — вы умный человѣкъ — могу остаться безъ пищи, и,

говоря это, она довольно-непріятно направила на меня пару своихъ острыхъ роговъ.

— Извините, пробормоталъ я и поскакалъ далѣе.

Въ другомъ мѣстѣ баранъ очень вѣжливо говорилъ мнѣ, что считаетъ за честь со мной познакомиться, что очень много хорошаго слыхалъ обо мнѣ; но, при всемъ желаніи мнѣ добра, никакъ не можетъ позволить пастись около себя. Тамъ осель просто говорилъ: «убирайся, братецъ, къ черту! самому травы мало; здѣсь лошадь, нѣ говоря ни слова, такъ значительно подымала свою ногу, вооруженную широкимъ, твердымъ копытомъ, что я, сколько силъ, улепетывалъ · подальше; но болѣе всѣхъ меня удивила лисица, и эта не позволила щипать травки: «я, говорить, здѣсь живу близко».

— Помилуйте, сударыня, сказалъ я, всѣмъ извѣстно, что вы не употребляете постнаго: ни травы, ни листьевъ, на что же вамъ они? Позвольте попользоваться бѣдному звѣрю.

— По вашему выговору, и еще болѣе по образу мыслей, замѣчаю, что вы иностранецъ, отвѣчала лисица:— и потому позвольте вамъ дать совѣтъ прыгать подальше отъ моего жилища: вы звѣрь очень дикий и безъ всякаго образованія, но слабый; знаете, у насъ, какъ и вездѣ, плотоядные звѣри любятъ иногда, для потѣхи, придушить вашего брата. Согласитесь, какъ мнѣ будетъ непріятно, когда волкъ, или кто другой, гоняясь за вами, ворвется въ мое гнѣздо: я должна буду защищать свое семейство, и, ни за что ни про что, входить въ драку и ссорится съ сильными звѣрями.

— Однако... началъ было я, но лисица зѣвнула передъ самымъ моимъ носомъ и такъ страшно оскалила свои собачьи зубы, что я вспомнилъ Великанъ и опро-

метью бросился да же. Въ сиу къ вечеру набрелъ на семейство тушканчиковъ, передалъ имъ поклонъ отъ кролика, посчитался съ ними родствомъ и перекусилъ не очень вкуснаго моху; они и сами, бѣдные, кое-какъ имъ перебиваются, а живутъ весело, скачутъ, прыгаютъ — славный народъ!

— Кто васъ заставляетъ жить въ этомъ лѣсу, спросилъ я своимъ родичемъ: — если здѣсь пища такъ трудна?

— Да мы лучше станемъ поститься трои сутки, нежели бросимъ Муромскій лѣсъ, завопили они хоромъ.

— Помилуйте, гдѣ вы найдете этакую дикость, этакое тонкое невѣжество, этакое отсутствіе всего, что носить хоть тѣнь образованія?

— Правда, правда. Однако у меня въ родимой рощѣ столько заячьей капусты, столько...

— Зачѣмъ же вы пришли сюда? жили бы тамъ у себя, ждали бы каждый часъ, что васъ затравить человѣкъ или придушить собака!... Тутъ воля, свобода, звѣрство.

Родственники говорили правду, но я не привыкъ питьться мохомъ: я избалованъ съ дѣтства, и рѣшился подражать сильнымъ звѣрямъ. Я замѣтилъ, что медведи и волки всегда жирнѣе нашего брата, всегда у нихъ бока полны и шерсть лосится. Вотъ я и пошелъ къ одному извѣстному волку проситься въ науку. Голодъ не свой братъ.

VI.

ЗАЯЦЪ БЕРЕТЪ УРОКИ.

Волка я засталъ грызущимъ косточку.

— Позвольте потревожить ваше занятіе, сказалъ я самымъ благоприличнымъ голосомъ, наклоняя правое ухо до земли.

— Что-сь? спросилъ волкъ, не выпуская изо рта косточки.

— Позвольте бѣдному травоядному, грызуну, отнять у васъ нѣсколько минутъ драгоцѣнного времени, посвящаемаго вами такимъ полезнымъ занятіямъ!

— Говори, братецъ, яснѣе: ничего не понимаю.

— Будьте отцомъ и благодѣтелемъ, сказалъ я, падая на колѣни: — научите меня охотиться по-вашему. Я бѣдный звѣрь, трава мнѣ прискутила, плохо жить нашему брату; хочу ъсть мясо, хочу сдѣлаться волкомъ...

— Благодари судьбу, что я сыть, а то примѣрно наказалъ бы тебя за твою дерзость. Какъ ты смѣлъ, скверный мальчишка, подумать о чести сдѣлаться волкомъ! Посмотри на себя въ лужу: похожъ ли ты съ виду на нашъ великолѣпный родъ? гдѣ у тебя нашъ увѣсистый хвостъ, этотъ чувствометръ, какъ называла его одна лягавая собака? гдѣ у тебя сильныя, крѣпкія лапы? гдѣ широкая пасть и многоуважаемые волчьи зубы? Ты съ ума сошелъ, или гдѣ-то у людей образовался, молодой звѣришка — правда?

— Точно, вы изволите говорить правду, мой кровожаднѣйшій! Я имѣлъ несчастіе прожить двадцать дней въ человѣческомъ домѣ и, смѣю васъ увѣритъ, кромѣ языка, ничего по человѣчески не понимаю. Но вы не поняли меня; я очень далекъ отъ чести сдѣлаться волкомъ; мнѣ бы хотѣлось только перенять ваши пріемы, ваши средства, вашу ловкость при нападеніи на звѣрей...

— Смѣшно мнѣ твое желаніе; впрочемъ, поучись, пожалуй; а если ты понимаешь человѣческія рѣчи, то можешь немного быть мнѣ полезнымъ, но не сегодня;

сегодня я съ пріятелемъ хорошо позавтракалъ и хочу отдохнуть.

— Могу ли выразить мою величайшую...

— Безъ благодарности; эта штука ни грѣть, ни кормить.

О волкъ, о звѣрь, о кровожадность!
Тебя хочу я пѣть и голосъ мой тераетъ всю пріятельство.
О даво...

запѣль-было полевой сверчокъ.

— Это что за дрянь пищить? спросилъ волкъ.

— Мой пріятель, полевой сверчокъ...

— Слишкомъ, братецъ, много чести, что я и тебя принялъ подъ свое покровительство, а ты еще привезъ сюда гадкое настѣкомое. Вонъ его!

Я сказалъ нѣсколько словъ въ защиту полеваго сверчка, но волкъ разсердился и хотѣлъ придушить его лапой. Сверчокъ въ два прыжка очутился на деревѣ, разругалъ волка и меня, сказалъ, что я неблагодарнѣйшее животное, что я дѣйствую очень образованно и, положа руку на сердце, поклялся мстить мнѣ до конца дней. Такъ мы разстались съ дорожнымъ товарищемъ. Не знаю, за что полевой сверчокъ разозлился на меня; я, кажется, и привезъ его въ Муромскіе лѣса на спинѣ своей, и всегда дѣлилъ съ нимъ послѣдній листочекъ зелени, и пряталъ его отъ непріятелей въ свое ухо. Не умереть же мнѣ съ голоду ради пріятеля, ради поющаго настѣкомаго, когда мой благодѣтель, будущій мой наставникъ и покровитель не взлюбилъ его.

Волкъ уснуль, приказавъ оберегать его во время сна отъ всякаго шума, особливо не допускать на его персону падающихъ листочковъ. Я присѣлъ на заднія

лапки, поворачивая безпрестанно голову во все стороны и, схватывая на лету падавшія с дерева листья, съѣдалъ ихъ. Подобное занятіе немного беспокойно, но полезно.

Поутру волкъ послалъ меня провѣдать, нѣть ли гдѣ на опушкѣ лѣса домашнихъ животныхъ, и если есть, то нѣть ли близко людей.

Я скоро возвратился.

— Ну чтѣ? спросилъ волкъ.

— Есть, отвѣчалъ я.

— Чѣто такое?

— Здоровая, возовая лошадь.

— А люди?

— Людей нѣть, ушли версты за полторы въ кабакъ, а лошадь пустили подальше въ лѣсъ, чтобы напаслась.

— Нѣть ли засады?

— Нѣть. Я слышалъ людскія рѣчи: молодой, говорилъ: «Зайдемъ, дядюшка, въ кабакъ, тамъ лошади и овса купимъ и сами перекусимъ». — «Вишь какой бойкой» говорилъ старикъ, «много у тебя денегъ на овесъ?» — «Баринъ, кажись, вамъ пожаловалъ?» — «Мало чего нѣть! станешь овесъ покупать, такъ не на чтѣ будетъ и выпить. Молодая у тебя голова, глупа!... Мы вотъ тутъ пустимъ гнѣдка напастись въ волю, пускай идетъ подальше отъ дороги въ лѣсъ, а сами сбѣгаемъ въ кабакъ, недалеко ёлка видна; повозка тутъ постоитъ, благо пустая». — «А кабы чтѣ не случилось?» началъ-было молодой, да старикъ перебилъ его: «молодъ, братъ; впервые ъздишь по барскому дѣлу, вотъ такъ бы и дрожалъ по немъ! Слушай меня, старика, я человѣкъ быва-

лой». — Воть и пошли они въ кабакъ, а я со всѣхъ
могъ сюда.

— Merci! сказалъ волкъ, и мы отправились въ
походъ.

Когда мы прискакали на мѣсто, людей еще не было;
большой, жирный, гнѣдой конь стоялъ у куста орѣшика
и въ полголоса высчитывалъ тажесть покупокъ, кото-
рыя долженъ будетъ везти обратно изъ города, а ме-
жду тѣмъ, вытянувъ кверху шею, щипалъ съ куста мо-
лодые побѣги.

— Теперь приготовимся, сказалъ волкъ отведя меня
въ сторону. — Первое правило для уничтоженія большихъ
животныхъ — большой вѣсь. Чемъ болѣе въ насъ вѣсу,
тѣмъ быстрѣе и легче мы душимъ сильныхъ живот-
ныхъ. Я сегодня очень легокъ! и съ этимъ словомъ
онъ началъ есть землю.

— Чѣд у меня глаза красны? сказалъ волкъ поку-
шавъ немного земли.

— Немного.

Волкъ опять принялъ за землю.

— А теперь?

— Красны, очень красны.

— Шерсть ощетинилась?

— Нѣтъ.

Волкъ опять покушалъ земли.

— Теперь ощетинилась?

— Ощетинилась.

— Бока потолстѣли?

— Потолстѣли.

— Хвостъ приподнялся?

— Висить, какъ палка.

— Плохо! И волкъ началъ есть землю во весь ротъ.

— Не подымается?

— Приподымается.

— Ну, хорошо, теперь видишь, я сердить и тяжель, брошусь на лошадь, она меня не потащить.

И, съ этимъ словомъ, въ два прыжка онъ повисъ на шеѣ бѣднаго гнѣдка; гнѣдко съ перерѣзаннымъ горломъ упалъ на траву.

У! какъ сталъ страшенъ волкъ въ это время! онъ жадно, торопливо раздирая трепетавшую лошадь, пилья кровь, оскаливъ красные зубы; глаза его сверкали, въ горлѣ слышался удущивый хрипъ. Я бросился изо всѣхъ ногъ, радуясь, что знаю секретъ волчьяго промысла.

— Хорошо! сказалъ кто-то у меня надъ самимъ ухомъ, когда я отскакалъ съ версту отъ волка.

— Это вы, полевой сверчокъ? спросилъ я, узнавъ приятеля по голосу.

— Я, почтеннѣйший. Извините, я опять сижу на вашей шеѣ: знаете, у меня къ вамъ влеченье, родъ недуга...

— Вы, мнѣ кажется, разсердились на меня?

— Помилуйте! можно ли на васъ разсердиться? вы, просто, дичайшій изъ зайцовъ! Я все слѣдилъ за вами, съ вѣточки, на вѣточку, съ листочкой на листочекъ, боялся спустить васъ съ глазъ, и очень радъ, что вы знаете средство сражаться съ лошадьми.

— А вы слышали? видѣли?

— Какъ же! Удивительный способъ! Положа лапу на сердце, увѣряю васъ, что вы теперь станете ужасомъ всѣхъ звѣрей; лучшая трава и горошекъ во всемъ Муромскомъ лѣсу будуть къ вашимъ услугамъ. Повѣрьте мнѣ, мнѣ эта грамота немножко извѣстна: я часто видывалъ подобные примѣры; одинъ даже опи-

сань монмъ дѣушкой съ тѣткиной стороны, во время известной въ исторіи войны мышей съ лягушками. Знаете, я вамъ скажу, что вы теперь, чтò бы ни захотѣли, можете, что называется, съ-разу уничтожить. Вотъ, напримѣръ, баранъ; хотите, нападемъ на него?

— Нѣть, отвѣчалъ я; если нападать такъ нападать на что-нибудь покрупнѣе.

— Превосходно! О, дичайшій мой! вотъ пасется оселъ: нападемъ, что ли?

Я покушалъ земли — препротивное кушанье, ничего не могъ проглотить, все всплюнуль, и спросилъ у полеваго сверчка: — а что, глаза красные?

— Красны, какъ огонь? отвѣчалъ онъ.

— А шерсть щетинится?

— Словно ежовыя иглы!

— Бока потолстѣли?

— Будто арбузъ, такъ потолстѣли...

— А хвостъ подымается?...

— Поднимается! такъ и лѣзеть кверху.

— Ну, хорошо, сказалъ я, просанился и подскочилъ къ ослу; но тутъ, признаюсь откровенно, на меня нашла сильная робость, сердце тревожно забилось, ноги задрожали, я не взвидѣлъ свѣта,

— Смѣлье, смѣлье! кричалъ мнѣ полевой сверчокъ, высоко качаясь надо мной на березовой вѣточкѣ.

Мнѣ стало совсѣмъ и я прыгнулъ прямо на горло ослу, оборвался, упалъ и легъ передъ имъ, не могши, отъ страха, пошевелить ногами. Хладнокровно посмотрѣль на меня оселъ и пошелъ далѣе, лягнувъ меня копытомъ. Тутъ я ужъ ничего не помню — все исчезло передо мнѣй. Кажется, я уснуль.

VII.

ПОЛЕВОЙ СВЕРЧОКЪ КЛЕВѢЩЕТЪ НА ЗАЙЦА.

Просыпаюсь и чувствую страшную боль во всемъ тѣлѣ; въ головѣ шумить; надо мнoй кто-то бойко, бѣгло разговариваетъ.

— Зачѣмъ онъ тутъ, кто онъ такой? говорилъ одинъ голосъ.

— Вѣрно воръ, вѣрно плутъ! прибавилъ другой.

— Разспросить, разузнать бы не худо! трещалъ третій.

— Позвольте, позвольте, я вамъ объясню, пишалъ кто-то: — я все знаю, повѣрьте мнѣ mesdames; то, что я вамъ сообщу, будетъ очень любопытно. Этаъ звѣришка, чтѣ лежитъ передъ вами, долженъ быть, что называется, какой-нибудь бѣглецъ и самаго буйнаго характера; я его не знаю, да и что мнѣ за нужда знать всякую сволочь? Эка невидаль какая! но вѣрно то, что онъ вздумалъ ... содрогнитесь, почтеннѣйшия дамы! вздумалъ растерзать осла, нашего доброго осла, всѣми уважаемаго осла, самаго дикаго осла! Разумѣется, осель, съ чувствомъ своего достоинства, легонько оттолкнулъ дерзкаго коштомъ и — противъ правиль своихъ, рѣшительно противъ своего убѣжденія — убилъ гадкую тварь. Я знаю, mesdames, вашъ тонкій гастрономический вкусъ, но знаю, что вы, изъ снисхожденія, иногда кушаете заячье мясо, которое гораздо лучше души этого звѣрька; знаю, что вы, просвѣщая муромскую дичь разными поучительными рассказами, еще не успѣли пообѣдать, и совѣтую, чтобы что-нибудь извлечь изъ этого приклю-

чения, отвѣдать этого зайца. Истинный мудрецъ изо всего извлекаетъ пользу. *Probatum est!...*

Я открылъ глаза: вижу надъ собою семью сорокъ, которыя, прыгая по дереву съ вѣточки на вѣточку все ниже и ниже, жадно засматривали мнѣ въ глаза, а противъ нихъ разглагольствуетъ полевой сверчокъ, спрятавшись, для безопасности, въ щелку дубовой коры, и высовывая только оттуда по временамъ свою голову. Сороки, увидя, что я еще живъ, быстро отлетѣли на верхушку дерева, переговорили наскоро между собой и разлетѣлись въ разныя стороны свѣта оглашать Муромскій лѣсъ новою сплетней о моемъ несчастномъ сраженіи. Полевой сверчокъ, видя, что сороки удалились, выѣзъ изъ своей щелки и тоже рѣзво поскакалъ по лѣсу, не обращая на меня никакого вниманія.

— Милостивый государь, простональ я:—господинъ полевой сверчокъ, куда вы? Не оставляйте меня; я не сержусь за ваши сплетни съ сороками, не сержусь за ваше отреченіе; ради овса и капусты останьтесь со мной! Видите, я раненъ, не могу встать съ мѣста...

Но полевой сверчокъ прикинулся, что не слышитъ моихъ стоновъ и ускакалъ далѣе. Этотъ поступокъ, очень образованный, крѣпко меня опечалилъ; я лежалъ беззащитный съ перебитыми скоками, не могъ протянуть шеи, чтобъ досстать листочекъ травки, стебелекъ папоротника или клочокъ моху, а онъ, мой товарищъ, котораго я привезъ на своей шеѣ въ Муромскіе лѣса, котораго пряталъ въ свое ухо, кормилъ, оберегалъ, онъ оставилъ меня! Я лежалъ и горько плакалъ.

VIII.

ЕЩЕ КЛЕВЕТА. ПЛОХО ЗАЙЦУ.

Передъ вечеромъ сѣль недалеко отъ меня, на деревѣ, сѣрый дроздъ, очистилъ нось, оправилъ имъ свои перья, встрепенулся и запѣлъ пѣсню:

Жиль былъ заяцъ, сѣрый заяцъ,
Пребольшой дуракъ.
Вѣрьте маѣ, весь свѣтъ меня знаетъ-сь
Что скажу, то быть тому такъ!...

Я не упомнилъ всей пѣсни, но въ ней весьма подробно было разказано мое несчастное приключение съ осломъ. Пѣсня была, какъ всякий можетъ судить по началу, довольно-дика, по содержанію, близка моему сердцу, и я рѣшился разспросить о ней у дрозда.

- Эдраствуйте, милостивый государь, сказалъ я.
- Bon jour! отвѣчалъ дроздъ.
- У васъ прекрасный голосъ, чистый теноръ.
- Vous trouvez? вы думаете?
- Я, рѣдко слыхалъ подобный голосъ.
- Всѣ синички, всѣ чечотки говорятъ то же.
- Позвольте узнать, какую это пѣсню вы такъ прекрасно пѣли?
- Самую новую; она сегодня только-что вышла, напечатана въ «Трубадуръ-дю-дичъ».
- Ваше сочиненіе, смѣю спросить?
- Нѣть, ее написалъ какой-то полевой — не то жукъ, не то кузнецикъ, не помню хорошенъко, а пѣсня пріятная, много, этакъ, знаете, чепухи...
- Не полевой ли сверчокъ?

что сеть съ рогами, и хотѣль было начать описывать его привѣты.

— Ги! ги! сказала лошадь.

— Важное обстоятельство! сказала осель:—разберите его хорошенько, господинъ секретарь.

— И мы изымаемъ къ вань обѣ этой, замычали быкъ, значительно глядя на лисицу.

— Очень хорошо, отвѣчала лисица.—Но, господа, вы, кажется, устали, много работали сегодня; не пора ли разойтись? Завтра, на свѣжую память, все разсмотримъ, а доношка посадимъ до завтра подъ караулъ.

Слѣдователи разошлись; лисица отдала гуся подъ караулъ двумъ волкамъ.

— Смотрите вы мнѣ, бирюки, сказала лисица:—только уйдеть гусь, и сами на глаза не кажитесь!

На утро, къ изумленію всѣхъ слѣдователей, гуся не оказалось, волковъ тоже. На мѣстѣ, где содержался преступникъ, нашли немного крови и нѣсколько перьевъ. Въ лѣсу до-сихъ-поръ толкуютъ это происшествіе разно: волкоманы увѣряютъ, что волки сѣли гуся и ушли, а гусоманы—будто гусь проглотилъ обоихъ волковъ и улетѣлъ за границу. Какъ бы то ни было, но медвѣдь началъ подозрѣвать въ покражѣ всѣхъ рогоносцевъ и вѣльмъ удвоить стараніе при слѣдствіи. Всѣ были въ отчаяніи. Вдругъ явилось тощее настѣкомое и объявило, что гусь доносилъ вполовину справедливо, *ибо*, по своей близорукости, принялъ уши за роги; а что сѣль овесь заяцъ, извѣстный всему околотку за грубяна, буйна и самаго дерзкаго кутилу, который, забывъ всякое уваженіе, еще недавно бросился весьма злобно на шею его ослиной милости.

— Такъ это онъ? спросилъ осель поднявши кверху уши и брови.

— Онъ-съ, право онъ, отвѣчало настѣкомое.— Я былъ большой пріятель съ гусемъ, и мы вмѣстѣ, разсуждая о блаженствѣ сумасбродства и прочихъ отвлеченныхъ идеахъ, нечаянно наткнулись на реченаго зайца, когда онъ пожиралъ воровской овесъ. Отвратительное было зрѣлище! Я содрогаюсь, вспоминая его.

— А вы кто такой? спросила лошадь.

— Я полевой сверчокъ, къ вашимъ услугамъ.

— Да правду ли вы говорите, точно ли вы видѣли? замѣтиль быкъ.

— Помилуйте-сь! я все знаю, меня всѣ знаютъ — спросите въ муравейникъ. Стану ли я лгать передъ вашимъ говяжымъ достоинствомъ! Я, еще не имѣя счастія видѣть васъ, пѣлъ въ честь вамъ пѣсню:

Ай-да быкъ!
Превеликъ! и проч.

Я знаю этого зайца, я даже имѣлъ несчастіе быть его товарищемъ въ путешествіи; но, узнавъ короче образованность, нравъ его и наклонности, поспѣшилъ съ нимъ разойтись.

— Хорошо! сказала лисица: — поклянитесь.

— Съ удовольствіемъ. Клянусь, положа лапку на сердце, что то, что я вамъ сказаль — истинная правда.

— Чего же больше? промычаль быкъ.

— Да, да, заржали радостно конь и осель.

— Браво! порѣшили, братцы! заблѣялъ баранъ.

Я было-хотѣлъ вступиться за васъ, родичъ, да мнѣ лисица и шикнуть не дала. И тутъ же составили опре-

дѣлніе поймать васъ, обгрызть, въ наказаніе, вамъ уши и доставить ихъ къ воеводѣ. Исполненіе приговора возложили на чекалку *) и, будьте осторожны, онъ уже давно васъ ищетъ: это ему на зубы! уши онъ доставить медвѣду, а съ прочимъ поступить по усмотрѣнію. Не вѣковать вамъ!

— Какъ же это поклялся полевой сверчокъ въ такой неправдѣ? спросилъ я у моего родича-тушканчика.

— Я и самъ не понималъ этого, да нечаянно открылъ истину: пробѣгая по лѣсу, я услышалъ, что быкъ шепчетсѧ съ лисой въ кустахъ; я подкрался и все выслушалъ. Быкъ, добрый звѣрь, изъявлялъ свое удивленіе лисицѣ, какъ вы теперь мнѣ.

— Какъ вы прости! говорила лисица: — благодарите судьбу, что я дѣло хорошо съ рукъ спустила!.. а полевому сверчку клясться легко, положа лапку на сердце, потому-что у него нѣтъ сердца вовсе.

— Можетъ ли быть?

— Я вамъ докажу. Господинъ полевой сверчокъ! гдѣ вы? пожалуйте сюда! скорѣе! дѣло есть, закричала лисица. И, немного, погодя прискакало это насѣкомое.

— Ну спасибо вамъ, поддержали вы моего кума, продолжала лисица. Дайте вашу лапку, и другую.

Полевой сверчокъ, униженно присѣдая, подалъ лисицѣ обѣ лапки. Лисица крѣпко взяла его за обѣ лапки и громкимъ голосомъ спросила: «какъ ты смѣло, противное насѣкомое, говорить и клясться противъ совѣсти?»

Полевой сверчокъ позеленѣлъ отъ страха и началъ корчиться.

*) *Canis arcus.* (Естест. Исторія А. Ловецкаго.)

Примѣчаніе дѣдушки

— Ты сегодня враль на зайца, а завтра соверши и на меня, бездѣльникъ, продолжала лисица: — такъ вотъ тебѣ... и при этомъ словѣ она разорвала его на части и показала быку, говоря: — посмотрите, гдѣ тутъ сердце?

— Рѣшительно нѣтъ и признака, сказалъ быкъ, мотая въ раздумы головой. — Повѣрьте, кумушка, въ первый разъ въ жизни вижу подобнаго звѣра!...

— Эти всѣ настѣкомыя, любезный кумъ, которыя присѣдаютъ, да прискакиваютъ, да увишаются вокругъ чего-нибудь; всѣ безъ сердца! *)

Не успѣлъ тушканчикъ окончить печального разсказа, какъ вдругъ остановился, прислушался и торопливо сказалъ мнѣ: — бѣги, бѣги скорѣе! идетъ сюда чекалка! Плохо тебѣ будетъ. Я слышу его шаги!

— Прощай, сказалъ я родичу, и бросился въ чащу, оглянулся: чекалка, словно тѣнь, летить за мною; я вправо и онъ вправо, я влево и онъ влево; были бы у меня здоровые скоки, я бы и не подумалъ о немъ; но я прихрамывалъ и крѣпко боялся за свою шкуру. Стало разсвѣтать я выскакають изъ лѣса, а чекалка налегають на меня все ближе и ближе; зубы его щелкнули надо мной, я рванулся и выскочилъ далеко впередъ, оставилъ только хвостъ въ зубахъ непріятеля. Тутъ, на мое счастье, повстрѣчалась намъ повозка; люди стали кричать на чекалку, онъ повернуль въ лѣсъ, а я кое-какъ уплелся въ кустарникъ и прилегъ, измученный, усталый.

*) Настѣкомыя снабжены желудкомъ и кишечнымъ каналомъ... У нихъ нѣть сердца, но одни тонкіе пасоковосные сосуды, содержащіе въ себѣ бѣлую и холодную жидкость. (Естест. Исторія А. Ловецкаго. Ч. II. стр. 104.)

Примѣчаніе дѣдушки.

Отдохнувъ, я началъ разсуждать о своей несчастной жизни. «Вездѣ непріятности, вездѣ гоненія! вездѣ я виноватъ бессинно отъ-того, что слабѣе всѣхъ, думалъ я. И куда я покажусь хромой, безхвостый?!... всѣ станутъ смеяться надо мной!» Подобныя мысли, одна мрачнѣе другой, бродили въ головѣ моей; я рѣшился не страдать болѣе, то-есть, не жить, рѣшился утопиться и прямо побѣжалъ къ рѣкѣ.

— Звѣрь, звѣрь, заяцъ, заяцъ! бѣгите! спасайтесь! раздалось по всему рѣчному берегу, и куда я ни прибѣгу: лягушки, сломя голову, скачутъ отъ меня въ воду.

«Стой!» подумалъ я, «значить, есть же твари беззащитнѣе меня, которыя и меня боятся, а живутъ, весело поютъ пѣсни, а порой и пляшутъ», и мое намѣреніе утопиться сильно остыло при этомъ разсужденіи. Я не утопился; я рѣшился возвратиться на родину, отыскать свою старую норку: авось околѣль колдунъ-ѣжъ; если же не околѣль, то обзавестись хорошимъ логовомъ, чтò теперь гораздо приличнѣе моему возрасту, и спокойно провести свою старость.

IX.

ЗАЯЦЪ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РОДИНУ.

Вотъ я и на родинѣ! Осенъ очень измѣнилъ мою рощу; но все я узналъ ее и привѣтствовалъ какъ стараго друга: здѣсь мнѣ веселѣе, привольнѣе!.. Всѣ знакомые звѣри стали очень уважать меня: это, кажется, единственная польза отъ путешествія... Нѣть, есть, правда, еще и другая: возвратясь изъ путешествія, какъ-то лучше цѣнишь свою родину, понимаешь пословицу,

которую я въ детствѣ слышалъ оть людей въ домѣ Петра Ивановича: *славны бубны за горами!* Разумѣется, въ Муромскихъ лѣсахъ отъявленная дичь, но одна дичь да дичь, право, нехороша для нашего брата, маленькаго звѣри, иногда не мѣшаетъ и немногого образования...

Старый колдунъ-ѣжъ очень со мной почтителенъ, даже предложилъ мнѣ поселиться въ моей норѣ, да я отвѣчала ему, что теперь я уже не ребенокъ, что добруму зайцу не пристало жить въ норѣ, и сдѣмала себѣ прекрасное логово подъ кустомъ ракиты, опутаннымъ до-нельзя полевымъ горошкомъ. Мое логво въ чистомъ полѣ недалеко отъ рощи, а въ рощѣ жить беспокойно: все теперь падаютъ листья и своимъ шелестомъ напоминаютъ мнѣ шелестъ шаговъ чекалки.

Сегодня прекрасное утро, солнце грѣеть, пищи пропасть — я счастливъ и спокоенъ! Ай да родина — славная сторона!

На весну обзаведусь дѣтками и стану съ ними прыгать по рощѣ, вспоминая покойную матушку... Что сдѣлалось съ Петромъ Ивановичемъ? издохъ ли гадкий Великанъ? Завтра надобно поразспросить о немъ у сорокъ: эти сплетницы выносятъ всякий соръ со двора... Непремѣнно завтра; не будь я заяцъ, если не узнаю...

Этими словами оканчивается переводъ моего двоюроднаго дѣдушки. Завтра — какъ вы уже знаете изъ предисловія (если его не забыли) — завтра не пришло для бѣднаго зайца и всѣ его замыслы, всѣ мечты утихли,

замерли съ послѣдними волнами голоса подъ книжаломъ Петра Ивановича.

Покойный дѣдушка, переводя записки зайца, перевелъ изъ нихъ множество эпизодовъ, неизданныхъ къ исторіи зайца, но очень любопытныхъ, напримѣръ: *Сказаніе синицы о томъ, какъ полевой сверчокъ управляемъ муравейникомъ и что изъ тою произошло и т. п.* Если понравятся людямъ простыя, нехитрыя приключенія, чувства, бѣдствія и радости звѣрей и всякихъ животныхъ, то я современемъ напечатаю еще нѣсколько переводовъ моего двоюроднаго дѣдушки.

1840 г

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.

О Г Л А В Л Е Н И Е

ПЕРВАГО ТОМА.

	<i>Стр.</i>
Предисловие	7
Евгений Павлович Гребенка. (<i>Биографический очеркъ</i>)	ix

РОМАНЫ, ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

1836.

Рассказы Пирятинца:

1. Двойникъ. Быль	3
2. Страшный звѣрь. Народное преданіе	25
3. Телепень. Быль	33
4. Мѣсацъ и Солнце. Преданіе	62
5. Шотапова недѣля. Быль	74

1837.

Вотъ кому зузуля ковада! Рассказъ	95
---	----

1838.

Воспоминанія. Рассказъ	108
Мачиха и паниочка. Малороссійское преданіе	120
Лука Прохоровичъ. Рассказъ	138
Такъ иногда люди женятся. Рассказъ	174

1839.

Върное лекарство. Повѣсть	187
Горевъ, Николай Федоровичъ. Повѣсть	228
Бывальщина. Рассказъ	264
Братья. Повѣсть	274

1840.

Записки студента. Повѣсть	296
Куликъ. Повѣсть	373
Шутевые записки зайца.	412

This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.

Please return promptly.



